



**Дружба
народов**

10/2020



В номере:

«Удержат дыхание высоты»

В чем «жизни подъёмная сила»? кто мы? что с нами? — не отпускающей тревогой наполнена поэзия Алексея ИВАНТЕРА. Ей созвучны стихи Екатерины ПОЛЯНСКОЙ: «Кто этот мир вдребезги расколов,/ Заново создаёт из осколков слов?» — и Заира АСИМА, который пишет «про место, уставшее быть временем».

Восток — дело тонкое...

«"Иуда Искарот тоже ходил с вами?... Думал ли ты, что он предаст?" — Старик сухо отозвался: " Не знаю, предал он или нет! Кто предал? Люди! — И зло повторил: — Народ! Все мы! Я, ты, он..." В романе-апокрифе «Иудея, I век» Михаил ГИГОЛАШВИЛИ рассказывает о том, как собирает свидетельства и пишет свой «Евангелион» Лука.

На Земле Обетованной рок настигает приехавшего из Ташкента героя рассказа Сухбата АФЛАТУНИ «Деряба»: «Точно сила его какая гнала, с этой экскурсией, и заставляла с жадностью глядеть на каждую фотографию... Пока, наконец, не увидел себя. Он стоял, в немецкой форме, возле рва...»

Повесть казахстанца Алена ШАКИРОВА «В песках Таукум» — о вращении в жизнь «в самой дикой, чужой стороне» московского мажора, «упрятого» отцом за неблагоприятные проступки в занесенный песком поселок.

В деревню-резервацию высоко в горах свозили убийц, насильников и воров. Игорь БУЛКАТЫ рассматривает в романе «Зилахар» поведение человека вне контекста истории, исходя из его побед и поражений.

«У беднейшего из беднейших в эпоху Золотого тельца Ходжи Насреддина не было бумаги, а жаростно хотелось писать стихи и афоризмы...» — вот и родилась у Тимура ЗУЛЬФИКАРОВА «Самая смешная и грустная сказка об Осле—Книге Ходжи Насреддина».

Россияне и таджики «живут в слишком сложных условиях и готовятся к еще большим испытаниям, чтобы проявлять любопытство к тому, что напрямую не связано с выживанием». Большое интервью автора романа «Заххок» Владимира МЕДВЕДЕВА.

«Восток "наползает" на Запад...» — основатели «Ташкентской поэтической школы» Евгений АБДУЛЛАЕВ, Вадим МУРАТХАНОВ и Санджар ЯНЫШЕВ отвечают на вопросы Юрия ТАТАРЕНКО о жизни и литературе.

«Мама, мы уходим?»

В этно-фэнтези Шамиля ИДИАТУЛЛИНА «Последнее время» нехорошие, судя по всему, люди вторгаются на чужую территорию, получают магический отпор и гибнут — все, кроме маленького мальчика, которого принимают на воспитание победители-аборигены.

Хроника венецианского карантина

«Набережная исцелимых» — захватывающий, познавательный, ироничный рассказ Натальи РАПОПОРТ об отнюдь не веселых по сути злоключениях автора, ее мужа и дочери, волею судеб оказавшихся запертыми в Венеции на весь срок коронавирусного карантина.

Дружба народов



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

10'2020

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

**E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomprk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.08.2020.
Подписано в печать 24.09.2020.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 6552. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Ольга
БРЕЙНИНГЕР
Ирина
ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид
НАГИМ

Илья
ОДЕГОВ

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Алексей ИВАНТЕР. Жизни подъёмная сила. Стихи.....	3
Михаил ГИГОЛАШВИЛИ. Иудея, I век. Роман-апокриф	6
Тимур ЗУЛЬФИКАРОВ. Самая смешная и грустная сказка об Осле-Книге Ходжи Насреддина	58
Ален ШАКИРОВ. В песках Таукум. Повесть	69
Шамиль ИДИАТУЛЛИН. Последнее время. Фрагмент романа	99
Екатерина ПОЛЯНСКАЯ. В райских кущах Петербурга. Стихи	111
Игорь БУЛКАТЫ. Зилахар. Отрывок из романа	114
Сухбат АФЛАТУНИ. Деряба. Рассказ	130
Заир АСИМ. Место, уставшее быть временем. Стихи	137
Виктор ЧИГИР. Полуденный душ. Рассказ	140
Евгений СОЛОГУБ. Когда разрушится хижина. Рассказ	152
Лев УСЫСКИН. Фруктовый салат. Рассказ	165
Анна ВАРДАНЯН. Рассказы	173
ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ	
Игорь КАСЬКО. В ритме неотложки	178
Игорь ПАВЛЮК. Из честных букв лепить стихи. С украинского. Перевод Игоря Касько ..	180

ДРУЖБА НА ВЫРОСТ

Николай ШУЛЬГИН. Столопат. Рассказы маленького татарина	183
---	-----

ТОНКОСТИ РЕМЕСЛА

Анатолий КОРОЛЁВ. Боттега/моя мастерская	196
Анна УШМАЕВА. Выжить без зеркала. Триптих	204

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Владимир МЕДВЕДЕВ. В зоне, куда пускают только своих	212
--	-----

НАЦИЯ И МИР

Наталья РАПОПОРТ. Набережная исцелимых. Хроника венецианского карантина	220
---	-----

КРИТИКА

«Поэт всегда немного "с краю" жизни». Санджар ЯНЫШЕВ, Вадим МУРАТХАНОВ и Евгений АБДУЛЛАЕВ отвечают на вопросы Юрия ТАТАРЕНКО	234
--	-----

ПОДРОБНОЕ ЧТЕНИЕ

Дмитрий АРТИС. Скрипка Страдивари (Г. Климова. «Сказуемое несовершенного вида»)	243
--	-----

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

Борис КУТЕНКОВ. Поэт в центре зала (Л. Колесник. «Музыка и мазут»)	247
Ольга ДЕВШ. В зиме папу видно (Е. Никитин. «Про папу»)	251
Александр ЭБАНОИДЗЕ. Казус Тариэла Цхварадзе (Т. Цхварадзе. «До и после»)	254
Михаил ГУНДАРИН. Крики и шёпот (Г. Шевченко. «Что кричит женщина, когда летит в подвал?»)	257

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Дивный новый канон	260
---	-----

БЛОГ-ПОСТ

Сергей ЛЕБЕДЕВ. Фунес беспамятный	263
---	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Политический театр	267
--	-----

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

Мария АНУФРИЕВА. Проза над линией фронта. Об Открытой литературной школе.....	270
---	-----

Алексей Ивантер

Жизни подъёмная сила

* * *

Вере Калмыковой

На месте дома выросла олива
Среди руин, пшеницы и мочи
Сквозь кирпичи, положенные криво,
Положенные криво кирпичи.
Две тыщи лет не стыдно бракоделу —
В рабочий день хмельному поутру.
А может так — потом — земля просела,
А он их ровно клал, как по шнуру.
Кривая кладка держит оборону
От экскурсантов, солнца и корней,
Ей помогают лиственная крона
И облако, молчащее над ней.
А грек — лежит в покое и прохладе,
Он дело сделал, лёг и опочил,
Отдав жене в окраинной Элладке
Все драхмы, что за кладку получил.
Далёкий брат мой, мастер неизвестный
Лежит в земле на влажной глубине
В близи окрестной, в жаркий день воскресный,
Забыв о кладке в северной стене.
И речь моя — крива и тороплива,
Хоть на отрез её, хоть на отвес.
Но и над нею вырастет олива
И облако, и облако с небес.

* * *

Человек приближается к смерти,
Немеет, стареет,
Ждёт письма в допотопном конверте,
Ноги в валенках греет,
Бережёт уходящие силы,
Листает тетрадки,
Посещает родные могилы,
Кривые ограды.
Человек приближается к смерти,
Светлеет, ветшает,
Ждёт письма в допотопном конверте,
Варенье вкушает.
Он выходит во двор, он пшено
Голубям рассыпает.
Возвращается, смотрит в окно,
У окна засыпает.

Жизнь прошла, как война,
Торопливым словечком расхожим.
Он сидит у окна,
Непонятно, живой ли, прохожим.
То ли дышит, а то ли не дышит,
Но в губах застревает:
«Это ветер ракиты колышет,
Это бор запекает»...
Всё он шепчет своё потайное
И чужое родное,
Всё он помнит от времени Ноя,
Как своё нутряное.
Всё он пишет, стирает и пишет,
Но и справа, и слева
Неумолчное пение слышит —
Богородице Дево...

* * *

В степи августовской соловой
У старой столовой лежит
С посудой полулитровой
Непризнанных войн инвалид.
Недужный и бабам ненужный
Лежит он на жёлтой траве
Растерянный и безоружный
С кубанкою на голове.
Он «Русскую» вечером купит,
Откупорит, ляжет мертво,
И как через труп переступит
Буфетчица через него.
Он пылью степной пропылится,
В ночной постучит общепит...
А утром проснётся станица,
А он над станицей летит.

* * *

Где в каждой щели жило по умельцу
Легко чинить любую дребедень,
Ходили по парадным погорельцы
И нищенки из дальних деревень.
В обуви сбитой, вида никакого,
Как беженцы в минувшую войну.
Но из такого люда городского
Я с детства помню нищенку одну.
Она ходила, денег не просила,
Как божьи люди ходят по Руси.
Когда еду ей мама выносила,
Она шептала «Господи, спаси».
И посреди ночного Ленинграда,
Спустя полвека, зримо вижу сам —
Все пять детей погибшие в блокаду
За ней идут по русским небесам.

* * *

Памяти Никодима Брёхова

Висячий мост из ржавой арматуры,
Который строил Брёхов Никодим,
Не потрясал основ архитектуры,
Но всей округе был необходим.

Там наверху, в домишке обок храма,
Где не любили жалоб и хвороб,
Где ставень был и выставная рама,
И под окном чубушника сугроб —

Он истрепался за почти полвека,
Но был исправен и держал натяг,
Хоть — даже вряд ли помнил человека
С его бригадой местных работяг.

Я чай там пил, и фото Никодима,
Ещё в шинели, в части у Двины,
Напоминало чем-то херувима
С поблёклой фрески с северной стены.

А наверху, где крепла деревенька,
Пилила брус и клала кирпичи,
И поднималась, охая, поздненько
(Так и селились, больше москвичи),

И мстилось мне, такая крепла вера,
Что это он — лужковский старожил,
Как херувим, с мечом, в шинели серой,
Один за всех, Эдем наш сторожил.

* * *

Выйти в кунгурской Шадейке, встать на Онежской губе, утром черпнуть из бадейки щедро рассола себе. Запах вагонов купейных, хопперов грохот и пыль мальчик в летах нешутейных помнит как сладкую быль. Помнит он грохот деповский, вид на шестнадцатый путь, крепкий чаёк стариковский, краткое русское «будь» и, как другие языки непокорённых чужбин, длинные женские вскрики из тепловозных кабин. Жизни подъёмная сила нам ни добро и ни зло — пресное тесто месила, крепко брала за крыло. Но в переулках московских, чёрт же её побери, правда устоев деповских тукает слева внутри, где от весны сумасшедшей, с низкого неба сошел, женщины, в марте ушедшей, тающий след.

* * *

Женщина, ушедшая весною
В тайный коробок берестяной,
Кажется несчастной и больною,
Сломанной, ранимой и родной.
Кажется, всё то, что миновало,
Минуло, минуло, пронеслось —
В сердце, как вдова, отгоревало,
Жерехом с мормышки сорвалось.
И лежат снега на Подмосковье,
На осипшем горле — немота
У могилы Марфы и Прасковьи
Близ Борисоглебского креста.

Михаил Гиголашвили

Иудея, I век

Роман-апокриф

1. Рождество

Пыльной зимней ночью, когда ветер заметал песком каменные дороги, прибыли в Назарет римские глашатаи и хотели тотчас будить народ, но староста, юркий жилистый Рисай, упрямый не тревожить жителей, обождал:

— А на рассвете я сам разошлю мальчишек по дворам.

Утром люди собрались у синагоги, где возле чахлах кедров их ждали римляне. Пришел, еле переставляя ноги, поеживаясь от холода, и пожилой плотник Йосеф, оставив пятнадцатилетнюю беременную жену Мирьям и детей на попечение тещи Рахили. Был он доброглаз, сизошек, грузен, ходил с трудом из-за болей в коленях. Хотя и поспешал, но явился к синагоге одним из последних, встал позади всех, отчего плохо слышал глашатаев.

Римляне, прокричав повеление кесаря всем иудеям идти в свой город на перепись, ускакали, прихватив бурдюки с вином и не отвечая на вопросы старосты Рисая, зачем делается эта перепись: из-за налогов, войны или новых сборов?

Безмолвные горожане разбрелись по домам. Время шло к завтраку, а им назаряне никогда не пренебрегали.

Йосеф решился подойти к Рисаю:

— Досточтимый, а жене тоже надо? Она на сносях! Жен тоже пижут?

Рисай сделал строгое лицо:

— Пусть она идет с тобой! Ты же из колена Давидова? Тогда твой город — Вифлеем. Иди туда! Приказ цезаря! Если она не пойдет, ребенок будет вне закона! — прибавил назидательно.

Йосеф прерывисто вздохнул, переложил палку в руках и заковылял прочь, а дома приказал жене собираться.

Гиголашвили Михаил Георгиевич — писатель, художник. Родился в 1954 году в Тбилиси. Окончил филологический факультет и аспирантуру Тбилисского государственного университета. Кандидат филологических наук, автор исследований творчества Ф.М.Достоевского: автор монографии «Рассказчики Достоевского» (1991). Автор романов «Толмач» (2003), «Чёртовое колесо» (2009), «Захват Москвы» (2012), «Тайный год» (2017) и др. Лауреат премии «Большая книга» (2010; за роман «Чёртовое колесо»), лауреат «Русской премии» (2017; за роман «Тайный год»). Преподаёт русский язык в университете земли Саар в Саарбрюккене (Германия).

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 5.

Мирьям рассердилась. Жаловалась на боли в пояснице, на тошноту, на головкружение. Йосеф, тряся подбородком и щуря подслеповатые глаза, зачастил:

— Надо — и все тут! Что я поделаю, если цезарь издал закон, а ты беременна? Сам Рисай приказал, а он уж знает, что к чему. Уймись! Если не пойдешь — ребенок будет рожден вне закона. Завтра надо идти в Вифлеем, там я записан!

В углу бормотала больная на голову Рахиль. На нее не то что детей, кошку оставить опасно. А дети разгулялись. В голос плакал Иосия — у него резались зубы. Иуда и Симон дрались из-за глиняной свистульки. Иаков чем-то шуршал под лавкой.

Йосеф не выдержал, накричал на всех, хлопнул дверью, ушел на задний дворик к овцам, где находил успокоение от семейных ссор, коих в последнее время становилось все больше.

Но вскоре, услышав, как Мирьям просит воды, поспешил обратно. Жена тут же нашла другой повод не ехать:

— Детей не с кем оставить! Не бросишь же их одних? Твои дети, не мои! — не удержалась добавить с укором.

Йосеф вздохнул:

— Попросим Елисавету посидеть с ними?

Двоюродная сестра Мирьям, Елисавета, уже в преклонных годах, недавно родила первенца, жила недалеко, за четыре улицы.

Мирьям согласилась.

Но некого послать к Елисавете — бедность охватила дом холодным ободом. Пришлось тащиться самому.

С большой неохотой отправился Йосеф к Елисавете — он не хотел встречаться с ее мужем, законником Захарией, который и всегда-то был заносчив, а теперь вовсе загордился, после того как ангел в храме внушил ему, что его сын, Иоанн, будет пророком, а он, Захария, будет отцом пророка. «Как же он родится, когда Елисавета в годах весьма преклонна?» — осмелился возразить Захария и тут же получил от ангела наказание — немоту до рождения первенца. Когда же родился сын, Захария написал на дощечке: «Назвать Иоанном», — сразу обрел дар речи и первым делом изгнал всю родню, возражавшую против этого имени.

Ох, как не хотелось Йосефу никуда идти и тем более ехать! Но он был законопослушен и оттого маловолен, делал все, как велят власти. Да и вообще с людьми ему куда хуже, чем с досками у себя в мастерской, где он, среди запахов свежего дерева и клея, плотничал: строгал, пилил, сколачивал столы, лавки, орала, ярма, хотя трудиться с каждым годом становилось все тяжелее.

Захария под деревом во дворе ел ягненка в сливовом соусе и принял Йосефа неприязненно (думал, что тот пришел занимать денег, как случалось нередко). Но Йосеф не стал садиться к столу, куда его пригласили небрежным полупоклоном.

— Пусть ноги твои стоят на пути мира! Где Елисавета? Можно ее видеть?

Захария махнул рукой, и Йосеф прошел в дом.

Елисавета, растрепана и нахмурена, меняла пеленки младенцу и на просьбу Йосефа посидеть с детьми ответила отказом: она не может бросить своего ребенка, она сама больна, у нее колотье в боку и жар в голове:

— Зачем вам тащиться в Вифлеем?

Йосеф почесал затылок:

— Не слышала? Перепись. Каждому должно идти туда, где его племя и корни. Вифлеем — город Давидов, а я из череды Давидовой. А вы где пишетесь?

Подслеповатая Елисавета поправила простынку:

— Мы? Не знаю. Захария знает.

Йосеф попробовал упрощить:

— Ты одна близкая родня. Кого, если не тебя, нам просить?

Но Елисавета отговаривалась своими болезнями и простудой сына.

— Значит, не можешь? Жаль! Когда ты была беременна, Мирьям три месяца у тебя жила, помогала! — не удержался Йосеф от укора.

Елисавета молча полезла в кошель, достала динарий:

— Вот, найми няньку! — Но Йосеф не принял такого вынужденного дара.

Захария сидел под деревом, ковырял в зубах. Вяло кивнул и даже не проводил до улицы. Смотрел каменным взглядом, что не удивило: когда было, чтобы законники благоволили к людям? А сейчас, после рождения первенца, Захария и вовсе возгордился до небес! Вот что властобесие творит с человеком...

Деваться некуда, пришлось оставить детей на старую Рахиль, хоть та ворчала, что ей неохота смотреть за последышами Йосефа:

— Своего рожайте — тогда буду смотреть! Мне других дел хватает!

Повозки добраться до Вифлеема не было. Пришлось рано утром снаряжать осла, сажать на него Мирьям, а мужу брести рядом, чтобы осел, хитрая бестия, не начал лягаться и не сбросил жену наземь.

Путь и далек, и утомителен. Мирьям то просилась слезть по нужде, то ее тошнило, то хотела отдохнуть. Она с трудом держалась на осле, а тот, недовольный тяжелой ношей, то и дело останавливался как вкопанный, сколько Йосеф ни понукал его, упрямого, двигать копытами дальше...

На главной площади Вифлеема, в доме богача-садкуея Аммоса переписывали народ из округов. Толпа кипела. Людям приходилось ждать своей очереди войти в дом, к четырем столам с писарями. И все ради того, чтобы назвать имя, род, колено, место проживания, чем владеют, — и уйти восвояси.

Постоялые дворы переполнены. Не хватало еды и питья. Повсюду шныряли подозрительные люди. Бродили разносчики, предлагая размокшие под дождем лепешки. Водовозы гремели бадейками. Римские солдаты время от времени прочесывали толпу. Мужчины, издерганные мыслями об оставленных домах, полях, скотине, кричали на жен, а те, как наседки, громоздились вокруг площади на жухлой траве, кутались в тряпье от морозящего дождя и кормили чем попало сникших детей. Старики тихо возмущались безалаберностью властей, поминая слова пророков о конце света:

— А то зачем бы им переписывать нас?

Усталые, продрогшие, голодные, Йосеф и Мирьям достигли наконец Вифлеема. Начали искать ночлег, но мест на постоянных дворах не было. Пришлось снять хлеб у какого-то хитрого идумейца, сдавшего весь свой дом переписным пришельцам.

Они сложили пожитки, накормили осла и хотели было пойти, как Мирьям застонала. Судороги свели тело. Она осела: боль в животе пошла вниз, захватила пах и ноги. Она поняла:

— Началось! Если умру — сына Иешуа назови!

Йосеф волоком дотащил жену до соломы и выбежал за помощью.

Но хозяин-идумеец только осклабился, хлопнув его по плечу:

— Пусть рождает! На то она и баба! — Запахнул балахон и ушел в дом. Но потом все-таки бросил Йосефу пару чистых тряпок.

Протяжно замычала одна корова, другая, третья. И слилось это мычанье в громкий однотонный звук. Он перекрывал крики и стоны роженицы.

Йосеф принял младенца, завернул его в чалму, снятую с головы, положил в ясли — другого чистого места не было. Мирьям еле шевелилась, тихо стонала и просила пить. Он подал ей воды. Прислушался к писку младенца. Коровы не переставали мычать, сверху кричали гости хозяина, да волнами гудела толпа у дома богача Аммоса, где факиры, фигляры и фокусники развлекали толпу.

Он попытался на костерке разогреть взятую из дома еду, но каша подгорела.

Постирали пеленки в чане со старой прокисшей водой, Мирьям выбросила их: «Куда такую грязь?» — и Йосеф покорно сгреб тряпки в кучу.

Потом, заложив дверь посохом, устроился на снопах.

Под утро внезапно проснулся от неясного шебуршания — кто-то пытался войти внутрь! Он проковылял до двери, стал слушать. Дверь дергали. Йосеф испугался. Воры? Бунтовщики? Иудея полна опасного сброда — убивают римлян, подстрекают к бунту. А у него ничего, кроме посоха. Да и какой он воин?

Вот посох отскочил. В хлев ввалились люди. Вид их неряшлив, грязен, странен. Один — юнец, другой — старец, а третий — чернокожий в тюрбане.

— Что вам надо? Убирайтесь! — закричал на них Йосеф, испугавшись, как бы эти люди не сотворили чего-нибудь с Мирьям и сыном.

Но те подобострастно кланялись, твердя, что они пастухи, их сюда привела звезда, тут родился Спаситель мира, и у них есть дары для него.

Ничего не понимая, Йосеф разглядывал подарки: кусочек золота, комки пахучего ладана и благородной смирны. А пастухи вытягивали шеи, пытались разглядеть младенца. Но Йосеф дал каждому по ассарию, выпроводил прочь и стал думать, как завтра повезет Мирьям с младенцем на перепись, не то младенец окажется незаконным отщепенцем и трудно ему будет в жизни.

2. Арест Бар-Аввы

Прошло тридцать три года от рождества Иешуа.

Незадолго до Пасхи был дважды ограблен караван персиянина Гарага. Один раз воры напали на окраине Иерусалима, где купец сгружал ковры и посуду, а через несколько дней обобрали до нитки на Ассийской пустоши, когда Гараг, накупив всякой всячины для возмещения убытков, вышел за городские ворота. Купцы разбрелись по городу, пугая людей рассказами о грабеже и побоях. Поползли мрачные слухи. Народ зароптал и заволновался. Да и было от чего!

Жизнь становилась все опаснее. Повсюду шныряли подозрительные людишки. Грабили лавки, облагали данью торговцев, отнимали выручку и товары у купцов, барыши — у менял. Чаще всего грабили богатых, их жен и дочерей угоняли в горы, чтобы потом, натешившись, продать в рабство. Римляне не вмешивались в городские дела, только иногда солдаты, по просьбе Синедриона, прохаживались для виду по площадям, предпочитая в жару не вылезать из тени, играть в кости или шупать шлях, шляющихся возле казарм. А у местной стражи глаза залиты вином, глотки залеплены деньгами — делай что хочешь, только плати!

Стукачи донесли в Синедрион, что двойной грабеж персиянина Гарага — дело рук известного во всей Иудее вора и разбойника Бар-Аввы и его шайки. Действовал он, как всегда, нагло, умело и жестоко — остановив караван, вспарывал животы у первого и последнего верблюдов и спокойно забирал товар, пока купцы и их трусливая охрана дрожали под ножами, а связанные верблюды беспокойно ревели и рвались с цепи. Хуже всего, что пропадали важные бумаги для персидских властей, украденные из баулов.

И старый первосвященник Аннан, глава Синедриона, отдал приказ взять разбойника: «Терпеть больше нельзя! Бар-Авва стал опасен для нас!» — хотя его зять, Каиафа, уверял, что глупо резать курицу, которая несет золотые яйца и наводит порядок в курятнике.

Приказ исполнили: Бар-Авва с дюжиной разноязыкого вора был взят под стражу в его родном селе Сехания, где обычно пировал после бесчинств и грабежей. Привезен в закрытой телеге во Дворец Первосвященников и посажен в подвал до суда.

В подземелье, в слоистой тьме, тускнела лампадная плошка. Глухая дверь. Стены в плесени, как в накипи — не прислониться. Где-то наверху, во Дворце ходили и разговаривали люди, но звуки, пронизывая земную толщу, превращались в подвале в слабые стуки и шорохи.

Подстилка — только для Бар-Аввы. Для двух других — земляной пол. Тщедушный Гестас-критянин, глуповатый карманник, дремал в углу. Негр по прозвищу Нигер мучался от болей — при аресте был ранен в правый бок, наскоро перевязан, теперь рана гноилась, он умирал.

Бар-Авва, большой вор, умудренный жизнью, ругался, задыхаясь и кашляя. Двадцать лет разбойничал вокруг Генисаретского озера, никогда ни о чем не забывал, всегда все делал, как надо. А на этот раз, обезумев от добычи, забыл выставить охрану, за что и поплатился!

Он громко вздыхал, бил себя по бритой голове, по лбу, по ушам:

— Вот же дурень! Очумел от золота, как мальчишка! Сатанаил попутал! Хоть бы ты, Нигер, вспомнил! Или ты, Гестас, подсказал!

Нигер стонал. Из розового рта толчками выходила пена. Бок раздуло. Из-под бурой повязки полз гной. В забытии он тер живот, мычал и скалился. Гестас отбредивался в полудреме:

— Да ты, кроме Сатанаила, разве кого-нибудь слушаешь? Слово даешь сказать? «Я — ваш учитель!» Вот что от тебя слышно! Ведь так, Нигер?

— Я даю слово тем, кто дело говорит, а не всякой мелюзге вроде тебя! — осадил Бар-Авва, покосившись на Нигера и зная, что бывает в тюрьме, если двое взваливают вину на третьего. — Заткнись, змееныш! — шикнул он, и Гестас притих.

Карманник — мелюзга, способен только красть у стариков и буянить во хмелю. Но вот этот Нигер с золотыми серьгами, бывший служка палача в Вавилоне, в пьяной драке искалечил главного жреца и сбежал в Иудею... Он опасен. Убивать людей считал своим главным занятием и наслаждался страданием жертвы: сдирает кожу заживо, разрубал на части или кастетом пробивал череп, и пил кровь, пока жертва билась в агонии.

Но сейчас он лежит навзничь, залитый слюной и мочой. У Бар-Аввы отлегло от сердца. «Скорей бы подход!» — подумал он, жалея, что нет под рукой камня добить негра.

Побродил по подвалу, приник к стене. Начал потихоньку постукивать по ней. Ни звука в ответ. Где остальные из его шайки? Хоть кто-нибудь сбежал или все в подвале? Может, других отпустили, а их троих держат? Или рассадили по разным тюрьмам? Но зачем? Почему вообще их схватили?

Отяжелевший, хмурый, распахнув таллиф, обнаживший грудь в седых волосах, он угрюмо обдумывал, как выбраться на волю. Где-то должна быть лазейка, пока ты не в могиле!

Главный вопрос — что надо Синедриону? Дань исправно платит, никого из их стукачей не трогает, грабит только богатых, исполняет всякие грязные поручения Каиафы.

Ведь известно: Синедриону нужны золото и камни! Алмазы, сапфиры, изумруды, аметисты — что еще?... Недавно он, как заведено, откупился шкатулкой с драгоценностями. Шкатулка принадлежала убитому римскому патрицию, о чем знали, но взяли. А сейчас происходит что-то странное. Не разрешают написать записку, увидеться с братом, поговорить с Аннаном или с кем-то из его лизоблюдов. Почему? Или золото потеряло цену? Или люди лишились разума? Или гетерам не нужны украшения? Или сдох старый Аннан, а Каиафу скинули — кому нужен зять трупа? И почему стукачи не предупредили, как обычно, о готовящемся аресте? Даром, что ли, он щедро приплачивал мелкой синедрионской сошке, имел глаза и уши в самом логове и знал, что там творится? А на этот раз никто из шавок не сообщил о предстоящей облаве. Или их перекупили? Ну, с этими шавками он разберется, когда выйдет. Но как и когда?

Плохо, что посадили в подвал. Если бы хотели попугать, вымогая дань, держали бы наверху, в особой комнате, куда обычно для переговоров приходил кто-нибудь из людей Каиафы. Сам Бар-Авва ни к золоту, ни к камням не прикасался, и только на словах сообщал, где и сколько припрятано для них. Зачем рисковать из-за каких-то блестящих побрякушек? Вдруг схватят за руку и завопят: «Этот перстень — с убитого! Та цепь — с покойника! Эти серьги — с трупа!» — и отправят на суд, на смерть, а потом вместо него, Бар-Аввы, обложат данью другого, нового вора, вон их сколько развелось во время смуты и бунтов!

Единственное, на что мог Бар-Авва надеяться — на свое звание. Конечно, воров в Иудее много, но пока что он — один из главных. За наглость и жестокость признан большим вором и не имеет права бросить свое ремесло. Зная об этом, Синедрион считал более разумным и выгодным брать с него выкуп, пополнять казну и собственные карманы, чем сажать под стражу или казнить. Все равно людей не изменишь, будет вместо Бар-Аввы на воровском троне другой разбойник и убийца — какая разница? Бар-Авва хотя бы всем известен и уважаем, и в силах навести порядок в своем черном мире, а что начнется после его казни — неизвестно.

В припадке откровенности этим поделился с ним сам Каиафа, повстречавшись на заре на узкой улочке возле Силоама, где Бар-Авва ночевал у одной из своих жен. Вор еще поразился тогда — что надо такому человеку в бедном квартале в эдакую рань? Каиафа был один, в капюшоне, куда-то спешил, но, наткнувшись на Бар-Авву, не увильнул, а наоборот, с высоты своего роста прицельно уставился вору в переносицу и твердо сказал: «Пока ты хозяин дна — мы с тобой, и ты с нами. Но если с тобой что-нибудь случится — тебя для нас нет. И нас для тебя тоже нет!» И добавил странные слова, которые вор хорошо запомнил: «Если хочешь осушить болото, не следует слушать жалобы лягушек и кваканье жаб».

Да, так было. А что теперь? Почему он тут, в вонючем склепе, а не на воле? Пять жен ждут его, а он гниет под землей с полутрупам. Значит, что-то случилось? Но где? С кем? С Каиафой? С Аннаном? Непонятно, откуда чего ждать. А мысли о близкой Пасхе приводили его в полный ужас — кто же не знает, что на Пасху казнят таких, как он? Неужели его предали? И воры, и брат, и друзья? Сделали козлом отпущения? Свалили на него все дела? Свели счеты? Решили сместить? Казнить? Его?

Он швырял в стену миски и пинал визжащего Гестаса, упрекая в том, что было неясно ему самому. От бессильной тоски, расвирепев, бил миской по голове умирающего Нигера — тот только булькал в ответ.

Поздно ночью Бар-Авву вдруг вызвали из подвала. Нацепили на руки и на ноги кандалы, вывели тайным ходом из дворца и куда-то повезли. Слышались конский топот и ненавистная римская речь.

В телеге пахло грязью и гнилью. Холстина наглухо приторочена к бортам, никаких щелей. По доскам дна переползали редкие блики. Валялись куриные кости. Может, здесь жрал свою последнюю курицу какой-нибудь смертник, которого везли на казнь? Вор старался не дотрагиваться до костей, хотя усидеть на корточках нелегко — телега подсакивала на колдобинах, приходилось под звон кандалов хвататься руками за липкие борта и скользкий пол.

Телега остановилась. Его выволокли наружу, накинули на шею веревку, на голову — мешок и повели, подгоняя:

— Быстрей, быстрей!

Он ругался:

— Воздуха дайте!

Но его поволокли дальше, приказывая молчать и пиная в бока. Повороты. Сквозняки. Ругань. Запах горелого лампадного масла. Звон металла, упало что-то, хохот, эхо, скрежет, солдатская брань... Сколько их за спиной: трое, четверо?... Остановили, сняли кандалы. Немного подождали. Потом сняли с головы мешок.

3. Пилат и Бар-Авва

Бар-Авва оказался в претории. Под потолком — узкие окна в решетках. Чадят два факела. За походным столом молодой солдат в легких латах что-то пишет. Стол завален белыми свитками. Среди них — чернильницы и кувшин.

Возле стола в кресле нахохлился пожилой человек. Одет богато. Сиреневая тога, шитая золотыми нитками. Строгое лицо. Короткие волосы с проседью. Руки в перстнях и шрамах, обнажены до локтей. На ногах — сандалии, украшенные камнями. Ногти покрыты хной.

Да это же римский начальник Пилат, который когда-то вербовал Бар-Авву в Германский легион! Тогда молодому вору была предложена служба в карательном отряде. А в прошлом году, как раз на Пасху, он видел этого римлянина на Лобном месте: пока Аннан распинался в преданности Риму, он под пологом, спасавшим от палящего солнца, наслаждался пузатыми персиками.

Мельком взглянув на вора, Пилат размеренно произнес:

— Манаим из Кефар-Сехания? Вор по кличке Бар-Авва?

Вор поморщился:

— Я, начальник. Звание ношу. Меня вся Иудея знает. И ты меня знаешь! И Синедриону я известен! — добавил он, подсказывая, что он — именно он, а не кто другой.

Но Пилат брезгливо отрезал:

— Я тебя не знаю. И знать не хочу!

— Да нет, знаешь... Ты меня в Германский легион вербовал! — настырно напомнил Бар-Авва.

— Да?.. — Пилат внимательнее взгляделся в лицо вора (он иногда заходил в преторию, когда там шел набор карателей). — И ты, как видно, отказался?

— Как я мог согласиться? Я вор, свободный человек! Меня и в морскую охрану хотели главным взять, такой я нужный, — солгал Бар-Авва, наслышанный, что римляне охотно нанимают охранять свои морские границы иудеев — как самых свирепых.

— Почему ты отказался от моря? Там хорошо платят!

Бар-Авва осклабился:

— Я, начальник, плавать не умею. Воды боюсь с детства, как бешеная собака. Как близко подхожу к воде — сразу дрожь пробирает. Болезнь такая есть. Я вообще болен, больше дома сижу, с детьми играю...

Пилат, взглянув в поданный писарем свиток, сухо прервал:

— К делу. Кто ограбил в прошлом месяце богача Ликия, отрубив руки, а жену отдав ворью на утеху?

— Откуда я знаю? Если бы и знал, то не помнил бы. У меня с этим плохо, — Бар-Авва хотел показать пальцем на свою голову, но солдат не ослабил цепи, не дал поднять руку.

— Пишут, что нападение на римский обоз с оружием — тоже твоих рук дело.

— Мало ли чего пишут... Я ничего такого не припомню... Я вообще давно уже делами не занимаюсь, отдыхаю...

Пилат свернул список и хлопнул им по колену.

— А грабеж ювелира Заведеева в Старом городе? Твои воры обесчестили пятерых его дочерей, а ему рот забили фальшивым жемчугом так, что он задохнулся? А? Тоже не помнишь про такие зверства?

— Ничего не знаю. Первый раз слышу.

— А ограбление купца-персиянина Гарага в этом месяце?

— Ты говоришь, не я! — огрызнулся вор.

— Где, кстати, те бумаги, которые шли в Персию, а попали к тебе? Они тебе не нужны. Отдай их мне и получишь поблажку, — недобро пообещал Пилат.

— Читать-писать не умею. Бумагами не владею, — отрезал Бар-Авва.

Пилат, вновь разворачивая свиток, упомянул еще несколько дел. Писарь спешил, шуршал пером. Солдаты переминались с ноги на ногу. Факелы чадили. А Бар-Авва как заведенный отвечал:

— Не может быть... Никогда... Нет... Не помню... Не знаю... Не был... Не ведаю... — поражаясь, сколько всего известно Пилату — выходило, что Синедрион не только топил его подчистую, но и хочет скинуть на него все нераскрытые дела!

Пилат усмехнулся:

— Да уж, трудно все упомянуть, если за душой ничего, кроме мерзости, нет... Но придется. — Он свернул свиток, щелкнул застежкой, кинул его на стол. — Пошел бы к нам наемником — может, и остался бы жить. Тебе предлагали, но ты не захотел. Я сам служил в Германском легионе. Вот! — Пилат мизинцем указал на шрамы правой руки.

— Как же! Всем известно, что ты был там большим начальником, — нагло-угодливо начал плести Бар-Авва, но Пилат повысил голос:

— Однако в легионе надо воевать. А зачем с германцами биться, если можно женщин насиловать и ювелиров душить? Там ты мог бы стать героем. А сейчас ты никто! Существо, которое все ненавидят! И скоро превратишься в падаль! Все, конец! Подожди до Пасхи! Ты-то, уж точно, по закону будешь казнен! — добавил прокуратор, поворачивая зачем-то перстень на пальце.

Бар-Авва, что-то учуяв в этих словах, уцепился за соломинку:

— А кто не по закону?

— Тебе не понять. Твоя жизнь в крови и нечистотах протекает. Не тебе судить людей. Они должны судить тебя. И засудят!

При этих словах ближний факел зачал сильнее, надломился и горящим набалдашником рухнул на пол возле стола, рассыпая искры и огонь. Писарь вскрикнул, отпрянул. Свитки и перья полетели на пол. Пилат плеснул водой из кувшина. Повалил шипящий дым.

— Принести новый! А это убрать! — Пилат насмешливо посмотрел в сторону писаря, собиравшего свитки: — Могли бы сгореть, между прочим! А за это — галеры!

Писарь, не разгибаясь, глухо спросил:

— Зажечь свечу, пока принесут факел?

— Не надо. Страх есть грех. Тебе, солдату, не стоит об этом забывать.

Писарь промолчал, наводя порядок на столе.

Полутьма и тишина. Откуда-то слышен бубнеж охраны. Скрежет железа, лай собак. Писарь застыл черным пятном, слился со своей тенью. Пилат вздыхал, ворошил что-то на столе. А Бар-Авва ничего не мог понять. Что творится? Может, его хотят просто зарезать в темноте? Или предлагают бежать?

Он украдкой попытался оглядеться, но солдат, захав древком по скуле, повернул его голову обратно. Нет, цепи натянуты!

— А те... записки Иешуа?.. Ну, ты знаешь. Не пострадали? — вдруг из темноты обеспокоенно спросил Пилат.

— Нет, здесь, на столе, — откликнулся писарь. — Только не видно без света.

— А для них нужен свет? — с непонятной издевкой произнес прокуратор. — Не помнишь наизусть? А ну, тише! — прикрикнул он, хотя в претории и так было тихо. — Говори по памяти! — приказал писарю.

Не очень уверенно писарь перечислил:

— Не убивать. Не красть. Не обижать. Не лгать. Не прелюбодействовать.

Не обжорствовать. Почитать отца и мать. Деньги раздать нищим. Не отвечать злом на зло. Прощать. Любить...

Звезды в оконцах вдруг стали такими большими, словно кто-то поднес их вплотную к решеткам окна.

— Может так жить человек? — спросил Пилат непонятно кого.

Писарь смущенно пробормотал:

— Не знаю...

А Бар-Авва обрадовался: римлянин шутит, это хороший знак! И решил тоже не молчать:

— Побольше бы таких, и у нас, воров, была бы веселая жизнь! Сиди, жди, а тебе все само в руки валится! И воровать бы не пришлось — зачем? Хорошая жизнь, даже очень! — добавил он туда, где виднелась тень начальника.

— Вот-вот, и воровства бы не было, и грабежей, и убийств... Все жили бы тихомирно, по совести... — согласилась тень Пилата и спросила: — А ты бы мог так жить?

Бар-Авва удивился:

— Я? Так? Никого не обижать? Девочек не тискать? Всех прощать? Нет, не мог бы. Да и нельзя мне уже после всего и всякого... И звание не позволяет.

Но Пилат возразил:

— А он говорит, всем можно начать жить праведно, даже самым лютым, закоренелым и отпетым, вот как ты, например...

— Или ты, — нагло ответил вор и запанибратски добавил: — Ты ведь в своем Германском легионе тоже не маслобойней ведал! Все мы такие!

— Но всем можно начать сначала, говорит он, — веско повторил Пилат.

— Кто всю эту чепуху мелет? — позванивая кандалами, спросил Бар-Авва, но вопрос остался без ответа.

Солдат внес факел. От яркого света все сощурились. Прокуратор осведомился, привезли ли Иешуа.

— Во дворе уже. Скоро будет.

Он оживился:

— Факел сюда... Поближе... А этого убрать с глаз долой! Ты обречен! — холодно предупредил он Бар-Авву, но что-то вспомнил: — Ты, вор, ведь тоже галилеянин?

Бар-Авва напрягся:

— Да, начальник, я родом из Галилеи. Вся моя родня оттуда. А что? Меня там все знают. И я всех знаю!

Пилат гнул свое дальше:

— Правда ли, что на вашем языке «Галилея» означает «земля варваров»?

— А как же! Нас всегда давили, гоняли, чужаками называли! — подхватил вор в надежде, нет ли у римлянина каких-нибудь тайных дел в Галилее, где могла бы понадобиться его помощь. — За собак держали! Если галиль, то никто, не человек! Запрещено у нас покупать, ночевать, обедать и даже здороваться с нами! Каково такое терпеть? Вот и стал вором, чтобы гордость не потерять, — спешил Бар-Авва разжалобить римлянина. — Наречие наше другое. Нас мало кто понимает. И разные люди у нас живут. А ты спроси про меня в Синедрионе, они скажут, каков я в дружбе! Почему на меня всякую напраслину наговаривают? Где такой закон, чтобы без закона судить? — расшумелся Бар-Авва, но Пилат оборвал:

— С тобой-то как раз обойдутся по закону!

И, отвернувшись от вора, сердитым шепотом приказал что-то писарю. Бар-Авва, поняв, что все кончено, грязно выругался. И зашагал из претории широким шагом, словно был свободен от цепей, за концы которых злобно дергали, осаживая, солдаты.

В подвале ничего не изменилось, только вонь стала сильнее, свет — слабее, а

воздух — гуще. В сизой мгле карманник Гестас, сторбившись, бродил из угла в угол. Потный Нигер лежал, распластавшись в блевотине.

— Почему не убрал? — Бар-Авва злобно пнул щипача. — Этот кончается, а ты живой еще.

— Воды нет. Как убрать? Его самого убрать пора. Что тебе сказали? — спросил Гестас без особой надежды.

— Ничего. Ничего не понятно. Убрать надо. Стучи в дверь!

На стук никто не явился. Воды оставалось на одного. Бар-Авва забрал воду себе. Гестас, послонявшись, завалился на солому. Вор покачал головой: «И перед казнью будет дрыхнуть!» — уселся на корточки возле двери, из-под которой пробивалась тонкая струйка живого воздуха. Затих. Он смотрел на Нигера, думая неизвестно о чем и о ком: «Вот и жизни конец, собака ты шелудивая...»

4. Каиафа и Бар-Авва

Ночь была на исходе. Щипач Гестас, свернувшись по-лисий клубочком, похрапывал на полу. Нигер раздирал себе в агонии грудь, шею и живот. А Бар-Авва обдумывал свое несчастье. Убеждаясь, что выхода нет, впадал в молчаливую ярость из-за того, что все забыли о нем, а потом успокаивал себя: нужно время, чтобы подкупить стражу, уломать ее на побег. Бежать из этих подвалов трудно! Двор полон охраны, и дома вокруг Дворца тоже под охраной. Где брат Молчун? Взят или на воле?

Под утро дверь приоткрылась.

— Бар-Авва! — пробежал сквозняком шепот. — Очнись!

— Я! — быстро и ясно отозвался тот, как будто вовсе не спал, подскочил к двери: — Кто? Что?

— Выходи!

Дверь выпустила Бар-Авву наружу, к двум фигурам в капюшонах.

— Пошли. Быстрей!

Фигуры в капюшонах двинулись быстрым шагом, одна — впереди, другая — сзади. Вор заспешил, одновременно боясь смерти сзади и надеясь на неизвестное чудо впереди. Он шел, как во сне, мимо влажных стен, глухих дверей с засовами, мимо молчаливых солдат в нишах. Сзади шаркали шаги замыкающего. Поднялись из подвала. Дверь в угловую комнату распахнута. Жестом приказано входить.

У мраморного столика при семи светильниках сидел Каиафа. Худое, верблюжье лицо. Впалые щеки. Мелкие глаза с черепашьими веками. Тиара. Черная накидка поверх белого балахона. Руки скрещены. На столике — пергамент и калам.

Первосвященник, не шевелясь, подбородком презрительно указал вору на скамью у столика:

— Ты знаешь, что ты всеми ненавидим. Когда тыходишь в дом, все хотят выйти из него. Когда ты выходишь, все вздыхают с облегчением. Никто не хочет дышать с тобой одним воздухом. Ты — скорпион, которого не касаются, чтобы избежать яда!

Бар-Авва, слушая вполуха, вдруг успокоился: что-то этому верховному куму надо, раз начал про пауков рассказывать! Подмывало спросить, что делал этот начальник саддукеев ранним утром возле Силоама при их последней встрече — небось, из гарема от своих мальчиков шел! Но вместо этого вор соорудил гримасу покорности и сложил на коленях большие кисти в один громадный кулак.

Каиафа уставился ему в лоб:

— Ты губитель тел. Но ты нужен нам сейчас больше, чем тот, другой... На Пасху спасти надо тебя, а не его. Но есть помеха — римлянин, Пилат. И его супруга, Клавдия Прокула, всюду свой нос сует... — Каиафа неодобрительно задвигал губами. — Она не палки вставляет в колеса, а бревна. Но я придумал, как обойти эти завалы.

— Как? Я все сделаю! Все отдам, только спаси! Выпусти! — горячо зашептал вор. — Ты же знаешь, у меня есть много, очень много чего...

— Нет, не так... Римлянину ничего не надо, он богат и от нас денег не берет. Сделаем по-другому, — Каиафа выпростал руки из-под накидки. — У тебя есть имя и власть среди вашего сброда. Сделай так, чтобы в день суда на Гаввафе был только твой черный воровской мир — и все будут спасены. — И уверенно подтвердил: — И ты, и я, и все остальные будут спасены!

— Черный мир? Воры? — не понял Бар-Авва.

Первосвященник поморщился:

— Да, да! Подряди своих воров по всему Иерусалиму: пусть подкупают, запугивают, не пускают простой люд на Лобное место, а в день Пасхи приведи туда своих... твоих воров и разбойников, всех ваших! — он провел узкой ладонью перед грудью вора, будто хотел разрезать ее. — Пусть в эту проклятую пятницу на Гаввафе будет только воровской мир! Так решил Аннан.

— Зачем? — не понял Бар-Авва, подумав: «Всех разом хотят взять?»

Каиафа пошевелил тонкими длинными пальцами (на одном блестел опал в серебре, хорошо знакомый Бар-Авве). Терпеливо стал объяснять:

— Пилат тебя приговорил к смерти. По нашему закону на Пасху одного из приговоренных народ должен отпустить. Когда у народа спросят: «Кого отпустить?» — пусть твои воры и разбойники кричат: «Бар-Авву отпусти!» И все, дело сделано, обязаны отпустить!

Тут до вора дошло:

— Меня? Отпустить? Воры попросят?

Каиафа удовлетворенно кивнул:

— Да, тебя. И жабы будут довольны, и болото осушено. Мы тебя спасем, а ты — нас... — добавил он что-то непонятное, но вор не стал вникать. — Бери калам, пиши своему брату Молчуну, что ему надлежит делать. Пиши сам, своей рукой. Письмо он получит через час, он уже на свободе, ждет твоего приказа. А дальше — ваша забота. Мои люди тоже помогут, если надо.

Бар-Авва схватил пергамент и накарябал: «Брату Молчуну, здравствовать! Пойди на Кедрон, вырой золото, подкупи, подмасли, запугай работяг, чтоб на Пасху не шли на Лобное место. Туда приведи всех наших, сделай там сходку. Когда спросят, кого отпустить, пусть все кричат меня. Твой брат Бар-Авва».

Каиафа брезгливо взял письмо, разомкнул скважину рта:

— Теперь надейся и жди. Ты в Бога не веришь. Так молись своему Сатанаилу, чтобы все было сделано вовремя и правильно.

И, спрятав письмо под накидку, важно выплыл из комнаты — длинный, худой, уверенный в себе и гордый даже со спины. Вместо него в проеме возникли провожатые. Вор поднялся. Ему жестами приказали выходить.

Коридор миновали быстро. Солдаты в нише ели утреннюю похлебку. Бар-Авва стал жадно принюхиваться к запаху еды, хотя до этого думать о ней не мог. Радость будоражила, подгоняла, распирала, он так спешил, что наткнулся на ведущую фигуру в капюшоне. Тот обернулся и показал из-под полы кинжал. Узнав по плащам синедрионских тайных слуг, вор отпрянул. Зачем нарываться? Он скоро будет на свободе, а они, шныри, сдохнут тут, под землей! Какая разница, с какой стороны решеток гнить? Им — тюрьма, ему — воля!

Возле его двери остановились. Фигура обернулась, вытаскивая что-то из-под шуршащего плаща. Ожидая кинжала или кастета, он напрягся, но это была круглая дыня, которую сунули ему в руки, прежде чем втолкнуть в подвал.

Вор понюхал дыню. Она вдруг легко распалась на две равные половины. Вместо

семян в ложбинке что-то завернуто. Он развернул тряпицу. Опиум размером с грушу. Вор так обрадовался зелью, что, уронив дыню, кинулся к шайке с водой.

Гестас, приподнявшись на локте, спросил спросонья:

— Что? Куда? Зачем?

— Ничего, спи. Стража дыню дала... Бери, жри...

И Бар-Авва ногой подкинул ему упавшие куски. Плевком затушив фитиль, в темноте оторвал от опиума кусок в полпальца, запил остатками воды, повалился на подстилку и обругал себя за тупоумие: надо было Каиафе родиться, чтобы ему спастись? Как сам не додумался на Пасху сходку воров созвать на Гаввафе?

Вот и найден путь. Теперь надо ждать. Он верил в свою звезду. Хотелось жить: есть, пить, тискать баб. Догонять тех, кто убегает. Расправляться с врагами. Смотреть на их слезы. Хватать и рвать! Брать, где можно и нельзя. Выжидать, пока другие соберут золото, деньги, камни, а потом разом отнять! А потом пировать! Ласки-пляски-сказки! Да как же иначе?.. Он — хозяин черного мира! Торгаши, менялы, барыги, лжецы, щипачи, разбойники с большой дороги — все в его власти! Его слово — закон! Бар-Авва — бог для всей шелупони!

«Царь воровской!» — мечтал он, ощущая в себе проростки опиума — первые пугливые всходы. Но скоро их будет больше. Они станут все жарче, сладостнее и настырнее, пока не заполонят и не унесут туда, где можно месить ступнями облака и млеть в истоме, погружаясь в блаженство, как дельфин — в родные воды.

Он чесал зудевшее тело. Молчун на воле. Он справится с делом. И все будет, как прежде. И все снова станут целовать Бар-Авве руки и лизать пятки. Очень хотелось жить. Умирать — не хотелось.

Он ворочался. Садился. Принимался подсчитывать, сколько народу может вместить Гаввафа, сколько артелей и лавок надо обойти, чтобы заставить работяг сидеть по норам и носа не показывать на Пасху. Мысленно пересчитывал тех воров, кто из уважения к нему придет на сходку, и тех, кого силой и угрозами необходимо обязательно привести, чтобы крикнули, когда надо. Сделать непросто, но очень даже можно.

Вспоминая тех, кто мог увильнуть или подгадить, он вслушивался в стоны Нигера, с неприязнью думая, что вот этот павиан отрезал головы, отрывал уши с серьгами, отбивал для потехи яйца, выедал глазные яблоки, чтобы стать зорким, а теперь? Где твоя зоркость, негр? Тьму видишь ты! А я буду жить и радоваться! — усмехался вор, вспоминая тягучие, как верблюжья слюна, слова Каиафы о том, что он, Бар-Авва, не верит в бога. А где этот бог? Если б он был, то разве на земле хватило б места таким, как Нигер?.. Нет, таким бы не было места! А раз они есть, то и бога нет! А сами вы во что верите, мешки золота и алчного семени?.. — забываясь в опиумном полусне, с презрением думал вор о Синедрионе, медленно расчесывая волосатое тело, плывущее в потоке неги.

5. Сходка

Первым делом Молчун с племянном Криспом распределили, кому и где ходить по Иерусалиму, подкупая народ, а сами двинулись к Гончарной улице. Узкие переулки были забиты детьми, ослами, повозками. Стояла жара. Возле лавок пусто. Под лавками дремали разомлевшие кошки. Торговки внесли фрукты внутрь, а овощи прикрыли от дикого солнца холстиной.

Крисп остановился около дома из красного кирпича:

— Здесь староста гончаров живет. Матфат.

Ругаясь и спотыкаясь, воры пробирались между гончарных кругов, готовых площадок и мисок, мимо горок глины и песка. Приникли к узкому окну.

— За вечерей сидят! Подождем. Сейчас лучше не заходить, быдло злится, когда им траву есть не дают... — ворчливо заметил Крисп.

Молчун поморщился:

— Плевать! — и без стука распахнул дверь. — Всем — радоваться!

— И вам радоваться! — поперхнулся староста Матфат при виде гостей.

Старик-отец нахмурил брови, величественно встал из-за стола и вместе с невесткой и внуками вышел.

Крисп сел напротив гончара:

— Ты знаешь нас?

— Знаю, как не знать... Вас все знают. Угощайтесь! — Матфат суетливо пододвинул тарелки.

Крисп говорил, а Молчун не спеша брал кусочки мацы и крошил их в сильных пальцах, поднимая злые выпученные глаза на гончара, отчего тот ежился и терялся.

Так продолжалось несколько минут. Крисп говорил, гончар не понимал (или не хотел понимать), чего от него хотят: на Пасху, в пятницу, не ходить на Гаввафу, сидеть дома. Почему? Кому он помещает там с детьми и женой? Ведь праздник, дети ждут, жена новое платье купила?!

Молчун, стряхнув на пол крошки, развязал мешок и усталился на Матфата своим тяжелым, омертвевшим от опиума взглядом:

— Чтoб я не видел тебя на Пасху на Гаввафе! Ни тебя, ни жену твою, ни твоих выроdkов, ни твоего отца! — он отсчитал деньги. — Вот тебе тридцать динариев. И чтoб мы никого из твоей артели на Гаввафе тоже не видели! А увидим — плохо всем будет!

— Э... — замылся Матфат, в замешательстве глядя то на деньги, то на воров, и прикидывая: «От разбойников не избавиться... Лучше взять... Но как по домам удержать гончаров в праздник? Чтo им сказать? Как объяснить?» — А... кого в пятницу судят? — осмелился спросить, все еще надеясь увильнуть от неприятного и непонятного задания.

— Не твое дело, — хмурo отозвался Молчун. — Кого-то... И еще кого-то... Пустомелю одного... какого-то...

Гончар чтo-то слышал:

— Не Иешуа зовут? Деревенщина из Назарета? Народ подбивает против властей? Говорят, даже колдун! Порчу наводит и заговоры снимает. С ним целая шайка привороженных ходит. Одно слово — галиль!

— Главное, чтoб ты на Пасху дома сидел, — оборвал Крисп. — Ты и вся твоя родня, и вся твоя артель! Не то плохо будет и тебе, и всем остальным, по очереди! Приказ Бар-Аввы!

— Ты усек? — грозно переспросил Молчун, надвигаясь на гончара.

— Да, да, как не понять? — залепетал Матфат, пряча деньги. — Будем дома, никуда не пойдем... Больны будем... Плохо нам будет... И всем гончарам прикажу... Все, как велено, сделаю... А Бар-Авве от всего народа — радоваться!

Не слушая рассыпчатой болтовни, вoры уже хлопнули дверью и пошли на другую улицу, где жил староста пыльщиков. А по дороге решили подолгу не церемониться — времени в обрeз. Поэтому просто вывели старосту на улицу и, дав ему пару увесистых тумачков, приказали:

— В пятницу на Пасху твоим дуборезам сидеть по домам! Не то склады могут вспыхнуть! Дрова горят быстро, сам знаешь!

Они оставили его в покое, а деньги, ему не данные, отложили в особый мешок — на прокорм вoрам, попавшим в рабство.

Пять дней и ночей ходили по Иерусалиму люди Бар-Аввы, скупали и запугивали народ, запрещая под страхом смерти появляться в пятницу на Гаввафе. Делать это не трудно — вoров знали в лицо, боялись за себя и детей, не хотели неприятностей,

а многие бедняки охотно соглашались за мелкие деньги остаться дома. Да и что мог сделать простой люд против разбойничьих шайк, вдруг наводнивших кварталы и пригороды Иерусалима?

Стычек не было, если не считать перепалку с точильщиками ножей — те, как всегда, хорошо вооружены и настроены воинственно, но подкуп решил дело.

Долго бились вору только с вожакom нищих Абозом. Он упрямо хотел вести своих калек на Лобное место, будучи уверен, что там они избавятся от хворей. Он даже отказался от драхмы серебром. Его поддерживали другие слепцы и попрошайки. С нищими сладить непросто: побоев эти битые-ломанные не боятся, терять им нечего, отнять нечего, сама смерть их не пугает, многих даже радует. А вот надежда на исцеление велика. Ведь сам вожак Абоз был так вылечен этим странным Иешуа: обезноженный после драки, под его взглядом встал и пошел. Тумаки Молчуна и уговоры Криспа только раззадорили вожака. Тогда вору пообещали затоптать и забить насмерть его калек, если те вздумают приползти, куда не велено.

Деверь Бар-Аввы, Аарон, спешно рассылал секретные письма по Иудее и окрестностям, приглашая воров на большую пасхальную сходку по зову Бар-Аввы. Ему была также поручена охрана входов на Гаввафу. В день суда гнать прочь случайных зевак, убогих, мытарей, попрошайек, а пускать только своих, проверенных. Конечно, всюду будет римская солдатня, но они в иудейской речи не смыслят, им на все наплевать, лишь бы обошлось без давки и драк. А этого уж точно не произойдет там, где порядок наводят вору.

И уже, говорят, прибыли первые гости из Тира и Сидона. Ждут разбойников из Тивериады. Вифания посылает главного содержателя городских борделей с толпой горластых шлюх, чтоб громче кричать и визжать, когда будет надо. Из Идумеи спешат наемные убийцы. Из Египта — гробокопатели и грабители могил. От Сирии едут дельцы и менялы. С Иордана придут убийцы и палачи, служки воров. Обещали быть и другие...

А в это время шури Бар-Аввы, Салмон, с шайкой молодых воров ходил по борделям, шалманам, харчевням, извещая сводников, пропойц, деляг, проходимцев, шукарей и всякий темный люд о приказе Бар-Аввы идти в пятницу на Гаввафу и кричать Бар-Авву, когда спросят, кого отпустить. За это обещаны вино и веселье. Все были возбуждены и рады, только одна какая-то шлюха из Магдалы попыталась было перечить и лепетать о чудесах, но ее подняли на смех, надавали оплеух и пригрозили бросить в мешке в пустыню, если она не заткнется.

Прежде чем разойтись, Крисп и Молчун присели возле пруда. Крисп устало пробормотал:

— Ловко придумал дядя Бар-Авва! Он самый главный, самый умный!

— А как же... — поддакнул Молчун. Подумал про себя: «Может, это и не он вовсе такой умный, а Каиафа или кто другой», — но вслух ничего не сказал. Незачем кому-то, даже теткинoму сыну, знать, что он, Молчун, был пойман, посажен в узкий карман, где не повернуться, и ждал худшего, но его вдруг тайно и спешно выпустили на волю, сунув записку от брата. А чей это был замысел — брата, Каиафы или кого другого, — Молчуну доподлинно неизвестно. Да и какая разница? Лишь бы брат был цел и невредим! И мог бы править воровским миром до смерти! Тогда и у Молчуна будет все, что надо для жизни.

Крисп еще что-то говорил, но Молчун не откликался. Он вообще считал речь излишней: к чему слова, когда есть дела? Дела — видны! Их можно пощупать, понять. А слова — что? Воздух, пустота. «Если хочешь превратить свою жизнь в рай, не трать слов и сил на шакалов и тараканов, дави их, пока не передохнут!» — так учил брат Бар-Авва. И так Молчун будет жить. И Крисп. И Салмон, шури. И Аарон, деверь и умник. И вся остальная родня, потому что воровские законы самые справедливые. А хотят другие жить по этим законам или нет — все равно. Их не спрашивают. Будет так, как надо, а не так, как они того возжелают.

6. Казнь

В пятницу, на Пасху, с неба жгло неимоверно. Иерусалим накалился, словно котел на углях. У детей шла носом кровь. Старики, охая и кряхтя, охлаждали головы мокрыми тряпками. Собаки, вывалив языки, лизали камни у пересохших водоемов. Дико блеяли жертвенные бараны. Воздух дрожал от жары. Из щелей вылезали скорпионы и убивали себя на побелевших от зноя плитах.

Даже центурионы роптали. Они просили прокуратора Пилата разрешить им снять железные доспехи, обжигавшие их, как кипяток, но прокуратор, издерганный бессонными ночами, злился и гнал их прочь, крича: «Стыд не дым, глаза не выест!»

К утру на пустоши за городскими стенами, на Гаввафе, собралась разномастная толпа учеников и почитателей Бар-Аввы со всей Иудеи, из Самарии, Тивериады и других окрестностей.

Степенно сидели на раскладных скамьях, не прикрывая голов, большие воры-законники из Тира и Сидона. Рядом расположились посланцы от дамасских воров. Скучали мрачные широкоплечие убийцы, негры-наемники. Повизгивали веселые бабы, которых исподтишка тискали в тесноте. Нечистые на руку купцы — носатые персы, хитрые сирийцы, скупые иорданцы — заключали под опахалами сделки. Сновали особые люди в красных шапках набекрень, предлагая купить рабынь с севера. Молчаливые ростовщики и крупные менялы держались отдельно, в своем кружке — им совсем не светило находиться тут, но что поделаешь, если миром правят Бар-Авва и такие, как он? Возле них гомонили самозванные лекари, чей заработок состоял в продаже сомнительных снадобий, выдаваемых за лекарства. Скупщики краденого шныряли глазами по толпе, к ним время от времени кто-то подходил по делу. Мошенники, собравшись веселой кучей, обменивались новостями, как лучше дурить и обжогоривать глупых римлян, не понимавших местный язык. Игроки тут же, на земле, резались в кости — для них закон не писан. За игрой наблюдали гробокопатели из Египта (они доставляли в Иудею мумии для изготовления целебной настойки шиладжит¹).

Низкий утробный верблюжий рев вперемежку с истошными воплями ослов висел над Гаввафой. Звери беспокоились и лягались, как при близкой непогоде.

Бродили в толчее разносчики вина и гашишного зелья. Водоносы устали бегать к чанам за водой. Торговцы снедью тоже не зевали, но сильно снизили цены, опасаясь гнева воруя. Вспыхивали мелкие перебранки: от нечего делать вспоминались старые свары и ссоры. Купцы, вечные жертвы воров, громко зевали, мысленно проклиная всех подряд и себя в первую очередь.

Устали молодые воры, гнавшие прочь калек, босяков и попрошаек, от которых можно ожидать, чего угодно. Они даже не хотели пускать на пустошь женщин, пришедших вместе с Мирьям, матерью Иешуа, но потом пустили, оттеснив подальше, в самый конец толпы. И там они скорбно замерли. С ними был Йосеф из Аримафеи, чей сын был излечен Иешуа одним прикосновением. В заплечном мешке у Йосефа — ткань, чтоб завернуть тело, если случится святотатство, и Иешуа будет казнен.

В толпе кружили племяши Бар-Аввы, шепотом, на ушко звали на вечернее празднество в честь своего дяди: «Бурдюки полны вина, баранина томится в котлах!»

Под ногами мельтешила черно-белая собачонка Афа. Заглядывала в лица, рычала, скулила, вставала на задние лапы. Ее грубо пинали под зад, а она опять бросалась к людям, повизгивая и поджимая хвост, будто что-то выпрашивая или желая сказать.

¹ Мумие.

Центурионы не подпускали людей к трем крестам, что сколоченными лежали на земле. Возле каждого вырыта яма, куда предстоит водрузить крест с казнимым.

К середине дня, когда ожидание стало нестерпимым, толпа по знаку Молчуна загудела. Старейшины поняли, что дальше тянуть нельзя, но еще не привезли смутьяна Иешуа от Ирода Антипы, куда тот был послан для развлечения царя.

Вот прогромыхала телега. Под палящее солнце вывели Бар-Авву, покорного Нигера и карманника Гестаса. Бар-Авва встал возле черневших на земле крестов и, усмехаясь в бороду, принялся искать в людском скопище знакомые лица. Кивал головой, подмигивал, со звоном поднимал руки в цепях. Нигер рухнул на землю, затих. А Гестас, догадываясь по хорошему настроению Бар-Аввы о подкупе или побеге, сам не надеясь выжить, оглядывал небо, что-то бормоча.

Показался в парадном одеянии усталый прокуратор Понтий Пилат. За ним гуськом шествовали главы Синедриона, сухопарые, напыщенные, гордые. Первым шел Анна, за ним — Каиафа в высокой тиаре с лентами слов из Второзакония. Они расселись по скамьям. Пилат — отдельно, в стороне, на богато украшенном выносном кресле под опахалом, которое держал над ним здоровенный негр.

Бар-Авва напрягся перед допросом. Но его никто ни о чем не спрашивал. На него даже не смотрели. Это и пугало, и радовало.

Как-то незаметно рядом с Бар-Аввой возник худосочный сутулый человек. На голове — шутовской веночек из колючего терна, на лице — ссадины и кровоподтеки. Он ни на кого не смотрел, лишь тяжело и глубоко дышал.

Пилат задержал на нем взгляд, почесал бородавку на щеке и громко, перекрывая гул, воскликнул:

— Народ иудейский!

В толпе прокатились смешки и хохот, кто-то закричал по-ослиному, кто-то на всю Гаввафу высморкался.

Прокуратор поморщился, пожал плечами:

— Сегодня мы, Пятый Прокуратор Иудеи, наместник императора Тиверия, и ваши старейшины, ваши избранники, судим четырех возмутителей жизни, преступников закона. Трое из них — насильники, часто обижавшие вас и ваших близких...

Толпа загудела общим недовольным голосом.

Прокуратор разозлился, хлопнул пухлой ладонью по подлокотнику:

— Четвертый же — насильник над душами человеков! Так считают ваши законники, я же не нахожу в нем ничего опасного. Вот он стоит перед вами, именем Иешуа. Поглядите на него! Разве он здрав в уме? Ответь, Иешуа из Галилеи, верно ли, что ты в своих беседах называл себя царь Иудейский, подрывая тем самым основу основ? Это так?

Сутулый поднял лицо:

— Ты говоришь — не я...

Толпе надоело слушать: она зашумела, загудела, заулюлюкала. Кто-то заблеял козлом, засвистел по-разбойничьи с переливами. Закукарекали и затопотали.

Что-то неразборчиво кричал Пилат, но ему никто, кроме сутулого, не внимал. Даже не слышали давно ожидаемых слов:

— Кого вы хотите на Пасху? Этого блаженного или вора? Кого отдать вам?

Вдруг из толпы выскочила черно-белая собачонка и с заполошным лаем метнулась к Пилату. Стражник успел взмахнуть мечом — лай перешел в визг, брызнула кровь, собака крутанулась.

Толпа засвистела, заорала. Такого развлечения никто не ожидал.

Собака, хрипя, пыталась ползти. Задние лапы бессильно волочились по земле,

кровь текла из раны. Она подобралась к сутулому и бессильно уткнулась мордой в его ногу.

Иешуа присел на корточки, коснулся ее, сказав тихо и внятно: «Афа, беги!» — и собака, вскочив вдруг на лапы и отряхнувшись, бросилась мимо центурионов в чахлые кусты вблизи проклятого судилища.

Толпа, глубоко вздохнув единым охом, затихла.

Синедрион молча переглядывался. Каиафа пораженно спросил у Анны:

— Как он это делает?

На что Анна пожал плечами, пробормотав:

— Плевать! Вели его труп закопать в навозе, чтобы и костей не осталось!

Пилат, остолбенев, смотрел на все это, потом, опомнившись, возгласил:

— Я ничего достойного смерти не нашел в этом Иешуа! Он даже умеет делать всякие фокусы! Кого же отпустить? Его ли, умалишенного фигляра, или вора Бар-Авву?

И черный мир понес к солнцу громовое округлое всеохватное имя хозяина:

— Бар-Авву пусти! Бар-Авву! Пусти! Бар-Авву! Пусти-и-и!

Вдруг к ногам Пилата прорвалось нечто в рваной мешковине на голом теле. Пало на колени, по-сумасшедшему тряся рыжей головой. Взметнуло гибкие руки, пронзительно взвизгнуло:

— Назорея-учителя пусти! Его пусти! Назорея!

Аннан, взглядевшись слабыми глазами в пыль, зашептал:

— Иуда Искарriot? Зачем тут? Ему же дадены деньги? Чего еще?

Но молодые воры уже волоком за волосы тащили Иуду в толпу, а Каиафа лишь развел руками:

— Полна безумцами наша земля!

Бар-Авва, с которого грубо сорвали цепи, с достоинством отвесив полупоклон Пилату, медленным и важным шагом прошествовал в толпу, где людское месиво упрятало его в своих недрах, надежно сомкнувшись.

Удалился и Пилат со стражей из отборных бойцов Германского легиона. Он был раздражен, думая только о тени своего балкона: прочь отсюда, от адской жары, грязи и нечистот, от этих восточных дикарей, что спасают убийц и ненавидят праведников! Подальше от человеческой подлости и алчности! У него есть время стать другим, чистым и беспорочным, как пообещал ему Иешуа на допросе. А что еще надо в старости, перед встречей с богами? Тишина и покой — удел избранных, а разве он не принадлежит к ним? Не заслужил? Не удостоился? Но кто раздает эти привилегии тишины и покоя — большое сифилисом животное Тиберий? Юпитер? Господь Бог сутулого Иешуа, имя которого не произносимо иудеями под страхом смертной казни? Да и кто он, этот Иешуа, исцеляющий словом и перстами?

Дальше на Гаввафе распоряжался Каиафа.

Солдаты начали по одному укладывать казнимых на кресты, вязать руки к доскам, прибавать ступни. Отлили водой Гестаса. Нигер что-то хрипел, мало понимая, что происходит. Его волоком подтащили к кресту. Двое из гвардии грубо кинули Иешуа на крест и принялись веревками приторачивать его руки к перекладине.

Толпа стала редеть. Первыми покинули Гаввафу большие воры из Тира и Сидона вместе с дамасскими подельниками. За ними потянулись купцы с менялами и ростовщиками. Гомонили мошенники и щипачи, перекликаясь и перешучиваясь — они всегда веселы и начеку. У скупщиков краденого в такт шагам брэнчали мешки. Игроки спешно доигрывали кон, собирая с земли монеты и переругиваясь. Тащились прочь молчаливые гробокопатели из Египта. За ними топали убийцы. Мелкая шушера осталась смотреть казнь.

Синедрион тоже двинулся на выход.

Вдруг к Каиафе протиснулся Йосеф из Аримафеи:

— Досточтимый! Не откажи! Хочу похоронить! Он сына моего спас! Зачем вам его тело? А я похороню, как надо!

Каиафа с презрением сквозь зубы пробормотал:

— Десять тетрадрахм.

Йосеф на ходу отсчитал монеты, незаметно сунул Каиафе, и тот, украдкой спрятав их, вполголоса приказал службе отдать Йосефу тело главного бунтовщика, когда все будет кончено: «А может, и раньше, пусть сами возьмется...»

Вскоре на пустоши остались лишь калеки да убогие, сумевшие просочиться на площадь. Женщины вместе с Мирьям смотрели издали, не приближаясь. Лица заплаканы и скорбны. Йосеф из Аримафеи плакал навзрыд.

Распятые на крестах подавали голос. Нигер стонал, склонив на грудь бычью голову. Гестас то просил пить, то цеплялся к Иешуа:

— Ты! Дурачок! Если ты царь и бог, спаси нас!

Иешуа в ответ ему прошептал:

— Истинно говорю тебе — ныне будешь со мной в раю!

Но Гестас не унимался:

— Будь ты проклят, пустомеля! Прощельга!

Так длилась казнь. Гаввафа опустела. Женщины с Мирьям и Йосефом из Аримафеи да какие-то убогие и калеки остались на пустоши дожидаться конца. Они подползали к кресту Иешуа и целовали его.

Солдатам надоело возиться с казнимыми. Они отбросили молотки, губки с уксусом, копья, и сели в стороне ждать, когда можно будет разойтись по казармам, где уже наверняка варились чечевичная похлебка.

Едва спустились сумерки, как вдруг сделалось совсем темно. Солнце померкло, и громовые раскаты провозгласили близкую грозу.

Иешуа произнес громко и отчетливо:

— Отче! Тебе предаю дух мой!

Но его почти никто не услышал — все бежали с пустоши, спеша укрыться от надвигающегося ливня. Лишь женщины с Мирьям скорбно и неотрывно смотрели на кресты — что они могли сделать? С ними стоял заплаканный Йосеф, держа наготове саван, в который надлежало завернуть тело.

Один из центурионов не выдержал. Оглядев багровое небо в сполохах, он под первыми каплями дождя всадил поочередно копье в сердца казнимых.

Все кончено. Под обрушившимся ливнем Йосеф с женщинами сняли тело Иешуа с креста и обернули тканью. Вместе дотащили его до повозки, после чего Йосеф с возницей повезли тело в неизвестное место, хотя Мирьям встревоженно и безответно спрашивала, куда отправили тело ее сына.

Кресты с Гестасом и Нигером продолжали стоять, никто не заботился об их телах — они были предоставлены дождю, ветру и хищным птицам. Только позже, в ночи, придут мародеры — они стащат тела с крестов, поснимают с них жалкую одежду и продадут ее на базаре — дохода мало, но лучше, чем ничего.

7. Иуда-правдоискатель

Прошло семьдесят лет от рождества Иешуа.

По лесной горной тропе шел старик с узлом за спиной. Он еле волочил ноги, проваливаясь в палую листву, спотыкаясь и разговаривая сам с собой. Звали его Иуда Алфеев, родной брат апостола Иакова.

Вечерело в горах рано и сразу. Иуда, занятый своими мыслями, не заметил заката, рдевшего над лесной чащобой, но сумерки заставили его прибавить ходу.

Душно. Пахло прелью. За деревьями вставала мгла, а ее Иуда боялся. Спеша и заплетаясь ногами в листве, заставлял себя идти еще быстрее, хотя сил не хватало: болело сердце, как иголками кололо в боку, а глаза, беспокойно бегая по зарослям, искали и не находили места для ночевки.

Чуть в стороне от тропки потрескивал огонь, тянуло дымом. Иуда обрадовался всем своим существом. Продравшись через кусты, вышел из темноты к костру. Двое мужчин подняли головы, всполошились — им показалось, что подошел сам сатана! Иуда не удивился их испугу, он знал причину: правая часть его лица была покрыта ярко-багровым, густо поросшим волосами родимым пятном. Старик знал также, что не столько само пятно, сколько дико смотревший из кроваво-красного окружения глаз пугал людей, а имя Иуда вызывало у некоторых стойкую злобу и подозрение.

— Мир вам! — настороженно придвигаясь к огню, проговорил Иуда. — Разрешите заблудшему отогреться у вашего костра?

Мужчины подозрительно разглядывали его: пегие волосы, угрюмое лицо, продранный балахон, костлявые ноги в худых сандалиях — вроде бы простой странник. Но пятно?!

Иуда стоял в нерешительности, затем, обмякнув, сделал шаг прочь. Старший лесник Косам позвал:

— Мир тебе! Иди к нам!

Иуда молча сел, развязал узел, достал дрожащими пальцами лепешку и вяленую баранину. Не поднимая глаз, предложил:

— Разделите вечерю, не гнушайтесь... — и разломил лепешку на три части.

Косам покопался в торбе, вытащил кусок сыра:

— На, поешь. Мы уже...

— Кто вы? — спросил Иуда, не притрагиваясь к еде и украдкой рассматривая людей. Он почему-то боялся взгляда молодого и старался сесть так, чтоб не оказаться к нему спиной (казалось, что тот хочет всадить в него нож).

— Лесники мы. Я Косам, это Йорам. А ты кто? Куда идешь?

Иуда не признавал лжи даже во спасение, считал ее самым страшным из грехов, но все-таки поколебался — очень уже тепло и светло было у огня. Однако совесть пересилила, и он тихо произнес:

— Я иду к Луке. Меня зовут Иуда.

Но договорить не успел: Йорам побледнел, а Косам полез за пазуху:

— Слышали мы от Луки о таком! Не тот ли ты Иуда, что предал Иешуа? Иди прочь, собака! Предатель! Изменник! — Он повернулся к брату: — Я так и подумал сразу. Смотри, вся рожа заклеимена. Еще не убили тебя? Так я убью, возьму сладкий грех! Иди прочь, гадина, пока жив!

Иуда виновато пробормотал:

— Я не тот Иуда... — Но засуетился, собрал наскоро узел и ушел в темноту. Братья еще долго слышали затихающий шорох листвы.

Свернув с тропинки, Иуда углядел место под старым деревом, притоптал его и лег, подложив под голову узел.

Но заснуть не смог. В тишине стала медленно приходить его каждодневная пытка — все громче и мощней раздавались людские голоса: визгливые женские, низкие мужские, пронзительные детские, хриплые старческие. Они вопили на разные лады, ругали Иуду по-всякому, превращая его слух в адское сонмище криков. Голоса что-то требовали, угрожали, издевались.

Шумел ночной безлунный лес. Шумело и скрипело дерево, под которым, свернувшись серым клубком, дремал старый больной Иуда, несправедливо заклеименный человеческой ненавистью на многие годы.

...Сразу после казни Иешуа, он, Иуда Алфеев, брат апостола Иакова Алфеева, ушел из Иерусалима. Ему опротивел народ, предавший Учителя, а его ученики, дрожавшие в страхе перед римскими мечами, стали омерзительны. Никого из апостолов не было на Гаввафе! Ни одного! Он и сам себе был невыносим — жалкий, забитый, неуклюжий, с печатью смерти на лице. Он боялся своего имени. После предательства Иуды Искарриота оно звучало, как бич. Толпа, совершив подлость, нашла виновника: Иуда! Он виноват во всем!

Подальше от родины уходил Иуда Алфеев. Бродил по Идумее и Сирии. Пытался приобщить к заветам Иешуа язычников в Аравии. Жил с пещерниками в пустынях Египта. Доходил до Йемена, где люди на верблюдах, увидев клейменое багровым пятном лицо, гнали его прочь, крича: «Шайтан! Шайтан!» И он уходил, как побитый пес. Постепенно появился и рос страх перед людьми. Он не мог ходить по многолюдным улицам, казалось, что все встречные норовят унизить его. С опаской вглядываясь в людей, жался к стенам и брел, куда глаза глядят. Питался, чем попало, спал, где придется, и время от времени слышал голоса, отдававшие ему разные приказы.

Забрел он и в общину Кумрана, где жили ессеи, или кумраниты, лишенные всех благ земных: золота, женщин, вкусной еды и веселого вина. Ессеи не приняли Иуду, сказав с презрением, что апостол Иаков превратился в саддукея, разбух от богатства и разврата, а он, Иуда, родной брат Иакова, да еще клейменный, посему нет ему, грязному, места в их общине.

Тогда он решил идти к брату и добиться справедливости: пусть Иаков громко признает, что он, Иуда, не предатель, не Иуда Искарриот, он — другой, верный заветам Иешуа, за коим следовал с открытыми ушами и жадной душой.

В летний день он добрался до левантийского берега Срединного моря, нашел дворец брата. Солнце заботливо согревало землю. Ветерок обдувал цветы возле ворот. Стража дремала. Время шло к полудню. Иуда пробрался через сад, стараясь не смотреть на гамаки, где раскачивались, наслаждаясь фруктами, шептались и посмеивались нарядные молодые женщины. Среди обманчивых ниш дворца Иуда, было, растерялся.

Но, услышав низкий бесцветный голос, отыскал приоткрытую дверь и заглянул в щелку: посреди зала в золоченом кресле — его брат Иаков, а вокруг на коврах, скрестив ноги, сидели четыре бородатых старца — волхвы в белых чалмах и одеяниях. Один из них глуховато вещал:

— Это говорю тебе я, Маррон из Египта! Верь мне, ибо я знаю все, что может знать человек! Этот камень... — он пошарил рукой в шкатулке, — именуется шамир. Царь всех камней! Он крепче всех веществ и остается невредимым в лаве вулканов. Им можно резать камни. Это свет солнца в ночи. Шамир создан богом в сумерках первой пятницы, перед самым закатом солнца. Он принесен орлом из рая царю Соломону в помощь при строительстве храма. Шамир, надетый на руку убийцы, тускнеет, а от близости яда запотевают. Этот камень двуполой. Два шамира, зарытые в землю, родят новый камень. — Старец передал шкатулку другому старцу с узким желтым лицом: — Больше сказать сейчас не имею права. Если захочешь обрести истинные знания, пройди очищение от скверны — тогда и камни, и храмы, и мудрые люди откроют тебе тайны!

Иуда решительно распахнул дверь.

Иаков вскочил и хотел накинуться на брата, но заставил себя с улыбкой обернуться к волхвам:

— Достойные, разрешите мне сказать несколько слов этому человеку? — сполз с кресла и, тучный, обрюзгший, проковылял в боковую нишу (огромный живот мешал ходьбе).

— Чего тебе?! — зашипел он, когда они остались вдвоем.

Иуда с надеждой посмотрел на брата:

— Ты сам знаешь!

Иаков сморщил холеное лицо:

— Что? Опять? Восстановить справедливость? Объявить всему миру, что ты — не тот Иуда, который предал Иешуа? Нет! — он резко взмахнул рукой. — Не буду! Это не имеет смысла! С чего вообще ты взял, будто люди думают, что ты — Иуда-предатель? Людей с таким именем много! Тебе все только кажется! Ты болен, давно и безнадежно! Если желаешь, мои лекари осмотрят тебя. А у меня много дел! И вообще... — он хлопнул в ладоши и что-то прошептал слуге на ухо.

Иуда вздрогнул и разозлился:

— Много дел у тебя? Я вижу твои дела: тискать баб да слушать беседы колдунов. Хорошо, что покойный отец не видит!

Иаков схватил его за ворот хламиды:

— Что ты мелешь, глупец?

А Иуда, не обращая внимания, продолжал:

— Я был в Кумране, в общине. Мне сказали: Иаков, твой брат, ученик Иешуа, ныне стал слугой дьявола, и мы не принимаем тебя, ты грязен, как и он! Твой брат стал грешником: созывает во дворец гетер и юнцов, они едят, пьют зелье, которое заставляет их петь и танцевать до упаду. А потом начинается великий блуд, и прелюбодеяния нет конца! Вот какие у тебя дела, брат! Ты гасишь в себе светильник мудрости, которую вложил в нас Учитель! За минутное продаешь вечное! Опомнись! Тебя Иешуа крестил в Иордане! Стыдись! Мы когда-то были все вместе! Еще есть время отойти от греха!

Не глядя на брата, Иаков начал что-то быстро и неразборчиво отвечать, но, заметив слугу, выхватил у того слиток золота:

— На! И убирайся! Не твоего ума это дело!

Иуда неловко плюнул брату в лицо и ушел из покоев, проклиная в душе нечестивца. Лучше вообще не иметь брата, чем такого, с ехидной сходного!

После долгих скитаний он решил найти в горах своего односельчанина Луку — тот, как узнал Иуда у кумранитов, жил вначале у них в общине, а потом ушел по доброй воле в горы, чтобы писать начатый в Кумране рассказ о жизни и смерти Иешуа. Это была последняя попытка — Иуда хотел, чтобы Лука во всеуслышание провозгласил правду о святом мученике Иуде не Искарите.

...Крики перешли в вой. Иуда поднимал голову и вглядывался в кусты, но вскоре его «я» растворилось в бредовом видении: предатель Иуда Искарит, казначей при Иешуа, важно расхаживает по опустевшей, розовой на закате Гаввафе. Людей нет. Только голые кресты на земле. Предатель стучит согнутым пальцем по дереву, будто проверяя на прочность. Громко цокает языком, вертит головой, как собака, потом доверительно оборачивается лицом к Иуде:

— Здесь ты должен быть распят, а не Иешуа? А? Он — что? Появился, поговорил и исчез, а ты всю жизнь страдаешь! Муки терпишь уже сколько лет?... — Предатель сощурил глаза, прикидывая в уме: — Да, всю жизнь, поди... Так кто из вас святой? Ты! Кто бог? Ты! Ты — бог истинный, муки принявший! Ты — и никто другой! А Иешуа — что? Был — и нету!

А на ветке, округляя слепые глаза, рывками крутя рогатой головой, переступала лапами жирная и мудрая сова, вонзала когти в трухлявую кору, клекотала в недоумении — что это за существо корчится в корнях её дерева? Что надо этим людям? Мы, звери, живем в ладу с миром, принимаем его таким, каков он есть, а эти беспокойные двуногие пытаются переделать мир под себя, снуют туда-сюда, распугивая мышей и сусликов! Нет от них нигде покоя!

8. Лука-отшельник

Пряный дымок от очага тянулся по хижине. Лука, не слезая с настила, приоткрывая то левый, то правый глаз, следил за дымом. Сон держал крепко, но радость дня победила — Лука разбудил кудлатого пса Эпи, полуслепого и старого. С кувшином отправился к роднику.

«Для чего люди пашут и сеют? Чтобы собрать урожай, испечь хлеб. Спят, чтобы проснуться. Работают, чтобы отдыхать. Живут, чтобы жить. Незыблемо — только добро! Ему поклоняйся — и будешь счастлив! — учил Луку наставник Феофил, поднимая лиловые, в старческих жилах руки. — Все остальное бессмысленно. Один бог — добро! Бог — в нас! Ему служи, и только!» — твердил он настойчиво, отчего в Луке росла уверенность в правоте этих слов.

Спуск к роднику обрывался у запруды, куда по тростниковому желобу лился ручей. Лука ополоснул лицо, растер грудь. Вода пробралась по рыжеватой бороде, зашевелила живот. Вытираясь на ходу куском полотна, он побрел назад.

Солнце уже дарило теплом. Белые облака разбежались, одно огромное облако, похожее на голову римлянина в шлеме, висело в небе.

В хижине на полках стояли глиняные пузыри с чернилами и красками, на столе — стопки пергамента, на подставках — пеналы с папирусами. Лука вынес чернила и стопку пергамента наружу, под навес. Сел за отполированную его локтями доску, покоившуюся на четырех валунах.

А облако все не уходило, и рот римлянина как будто даже растянулся в грозном окрике.

Когда тепло, Лука работает под навесом: завтракает лепешкой с сыром и козьим молоком (снесь и питье приносили лесники, Косам и Йорам), садится писать. Или готовит пергамент: выбирает пемзу, костяной скребок, растягивает на распорках телячью шкуру, что присылали братья-кумраниты, и начинает тереть ее скребком и пемзой, уменьшая толщину и делая гладкой. Пот постепенно выступает на лбу. Борода задевает стол. Лицо наливается кровью, а руки ходят взад-вперед.

Луке за сорок. Он спокоен, силен телом, широк в груди, сдержан в движениях. Привык к одиночеству, но с радостью встречает брата Даниила из общины кумранитов: тот обычно приносит вести, свитки, немного денег и мешок телячьих шкур. Скидывает вещи у хижины, оттирает потную, обритую наголо голову, садится напротив Луки и, не спеша разглядывая стол, спрашивает мрачно и строго:

— Пишешь?

— Пишу, — отвечает Лука.

— Да помогут тебе силы небесные! — серьезно желает Даниил. — Когда готово будет?

— Не знаю, — признается Лука. — Может быть, никогда.

— Как так?

— Мир живет, движется...

— Слово Иешуа незыблемо! — обрывает его Даниил. — Он — наше солнце!

— Да ты язычник! — смеется Лука.

И опять остается один. Ходит в лес за медом и ягодами. На зверей не охотится, не считая себя вправе убивать живое, хотя ест мясо, когда приносят лесники. Иногда пьет с ними вино, затем зовет к столу и читает им свое сочинение о жизни Иешуа. Они сидят, упершись взглядом в землю, чешут бороны, хмыкают, качают головами, шуряются, и ему непонятно, что они думают, а сами они объяснить не могут.

С ним живет его старый пес Эпи. Когда Лука за гроши купил эту хижину у лесников, Эпи уже был немолод. Он упорно таскается за Лукой или дремлет рядом под столом на траве, а зимой не отходит от очага. Днями может не есть, но когда

дорывается до еды — жрет столько, что потом лежит без движения, повизгивая в тяжком сне.

В начале месяца Лука постится, не пьет даже воду. Такой пост, предписанный наставником Феофилом, помогает избавиться от дурных мыслей, которые в последнее время по ночам стали посещать Луку: он видел женщину. Теперь она являлась в виде полуодетой и развратной римской матроны. Но он знает, что ночь — это та пора, когда человек становится рабом тьмы. Главное, как смотреть на соблазн. Как-то утром записал: «Светильник тела есть око, если око твоё будет чисто, то и тело твоё будет светло; а если око будет худо, то и тело твоё будет темно», — и даже во сне не поддается призывам обнаженных рук. А когда матрона тянется к его чреслам, он изгоняет ее прочь, утром же, вспоминая ночную гостью, бывает весьма рад, что поборол похоть.

«Странное облако...» — с раздражением думает Лука, скобля кожу, изредка оборачиваясь на белую римскую голову в небе и с гневом вспоминая слова Косама о том, что римляне утопили в крови восстание zelотов, теперь режут горло детям, женщин насилюют на глазах у мужей, стариков порют плетью до смерти на аренах, а мужчин заставляют биться со львами и медведями. Скоты в золоте! Нечестивцы! Да легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем вам, римлянам, обрести царство божие! Никогда не будете вы спокойны духом! Будьте вы прокляты, не дающие людям жить, как они жили!

Он, озлившись, отбросил пемзу и принес из хижины плоскую миску, куда добавил ртуть, и начал медленно мешать ее с алой и серой красками. Он готовился начисто переписывать все с начала, а для заглавных букв нужны красные чернила. «Хороший день, светлый, — улыбался он, разглаживая пергамент. — Надо очищать душу от скверны, как дровосек — поляну от негодных пней!»

Последняя мысль показалась ему весомой. Он нашел рабочий пергамент, куда вносил разное, что заставляло мысль застывать в охотничьей стойке: тут что-то есть! Записал фразу, исправив «очищать» на «корчевать».

Нет, это не он пишет о жизни Иешуа! Он только записывает внушаемую свыше радостную весть о том, как человеку самому стать чистым и непорочным, как обрести царство божие, ласковое, уютное, милое, теплое, обильное, доброе, нежное. Иногда слова бушуют в нем, схожие с камнепадом острых глыб. Иногда льются тихо, как шепоты реки. Иногда кружат водоворотами. А рука сама собой рисует на пергаменте бычью голову. Это животное, со смиренным взглядом и мощным телом, Лука считал своим оберегом: и он, Лука, влачит груз жизни в работе, как бык — свою вечную борону-суковатку.

Он начал читать первые листы... Как все близко и памятно! Вот: «Никто не приставляет заплатки к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет». И сразу перед ним встала изба лесников: темные бревна, узенькое окошко, под ним — всякий скерб: топоры, пилы, веревки. Красное от огня лицо Косама. Держа в руке рубаху, хмуря брови и подняв плечи, он возмущался:

— Ты посмотри, Лука, на этого глупца! — и кивнет головой в сторону брата Йорама. — Привез ему из города рубаху новую. Так он что сделал? Отрезал от нее кусок и старую залатал! Нет ума! Зачем рубаху испоганил, дурень?

На что Йорам бормочет:

— Я старую люблю.

Через несколько листов Луке опять встретилось что-то, что заставило отложить рукопись. Когда это было? Он жил один, бродил по Иерусалиму и как-то на пороге дома в грязном переулке увидел двух девочек лет по восемь-десять: одна громко всхлипывала, вторая мрачно смотрела на нее. Лука присел на корточки и спросил:

— Почему ты плачешь? Это твоя сестра?

Девочка, заикаясь, мотнула головой и пролепетала:

— Я играла ей на свирельке, а она не танцевала! Я пела ей, а она не слушала!

Вторая мрачно косилась на нее:

— Не хочу! И не буду!

Он дал им ассарий, а на постоялом дворе записал сцену с девочками, добавив: «Подобны им саддукеи и законники: ибо, когда пришел Иоанн, ни хлеба, ни вина не вкушавший, они смотрели на него и бормотали: “В нем бес!” Когда же пришел Сын Человеческий, который и ест, и пьет, и смеется, они также смотрят и говорят: “Вот, сей мытарь и грешник! В нем бес!” Саддукеи непонятливы, неповоротливы, упрямые, как ослы с шорами на глазах».

Было тихо. Над столом назойливо висела стрекоза, крестообразно раскрыв слюдяные крылья. Замирала в воздухе хвостом вниз. Возносилась, кружила над травой. На деревьях — много осенней увядающей листвы, которая скоро покроет землю.

Заброшенная пашня поросла сорняками и цветами с белыми игольчатыми головками. Вязкая, липкая, она давно не знала плуга. И каменные жернова бездействуют. Все хозяйство в упадке: хижина совсем обветшала, в двух местах протекает крыша, а ночью навешиваются какие-то зверьки, снуют, шуршат, перекатываются, не боясь Эпи, лишь твякающего в стариновском полусне. Стол под навесом тоже покосился — дожди подмыли валуны, на которых лежит доска. Сидеть за ним трудно, надо бы заняться, поправить, но Луке не до того.

Он вдруг напрягся, услышав, что кто-то пробирается по тропинке. Вот человек идет сквозь влажные кусты. Левая рука болтается, как пристегнутая.

Тут Лука заметил кровавое пятно на лице пришельца. «О! Кто это? Страшный какой! За мной? Сатанаил?» Он давно не видел людей, и внезапный страх перед молча идущим человеком с пятном в пол-лица заставил его вцепиться в доску.

Старик прижался животом к доске, взглянул в Луку и, сглатывая слюну, выдавил:

— Мир тебе, Лука! Узнаешь меня? Должен узнать. Ты — должен! Мы односельчане! Я тоже из Рих-Нами. Я Иуда, сын Алфея! Брат Иакова!

Лука сразу припомнил: такое красное пятно было на лице угрюмого соседского парня в Рих-Нами, который с отцом Алфеем и братом Иаковом жил в доме за поворотом дороги. Дети побаивались этого странного, мрачно-задумчивого человека, а взрослые недовольно шипели вслед: «Клейменный!»

— Иуда, брат Иакова? Ты? — дошло до Луки. — Но... Тебя же убили? Мне сказали, что тебя забили камнями...

Иуда отмахнулся:

— Узнал! Узнал меня! Спасибо тебе, Господи!

9. Беседа

Они сидели в хижине, разделенной на две половины: в одной Лука спал, в другой работал за столом, где сейчас — нехитрая снедь: хлеб, сыр, творог, мед, кувшин с вином. Иуда размачивал хлеб в вине, обсасывал его беззубым ртом и торопливо рассказывал:

— Вся жизнь моя, Лука, одета в страдание! О, сколько раз я говорил себе: почему тот человек, что сказал отцу моему: «У тебя родился сын!» — не убил меня в самой утробе? А потом ужасался своим мыслям, твердил себе, что мир прекрасен. Но как видеть красоту, когда народ угрюм, у всех лица крепче камня, а язык напряжен для лжи? Грех лежит на нас! Недаром говорят: «Отцы ели кислый виноград, а у сынов на зубах оскомина...» Эх... — покачал головой Иуда и умолк, нахмурившись и глядя в

пустое окошко. Правой рукой переложил левую, висевшую безжизненно: онемела да так и не отошла. Но Иуда не тревожится об этом, другое свербит и просится наружу. Сил жить дальше нет, но страшно умирать молча. Хоть бы успеть сказать главное.

Внезапно по крыше ударил дождь, брызнул через прорехи на стол. Лука схватил пергаменты и переложил их на сухое. Отвыкший от людей, он впитывал человеческую речь. Иуда был учен, говорил красиво, и Луке временами казалось, что перед ним — один из тех, чьи свитки лежат в углу. Он внимательно слушал старика, который побывал во многих местах и, главное, даже ходил одно время с Иешуа. Но не спрашивал пока об этом, давая выговориться.

Иуда набрал в глиняную плошку дождевой воды, отпил несколько глотков:

— Был я у брата, Иакова. Да раскидает Господь собачий навоз по нечистому лицу его! Хуже ехидны стал! Но знаешь, Лука, есть, есть люди! — схватив Луку за плечо, блестя глазами, вскрикнул он. — Я видел в Риме! Попал я туда летом, жара такая, что грудь сдавливает и дышать нет сил. Некий человек повел меня в подземелье, подвал Калликста. Это место под Аппиевой дорогой. В нем всегда холодно, повсюду горят лампы. И там поселились наши братья-иешуиты. Много их, около тысячи. Кромешный ужас и светлый дух царят там! Стены в мокрицах и тараканах, в каменных гробах навалены тела усопших, а они сутки напролет стоят на коленях и молятся! И даже мокриц этих не давят! А иногда, Лука, они поют. И как!

Неверным голосом он что-то пропел, потом повинился:

— У меня плохо вышло... — Вытер глаза, сжал ладонью лицо. — А еще, Лука, я видел, как в Колизее казнили моего друга, Салмина Пещерника... Он провел в пустыне десять лет, затем направился напрямик в Рим — проповедовать слово Иешуа. Его распяли на арене, а по бокам — двух его учеников. Салмин ободрял их и пел. Потом кресты с телами бросили на землю и выпустили гиен. А крест с Салмином солдаты облили смолой и превратили в живой факел. О Рим!.. — простонал Иуда. — Сыны его огрубели сердцем и лицом, лбы их окрепли, а в душе нет места для добра. Своими необрезанными ушами они не могут слышать истину и только бряцают оружием. Распинают наших мужчин, насилюют женщин, избивают стариков. Скармливают зверям на арене тех, кто заподозрен в бунте или укрывательстве...

Лука стряхнул с волос воду, капавшую с потолка:

— Что там, внизу? Восстание?

Иуда скривился:

— Какое восстание? Избиение! Римляне сожгли храм в Иерусалиме, праведных хоронят ослиным погребением, а тех из иудеев, кто обременен золотом, забирают с собой в Рим. И эти продажные шкуры, прихватив свои богатства, с радостью бросают несчастную родину ради неги и роскоши. Да, видно, барсу никогда не отмыть своих пятен! В Иудее вместо солнца царит смертная тень! И она растет, все покрывая!

Дождь бил по крыше, в углу стояла вода, и Эпи недоуменно окунал в нее слепую морду в поисках сухого места.

— Поначалу восстание шло успешно, но римляне взяли верх. Идут расправы, все сожжено и развеяно. Нерон не мог подавить бунт, а нынешний, Веспасиан, жуткий невежда, внук крестьянина и сын всадника, сделал это за четверть года! Римляне сотнями разгоняют иудеев по разным землям, чтобы, как говорят, уничтожить осиное гнездо. Оставшиеся сикарии ушли в крепость Моссада, где и сидят взаперти в осаде.

Иуда одной рукой кое-как поднял кувшин, пролив на себя воду. Но даже не заметил — так был возбужден.

Когда римляне принялись чинить расправы, он прятался в селении Виффагия у одной старухи. К ней приходила сестра, пророчица. Однажды он спросил ее: «Хава, ты видишь будущее, ответь — когда придет царство божие?» Она взяла у него динарий, послала сестру за маковыми зернами, поела их и стала бормотать, закрыв глаза:

«Запомни, Иуда, ровно через тысячу лет, в такой же весенний день, на Пасху, вернется Иешуа и будет судить людей. Он приведет несметное войско, от которого князья мира сего облекутся в ужас, ибо то, что не было переливаемо от века — перельется. Истреблены будут все, кто обременен золотом и серебром. И последний станет первым, а первый — последним. И наступит на земле рай для праведников, а под землей — ад для грешников».

Лука поджал губы, свел брови — он не любил подобных пророчеств:

— Я не верю старухам, толкующим сны под маком. Царство Божие не может прийти приметным образом. Когда каждый вырвет из себя злобу, зависть, алчность, гордыню, ложь — вот тогда настанет царство покоя и счастья. Ради него и пишу... А старухам не верю...

Иуда протер покрасневшие глаза, переложил мертво висящую руку и тихо, почти шепотом, произнес:

— Римляне убивают не только людей, но и домашний скот, и животных. Прокуратор выпустил указ: «Бродячие псы разносят заразу, их следует истребить. Кто принесет труп бродячего пса, будет награжден мелкой монетой». И вот я видел детей, они по наущению родителей ходили по улицам с ножами и, увидев собаку, бросались на нее, резали всю — ибо не умели убивать с первого раза! — волокли за лапы на окраину, где под навесом человек принимал убитых псов и отсчитывал деньги. Там же раб свеживал собак и вытапливал из них жир. О Господи!.. — закрыл он лицо рукой, качнулся из стороны в сторону. — И это Иудея, моя родина!

Лука гладил Эпи, молчал. Душу захлестывало возмущение, голова от рассказа Иуды раскалывалась, он тяжело дышал. Потом сказал:

— Но как? Ведь дети чисты?

— Но не чисты их родители, — мрачно ответил старик. — Притом дитя, раз получив деньги и истратив их по своему хотению, уже не забывает об этом.

— Да... — протянул Лука. — Страшно, когда ребенок берет в руки нож или камень. Но еще страшней, когда это делают взрослые. Они-то все понимают! И никто им за это денег не платит! И я расскажу, что такое Иудея, побивающая камнями не только псов, но и людей!

Это было давно, когда я жил еще в Иерусалиме. Выйдя поутру на рынок, вижу толпу сотни в две, и все движется к Южным воротам. Угрюмые, злые. На веревке за шею, как скотину, тащат парня со связанными руками. Проклятия, ругань, дикий хохот. Время от времени кто-нибудь пинает или бьет парня палкой — тот спотыкается, падает, но веревка тащит его дальше. Уже показались лачуги бедуинов. Толпа увела парня в сторону от дороги, шли по крупному песку с камнями. Внезапно парень резко рванул назад с криком: «Горе тебе, новый Вавилон! Горе!» Хотел еще что-то добавить, но упал от удара в затылок. Грязная повязка слетела с головы. Его поставили на колени, вначале заставили целовать землю, которую он поганит, а потом начали медленно пятиться, отступать, выбирая камни побольше. Парень из последних сил выкрикнул: «Братья, прошу об одном: кто без греха, пусть первый...» — но ему не дали договорить. Коренастый носач глумливо признался: «Я без греха!» — и метнул камень. Кто-то хотел натянуть мешок на парня, но ему не дали: «Нет, пусть видит свою смерть!» ...Глухие короткие удары камней о тело, ругань, проклятия, отрывистые стоны...

Лука тяжело вздохнул:

— Потом я узнал, что это был торговец с базара: он собирал вокруг себя людей и говорил, что живут они плохо, а надо жить чисто и светло, как учил Иешуа. Это пришлось против шерсти многим, чьи души погрязли в грехе. Истинных пророков побивает Иудея, а лицемерам и прохиндеям верит!

В хижине повисла тишина. Изредка шуршал по крыше мелкий дождь, потрескивала лучина, вздыхал во сне Эпи. Иуда допил из плошки вино:

— Я одинок, Лука, плох здоровьем, никому не нужен. Люди везде гнобили меня, издевались, гнали, крича, что я, меченый, приношу горе, что лучше мне умереть, чем жить. Отбитую от стада овцу и заяц ест! Я устал. Душа моя сожжена для мира. Я измучен и стар. Мои ноги не несут меня никуда, кроме царства небесного. Я избавлен от грехов, очищен в Иордане самим Иешуа и могу предстать перед ним с чистой совестью. А ты... Ты был в той толпе до конца? — неожиданно спросил в упор Иуда.

— Я шел с ними до поворота, потом смотрел издали, — опустил голову Лука. — А что было делать? Кричать, хватать за руки, стыдить? Тогда бы они меня убили... — Он исподлобья глянул на Иуду и не удержался: — А ты выбежал на арену, ты снял с креста Салмина?

— Нет, — горько выдохнул Иуда.

Лука развел руками:

— Мы слабые люди, мы робкие, а Иешуа был силен и храбр. Ты видел его — скажи, какой он был?

Иуда отшатнулся:

— Какой? Смотрел прямо в глаза, говорил ясно, каждое слово, как карат алмаза. Никогда не сердился, не говорил громко. Всех нас оберегал, даже нашу дворняжку Афу: в погоне за крысой она сломала лапу, он только дотронулся до нее — и собака перестала визжать, и лапа цела. Такой... Мы ходили с места на место. Много шутили, смеялись. Петр ловил рыбу на ужин и бросал ее в ведро, а Иешуа махнет рукой — и ведро вдруг пустое! Петр дивится — куда делась рыба? Опять ловит — и опять ведро пустое! И так несколько раз, а потом вся рыба вдруг откуда-то появляется, и столько ее, что никакого ведра не хватит! А Иешуа смеется: «Этому я в Кумране научился!» Да... Я тоже был в Кумране, у ессеев, они помнят тебя. А настоятель Феофил умер.

Лука ужаснулся:

— Как? Умер?

— Умер год назад.

«Феофил умер. Учитель. Феофил... — вертелось в голове. И вдруг пронзила мысль: — Кому же отдать написанное?» Ведь он писал евангелион, жизнь Иешуа, для Феофила и даже начало придумал цветистое: «Рассудилось и мне, при тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, почтенный Феофил...»

— Кто сейчас Учитель?

— Наасан.

Лука поморщился — мрачного Наасана он недолюбливал. Нет, ему он не понесет написанное, хотя труд почти закончен. Куда ж нести? Кому отдавать? В Синедрион? Да там просто сожгут — все! Не в Рим же?

Он вздохнул, кивнул на мертвую руку, неуместно вылезавшую из хламиды.

— А с рукой что?

Иуда взялся воспаленными плоскими пальцами за левое плечо, потряс его — рука змеей изогнулась и застыла:

— Вчера ночью, когда шел к тебе, лег ночевать, вдруг утром чувствую — нет руки! От испуга, что ли. Я плохой сон видел. Эх! На старости лет наказал господь! Да теперь уж все равно...

— Ты веришь в господя?

— Конечно! — просто ответил Иуда, дожевывая кусок сыра. — Как же иначе жить? И кто все это создал, весь мир, и небо, и звезды? — Он повел рукой вокруг.

— А как ты веришь? — не отставал Лука.

— Просто верю, и все! — Иуда аккуратно собрал крошки, кинул в рот. — Верю,

чтобы понимать все вокруг. Горы, землю, людей. Откуда все это? Кто сотворил? Солнце откуда? Луна? От господ. Он — отец всего!

Лука тихо спросил:

— А сын господ кто? Иешуа?

Старик твердо потряс головой:

— Нет. Иешуа — человек. Я видел, как он ел, пил, ходил в отхожее место, как иногда смотрел на красивых девушек. Он человек, лекарь душ человеческих... — старик странно посмотрел на него, но замолк и полез в свой мешок.

— Какой же силой он исцелял?

— Ему была дана господом такая сила, — коротко ответил старик, утирая внезапные слезы.

«Зачем он пришел ко мне?» — мелькнула мысль. Лука отогнал ее как несправедливую, но она возникла опять.

10. Как было

С утра шел нудный дождь, несчастый в этих местах. Лука кое-как разжег очаг, заварил цветочный чай, кинул псу остатки хлеба и сыра, разбудил Иуду и подал ему кружку с горячим чаем. Тот со сна неловко принял ее и пролил бы на себя кипяток, если бы Лука не удержал кружку.

— Я ночью плохо спал, — виновато пробормотал Иуда и вдруг спросил: — А где жена твоя? Я ей подарок принес. — И вытащил из мешка кольцо с зеленым камнем.

— Она пропала, — глухо отозвался Лука.

Иуда запнулся:

— А... Как это?

— Так. Исчезла. Пропала. Ушла — и не вернулась, — отрезал Лука, надел на мизинец золотой ободок с зеленым камнем: — Откуда? Красивое!

Иуда осторожно отпил глоток из кружки:

— Носи на память. Дала одна женщина в Египте, год назад.

— Как ты попал туда?

Старик скривился:

— Недобрым путем попал... Бежал от римлян, добрался до Нила и там не выдержал, напился больной воды и чуть не умер: тело горело, сохло, кожа стала шершава, блевота и нечистоты извергались из меня... Рыбаки нашли и принесли в селение, где лекарка выходила меня. Она и подарила кольцо. Возьми его, это смарагд. В Египте я видел много чудес. Главносоцы снимали свои головы, держали их в руках, и эти головы говорили, кашляли и чихали! Святая слепая носила на подносе свои глаза и видела этими глазами, куда идти и что делать! Врачи лечили от всех болезней! — И добавил застенчиво: — Я сам научился там немного врачевать. Вот, если у тебя будет болеть внутри, найди кокон гусеницы, обвяжи земляными червями, брось в горшок и вари, добавляя туда лягушачью икру...

Лука, подавив улыбку, пообещал:

— Так и сделаю. Только у меня ничего не болит. Я крепкий здоровьем.

— Счастливый... А я весь больной!.. — Иуда начал по-стариковски перечислять болезни. Пожаловался: — Меня даже хотел убить лесник! По дороге сюда.

Лука удивился:

— Убить? Лесник? Такой заросший весь, в бороде? Или второй, помоложе? Нет, это хорошие люди. Они носят мне еду и часто не берут денег, хотя сами бедны.

— Хорошие? — Старик поджал губы. — Может, и так, но я еле ушел от них. Да это не новость! С детства звали Клейменым, гнали: «Прочь, сатана!» — кидали камнями, пуляли из рогаток... Я с детства надломлен, расшит на две части, одна любит

людей, другая ненавидит. Милосердие имеет границы, а жестокость и зло безграничны... За людьми тянется невидимый хвост их поступков, за добрыми — благое, за грешниками — всякая дрянь. А я вижу эти хвосты! И я устал от этого! Но один человек любил меня. Помнишь, в нашем селе у околицы жил лекарь Аминадав? Вот он. Разные фокусы показывал: сажал себе на руку пиявок и заставлял их до тех пор сосать кровь, пока они не лопались, и говорил нам: «Так будет с каждым, кто пьет человеческую кровь!»

— Я тоже ходил к нему. Мы выжигали по дереву, — вспомнил Лука.

— Да, да, он любил это — через стекло, лучом, выжигать на дощечках... — улыбнулся старик. — А брата моего Иакова помнишь?

— Нет, — признался Лука. — Он старше меня, как и ты.

Иуда усмехнулся:

— Тебе повезло... В детстве Иаков всегда молчал. Был застенчив, но как-то раз посреди ночи стал кричать так, что наша бабка чуть не умерла от страха. А наутро, никому ничего не сказав, ушел из дома и прибил к Иешуа... Потом и меня забрал с собой. Тогда все были в сборе... Молодые, мы веселой шайкой бродили по Галилее, ничего не делали, грелись на солнце, слушали Иешуа, иногда за мелкую подсобную работу получали пару ассариев на еду.

— Иуда Искарот тоже ходил с вами?

— Иуда? — переспросил старик. — Ходил. Он же наш казначей.

— Думал ли ты, что он предаст?

Старик сухо отозвался:

— Не знаю, предал он или нет! Кто предал? Люди! Народ предал Иешуа! — И зло повторил: — Народ! Все мы! Я, ты, он, — указал Иуда на полуслепého Эпи.

Лука нахмурил брови:

— Не понимаю тебя!

Иуда рассказал правду, какую знал. На Гаввафе в день казни Иешуа собрались только воры, разбойники и грабители со всей Иудеи и окрестных мест. Они явились на сходку по зову своего вожака Бар-Аввы. Заняли всю пустошь и так спасли Бар-Авву. Простых людей, торговцев и ремесленников, застращали, подкупили. И все остались сидеть по домам. Так и вышло, что лучший человек был казнен, а худшие остались жрать свою похлебку и спать со своими бабами!

Молчание после этих слов заставило Эпи подобраться к хозяину и понюхать — здесь ли, не ушел?

Ошеломленный Лука, обхватив голову, смотрел, не мигая, в черный земляной пол.

«Всех, всех купили! Как же об этом писать? И кому? Таким же, как они? Зачем? Все продажны, только единицы праведны. А они и без меня все знают... О нечестивое стадо предателей! — яростно думал он. — Сборище ехиднино! Хуже воров и убийц. Те хоть своего учителя спасли. А эти... Им писать? Для них? Да пусть сгорят они все с их домами и детьми!..» — разозлился Лука, резко поднял голову и зло уставившись на старика, выкрикнул:

— А вы где были? Вы, верные люди, апостолы?

Старик погрозил скрюченным пальцем:

— Не пристало тебе впадать в уныние! Ты должен трезво все рассудить!

— Что рассудить?! — возмущился Лука. — Ваше предательство?

— Сядь! И послушай, — властно приказал Иуда.

В ту ночь, когда забрали Иешуа, он, Иуда, ночевал с другими в доме у отца Фомы. Кто привел римлян — неизвестно. Но они забрали Иешуа так тихо, что ни один из апостолов не проснулся. Потом всех разбудили, зажгли факелы и стали обыскивать комнаты. Он, Иуда, спал с Варфоломеем в маленькой клетушке под лестницей. Ввалились пятеро центурионов и двое синедрионцев в плащах. «Где ваш учитель?

Он предал вас! — крикнул один из римлян и протянул Варфоломею кубок с вином. — Пей и веселись!» Варфоломей ударил по кубку, а римлянин так избил его ножами, что из носа хлынула кровь. «Не хотите веселиться? — обозлился центурион. — Ну, так мы вас повеселим!»

— Они привели солдатскую потаскуху, раздели нас донага и приказали соблудить с ней. Та скинула одежду, но мы отвернулись. В других комнатах — то же самое — смех, веселые возгласы римлян, грохот, удары, пощечины, ругань.

Лука перебил его:

— Зачем они все это делали?

Иуда удивился:

— Как зачем? Чтобы запугать и унижить нас! Еще явился странный старик с ведром вина. Римляне выпили по кубку, а потом стали насильно лить вино нам в глотки. О, я знаю, кто подсказывал им все это! Синедрион! Я чуть не захлебнулся, опьянел и заснул. А Варфоломея увели куда-то, говорят, забили насмерть — он был смел и, наверное, чем-то сильно досадил мучителям. Мы провели в этом доме под стражей несколько дней. Когда на Гаввафе все было кончено, нас отпустили, избив и надругавшись напоследок над Андреем. Теперь ты знаешь, где мы были! Суди нас, если можешь!

Лука сдавленно произнес:

— Я не сужу никого и сам не хочу быть судим... Вы не виноваты... Но народ?

Иуда запахнул балахон и протяжно повторил:

— Наро-о-од? А что народ? Народ живет. Народ должен жить. Вот, к тебе приходит некто из воря и говорит: «Возьми деньги и на Пасху не ходи смотреть казнь, а если пойдешь — будешь наказан!» Ты беден, у тебя семья, дети, тебе все равно, кого там казнят, у тебя свои заботы, тебе ни с того, ни с сего дают деньги да еще угрожают за непослушание. Возьмешь? Возьмешь! Ну, и они взяли! Имя Иешуа было для них мертвым звуком, как имя умершего тысячу лет назад фараона. В Иерусалиме его мало кто знал и слышал — мы больше ходили по Галилее и Самарии! А если и знали, то думали, что это — новый бунтовщик, смутьян, коих немало бродит по Иудее. Не осуждай народ! Не по злобе сделал он это, а от бедности и страха!

Иуда принялся тереть плечо и висевшую плетью руку. Вдруг сказал:

— Ночью я опять видел тот страшный сон! Уже не впервые... Он всегда к несчастьям...

— Что за сон? — не очень внимательно переспросил Лука, думая о своем.

Иуда отставил кружку с цветочным чаем, стал рукой водить в пустоте:

— Вижу пустыню. Ветер со свистом перекатывает желтый песок. А на песке — огромный, высотой в пирамиду, шар. Каменный, серый, из пористого известняка. И я понимаю, что должен толкать его. Я упираюсь ладонями в шершавую поверхность, и каменная махина медленно сдвигается с места! Так я качу, подобно жуку скарабею, этот шар высотой в пирамиду. Но вдруг он начинает медленно катиться назад! Я бегу от него, но он катится за мной с грохотом и стуком, словно огромный змей ползет по пустыне...

Наступила тишина, прерываемая треском палимых огнем мошек, смятенно суетившихся вокруг лучины. Изредка вскидывался Эпи, клацал зубами, прикусывая блох. Черным стал пепел в очаге. Похолодало по-ночному. Где-то в порывах шелестели деревья и тихо-тихо накрапывал дождь.

— А что с Иудой Искаротом? Где он? Что с ним? — устало спросил Лука.

Старик поджал губы:

— Не знаю... Одни говорят, что его убили воры на Лобном месте, другие — будто так распух от водянки, что не мог проходить в дверь. Третьи говорят: повесился! Четвертые — что заболел какой-то болезнью, от которой у него вылезли на лоб глаза

и отнялись ноги, и он пять лет, умирая, смердел так, что соседи были вынуждены покинуть свои дома. Не знаю, что правда. Я его не встречал... Зато я ходил к Бар-Авве!

— К Бар-Авве? — изумился Лука.

— Да. После той Пасхи он перестал воровать и грабить, стал набожен, раскаялся и жил на отшибе в малом доме. Был дряхлым, ничего мне сказать не мог, только крестился и плакал, зачем не его, а Учителя жизни казнили тогда. Я тоже много страдал, Лука. Страдания — главное для человека. Тот, кто много страдает, много знает! В страдании мысль живет и борется, в счастье — замирает и млеет. Большая истина постигается большой болью. Мне мало осталось жить. Я хочу сказать слова правды, а ты запиши их!

Лука был удивлен просьбой:

— Почему сам не пишешь?

Тот виновато признался:

— Не выходит. Пробовал. Говорить — могу. А написать — нет. Да и рука трясется. Помоги, если можешь.

— Хорошо! — кивнул Лука, топором отколол от полена толстую щепу, зажег ее, вставил в плошку. Выдернул пергамент, посмотрел на старика: — Говори!

Тот, облизывая губы, затряс головой и попросил:

— Нет, завтра. Я за ночь обдумаю.

— Как хочешь.

11. Жизнь Луки

Ночью Лука не мог заснуть — Иуду он пустил на свое место, а сам лег на полу, но ветхий тюфяк не спасал от холода. Мысленно он обращался к покинувшему этот мир Феофилу, учителю и наставнику.

Тревожа Эпи, спавшего в ногах, он вставал, пил воду, слушал унылый шум дождя. Пока был жив Феофил, он, Лука, имел покровителя и заступника, а теперь крыша рухнула и открылось звездное небо, перед которым он беззащитен...

Лука не помнил родителей — они умерли от болотной лихорадки. Сироту приютил у себя равви Маинанна при синагоге в селении Рих-Нами. Старый равви воспитывал Луку в строгости и постах. А когда тому исполнилось шестнадцать, сам отвез его в Кумранские пещеры. Там, объяснял он пасынку, живут хорошие и добрые люди:

— Будешь жить с ними, делать, что велют, и будешь счастлив. Они воскурят добрые дела в храме человечества, — говорил он, сидя рядом с Лукой на телеге и придерживая рукой грязно-желтый платок на голове. — Желай больше отдать, чем взять. Не озлобляйся. Не сетуй на случай. Надейся на будущее. Учись всему, чему тебя будут учить. Постигай жизнь, твори добро и бойся Бога! — посоветовал на прощание, когда они вышли на обжигающий ступни известняк. — Смотри, это Кумран!

Лука никогда не видел такого: пустыня и скалы, как будто нигде в мире нет ни травы, ни воды, ни деревьев, а только слоистые, невысокие и пологие горы. А под ними — все желтое, как измятое верблюжье одеяло, накинутое на чье-то необозримое тело. Горы иссечены трещинами, перевиты тропами. На скальных склонах зияют пещеры. Видны стены поселения.

— Это ворота в Кумран! — повторил Маинанна.

Солнечный поток с небес обжигал тело, нагревал голову даже сквозь тонкую ткань тюрбана, волосы слипались от пота. Юноша, все более падая духом, думал: «Как тут жить? Жара, солнце, ужас! Зачем он меня сюда гонит? Я не хочу!» — пронеслось у него в голове, но он не решался ничего сказать, только озибался.

— Вот письмо, отдай настоятелю. Прощай! — старик поцеловал Луку. — И помни

ту притчу, что я тебе рассказывал. И блудный сын был прощен, но постарайся не быть им! Живи своей жизнью! А я навещу тебя.

И не оглядываясь, он залез на телегу. Она заскрипела, поехала, и Лука остался один.

Приняли его хорошо, но определили на самую тяжелую работу — в каменоломни, где добывали камень для нового водовода. Шесть отрядов кумранитов по сто человек рыли канал к реке, укладывали в нем каменные желоба.

Дали ему белую одежду, повязку из голубого шелка на волосы и лопатку, которой должно засыпать свои нечистоты.

Целый год трудился Лука в каменоломнях под началом пустынного Банны. Тот, молчалив и задумчив, ворочал острые камни, иногда перекидывался с Лукой двумя-тремя словами — и все. Юноша ждал откровений мудрости, но ни от кого ничего не услышал.

Прошел этот скучный, полный каменной пыли, усталости и уныния год, и Луку допустили к каждодневному очищению. После работы вместе с другими братьями, повязав голову голубой лентой, он совершал омовение в общем бассейне. Правда, к общим трапезам пока не допускался. Хотя в общине уже знали, что он стоек и силен в работе, но устав предписывал новичку еще год испытаний перед тем, как стать полноправным братом и оказаться за общим столом.

Из каменоломен его перевели в гончарные мастерские. Уставать он стал меньше, но именно это стало тяжелым испытанием для юноши: часто ночью, на неудобном каменном ложе, в полутьме кельи он грезил о женщине. Это мучило, давило, распирало. После таких ночей Лука впадал в уныние, ощущал стыд и беспокойство, угрюмо вертел гончарные круги, не глядя вокруг и не обращая внимания на окрики гончаров.

Так продолжалось долго. Женщина стала являться все чаще и заставляла его делать то, чего делать он не хотел, считая это постыдным и недостойным, но чего не делать не мог.

Мучения юноши заметил старейшина Феофил. После беседы он поселил Луку на время к себе в келью и перевел из гончарных мастерских в цех писцов, где голова юноши будет больше занята мудростью, хоть и чужой, чем соблазнами плоти. Феофилу понравился ум юноши:

— Раз ты понимаешь, что что-то плохо — это уже хорошо! В человеке постоянно борются правда и кривда. Сегодня побеждает свет, завтра — тьма. Не отчаивайся! Сыны света победят! Следуй моим указаниям, и я сделаю из тебя счастливого праведника! Будешь исправно служить Богу и людям!

Лука с утра садился на свое место в скриптории и начинал переписывать то, что давали. После работы проходил омовение и шел в святая святых — в трапезную. Занимал свое место среди младших кумранитов и ждал, когда повар поднесет ему миску с тем количеством еды, что причиталась за сегодняшний труд. После обеда возвращался в цех — до ужина.

Феофил нагрузил его работой, заставлял много читать, переписывать свитки пророков. Учил египетскому письму. Оттачивал его речь. А вечерами Лука пересказывал Феофилу прочитанное и понятое.

Он исподтишка наблюдал за кумранитами. Они были спокойны и уверенно-неторопливы, избегали клятв, считая их преступлением, зато ценили простое слово. Никогда не перебивали собеседника. Работали не покладая рук. Изучали растения и травы. Лечили больных братьев и пришлых людей. Не имели своей одежды — по утрам каждый брал из общей кучи то, что ему надо.

Кумраниты учили, что душа состоит из тончайшего эфира и заключена в тело, как в темницу, из которой после смерти улетает на небо. Для праведных душ уготована

вечная жизнь в счастливых местах за всесветным морем-океаном, а злые души будут мучиться в холодном подземном мраке.

Как-то среди дня Феофил позвал Луку:

— Я давно слежу за тобой и вижу, что есть в тебе похвальное желание писать. Пишешь ты умно, хорошо, гибко, понятно. Так вот, даю тебе наказ — запиши все, что помнят о Иешуа наши старцы. Их еще немало в общине.

Через четыре месяца Лука вошел к нему с готовой рукописью.

Долго длилась беседа, и в конце Феофил сказал:

— Ты записал все, что помнят наши старцы о Иешуа. Ты не только умен, но и мудр не по годам. Ты можешь понимать жизнь, — он склонил голову в голубом тюрбане. — Множество наших братьев живет в миру, заняты кто землей, кто пчелами, кто садами, кто пашней. Вот и тебе надлежит пойти в мир и записать все, что люди говорят о Иешуа, что помнят еще те, кто видел и знал его, а таких тоже немало среди стариков. Иди, смотри, слушай! А потом ты должен сам, понимаешь, сам, — старик ткнул в него пальцем, — написать о жизни Иешуа! Иди и помни, что ты в первую голову человек, потом — кумранит, а уж только потом — писатель. Не забывай заповеди: человек измеряется не тем, сколько он может взять у людей, а тем, сколько может им отдать.

Лука собрал пожитки, за вечерней трапезой попрощался с братьями и наутро ушел в Иерусалим, где был вынужден, сберегая деньги, выданные из общинной казны, поселиться на окраине города, на неприглядном постоялом дворе, набитом всяким не очень чистым людом, что нисколько не смущало его.

Иерусалим ошеломил, захватил. Лука с утра уходил бродить по улицам, садам, лавкам, слушать крики торговцев, их перебранки и песни. И шепот курильщиков зелья, сидящих с мертвыми глазами у храмов, вползал ему в уши. И ссоры нищих, и базарная толчея, пестрая и суматошная, и смешной торг продавцов с покупателями — все занимало его. Вместе со всеми он бежал туда, где что-то происходило. Цепко и жадно вглядывался в лица. Ему нравилось вступать в беседы с людьми, слушать их суждения, жалобы и сетования. Так он зажил полнокровной жизнью вместе с другими — одним из них.

После кумранской тишины любое звучное хлесткое слово радовало. Лука вслушивался в уличную болтовню и споры стариков, катавших кости в садах, в серьезные беседы детей под стенами домов. И недоумевал: откуда в старых книгах такие мертвые тягучие слова? Ведь жизнь звучит совсем по-иному: коротко, хлестко, ясно, просто, емко, ярко, хватко, остро!

С каких-то пор Лука начал носить с собой в мешочке листки пергамента, чернильницу и калам, чтобы прямо на месте записывать, а иногда даже зарисовывать людей (с детства, по велению отчима, равви Маинанны, он копировал рисунки и узоры со старых свитков). Вечерами на постоялом дворе просматривал наброски, исправлял, добавлял, вычеркивал, раскладывал по смыслу, и уже знал заранее, что жизнь Иешуа будет писать по-новому — гибким живым языком. Людям не понятны туманные видения пророков, они хотят простоты и ясности.

Одно омрачало Луку душу — опять ночами стала являться женщина. Тысячелюбая, полуголая, она врывалась в его каморку и требовала, чтобы Лука поддался ее страсти, и ему стоило сил смирять себя.

Эти посещения прекратились, когда Лука влюбился в дочь хозяина постоялого двора, шестнадцатилетнюю Гарри. Призрак сделался осязаемым. Лука не мог и дня прожить, не видя ее, и через месяц женился. Хотя в этом не было ничего преступного (много кумранитов жило семьями в больших городах), но община, узнав о женитбе, решила, что Лука просто-напросто поддался соблазну. Сколько не опровергал эти подозрения Феофил, кумраниты настояли на своем: исторгнуть Луку из общины, хотя

бы на время. Делать нечего. Решение общины — закон, и Феофил известил об этом Луку. Тот принял решение кумранитов, но оно не повлияло на его работу. Наоборот, с женитьбой Лука почувствовал, что и дух его, и плоть успокоены и что нет ничего лучше земной любви к женщине и духовной — к Богу.

Вместе с Гаррой бродили они по Иерусалиму и Вифлеему, уходили в Капернаум и Цезарию, и далеко на север — в Галилею. Жили среди рыбаков и работников. Многие подмечали зоркие глаза и быстрый ум Луки. Его холщовая сумка была полна исписанных пергаментов. Ночевали они на постоянных дворах и в караван-сараях. Их ночи, томные, страстные, жаркие, длились до бурчания голодных верблюдов и запыленного рева ослов.

Денег не хватало, и Лука подрабатывал в синагогах переписью и переводами текстов. Помимо своего языка, он знал арамейский и греческий. В Кумране переписал Пятикнижие и даже с помощью одного обращенного вавилонянина начал переводить поэму о «все видевшем на свете человеке Гильгамеше», откуда запомнил главный постулат: «Что пользы человеку приобрести весь мир, а себя потерять?.. Все будет чужое, не твое, и ты умрешь, не познав ни себя, ни мира! Ищи себя — и найдешь весь мир!»

Но связно писать правду о Иешуа, находясь среди людей, Лука не мог. Делать заметки, наброски возможно, но чтобы все свести воедино, нужно затворничество. Лука решил уйти в горы и в тишине завершить начатое. Денег на первое время должно хватить. Гарра была согласна идти, куда он скажет.

Отец Гарры объяснил Луке, как найти в горах двух его племянников, лесников Косама и Йорама:

— Они вам подыщут жилье.

Так Лука поселился в хижине, нанятой за гроши у лесников. Гарра брала у них молоко, сыр, хлеб, яйца, а взамен учила сына Косама грамоте и счету.

Работа пошла хорошо. Во всякое время — даже во сне — мысли Луки бодрствовали. Иногда ночами он, пугая жену и собаку Эпи, щепал в нетерпении лучину и что-то записывал или переписывал. И постоянно думал о людях вокруг Иешуа, сравнивал рассказы о его жизни, искал нужные слова. Охваченный лихорадкой труда, он ничего не читал, только иногда заглядывал в свои старые записи, которые, впрочем, помнил наизусть. Писал запойно, радостно, властью.

Спустя пару лет, в месяц элул, Лука, сидя на обычном месте под навесом, вдруг забеспокоился, где Гарра? Утром ушла к лесникам за снедью, до сих пор ее нет, хотя обычно она возвращалась к полудню.

До вечера ее не было. Лука спустился вниз, но Косам и Йорам ее не видели.

Лука бросился в лес и звал короткими вскриками: «Гарра! Гарра! Отзовись!» Но не нашел ее.

Жена пропала, и он не знает, ушла ли она сама куда-нибудь, сбежала или была убита. А может, поймана и уведена в рабство? Или ей просто-напросто надоела жизнь бедной затворницы? Возжелала иной судьбы?.. Год мучился Лука этими мыслями, вскакивал по ночам, днями бродил по лесу, надеясь найти хоть какие-нибудь следы, но тщетно — Гарра исчезла, как исчезали девы из его снов.

Через год Лука смирился — с Богом не поспоришь. И стал жить дальше, хотя и тосковал по доброй душе пропавшей жены, но не позволял себе бросить начатое, борясь с угнетавшими его душевными хворями, когда ничего не оставалось, как лежать в хижине и смотреть в бревенчатый потолок. Да, истинно говорит Малахия: «Никогда не придет царство света приметным образом, ибо царство Божие внутри нас есть с рождения!»

12. Благая весть

Утром, проснувшись, Лука увидел скрюченную фигуру — Иуда лежал ничком, лицом в тюфяк, подсунув мертвую руку под лоб и поджав ноги.

Лука вздохнул: уж очень жалок и несчастен был вид старика.

«Всю жизнь бродит, неприкаян... Ни дома, ни семьи...» — думал он, как будто у него самого есть семья и дом! Но он — другое дело, он счастлив своей работой.

— Иуда! — тихо окликнул он. — Не спишь?

Иуда приподнял голову:

— Нет. Думаю. Сегодня великий день!

Вскоре оба сидели под навесом у стола: Лука — на табурете, разложив на доске пузыри с дубовыми чернилами, калам, пергамент. Иуда, умытый, побледневший от волнения, суровый, собранный, с заткнутой за пояс мертвой рукой — на камне напротив.

Лука неспешно написал заголовок: «Послание Иуды людям».

Старик настороженно покосился на пергамент, заволновался.

Лука поднял глаза:

— Говори!

Судорожно сглатывая слюну и двигая кадыком, старик нахмурился и начал, покачиваясь в такт словам:

— Иуда Алфеев людям желает мира, милости и любви! Имея усердие подвизаться за веру, я говорю вам — подвизайтесь и вы за веру, однажды преданную Иудой Искаротом! Ибо кто же охранит веру от нечестия, как не сами люди? Но вкрались к человекам некоторые грешники, язычникам подобные, которые полны грехом, как беременные женщины — плодом!

Иуда перевел дух. Лука кивнул, но попросил говорить медленнее.

Иуда тряхнул головой:

— Сии люди злословят то, чего не знают сами! Что же, как бессловесные животные, знают и понимают — тем тешат себя! И вас хотят заставить! Таковые вредны у власти и на ваших вечерах, ибо, пиршествуя с вами, без страха утучняют себя, блудят и вас тому же учат! Эти люди — безводные облака, носимые ветром, осенние бесплодные деревья, свирепые волны, пенящиеся срамотами своими! Они исполнены всякой неправды, ибо за похоть и желание свое пойдут на все! Они ничем не довольны, лукавы, злобны, корыстолюбивы! Клевещут, обманывают, самохвалятся, гордятся, разжигаются похотью друг на друга, мужчина с женщиной делают срам, пьют бесовские зелья, изобретают во лжи! Но все они — заблудшие овцы без пастыря, потерявшие дух свой во тьме! Бывает, уйдет овца, и ищет ее пастырь, а найдя — возрадуется. А другие овцы — не уйдут, пасутся у взгляда его, и радость об них — не так сильна, как о заблудшей овце! Блажен не грешивший, но трижды блажен грешивший и раскаявшийся!.. Поэтому говорю — грешащие, раскайтесь! Да будет дух ваш сильнее духа многих! Две заповеди скажу я вам: не злобствуй никогда! Не осуждай брата своего, ибо, судя другого, тем самым судишь и себя. Не суди, а увещевай! Страдай за веру и пойми в страданиях сладость! Тогда растворятся пред тобою доселе закрытые двери! И если случится, что осудят тебя люди — не суди их в ответ! Не держи в душе скверной злости! Все тяжелое — от Бога, а не от мира!

Лука заметил, что старик дрожит и близок к иступлению:

— Отдохни!

Но Иуда, не пожелав или не сумев остановиться, продолжал громко и отчетливо:

— Различай добро и зло! Будь бдителен — кажущееся добром иногда оборачивается злом! Если видишь: разбойник насильничает и убивает, его возьми и увещевай, а не добившись покаяния — убей! Восстанови правду! Сделай белое — белым! — почти кричал он, не замечая, как дергаются щека с родимым пятном и веко. — Это ропотники, ничем не довольные, поступают по своим похотям! Уста их произносят

надутые слова. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное: в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди без веры, без духа. Пусть их! Не трогайте их, а себя назидайте верой Иешуа! Сохраняйте себя в любви для вечной жизни, как велел Учитель! И к одним будьте милостивы, с рассмотрением, а других спасайте, исторгая из огня.

Лука записывал. Слова Иуды казались ему путанными и туманными, но старик дрожал от напряжения, выкрикивал фразы, брызгая слюной, и Лука, не прерывая его, продолжал записывать, надеясь потом исправить и подчистить его речь, но позже решил ничего не менять — пусть все будет так, как говорит Иуда.

Видя, что старика трясет, он предложил:

— Дальше завтра?

— Завтра может не наступить... Сей же час все, все... — отозвался тот и встал. — Братья! Помните: жажда славы, идет человек по пути суеты! Жажда мудрости — идет по пути в обитель вечного рая! Бывает, что щенков сторожевых собак подкладывают в кошары к овцам, отчего овцы впоследствии не боятся и слушаются этих собак — но вы, люди, не будьте подобны овцам! Не слушайте, не верьте, не внимайте никому, кроме Иешуа!

Иуда стоять не мог, сел. От напряжения в глазах у него заметались черные молнии. Но он продолжил:

— Некий человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некий нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях... Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аду, будучи в муках, он поднял глаза, увидел вдали Авраама и Лазаря и возопил: «Отче Аврааме! Смилуйся надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем!» Но Авраам ответил: «Чад, вспомни, что ты получил уже доброе и богатое в жизни твоей, а Лазарь имел только злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И это справедливо по велению высшего судии!»

Иуда так разъярился на богача, что стал бить по столу кулаком и кричать:

— Вот два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, другой мытарь. Фарисей стоя молился сам в себе так: «Боже! Благодарю, что я не таков, как прочие люди! Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю!» Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз к небу, но, ударяя себя в грудь, повторял: «Боже! Милостив буди мне, грешному!» Сказываю вам, что сей последний пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, кто себя возвышает: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. И первые станут последними, а последние — первыми в царстве Иешуа, где будет счастье и благоденствие!

Лука устал. От быстрого писания заболела рука. Иуда тоже утомился, замолк, нахохлился.

Лука снял рубаху:

— Смотри, осень, а жара какая. Разденься! — предложил он, но старик мотнул головой. Его щека с пятном подрагивала, дергалась, он тронул ее пальцами.

— Устал? — спросил Лука, укладывая по порядку пергаменты, их было всего три. — Ты сам как думаешь, кого в мире больше: добрых или злых людей? Откуда эта злость к себе подобным?

Старик, подумав, ответил коротко, как плюнул:

— Злых людей больше! А злость их — от Сатанаила, коему они продались.

Лука знал, что ответ будет таков — уж слишком яростно Иуда обличал людей, но все-таки возразил:

— А может, ты сам был с ними зол, а тебе кажется, что это они с тобой злы?

Иуда вскинулся:

— Нет! Я ни с кем не был зол. Никогда. А со мной были. Часто!

— Почему так происходит? — спросил Лука сам себя.

Он тоже склонялся к мысли, что злых людей больше, чем добрых. Но, может быть, они не изначально злы, а озлоблены своей трудной жизнью? Да и каждый бывает иногда зол, а потом опять добр.

Но потом Лука подумал, что нельзя делить людей на добрых и злых, припоминая слова учителя Феофила, что в душе каждого идет борьба добра и зла, иногда побеждает одно, а иногда — другое, хотя самые опасные — это «серые» люди, в коих добро и зло смешаны в такой клубок, что их невозможно разорвать, а сам человек уже не понимает, в чьей он власти. Учитель Феофил был уверен в конечной победе добра, но не раскрыл, будет ли это победа для всех людей — или для каждого в отдельности?

— Злость — от гордыни! — пробурчал Иуда. — Мир давит, человек озлобляется. Вот — дети, которые убивали собак за деньги. Говорят, что дети чисты! А глянь — и чистые сразу превратились в грязных, как увидели мзду! Дай им побольше динариев — они и людей станут так же убивать!

Лука переложил листы на столе:

— Раньше я много злился, а ныне — нет, очистил душу писанием и работой.

— Это оттого, что ты далек от людей.

— Да. Мне незначит злиться на мир. Я — сам творец своего мира! — гордо и твердо произнес Лука: — Один грек-стихотворец говорил так: «Я дроблю душу свою на части, и каждая живет отдельно. Я раздаю себя по частицам!» Вот и я хочу так же, разбиться на частицы и влететь в души людей.

— Ты счастливый! — негромко произнес старик.

Лука согласился:

— Да. А чудеса? Ты видел, как Иешуа их творил? Ты же был там? — стал допытываться он у старика. Но тот (и вообще неохотно отвечая на вопросы о Иешуа) странно взглянул в ответ:

— Я сам ничего такого не видел... Когда Иешуа и другие пошли на свадьбу в Кану, где оказалось мало еды и питья, я болел, лежал в лихорадке. Но я был на Геннисаретском озере, где Петр весь день ловил рыбу и ни одной не поймал, а потом Иешуа сел к нему в лодку, сказав: «Плыви подальше и закинь сети с правого борта!» Петр нехотя послушался и вдруг вытащил сети полные рыбой, да такой, что здесь отродясь не водилась! Ох и вкусна же! Мы жарили рыбу на треногой жаровне, а из голов сварили уху! И Петр все повторял: «Спасибо, учитель, что сети дал нам, а не рыбу — ее нам должно ловить самим!»

И замолк, думая о чем-то своем.

Лука решился спросить, был ли Иуда на последней вечере?

Старик оживился:

— Как же! Иешуа был весел, шутил и озорничал... Как?... А как обычно: то у Фомы из плошки вдруг исчезнет еда, то Матфею все время чудится, что ему в ухо кто-то нежным голосом шепчет всякие любовные небылицы, он мотал головой, чтоб от них избавиться, но тщетно!.. Потом мы стали серьезны, спрашивали Иешуа по очереди, и он всем отвечал...

— А ты? Что спросил? — подался Лука вперед.

Иуда улыбнулся:

— Он сказал, что скоро мир его больше не увидит, а только мы. Я не понял: «Что это? Ты хочешь явить себя только нам, а не миру? А как же мир без тебя?». Он ответил: «Кто любит меня — тот соблюдет слово мое, и понесет его дальше, и мы придем к Отцу моему, и сотворим там обитель, ибо слово мое — это слово Отца моего, пославшего меня!»

Лука так торопился записывать, что сломал калам и писал дальше обломком, чтобы не останавливать Иуду, а тот со слезами продолжал вспоминать, что говорил ему самый главный человек мира:

— Он пообещал, что дух святой обучит нас всему, а его время пришло: «Иду от вас и приду к вам!»... — но на вопрос Луки, правда ли, что Иешуа после воскресения

явился только апостолам, а другие его не видели? — не ответил, отговорившись тем, что был болен и лежал, простужен, в доме одной сердобольной жены в тот день, когда Иешуа явил себя ученикам.

Напоследок Лука спросил, была ли у Иешуа жена, ибо некоторые утверждали, что он был обручен или женат.

Иуда как-то смутился при этом вопросе, но все же ответил:

— Ходила с нами девушка Мирьям из Магдал Нунаи... Но не все время... Иногда ночевала вместе с Иешуа... И он иногда уходил к ней в Магдал на два-три дня... Мне брат говорил, что Иешуа изгнал из Мирьям семь бесов...

Так в беседах они провели этот день. Иуда, радостен и доволен, говорил, что его скитания не прошли даром, а Лука думал о том, что делать с этим небольшим посланием: вставить его куда-нибудь или держать отдельно?

К вечеру опять начался дождь. Крошечные бойкие капли били по деревьям, по хижине, по навесу. Уставшие за день Иуда и Лука решили рано пойти спать.

Старик вел себя странно, что-то бормотал, крутился на тюфяке, кряхтя и перекладывая мертвую руку. Неожиданно спросил:

— Как ты думаешь, я все сказал, что мог?

Лука удивился вопросу:

— Откуда мне знать?

— Ты вложишь эти листы в твои писания?

— Нет. Это будет отдельное сочинение. От апостола Иуды. Ведь ты — апостол, ходил с Иешуа?

— И ходил, и летал, и ползал, — странно ответил Иуда. — Ты сделаешь свое, а я свое... Только не забудь...

— Не забуду, — сквозь дрему отозвался Лука.

13. Болезнь Иуды

Под утро Лука проснулся от стука — как будто упал пузырь с полки. Эпи тявкнул во сне. Лука взглянул во мглу. От полки отошел Иуда, страшный в ночных бликах, высокий, сутулый. Топорщилась клочковатая борода. Болталась мертвая рука. Старик подобрался к стене, где был прибит грубый, из двух палок крест, сделанный Косамом. Иуда, отбросив ногой пузырь под скамью, яростным шепотом ругался:

— Говори — почему ты святой, а не я? Я всю жизнь муки терпел, и за себя, и за тебя, и за всех! Я — свят! Я сказал Луке слова, их будут помнить! Они нужны людям! Я понял все лучше тебя. Я — святой! Звезда моя взойшла! — продолжал он, выговаривая слова с какой-то твердой уверенной медлительностью. — Ты слышишь меня? — постучал он по пустому кресту. — Я всю жизнь терпел и мучился, а почему я не могу исцелять? Не могу превращать воду в вино? Хорошо же, сделаем по-твоему! — угрожающе закончил он и сорвал с полки топор.

«Убить меня? Рубить крест?» — напрягся Лука.

Иуда подобрался к своему тюфяку, чем-то там звякнул. Взял в одну руку мешок и топор и босиком потащился из хижины.

Лука выглянул из окна. Сизо-бледное небо. Моросит дождь. Птицы еще не проснулись, но доносится кваканье лягушек из окрестных болот.

У дуба копошился старик. Он что-то раскладывал на земле, изредка озираясь на хижину. Потом сел на вывернутые из земли корни дуба, уперся в них ступнями и кое-как, с помощью мертвой руки, приложил к ступне большой гвоздь. Осторожно потянулся за топором и коротко ударил обухом по гвоздю.

Лука, не понимая, что происходит, кинулся к двери, затряс ее, царапаясь о занозистое дерево. Но дверь заперта на шеколду, которую когда-то, когда Эпи был щенком, приделали лесники.

От дуба неслись тупые удары, бормотанье и вскрики.

Лука заметался по хижине, ища что-нибудь железное. Распахнул окно:

— Что ты? Зачем? Остановись! — Он рванулся в окно и застрял, еле выбрался обратно, не переставая кричать: — Стой! Остановись! Зачем? Стой!

Но Иуда не обращал внимания. Он с размаху бил по гвоздю, попадая по ступне и разбивая ногу.

— Опомнись! Не надо! — Лука понял, что старик ополоумел.

Иуда смиренно ответил:

— Надо! Надо! Людям надо, чтобы их святой, приняв страдания, умер так, на кресте! Без этого не почтут, не признают! Для веры надо! Да и нечего делать мне на свете! Отец! Иду! — Он задрал к небу растрепанную голову. — Иду! О смерти моей напиши! Господу нашему — слава! — захрипел он, сильно ударив топором в кровавое месиво ноги.

Лука, собрав все силы, выбил дверь и вылетел наружу. Старик от испуга стал беспорядочно колотить топором по ноге, но Лука уже был рядом — отнял топор, стал выдирать из ступни гвоздь, отбиваясь от бессвязно причитавшего Иуды. Гвоздь удалось вытащить. Лука повалился на старика. Оба что-то кричали, катаясь по земле.

Лука одолел. Иуда утих, лежал с закрытыми глазами, иногда постанывая и что-то шепча. Лука, утирая пот, осмотрел гвоздь, покачал головой — ржав и грязен! Из ступни текла кровь. Надо прижечь и перевязать. Лука волоком потащил Иуду в хижину, на тюфак, раскалил в очаге острие копья (имевшегося для защиты от разбойников) и приложил к ране. Иуда взвыл. Лука вылил на рану масло из бутылки, разорвал полотняную рубаху и крепко перевязал ступню. Иуда замолк, шевеля губами.

— Ты слышишь меня? — крикнул Лука, видя, как странно подергивается всем телом старик, но тот не отвечал.

Лука сел рядом, не зная, что предпринять.

Долго тянулось время. Он то бегал за водой, давал пить Иуде, то зачем-то спешил под навес, не ведая, что ему надо, что ищет. К счастью, вечером пришли лесники. Узнав, в чем дело, Косам предложил нарвать подорожник и с неодобрением покосился на сломанную щеколду.

Старик стонал, а к полуночи начал бормотать бессвязное:

— Камень! Красный! Иудея, побивающая собак и пророков! Мои слова... Я за вас... Шар! Гаввафа!.. Бараньи лбы крепки, но пусты!.. Пусты! Пусты! — захлебывался одним каким-нибудь словом и повторял его, пока Эпи не начинал угрожающе рычать, и Лука не зажигал лучину.

К утру Лука задремал, но тревожное сознание взбудоражили какие-то звуки. Так и есть: старик, по-воровски оглядываясь, пытается сползти с тюфака.

— Куда ты? — вскочил Лука. — Опять? Хватит! Одну ногу покалечил, руку потерял — дальше себя рубить собрался? — (с блаженными надо быть строгим, говорить внушительно, тогда будет толк, он это не раз замечал на базарах, полных нищими и юрдами).

Иуда замер.

— У меня дела! — ясно проговорил он, настороженно косясь на Луку.

Тот стал укладывать его, уговаривая:

— Хорошо. Хорошо. Лежи пока. Рано. Дела потом.

— Ты веришь мне? В меня? Что я свят? — спросил Иуда и просительно заглянул в глаза.

— Да. Я верю тебе, — подтвердил Лука, удивляясь, как крепко вошла в старика эта греховная мысль.

Вдруг Иуда поднял руку:

— Стой! Нарисуй меня! И вложи рисунок в книгу! Одних поучений мало. Пусть люди знают своего святого.

Лука удивился странной просьбе:

— Нарисовать? Но я не умею!

— Коли я тебе говорю: рисуй! — то сумеешь! — уверенно обнадежил старик. — Уже светло, и все хорошо видно. Начинай!

— Ладно, — не в силах отказать полоумному старику согласился Лука.

Он приготовил пергамент, взял калам, обмакнул его в чернила.

Иуда приподнялся и присел на тюфяке.

— Так. Можешь начинать. Что видишь — то и рисуй. Лицо!

Лука провел жирную полукруглую черту, пятью линиями обозначил морщины на лбу. Зачернил глазницы и, неожиданно схватив пузырь с алой краской, резкими мазкам утвердил под левым глазом пятно. перевел взгляд на Иуду, опять на пергамент. Набросал чуть заметными штрихами бороду, усы, морщины у висков. Пришло сходство. Он подправил линию носа. Как будто все на своих местах.

«Что это? — пронеслась смутная мысль. — Будто за столом сижу, пишу?» Но внезапно — то ли появился луч солнца, то ли старик повернул голову — лицо приняло иное выражение.

Лука сравнил его с тем, что на листе. Отложил пергамент. Походил вокруг тюфяка, разглядывая старика с разных сторон.

— Ну? — не поворачиваясь, спросил Иуда. — Покажи!

— Подожди, еще не готово! — Лука стал заново набрасывать на чистом листе лицо старика.

Работа увлекала, не позволяла отложить калам. Он не встанет с места, не закончив рисунка, так и тянет его неведомая сила.

Старик перестал спрашивать, лежал, стараясь не шевелиться, что удавалось ему с трудом — нога болела, он чувствовал жар и головокружение. Бормотал что-то непрестанно, обращаясь к невидимому духу, витавшему над ним. Вдруг попросил Луку:

— Найди червей и улиток — сделаем настой! — И тут же вскрикнул раздраженно: — Нет! Ничего! Отец! Я иду! Ты знаешь, кто я! Ты!

Второй рисунок ему понравился. Но не хватало красок, одной черной и красной мало — ими он не мог передать всей точности образа, а ему хотелось запечатлеть старика таким, как в жизни.

«Пойти за красками? — подумал он вдруг. — И улиток возле болота набрать. Успокоить старика».

— Иуда, слышишь, завтра пойду за красками и за улитками. А потом нарисую еще. Хочешь пить?

Но Иуда, в жару, приподнялся на локте, отчеканил:

— Мне ничего не надо! — и опустил на тюфяк.

Лука понял его: «Хорошо быть уверенным, что ты — свят!»

Он сделал новый набросок лица, все больше убеждаясь, что рисование доставляет ему такое же чувство полноты жизни, как и писание: те же внезапные взлеты мысли-руки, заминка, опять движение...

«Я должен изобразить в рисунках жизнь Иешуа! Ведь смогу?» — вдруг пришло в голову. Он обратился к Иуде:

— Я нарисую жизнь Иешуа!

Старик не ответил. Когда Лука затряс его за плечо, пробормотал:

— Да, да... Правильно решил! И в начале всего — мое лицо! Ты же знаешь, кто я?! — и испытующе глянул на Луку.

— Да, знаю, — рассеянно согласился Лука, думая о своем. — Но краски! Нужны деньги, а их нет!

Иуда слабо усмехнулся:

— Возьми там пять динариев! Купишь, что надо! — и подтолкнул ногой мешок. Лука нашарил ветхую кожаную мошну, достал монеты и перепрятал их в свой мешок. Взяв с полки хлеб и сыр, предложил:

— Поешь!

Старик не ответил.

Лука начал есть, но не выдержал и, продолжая жевать, взялся за калам. Лист притягивал его все сильнее. Не отрывая глаз от пергамента, размышлял вслух:

— Завтра выйду пораньше. До ближайшего села — полдня пути. Если там нет красок, то в город пойду, до него — еще полдня. Как, продержишься один?

Но старик его не слышал: он ловил руками что-то невидимое, сопел и стонал, плевался, негромко ругался и выкрикивал какие-то имена.

Так прошел день. Лука утомился, лег пораньше на свой тюфяк и слушал, сжавшись, стоны и бред больного. Он думал о том, как бы нарисовать все, что было написано им о Иешуа. Не сразу, не сейчас, но потом, когда овладеет кистью в совершенстве. В деревне можно зарисовать лица — так, наверное, легче будет работать потом. К главному сочинению надо добавить и лист с поучениями Иуды, там мало, уместится на одном пергаменте. Ну, а потом — рисовать! Конечно, он и раньше изображал всякие лица, но неосознанно, а ныне он понимает, как рисунки могут обогатить написанное.

Ночью Луку разбудил голос.

Иуда сидел на тюфяке и с кем-то связно и спокойно беседовал:

— А вот, я расскажу тебе, как должно поступать. Придет в полночь человек к другу, постучится и скажет: «Дай мне займы хлеба, ибо голоден я!» А друг изнутри скажет в ответ: «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать и дать тебе!» Если сразу он не встанет и не даст ему, то по неотступности человека, встав, даст ему просимое. И я говорю тебе: просите, и дано будет вам! Ищите и найдете! Стучите, и отворят вам! Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворяют!

Лука внимательно слушал, как Иуда тепло увещевает невидимого собеседника:

— Зачем пришел ко мне? Я не твоего помета! Не там ищешь. Иди и оставь меня в покое! Я тебе не подвластен! Мое слово крепче твоего! — и убеждался, что Иуда не в себе и вряд ли войдет в разум.

14. Уход Луки

Рано утром, когда сизый дым от кизяка еще курился над костром, вскрикнула первая птица и упруго скрипели деревья, Лука собирал мешок. Свинцовый штыр. Черная тушь. Остатки красок. Пергамент. Хлеб и вода.

Пришли попрощаться братья-лесники. Сели к столу под навесом. Лука переключал в свой мешок сыр, творог, инжир — все, что принесли братья. Кувшин с вином отставил, мотнув головой в сторону хижины:

— Старик дадите выпить, когда в себя придет. Присмотрите за ним — я скоро вернусь.

Йорам поглядывал по сторонам, вздыхал, шурился. Косам молчал, часто мигал, но все-таки спросил без надежды:

— Не передумал? Зачем идешь?

— Людей забыл. Нельзя так. И красок и чернил надо купить.

Косам отодвинул кувшин на край стола:

— Ты опять за свое. Не ходи! Внизу римляне. Всех хватают и убивают.

Лука в недоумении спросил:

— А за что меня убивать?

— Они не разбирают, всех казнят. Совсем озверели.

— Нет, я пойду, — Лука не переменял своего решения. И не только ради красок и чернил. Главное — увидеть людей, потолкаться среди них, вспомнить их запахи, лица, глаза, руки.

— У тебя хоть есть деньги? — спросил Йорам. — Давай сандалию, я монеты в подошву спрячу, а то на первом же базаре обворуют, без ассария оставят... — он ловко прорезал ножом щель в подошве, засунул туда монеты.

Все молчали.

— Все-таки идешь? — насупившись, переспросил Косам. — В селении говорили, что в ложбине видели римскую разведку... Ты хотя бы крест снял, а? — вдруг обеспокоился он. — Зачем смерть на себя навлекать?

— Да ты в своем уме? Крест не смерть, а жизнь! — Лука покачал головой и потрогал для верности крестик на шнурке: когда в первый раз переписывал Евангелие, кто-то невидимый, но упорный надел ему во сне на шею крестик со словами: «Этим спасешься и других спасать будешь!» Проснувшись, Лука вытесал крестик из дубовой чурки. И носил на шее всегда.

Косам, поминая римлян недобрым словом, начал собираться.

— Подожди! — окликнул Лука. — Позаботься о старике. Работу я спрятал за досками, в сарае. Если со мной что случится — снеси ее в Кумран, в общину. Отдай главному настоятелю. Скажешь, от брата Луки.

Косам кивнул:

— Сделаю. А лучше не ходи никуда. Разве здесь плохо? Пока римляне, эти псы лютые, еще сюда, в горы, не добрались, проклятые!

— А что я им? Живу тихо, один, пишу что-то, читаю... — Лука отмахнулся: — Хотя чему быть — того не миновать.

Нет, он пойдет!.. Увидеть людей, услышать их голоса, разговоры, понять мысли... Каждая божья тварь — это молчаливое море мыслей, с рождения и до смерти. У каждого — свое море. А все остальное — это море Бога, оно неделимо, для всех общее и родное. Можно черпать, сколько надо. Ведь человеку мало надо. Но думают, что — много, и в этом корень зла.

И еще — ему страстно захотелось увидеть женщин. Хотя бы одну, но обязательно красавицу, чтобы дух захватило, чтоб насмотреться вдоволь и унести с собой эту красоту. Ведь жизнь — для живых. И он жив. Бог, мир и Лука.

Пришли на ум наставления Феофила: «Ты можешь понимать людей. Запиши рассказы Фомы, Симона, Никодима, всех других, кто знал Иешуа, — некоторые еще живы. Запиши все, что узнаешь о его жизни. А того, что написано до тебя, даже не читай! Не трогай! Пиши только свое, как видит твое душевное око...»

И Лука, начав работу, узнал, каково из мыслей вязать снопы слов и собирать их в скирды-предложения. Засыпать ночью в хаосе слов, а утром просыпаться в мире, где все на своих местах. Корявое — корчевать и гнуть. Неподатливое — крошить и ворошить. Вбалтывать и мешать их, как кипящий виноградный сок. «Пиши, как можешь, а что выйдет — то уже не твое, а Божье!» — учил его апостол Фома, прозванный «Неверующим», которого Лука еще застал в Кумране, где тот доживал свой земной век — рыхлый, полный, пучеглазый, слезливый, беззубый, добрый, светлый, чистый.

По рассказам Фомы, маленький Иешуа был весьма боек и проказлив, дни напролет проводил на улице, и некоторые дети боялись с ним играть, зная: если кто его толкнет или ударит, даже нечаянно, тут же упадет или уколется, или у него заболит живот, ухо или горло.

— Даже говорят, — понижал голос Фома, — как-то соседский мальчишка толкнул Иешуа, а тот крикнул ему: «Ты не пойдешь дальше!» — и мальчик упал замертво. А другой мальчишка разлил воду из миски Иешуа, и тот сказал: «Теперь ты высохнешь, и не будет у тебя ни листьев, ни корней!» — и мальчишка сразу же, у всех на глазах, высох. И родители принесли его, как сухое дерево, в дом Иешуа и положили перед отцом Йосефом с укорами и бранью, но прибежал Иешуа, коснулся — и мальчик ожил.

Фома утирался платком, пил сладкую воду, говорил, что Иешуа помогал людям, лечил их, но все равно многие родители запрещали детям играть с ним — как бы чего

не вышло. Однако Иешуа все нипочем. Он лучше всех лазил, бегал, прыгал. Умел сидеть на таких тонких ветвях, где даже птица не усидит. Как-то в субботу налепил из глины свистулек-соловьев. Отец Йосеф рассердился:

— Нельзя в субботу работать!

Иешуа махнул рукой — и свистулек не стало:

— Не шуми! Улетели мои соловьи!

Или разбросает повсюду игрушки, мать велит собрать, а он как бы поддразнивает:

— Закрой глаза! А теперь открой! — и все убрано.

А еще он часто помогал Елисавете. Не успеет она ведро для персиков найти, как все плоды уже собраны и под навесом разложены. Просит его дядя баранов посчитать, а бараны сами в цепочке стоят: ждут, блеют, не толкаются. А когда Иешуа был совсем маленьким, увел однажды всех назаретских собак в лес и заставил их по деревьям лазить, отчего птицы в панике улетели и больше не вернулись.

Да, много чего помнил Фома о детстве Иешуа, но главной вещи и он не знал. И никто не знал. А без нее все остальное — лишь зыбкий свет. Где Иешуа был после детства, пока в тридцать лет не покрестился в Иордане? Это вопрос, на который никто не мог ответить. Или все отвечали по-разному.

Иные говорили, что Иешуа был несносным подростком, не слушался отца, перечил матери, передрался и перессорился с братьями и лет в четырнадцать сбежал с караваном купцов в Индию, где провел много лет в ашрамах Индии и Тибета. Другие сообщали, что Иешуа был небесной силой перенесен в страну, где дети рождаются с черепами длинными, как дыни. Кто-то был уверен, что он жил у халдеев в Вавилоне. Кто-то — в пустыне. Кто-то даже поминал подводные дворцы Атлантиды.

— Но в пустынях и под водой земным делам не обучишься, а он понимал земную жизнь лучше всех других! — со слезливой улыбкой заключал Фома.

Сам Фома думал, что Иешуа в юношестве ушел с купцами в Индию, жил там, узнал их говоры и обряды, но с кем ходил, кого слушал и слышал — никто не знает. Был с ним там якобы один постоянный спутник, но пропал, когда они шли назад в Иудею через Персию — вдруг растворился в воздухе и исчез, оставив на песке несмываемую рогатую тень.

— А с тенью не поборешься! Воздух не поймашь! — пучил глаза старик. — Иешуа иногда говорил на непонятном языке и учил сидеть, скрестив ноги. У меня всегда спина затекала, и я больше думал о своей спине, чем о вечном, — улыбался беззубый Фома, смахивая слезы.

Фоме можно верить, он своих слов на ветер не бросал, а чужие ловил, взвешивал и ощупывал. С детства дотошен и маловерен, он все привык проверять. Иешуа его любил, рядом с собой держал. И часто слышал от него Фома, что люди живут неправильно и надо жить по-другому, не так, как отцы и деды, наоборот. «А как наоборот — не объяснял!» — сокрушался Фома.

Да как же не объяснял? Все объяснял, просто Фоме все надо разжевать и в рот положить. Но у неверующего глаз более зоркий и ум поживее. И врач нужен больному, а не здоровому.

Так, вспоминая Фому, Лука шагал по лесной тропе, с посохом и мешком за плечами. Через пару часов оказался у развилки, где лесная тропа выходит на большую дорогу.

Не успел сесть на обочине передохнуть, как из леса бесшумно вынырнули два всадника. Копыта лошадей обмотаны тряпьем. Всадники оказались рядом с Лукой. Один спрыгнул на землю.

— Кто такой? — поднял рывком Луку с земли и, шаря по телу рукой в перчатке со свободными пальцами, не дал опомниться:

— Шпион? Сикарий? Иешуит?

Лука в недоумении глядел на всадника. Злые глаза. На груди, в центре кольчуги — выпуклый медный кулак. На лбу — бляха со сжатым кулаком.

«Вот они, римляне... — вспомнились Луке слова лесников. — Убивают всех!»

— Ты, что, глухой, свинья? — Всадник сорвал с его плеча мешок и высыпал содержимое на землю.

— Да что ты... — начал Лука, подбирая слова.

Тут другой всадник тоже соскочил с коня и, завернув Луке руки назад, ловко связал за спиной, потом коротким мечом разворошил пожитки:

— Гляди!.. Перо!.. Пергамент!.. Краски!.. Да это же лазутчик, Манлий!..

— Ясно, лазутчик! Наш лагерь срисовать хочет.

Римляне потащили Луку к дереву. Намотав веревку на сук, привязали, как скотину. Все его вещи запихнули обратно в мешок:

— Покажем начальникам!

Манлий пригладил редкие волосы. Брит до синева, с розовым шрамом на щеке. Бляха во лбу на цепочке.

— Иешуит? — спросил он.

Лука в замешательстве кивнул.

Манлий зыркнул:

— Гордишься, что ли? Невесело ты кончишь, собака!

— Каждый волен веровать по-своему, — начал Лука, но другой солдат ударил его ногой:

— Заткнись!

Лука замолчал. Понуро стоял возле дерева. Вербка резала запястья. Изловчившись, он стал исподволь шевелить кулаками, ослабляя узлы. Римляне отошли к дороге, посовещались и, казалось, чего-то ждали.

Послышался неясный шум... Ближе и яснее...

Стали различимы бряцание железа, гул голосов и шум шагов. Из-за поворота появились солдаты. Они старались держать строй, но даже издали было видно, как они устали.

— Поверни его спиной к дороге! — засуетился Манлий, и они грубо повернули Луку, чтоб тот не видел солдат. — В третьей центурии уже есть пленные. Сдадим его туда!

Они отвязали Луку и поволокли его за рубаху и за бороду:

— Эй, еще одного берите! — и забросили в толпу.

— Держи! — велел Манлий огромному детине.

Тот заворчал, но Манлий прикрикнул на него:

— Я приказываю! Исполнять! Это лазутчик! Головой отвечаешь!

Детина состроил устрашающую гримасу и замахнулся на Луку:

— Держись — зенки повыбиваю!

15. Допрос

Лука покорно пошел вместе со строем римских солдат. А что делать? Все произошло так неожиданно, что он вынужден был подчиниться. Мысли перескакивали, путались. Он так давно не видел людей, и вдруг такое! Римляне!

Стал оглядываться. По лицам и перебранке солдат понял, что все ужасно злые не только от усталости, но и от голода. Многие тащили свою поклажу волоком. Сильно пахло потом. Справа двое солдат на ходу разливали вино из фляги и негромко переговаривались. На солнце поблескивали железные доспехи. А впереди, высоко над землей, покачивался на древке громадный железный кованый кулак.

Рядом семеняли два шуплых человечка, запряженные в деревянную раму наподобие ярма, как быки в арбе. Лука невольно ускорил шаг и успел разглядеть: мальчишка-подросток и старик в белой рубахе до колен. Лицо старика покраснело от натуги, лбом он упирался в перекладину. Мальчишка, рыжий, в рванье, изредка поднимал к перекладине руку и хрипел. Оба боялись упасть.

«Тоже пленные!» — понял Лука.

— Приор! Приор! — прокатилось многоголосой волной.

Солдаты быстро спрятали флягу с вином. Все подтянулись. Топот приближался.

— Этот? — указал приор копьем на Луку, пристально вглядываясь.

— Да, лазутчик! У леса изловили.

— В лагере привести ко мне! — приказал приор. Походя огрел старика по спине копьем: — Живее, падаль! — и тут же уколол в зад мальчишку. — И ты не спи, недоносок! Шевелись!

Старик засеменял еще чаще. За ним и мальчик. Но оба сбились с шага и завалились на дорогу. Приор галопом поскакал дальше. Из-под копыт коня в солдат полетели комья грязи, вызвав взрыв его грубой брани.

Две центурии Карательного легиона Кулак, отставшие от главных сил из-за нехватки лошадей и обильных дождей, уже несколько дней месили дорожную грязь. Мелкие острые камешки больно врезались в подошвы, и тогда солдаты, прыгая на одной ноге, скорее вытряхивали их из сандалий.

«Все прояснится!» — успокаивал себя Лука.

Идти со связанными сзади руками трудно. На старика и мальчишку старался не смотреть. Верил, что сумеет убедить приора: никакой он не лазутчик, а просто — человек. Лука шел, изредка спотыкаясь, за что получал пинки и окрики детины-поводыря. Старик и мальчишка спотыкались чаще, солдаты почти волокли их, не скупясь на увесистые оплеухи за каждый неверный шаг. Оба пленника страшно хрипели. «А их за что?»

Вдруг Лука заметил: далекий железный кулак на древке, покачиваясь, свернул с дороги. Солдатский строй, изгибаясь змеей, тоже сворачивал вслед за кулаком на каменистую дорогу. Грохот и скрежет стали громче. Теперь шли по безлюдному селению. Выгоревшие дома пусты. Торчали зубчатые балки провалившихся крыш. Вокруг бродячие собаки с поджатыми хвостами. Тут и там видны таблички с номерами — это дежурные по лагерю раньше других вошли в селение, чтобы приготовить еду и ночлег. Солдаты выходили из строя и направлялись к своим номерам.

— В домах скорпионы, змеи! На улицах бешеные собаки. Все может случиться! — сетовали одни.

На что другие возражали:

— Все лучше, чем палатки. В задницу твоего приора вместе с его палатками! И легата шелудивого туда же! Сами, небось, на коврах спят!

Строй поредел. Но пленников повели дальше.

Они оказались возле сгоревшей синагоги. Под закопченной стеной солдаты возились со складным жертвенником. Перед входом возвышалось громадное древко с железным кованым кулаком.

— Куда? — окликнули их.

— К приору ведем, по приказу! — отозвался дегина-солдат. — Из-за этих ублюдков мы сюда и приперлись!.. — он с ненавистью посмотрел на Луку, замахнулся, но не ударил.

Пленников втокнули в синагогу.

Внутри за перевернутой бочкой сидел на складном стуле приор и ел дымящуюся курицу. Манлий расхаживал поодаль. Приор ругался:

— Не могли как следует пожарить!.. Обгорела вся по хребту!

Манлий виновато отвечал:

— Повар, видно, отошел — и вот...

При виде пленников приор, продолжая жевать, указал глазами солдату, куда их отвести, и куриной ножкой, зажатой в руке, дал знак снять ярмо и развязать веревки.

— Твой брат, я знаю, сикарий, — с аппетитом доедая курицу, приор обратился к старику. — Мне доложили, что тебя поймали возле его логова в Моавитах. Но он ушел. Где он сейчас? Где вся его шайка?

Старик, растирая шею, не смотрел на приора.

— Молчишь, падашь? — приор швырнул в него костью. — Отвечай!

Кость старика не задела. И он проводил ее равнодушным взглядом.

— Что, не понимаешь? Ничего, скоро вы все будете говорить по-нашему, а не на своем собачьем языке. Где твой брат? Где эта гадина прячется?

Старик молчал.

— Распят! — коротко бросил приор и ткнул куриной грудкой в сторону мальчишки. — А ты, сказали, носил жратву бунтовщикам? Где они сейчас?

Тот молчал.

— Он не понимает тебя, — пояснил Лука.

— Переведи.

Лука исполнил. Мальчик, насупившись, прошептал:

— Знаю, но не скажу, — веснушки на его лбу собрались вместе.

— Он не знает! — перевел Лука.

— Как же не знает, когда еду им носил? Тогда переведи ему: если через час он не скажет, где они, я казню его вместе с вами. — Заметив, что при словах «вместе с вами» Лука вздрогнул, приор подтвердил: — Да-да, вместе с тобой и со стариком этим паршивым. Ты ведь лазутчик?

— Нет, — ответил Лука. — Я свободный человек, живу в горах.

— В горах? — криво усмехнулся приор. — В горах-то они и сидят. Из-за этих гор мы потеряли два легиона. В каких горах?

— Здесь, — мотнул головой Лука. — Все меня знают. Даже звери и птицы...

— Ты что, чокнутый?.. А это тебе зачем?.. — приор показал пальцем на ту бочку, где Манлий раскладывал краски, тушь, пергамент из мешка. — Наши стоянки отмечать? Солдат пересчитывать? Орудия срисовывать? Планы воровать? Римской власти вредить?

— Я... пишу... рисую... Калам, листы. Больше ничего нет. Никакого оружия...

— Это и есть твое оружие, — приор с хрустом отломил вторую куриную ножку. — Попишешь ты у меня! И поплачешь! Кровавыми слезами!.. Ты ведь иешуит? Обыскивали его?

Манлий проворно ощупал Луку, увидел крестик на шее, сорвал и кинул на бочку. Приор ножом поддел шнурок.

— Это еще что такое? На шее крест носить? Первый раз вижу! Вот и ответ. Этих двоих распят, а мальчишку, если не заговорит, через час ко мне! — приказал он. — У меня все разговорчивыми становятся, особенно такие вкусенькие и гладенькие...

Манлий, нагнувшись к уху приора, напомнил:

— Начальник, ты же знаешь: у нас мало досок и почти нет гвоздей — все израсходовали. Может, их просто так, без возни: по башке — и в колодец?..

Приор мрачно молчал, внимательно рассматривая на железном блюде застывший куриный жир. Заглянул в бокал, куда Манлий услужливо подлил вина. Потер щеку. Пробормотал:

— В колодец... По башке... Да это же простое быдло, тягло!.. Их не резать, а работать заставлять надо! Не все ли равно — крестятся они, сморкаются или пляшут в своих пещерах? Лишь бы покорно работали да подати платили! Это такие же варвары, как германцы, только со своими причудами, — приор замолчал, разглядывая крестик. Покрутил шнурок на пальце: — Придумали крест на шее носить! Ну и что? Да пусть хоть раковины или камни носят, лишь бы не бунтовали и работали! По мне — так их вообще отпустить надо... Но тебе известен приказ легата — всех распинать, чтоб другим неповадно было. А приказ легата — это приказ им-пе-ра-то-ра, ни-ко-гда-не-о-ши-ба-ю-ще-го-ся! — по складам, желчно проскандировал он, допивая вино и закусывая оливками.

Манлий еще долил вина в бокал и озабоченно вернул:

— Да, не ко времени сейчас с легатом связываться... А ну, донесут ему, что мы лазутчиков отпустили?

— И это тоже. На кресты дерево и гвозди найдешь, а привязать веревками, какая разница? Я завтра проверю! — пригрозил приор.

— Исполню! — пообещал Манлий и хотел было идти, но вернулся к столу. — Рвы на ночь копать? Люди очень устали.

— Не надо. Все равно дальше тащиться... И конца-края не видно... А с этими не тяни. Если к утру сами не умрут — заколешь. Чего без толку мучить?

— Может, сразу заколоть? — предложил Манлий, которому было лень затевать всю эту волокиту с казнью.

Приор швырнул крестик на блюдо, где темнели куриные кости и светился дрожащий жир. Вздыхнул:

— Нет уж, пусть повисят. Сам же говорил, что стукачей полно... Это раньше Рим любили! Теперь мы только каратели. А на крови ничто не устоит. Этому же их учитель учит? — Он пьяно кивнул на пленников и заключил: — Правильно учит! Ты с ними по-хорошему, и они с тобой по-хорошему. А если ты по-плохому, то и они огрызаются... Куда лучше все тихо-мирно обделявать, добром, как старый цезарь. Вспомни — как нас встречали раньше? Еда, бабы, вина, игрища! А теперь? Трупы, гниль и падаль. Они там, наверху, спятили, что ли? Стариков и детей распинать — это дело? Но! Приказ есть приказ. И его надо исполнять! А мы тут — не желанные гости, а каратели и мародеры. И уберите это отсюда! — он брезгливо кивнул на мешок, калам и краски.

Манлий, слушая излияния захмелевшего приора, собрал пожитки Луки, пару раз нервно прошелся по обутленной синагоге и, наконец, не выдержав, выглянул наружу:

— Эй, кто там! Силач! Анк! Берите этих и ведите к колодцу, а я за досками...

Два здоровяка ввалились внутрь. Анк, схватив за шиворот старика и мальчишку, поволок их наружу. Лука поплелся следом сам, выказывая покорность, чтобы не связали руки за спиной. Долговязый Силач подтолкнул его ногами:

— Иди!

16. Казнь

Луку, мальчишку и старика вели через селение, превращенное в военный лагерь.

Солдаты рубили заборы на костры, чистили щиты, переобувались. Кое-где, не желая ночевать в обгоревших домах, раскатывали палатки, стругали колья, вбивали их в землю, растягивали полотнища. Некоторые слонялись без дела. Что-то подкручивали в камнеметах. Кто-то переругивался из-за дежурства. Кто-то молча копался в мешках. Кашевары разводили огонь под жаровнями. Гремели миски. И тут же сухо щелкали кости, игроки спорили, с грохотом швыряя шлемы и ругая богов.

— Куда ведешь ублюдков? — раздавались голоса. — Позови, когда готово будет!

— Как на казнь смотреть — все тут, а как помогать — так вас нету!.. — огрызнулся Силач, удерживая за шиворот едва стоящего на ногах мальчишку.

«Неужели?..» — впервые подумалось Луке.

Их швырнули в хлев, заложив дверь доской.

Коровий хлев был забит старым окаменевшим навозом. Старик молча присел в углу на корточки. Мальчишка, потирая стертую до крови шею, улегся на полу. Лука встал возле него на колени. Раны на шее неглубокие, но с большими занозами.

Вытаскивая занозы сильными пальцами, Лука тихо, не оборачиваясь, спросил старика:

— Что дальше?

— Казнят! — коротко бросил тот, сплевывая. — Повсюду много распятых... Весь народ против римлян. Я сам убил шестерых. Из засады, когда ночью выходили по нужде. Ножом! В шею! А поймали, когда к брату пробирался...

Старик еще что-то говорил, но до Луки внезапно дошло: «Меня распнут?..

Казнят?..» Он осел в навоз, ошеломленно уставясь в темноту деревянной стены. Тупо вглядывался в шершавые бревна, мысли ускользали, и думать о чем-то важном не получалось, в голову лезла всякая всячина: обгоревший хребет курицы, блестящий щит приора, крестик в застывшем жире...

«Вдруг передумает?.. Ведь сказал же — отпустить нас надо... Поверит мне?.. Что ж, ваше время и власть тьмы, но будет и мое...» — со злым раздражением твердил Лука, а вихри страха сносили мысли куда-то в обрывистую бездну.

Его вернул на землю разговор солдат:

— Сколько тут торчат? Там мясо жарят, ничего не достанется! Ты же этих обжор знаешь — все до косточки подьедят! — слглатывая слюну, ныл Силач.

— Пока Манлий не придет, — не поддавался Анк.

— Сам, небось, жареную говядину уже лопаешь, а мы должны маяться! Может, покончим с ними?.. Побег — и все?.. Лазутчики, пытались бежать...

— Да какие они лазутчики! Вся страна лазутчики?.. Всех надо тогда на кресты!

— Солдат! — очнулся Лука. — У меня серебро есть. Отпусти нас!

— Давай! Просунь под дверь!

Торопясь, Лука выковырял из сандалии три монеты и просунул их в щель под дверь.

— И все?.. Мало.

— Больше нету. Я потом отдам. Слово даю.

— Да, ищи тебя потом, а нам под арест! Нет, не пойдет. Мало! Слово он дает!

— Мальчишку хоть отпусти! — попросил Лука.

— Нельзя. Мало.

Лука в растерянности порылся в карманах, но, кроме крошек, ничего не нашел.

— Ничего нету, — пробормотал он.

— Молчи тогда! — строго приказали снаружи и грохнули мечом по двери.

Лука опустился на навоз. Тяжелые мысли одолевали его: «Не может быть!.. За что?.. Я же не лазутчик!..» И что-то страшное, темное поднималось из самого нутра и вопило без звука, и билось без смысла. Спина и лоб похолодели. Он сидел в поту, не в силах шевельнуться, то принимаясь истово молить о пощаде Того, Кто может его спасти, то отдаваясь несвязным образам прошлого: шорох песков Кумрана, первый холодок зари, желтая верблюжья шерсть пустыни, мать собирает что-то в подол, малышня лазает по деревьям, сосед обсасывает косточки от фиников, лекарь Аминодав, бровастый и носатый, через толстое стекло зажигает одну травинку, другую, третью, приор ест курицу, и лицо у него такое же желчное и брезгливое, как у Пилата, когда тот посылал Иешуа на смерть...

— Солдат! — встрепенулся неожиданно Лука. — Дай калам и пергамент! Там, в мешке. Они никому не нужны.

— Зачем?

— Письмо хочу написать, — объяснил Лука. — Домой.

— Да чего тебе писать?! Тебе жить осталось всего ничего!

— Дай ему, жалко тебе, что ли! — сказал другой. — Куда он денется из хлева? Небось, его динарии сцапал, а половина моя! Барана можно зажарить, еще на бочонок вина и на шлюх останется...

— Где ты тут шлюх видел? Это тебе не Египет! Вот ты и давай, если хочешь, а я не дам. Бараны, шлюхи...

Послышались ругань, громкие глотки из фляги, шуршание. Под дверь просунули кусок пергамента и свинцовый штырь:

— На, пиши...

Лука положил пергамент на камень и стал что-то наносить. К нему подобрался старик и увидел, как на листе возникает лицо приора, а под ним — еще какие-то слова, которых не разобрать, но одно было «Пилат».

— Ты иешуит? — спросил старик.

— Да, — ответил Лука. — А ты?

Старик хмыкнул:

— Не знаю...

— Как это? — Лука оторвался от листа.

— Так... Всю жизнь промучился... То верую, то не верую. Как колесо — то одна спица наверху, то другая...

— Почему тогда римлян убивал? — спросил вдруг мальчишка.

— А чтоб мою землю не топтали! Пусть каждый у себя живет.

Лука торопливо писал что-то на пергаменте, переворачивая его так и эдак. Голова раскалывалась на две части: одна истошно визжала: «Смеееееерть! Смеееееерть!» — другая нудно блеяла в ответ: «Нееееееееееееет! Нееееееееет!»

Снаружи доносились брань и окрики. Сквозь щели было видно, как Манлий вел за кольцо в ноздрях здорового бурого быка. Бык хромал, но нес на хребте бревна.

— Где такого зверюгу нашел? — крикнул Анк.

— Во дворе стоял, привязан. Хоть и хромой, а крепкий, как таран! Зоб до земли висит. Ему кличка «Зобо» подойдет! — Манлий с опаской похлопал быка по могучей шее, привязывая к колодцу и сторонясь крепких рогов.

За быком двое солдат катили малую камнеметню. Анк и Силач принялись сгружать бревна. Гвоздей хватало только сбить кресты. Солдаты начали сколачивать их, предварительно топором заострив концы, которые будут вкапывать в землю. Один курчавый, больше ротый, смуглолицый солдат, поставленный рыть ямы для крестов, нехотя стучал лопаткой по земле, пытаясь ее разрыхлить.

— Глубже бери! — приказал Манлий, и солдат кивнул ушастью головой.

— Беру, — и продолжил ковырять твердый песок, пока Силач копьём не помог ему. Увиливать уже было нельзя, и солдат выкопал три ямы.

Скоро все было готово. Первым выбрали старика. С него сорвали рубаху и стали раскладывать его, голого, на кресте. Суставы трещали, старик орал от страшной боли, ругался и дергал ногами, пока на них не сел Силач и не прикрутил веревками к перекладине.

Солдаты толпились тут же, поблизости и давали советы:

— Ногами вверх его, свинью!

— Топором по башке — и все, чего там возиться!

— Поперек привяжите!

Наконец, старика привязали, хотя и нескладно, боком, лицом в сторону, вывернув ему руку. На веревках, с рывками и бранью подняли крест. Силач взобрался на камнеметню и обухом стал вгонять крест в землю.

— Вот так хорошо, — сказал он, спрыгивая.

Доедая из мисок горох с мясом, без особого интереса наблюдали за казнью солдаты. Где-то играл рожок. Перекликались часовые. Да бык косил брезгливым глазом, роя землю копытом.

— Но-но, Зобо, не злись! — успокаивал его Манлий, но бык продолжал утробно мычать и обмахиваться хвостом.

Пораженный Лука рассматривал через щель голого старика, висевшего тихо, не шевелясь. И тут до него дошло, что пощады не будет — смерть! Сейчас. Его. Тут. Казнят.

Сунув пергамент в карман и напрягшись, он встал у двери. И когда Анк, деловито обойдя крест со стариком, подошел к хлеву — Лука был готов. Он не думал о побеге. Не знал, куда ринуться. Не ведал, что сделает. Просто жизнь взбунтовалась в нем и перелилась через край.

— На!.. На!.. — вдруг услышал он — мальчишка совал ему камень.

Дверь распахнулась. И он ударил камнем, не глядя. Анк успел наклониться, а Лука, пробежав несколько шагов, был сбит с ног.

— Тварь! — заорал Анк.

Удар по голове — и Лука потерял сознание.

Очнувшись, увидел над собой налитое кровью лицо с отвисшими щеками: Силач, от которого разило чесноком, просовывая веревку, привязывая левую руку Луки к кресту. Правая уже примотана к перекладине. Внизу кто-то молча накручивал веревки на щиколотки — Лука краем глаза видел подрагивающее перо на шлеме и чувствовал, как с каждым подрагиванием пера еще один виток ложился на его босые ноги, упертые в перекладину. Молчание палачей пугало.

И тут стали поднимать крест.

— Тяжелый! — прерывисто задышал кто-то сзади.

— Тяни на себя! Перекос!

Раздались мерные удары сверху — крест вбивали в землю. Удары отзывались во всем теле, особенно в затылке.

Наконец, крест поставили. Все отошли, уселись на землю.

«Сойти бы!.. Уйти бы!..» — с тоской и болью глядел он на раскисшую от дождей землю, на щепки, гнутые гвозди и на забытый топор. Его мешок и сандалии валялись тут же — никто не захотел взять их себе.

Мальчишку быстро привязали к перекладинам и подняли. Он повис беззвучно и не шевелясь.

Вдруг Манлий хлопнул себя по лбу:

— Ах ты, черт! Приор же велел привести его! — он пальцем показал на Луку, но Анк только сплюнул сквозь зубы:

— Не снимать же! Авось забудет!

И Манлий согласился:

— Ладно, не до того сейчас!

Поглазев на кресты, солдаты разошлись, повздорив напоследок, что делать с быком. Кто-то предложил зарезать на мясо, но все были сыты, и никому не хотелось с этим возиться. Решили оставить у колодца:

— Манлий завтра разберется!

Бык строптиво бил копытами, угрожающе мычал и вскидывал большущие рога.

Начался мелкий дождь. Силач, сторож казнимых, походил-походил да и прилег возле хлева, подстелив под голову рубаху, сорванную со старика, и не спеша потягивая из фляги вино.

17. Спасение

Лука очнулся от громкого протяжного звука. Мычал бык. Позванивая цепью, он бодался с колодезным кругом. Рядом громко храпел мертвецки пьяный Силач.

Руки и ноги у Луки одеревенели, словно их окунули в жидкий лед. И этот огненный лед струился по всему телу, забираясь в каждую клетку и прожигая насквозь. На душе сумрачно. Как в бездну, провалился он в глубокое отчаяние, в кромешную тоску — безо всяких сил и без мыслей. Забыть...

— Жив? — донесся из темноты голос старика.

— Жив, — отозвался Лука, приходя в себя.

— Ты грызи зубами веревку... Я-то не могу... Зубов нету... И руку вывихнули, шевельнуть нельзя... Солдат дрыхнет, я вижу, луна на него светит. До рассвета еще есть время...

«А ноги?» — не успел подумать Лука, как старик опять зашептал:

— Ногами тоже шевели, растягивай веревки! Их надо растянуть. Недавно один брат спасся так. За ночь распутался.

— Я тоже жив! — подал голос мальчишка.

— И ты грызи!.. — просипел старик.

Мальчишка ответил плаксиво:

— Не могу достать!

— Смоги! — приказал старик.

Вокруг никого, кроме быка — тот блестел влажными глазами и изредка мотал рогатой башкой.

Лука, вывернув шею, дотянулся до вонючей веревки и стал слезить по ней зубами. Одновременно задвигал рукой, растягивая веревочные узлы. Руки у него были сильные: сам пахал, молот зерно, выделывал бараньи шкуры, перетирал краски, переписал тысячи свитков, а в юности работал в каменоломне.

Он грыз и грыз веревку, забыв обо всем. Зубы шатались, крошились. Во рту стояла соленая и горячая кровь. От страха и отчаяния на ум пришло что-то несусветное: «Там хоть была толпа, люди, а тут?.. Тьма и спящий солдат!..» — он выплюнул сломавшийся зуб. Стало вдруг обидно умирать в одиночестве, во тьме! Но он задавил в себе эту глупую зависть, ужаснувшись: «Кому завидуешь? Ему?» — и с удвоенным рвением вгрызлся в веревку.

Скоро перегрыз первый виток. И странно — руке сразу стало свободно, осталось стянутым лишь запястье. «Неужели?» — дразнила ожившая надежда, и он начал крутить кулаком, разгибая запястье.

Усталость переполняла его. Болело все тело, рука огнем горела от веревок и заноз. Он часто проваливался в красную безжизненную муть, но небесная сила выводила его из пустыни смерти. И когда, обессилев, он тяжело дышал, разглядывая темноту, появлялась мысль о Иешуа, и откуда-то приходили силы бороться дальше: «Он прошел — и я пройду! Он был — и я буду!» Сама эта мысль была животворна.

И вот, вжав пальцы в перекладину и чувствуя, как заносы впиваются в плоть, он вытащил из веревочной петли правую руку, обхватил перекладину, чтобы не упасть, и стал работать кулаком левой руки. Веревка ослабла.

Стояла ночь. Еще догорали костры, перекликались караульные, но их Лука не боялся — они не приближались к крестам, обходя лагерь по малому кругу.

— Живы? — шепотом спросил Лука.

— Да, — отозвался мальчишка.

— Шевелись! У меня руки свободны! — сообщил обрадованно Лука.

— Нет сил.

— Давай, шевелись! Растягивай узлы!

— Тише! — приструнил вдруг старик.

Лука принялся ерзать ступнями по доске, разводить щиколотки.

Крест закачался, но Силач крепко спал. Бык застыл. Его сине-зеленые глаза смотрели, не отрываясь, на кресты, а кончик хвоста напряженно и гибко подрагивал.

— Давай! Давай! — подначивал старик. — Все дрыхнут. Два дня без остановки шли, пьяные в стельку. Может, спасемся еще! Вон, за оврагом, лес! Там уж никто не поймает! Видать, ты сильный, крепкий! Давай, брат! Да поможет нам Спаситель!

— Поможет! — прохрипел Лука, как баран под ножом, — горло совсем пересохло.

Бык громко замычал.

— Только этого нам не хватало! Всех разбудит, проклятый! — выругался старик и шикнул на быка: — Тише ты, скотина!

И бык замолчал, будто поняв приказ, лишь продолжал поблескивать влажными глазами.

Через какое-то время Луке удалось освободить одну ногу. И он дотянулся ею до земли. Вырвал из веревок левую руку и тут же упал на землю лицом вниз. Что-то хрустнуло в лодыжке, обожгло болью, но он даже не понял... Он был на земле, он свободен!..

Плохо врытый и раскачанный крест рухнул в грязь вслед за ним.

— Возьми у солдата тесак, перережь веревки! Он, пьянь, храпит! Светает уже! — поторапливал старик.

«А если проснется? Убить? Убью!»

Лука взял камень и пополз к Силачу. На счастье, тот спал на спине, и Лука бесшумно вытащил тесак из ножен.

Вернувшись, подошел к кресту со стариком.

— Мальчишку сначала! Ему жить! — приказал тот.

Лука старался быстрее перерезать веревки у ножной перекладины.

— Руки сперва освободи, а то сломаться могут! — советовал умудренный опытом старик.

Лука, с трудом держась на ногах, бил тесаком по веревкам. Он видел близкое лицо мальчишки, слышал его частое дыхание и заторопился. Повиснув на Луке, он дергался и больше мешал, чем помогал. Прицыкнув, Лука держал мальчишку на плече и кромсал веревки, связывавшие детские ноги.

И тут раздался пронзительный звук военного рожка — подъем!

Лука от неожиданности рванулся. И мальчишка упал на землю вместе с крестом, но сумел вылезти из-под него и бегом рванул к оврагу.

— А! — раздался безумный вопль: это Силач вскочил и, ничего спросонку не понимая, смотрел то на Луку, то на поваленные кресты, то на убежавшего мальчишку.

И тут бык Зобо, дернув огромной головой, легко сорвался с кольца, в один длинный прыжок настиг Силача и придавил рогами к дощатой двери. Через несколько мгновений, страхнув мертвое тело, бык отошел и рухнул на колени перед Лукой.

— Беги! Они близко! Я их вижу! — крикнул старик. — Меня не спасти!

Не послушавшись, Лука кинулся к его кресту, но бык перегородил дорогу и так стремительно и ловко подкинул его рогами, что Лука оказался на могучей бычьей шее, как в седле.

И бык погнал.

Хромой, он бежал и бежал, тяжело, неуклюже, издавая громкие, kloкочущие звуки, похожие на слоги неведомого языка.

Мертвой хваткой вцепившись в шершавые бычьи рога, Лука обернулся и увидел, как солдаты окружили крест со стариком, как блеснули на солнце римские мечи.

«Зарубили! Свины, скоты! Я отомщу вам! Я превращу вас в пыль! Я уничтожу ваше царство!» — кипел гневом и ненавистью Лука, и бык отвечал ему ревом.

...Пасмурным утром римляне спешно покидали селение. Проклинали богов, сворачивали палатки, чтобы вечером, прошагав весь день по липнущей рыжей грязи, опять поставить их где-то на чужой земле. Замыкающие могли видеть крест с распятым стариком, чье тело превратилось в кровавое месиво.

— Не к добру все это! — проворчал бывалый солдат, искоса поглядывая на сонных дежурных, копавших могилу для Силача.

— Так точно, — с некоторым смущением ответил один из них, как будто это он, бывалый вояка, гнал римские войска на гибель. — С каждым днем все хуже и хуже!

— Конец империи близок.

Эпилог

Лука стал великим мастером слова, кисти и врачевания не только душ, но и тел людей. В возрасте 84-х лет умер мученической смертью в городе Фивы — был повешен на дереве, но живет и будет жить в веках, пока люди читают книги.

Иуда выздоровел, ходил еще какое-то время по Месопотамии, нес слово Иешуа язычникам и тоже принял мученическую смерть через колесование в Персии, где и похоронен в монастыре святого Фаддея. Мир праху его!

Тимур Зульфикаров

Самая смешная и грустная сказка об Осле-Книге Ходжи Насреддина

*Моим друзьям — истинным писателям среди океана
графомании, среди воющей мертвечины шоу-бизнеса, среди
сатанинской затеи психокоронавируса: Мише Ерёмину,
Николаю Зиновьеву, Володе Карпову, Толе Киму, Володе
Личутину, Виктору Лихоносову, Славе Отрошенко, Саше
Проханову, Саше Потёмкину и Вере Галактионовой*

У беднейшего из беднейших в эпоху Золотого тельца Ходжи Насреддина не было бумаги и даже пишущей ручки, а яростно хотелось писать стихи и афоризмы... Душа горела древним персидско-таджикским поэтическим огнем... Персты старца чесались от святого творческого зуда, некогда породившего Пушкина, Данте и Омара Хайяма... Что же делать?.. Тогда великий, но никому не известный златоуст-сладкопеец стал писать стихи углем на белой шкуре своего старого осла Хунука...

Айхяя...

Покорный и единственный четвероногий любитель белошкурной поэзии был весь исписан, испещрен, изрезан непреходящими стихами и афоризмами легендарного мудреца... Среди них были, например, такие:

Пришли времена, когда виляющий хвост ишака — мудрей, чем его башка...
Если ты не читаешь книг — ты бараном становишься вмиг...
Если тысячу книг не прочел — ты осел...
Долой интернет — из ада привет!..
Если ты полюбил интернет — значит, ты — импотент...
Если компьютер твой единственный друг — значит, ты — муха, а он — паук...
Гаджет и смартфон погружают в летаргический сон...
Если у тебя родственников меньше ста — ты павлин без хвоста!..
Люби людей — и проживешь сто тысяч дней...
А если ты не любишь людей — ты зловонный козлодей...

Айхххх!..

Зульфикаров Тимур Касимович — поэт, прозаик, драматург, сценарист. Родился в Душанбе в 1936 году. Окончил в 1961 году Литературный институт им.М.Горького. Автор 30 книг прозы и поэзии, в том числе собрания сочинений в семи томах. Лауреат многих литературных премий: «Ясная Поляна» (2004), «Лучшая книга года» (2005), Бунинская премия (2017) и др.

Жители кишлака Зимчуруд, где в глиняном домике, на вершине Золотой горы Кухи Тилло жил знаменитый Ходжа, обступали Осла-Книгу и хохотали, читая свежие стихи и грубо выпуклые афоризмы...

Айххххх!

Говорят, что в эпоху Компьютера и Телефона народ перестал читать книги, но тут кишлачный народец с упоением читал Осла-Книгу...

И он был вечно окружен веселыми книгочеями, особенно детьми и стариками...

И вечно голодный в двадцать первом веке, как все мудрецы, философ-просветитель Ходжа радовался, что вернул древний Народ Книги к Книге...

Ведь японские дотошные ученые установили, что если человек не читает три-четыре месяца книг, у него отключаются восемьдесят процентов мозга, и он превращается в барана и может смело вступать в проходящее стадо своих собратьев-баранов, и они радостно примут его, почуяв своего...

Айххххх!..

Так люди — венцы творения — становятся баранами...

Но Осел-Книга Ходжи Насреддина не давал людям стать баранами, чего очень хотят тайные хозяева мира... жрецы-творители интернета — этой Горизонтальной Вавилонской Башни...

Говорят, что среди строителей *той* Башни стоял сам сатана...

И среди отцов компьютера — тоже стоит он...

Но Господь разрушил *ту* Вавилонскую Башню — разрушит и эту... компьютерную...

Айххххх!..

Да будет так... И чем скорей — тем лучше...

Да!..

А тем временем наш Осел-Книга кочевал... бродил по кишлакам и городам, собирая многочисленных счастливых ослокнигочитателей...

Живая передвижная Ослокнига торжествовала!..

Уже говорили в народе, что в России есть изба-читальня, а в Центральной Азии — Осел-Книга...

Уже слава о диковинном Осле разнеслась по миру, собирая туристов-читателей со всего света...

И Ходжа радовался, что возвращает людей к чтению... к размышлению...

Но!..

Но суфии-тайнознатцы предупреждают нас, что Творец, создав Прекрасную Вселенную за шесть дней, на седьмой день отдыхает...

А у шайтана нет выходного дня, ибо ему надо соблазнить... совратить... сбить с Пути Истины как можно больше людей...

Увы... увы... И ему это удастся...

И вот однажды миндальной, духмяной весной Ходжа проснулся в своей глиняной кибитке на вершине Золотой Горы и вышел подышать утренним блаженным альпийским, все еще бесплатным социалистическим воздухом-праной, и увидел, что Осла-Книги нет...

Пропал... Исчез... И следов нет...

Может, его украли?..

Может, он по старости сорвался в весеннюю пропасть?..

Или волки съели его?..

Волки, как и нынешняя молодежь, плохие... неблагодарные читатели...

А ведь в последнее время Осел-Книга кормил вечноголодного мудреца...

И вот литературный осел с продуктовой корзинкой пропал...

Например, такое четверостишие в стиле Омара Хайяма:

А в карманах народа — пустыня... и зима безденежья...

И Ходжа отдал гадалке последнюю самаркандскую лепешку с чеканным ликом Амира Тимура...

Когда человек съедал эту лепешку, в него вселялся дух Великого Кровавого Завоевателя...

И он почему-то жаждал схватить Топор Справедливости и Равенства и изрубить своего богатого соседа-вора или поджечь его мраморный дворец...

Так рождаются революции — как горные бурные реки от ледника, как козы маслянистые шарики от горной козы...

Да!..

Когда Ходжа был мальчиком, он пытливно спрашивал у местных мудрецов:

— Если падает с дуба желудь — из него вырастает дуб... А почему, когда с козы падает шарик — из него не вырастает козел?..

Но мальчику не было ответа... и досель нету...

Эйххх!..

А цыганка схватила революционную лепешку, метко кинула в узкий рот горсть сушеного афганского мака — дурмана-текуна, закрыла глаза и запричитала... застонала... запела... завывала:

— Я вижу... вижу... и прошлое... и настоящее... и будущее...

Вот он!..

Твой хитроумный Осел-Книга вначале пошел в город... в Союз писателей...

Там его горячо принимали и приняли в Союз... Был шумный банкет!..

Ахххх!.. Ромалы!.. Жаль, что я не была там!..

Ах!.. Закурчавилась бы!.. загуляла!.. засоблазняла!..

Как чужих коней... чужих мужей угнала бы...

Айхххх!..

Ах, цыгане-чарики, рюмочки мои! е...

Ах!.. Разбитые... рассыпанные хрустали мои...

Ах!.. Кабы были б золотые... не разбились бы...

Ах!.. Где баксы-доллары мои?..

И цыганка в горячке пенных пророков жарко шептала, не открывая глаз:

— Вот он!.. Я вижу!..

А потом твой Осел-Книга ушел в Россию...

Он шел по бескрайним русским дорогам... степям... холмам... лесам... деревням... городам...

И всюду его окружал народ...

И всюду люди радостно читали твои стихи и притчи, о мой Ходжа!..

Вот так и русский народ, некогда самый читающий в мире, а ныне затонувший в болоте нищеты и инета, возвращался к Живой Книге... к Живому Слову...

Айхххх!..

Так буйно множился и торжествовал ослочитатель на Святой Руси...

Повсюду одичалые библиотекари звали Осла-Книгу в свои умирающие сельские и городские библиотеки, и народ бежал за ним и наполнял пустующие книгохранилища... И умершие были библиотеки оживали!..

Да!..

Книга не умирала!..

Воскресала!

Ходжа заворуженно слушал, закрыв глаза...

Айхяяя!..

А ярый афганский мак-текун все больше воспалял... взъерошивал старуху...
А потрясенный Ходжа качал снежно-седой головой...
А магически-гипнотическая пророчица вещала:
— Тессе!.. Тише!.. Ходжа!.. Брат!.. Только никому не говори...
Но твой Осел-Книга пришел в Москву на Красную площадь...
Там была кишашая Книжная ярмарка и твоего расписанного стихами осла признали
«Лучшей книгой года»...
Посыпались на него премии: «Большая книга», «Русский букер или Еврейское счастье»
и другие...

Айххх!..

Сам Путин сфотографировался рядом с «Лучшей Книгой»...
Но!
Но это еще не все!..

Цыганка передохнула и вдруг завизжала, как старое колесо от резкого торможения:
— Осла-Книгу перевели на английский язык и преподнесли самому Трампу!..
И тот сказал, что это «...лучшее, что он прочитал за последнее время!..
Прокатились даже слухи, что Осла-Книгу выдвигают на «Нобелевскую премию по
литературе»...
Ай! Чавелы!..
Ай, где наши цыганские «нобелевки»?..
Айхххх, Ходжа!..
Ай, седой поэт-мальчик!..
Не забудь тогда про меня и про мой бедный кочевой народ...
Ойх!..
И еще: американские сенаторы предложили поставить Осла-Книгу у входа в Библиотеку
Конгресса — самую богатую библиотеку мира...

Айххх! Ойххх!..

Ходжа уже давно понял, что маковая старуха бредит...
И даже пожалел, что отдал ей последнюю революционную лепешку с ликом Амира
Тимура...
Лучше бы сам съел и пошел с Топором Справедливости на богатого вора-соседа...
Но так хотелось поверить в эти сладкие цыганские бредни...
А что человек без мечты?..
Река — без воды...
Луг — без травы...
Мудрец — без бороды...
Павлин — без хвоста...
Ночь — без луны...
Банкир — без рубля!..

Айхяяя!..

Тогда Ходжа разочарованно... опустошенно встал... обнял цыганку и поковылял в
свою одинокую кибитку на Золотой горе...
Старость и бедность — две вечные сестры — опять ожидали его...
Но цыганка не унималась и запричитала ему вослед:

— Ходжа!.. Брат!.. Кто не верит цыганам — слепец... глупец...
А ты — мудрец!..
И знаешь, что цыгане и евреи кочуют по земле и видят весь мир, а не только свою хату с краю...
И потому они мудры...
Потому что сама Мудрость — Кочевница...
Эй!.. Остановись! Послушай главное!..
Твоего Осли-Книгу прочитал самый богатый человек на земле...
И ему понравились твои ослиные стихи...
И он послал тебе неслыханный подарок!..

Тут Ходжа остановился... замер...
Ибо, как все бедняки, был чуток к слову «подарок»...
И повернулся к гадалке:
— Что?.. Какой подарок?..

Цыганка сладострастно замерла, но потом всплеснула хищными деньголюбивыми перстами:

— Он послал тебе Золотого Мула!..
Ценой — в миллион баксов!..
Это редчайший зверь сахарийско-нильской породы из Красной Книги...
Такие Золотые Мулы с изумрудными текучими глазами жили и служили при дворцах ассиро-вавилонских царей и древнеегипетских фараонов!..
И на их атласных шелковистых золотистых шкурах, как на мягких пергаментях, цари и фараоны писали свои вечные указы и завещания...

Айхххх!..

Где те Золотые Времена Золотых Царей?.. Золотых Фараонов?.. Золотых мулов?..
Только цыгане помнят те Времена...
Да!..
И вот, самый богатый на земле человек щедро посылает тебе такого мула, чтобы ты рисовал, высекал свои стихи на его живом золотистом пергаменте, а не на дохлой шкуре своего зловонного ишака...
Ой, чавелы!..
Пусть стоит он вечно у Библиотеки Конгресса и пускает кислые ветры...

Айхххххххххх!..

Тут цыганка устала... увяла... сникла... замолкла...
Мак перестал будоражить ее мозг, усыхающий, как Арал...
Да!..
Пророчество сжигает человека...
И даже лепешка с ликом Покорителя Вселенной Амира Тимура выпала из ее дрожащих рук в траву, где ее уже ждали вездесущие муравьи...
И нас ждут... Да!..

А Ходжа вернулся в родную, безнадежную, как капитализм в России, кибитку...
Уже ночь была...
В горах — небо близко... и слышно, как со звезд лают собаки...
Да!..
А кто-то еще сомневается, что на звездах есть жизнь...

Айхххххххххх!.. Слепцы...
Если на звездах есть собаки — значит, есть и люди!..

И с этой ослепительной мыслью-отгадкой голодный старец уснул под бухарским павлиньим дряхлым одеялом, под которым всегда снятся радужные сны...

Но эта ночь прошла без снов...

Ибо все фантазии, вместе с самаркандской лепешкой, забрала безумная маковая гадалка, опустошив воображение мудреца...

Так жгучая пустыня иссушает кроткий оазис...

Айхххххххх!..

Ранним утром, когда расцветают синеокие цикории и дрожат от наслаждения рубиновые маки, принимая поцелуи медовых пчел, Ходжа услышал, что кто-то нежно тычется в его ореховую дверь, которая ссохлась от старости и уже не закрывалась, а только скрипела от утренних горных ветерков...

— Кто там?.. Дверь открыта!.. Входи!..

Но гость не входил...

Но терся о дверь... просился...

Тогда Ходжа неохотно вылез из павлиньего одеяла... открыл дверь...

И замер...

Там стоял Золотой Мул с изумрудными текучими глазами...

И виновато глядел на Ходжу, ибо чувствовал, что досрочно разбудил его...

Ходжа подумал:

— Если такие Золотые Мулы служили ассиро-вавилонским царям и древнеегипетским фараонам — значит они познали глубину человеческой души, как старый верный друг или преданная жена...

Ойхххххх!.. О, чудо!..

Почему-то Ходже сладостно захотелось пасть на колени перед четвероногим царским посланником, но он сдержался, вспомнив, что человек — венец творения...

Да!..

А к атласно-золотистой спине Золотого Мула был приторочен златотканый богатый хурджин — мешок, усыпанный бриллиантами, рубинами, изумрудами...

Камни полыхали!..

Ходжа ясно... трезво понял, что постылой бедности пришел конец...

Он радостно вздохнул и подумал о бедном Человечестве:

— Вот бы каждому бедняку такого гостя!..

Ходжа снял с усталого мула хурджин и развязал его...

Там были тончайшие китайские колонковые кисти и знаменитая шаньдунская серебристо-смоляная тушь...

И душистая от аравийско-израильских масел-смолов записка:

«Брат!.. Если напишешь мне несколько вечных слов — буду рад!..

Тысячелетне преданно Твой...»

Подпись была размашисто неразборчива...

Но Ходжа разобрал: «Барон Ротшеллер»...

Ойххх!..

Прошло много дней...

Ходжа полюбил Золотого Мула, а тот полюбил Ходжу, хотя он не был ни царем... ни фараоном...

Айхххххх... ойхххххх... эйхххххх...

Все тленно — только Время вечно...

Но тайные суфии говорят, что умрет и Время...

Но мы не доживем до того времени, когда умрет Время...

А жаль умирать у Врат Тайны... довременно... безвременно... вовременно...

Тут суфии бездонно запутались в философских серпантинах...

И выпили несколько кувшинов мусалласа и протрезвели... прозрели...

Да!.. Истина проста...

А Ходжа продал хурджин с драгоценными камнями и купил маленькую чайхану у Варзоб-Дарьи...

Здесь давали плов, лепешку и зеленый чай...

Беднякам иль знатокам поэзии — бесплатно...

И потому чайхана всегда была полна веселого народца...

Звучали хмельные стихи... притчи... анекдоты...

А у входа в чайхану всегда дежурил Золотой Мул с изумрудными глазами...

Да и чайхана называлась «Золотой Мул»...

И Ходжа часто сиживал здесь и читал свои стихи среди бедняков, а их становилось все больше в многоорождающей... неистово чадолюбивой вечнобеременной блаженной Азии...

Да...

Бедняки бездонно... безумно... оголтело... слепо... сладко плодятся...

Скоро на Земле не будет ни чистой земли... ни чистого воздуха... ни чистой воды...

Да!.. да... да...

Но...

Но что-то мучило Ходжу Насреддина, словно кто-то протянул ему руку любви, а он не ответил...

Он вспоминал записку Ротшеллера...

А ведь Ходжа любил все и всех...

И даже мог погладить ласковой вселюбящей ладонью майскую ядовитую гюрзу... иль злого смертельно колючего скорпиона...

Айхххх...

Много раз Ходжа макал колонковую кисть в шаньдунскую тушь и хотел написать на золотой шкуре Золотого Мула благодарные слова самому богатому на земле человеку, но тут почему-то, в его голове болезненно плыли заколоченные дождливые кривые русские деревеньки с последними ситцевыми старушками и глиняные азиатские кишлаки с голодноглазыми детишками...

И тушь напрасно капала в траву, где ее ждали и пожирали вездесущие всемогущие муравьи и черви...

И нас ждут... и нас пожрут...

И стихи и афоризмы, как прежде, не рождались в голове бывшего поэта и мудреца...

Богатство убивает поэзию и мудрость...

Наверное, литературный талант Ходжи навсегда унес Осел-Книга...

И Ходжа вздыхал, как евнух в гареме:

— Ах, родной мой осел Хунук!..

Где ты бродишь нынче?..

Ты стал всемирно знаменитым...

Забыл родной кишлак...

Опять народ перестал читать и размышлять...

Но ты же стар, как я...

А в старости слава смертельно опасна, потому я сбежал в далекие горы, как Будда под дерево Бодхи...

Айххх!..

О Всевышний...

Так мы теряем верных друзей...

Меняем старых ослов на золотых мулов...

Эйххх...

Печаль прилипчиво поселилась в душе мудреца...

Эйххх...

Но однажды, поздней осенью, когда Ходжа, сладко покачиваясь от мусалласа, который он тайно подливал в зеленый чай, возвращался на Золотом Муле из чайханы в свою глиняную кибитку, он вдруг увидел на дождливой козьей тропке своего Хунука...

— О Боже!..

Что стало с его древним другом?..

Азиатские дожди и русские снега смыли с Осла-Книги все стихи и афоризмы...

Он был жалок... гол... бел... как чистый лист бумаги...

Он исхудал до кости...

Почти падал от усталости, но преданно глядел на хозяина...

Из глаз его текли соленые слезы сладкой радости...

И они смывали последний нашкуренный афоризм...

«Если ты тысячу книг не прочел — ты осел...»

Потрясенный Ходжа соскочил с Золотого Мула и стал обнимать Хунука за обвислую шею...

От мудреца пахло вином... а от осла — кочевым мускусным потом...

Вино и пот смешались в горячке братской любви!..

Ходжа тоже блаженно заплакал...

О Создатель!..

И тут же в голове мудреца стали рождаться... просыпаться новые стихи и притчи, дотоле спящие...

Айххххх!..

Вот вернулся старый друг, и вернулись поэзия и мудрость...

Да!..

Но!..

Но Золотой Мул с болью ревности глядел на эту встречу...

Он все почувял... понял... как понимал древних царей и фараонов...

И текучие изумруды его глаз страдальчески затуманились...

Но слез не было...

Так бесслезно... безмолвно рыдают Золотые Мулы...

Так рыдают Золотые Цари и Фараоны...

Ибо Истинным Властителям нельзя проливать слезы...

Ибо когда они плачут, на трон вползают, как змеи, оборотни-лицедеи, и блаженные империи и народы погибают в хаосе...

Так было с Древним Египтом, Древним Римом, Византией...

Так случилось с СССР...

Да!..

Айхххххх!..

Ходжа, радостный, проснулся ранним утром...

Дождь прошел...

Утренняя пронизывающая свежесть плыла над необъятными горами...

Хотелось жить вечно... как горы... как звезды... как камни и вода...

Эйххх...

Как победить Время?.. Чтобы Оно прошло?.. просквозило мимо?..

Тут опять Ходже почувдились суфии с кувшинами мудрого вина...

Но потом Ходжа вспомнил, что сегодня четвертое октября — День пролета журавлей...

И вот!.. и вот они летят... плывут над кибиткой старца, и он машет им вослед руками, а они машут ему крылами и роняют журавлиные перья, чтоб он писал ими свои стихи... Ведь известно, что апостол Иоанн на Патмосе начертал Апокалипсис журавлиными перьями...

По Божьему Повелению...

Может быть, вот этими... летящими... певучими... печальными...

Стая ушла...

А Ходжа, напоенный журавлиной любовью, вернулся с небес на землю...

Подобрал перья:

— Может быть, Господь и мне повелит...

Может быть, и я не зря подобрал перья?..

Эйхххххх...

Хунук преданно спал у двери, где обычно спал Золотой Мул...

Но Золотого Мула не было...

Ходжа пал на колени на свежую траву и помолился...

Он понял... он знал, что Золотой Мул навсегда ушел вослед за журавлями...

Он ушел к Вечным Пирамидам, где по ночам, когда все спят, бродят среди мумий на Золотых Мулах Золотые Цари и Фараоны...

Айхххххххх...

Вот и конец нашей сказке-притче...

А жаль...

Но!.. но... но...

Так хочется заглянуть во Дни Грядущие...

И!..

И прошло много лет... иль веков...

Кто знает...

Только Бог...

Но тайные опьяненные суфии говорят, что Время возвращается...

Вместе с людьми, которые жили в это время...

Вселенная — это Горящий Круг...

И однажды у бедной древней чайханы «Золотой Мул» остановился сверкающий наглым золотом лимузин-динозавр...

Из золотого лимузина вышел Господин, похожий на царя Соломона, и вошел в чайхану, где гуляли, шумели бедняки и поэты за бесплатными пловом, лепешкой и чаем...

О Всевышний, где нынче, в эпоху Золотого Тельца, такие добрые чайханы?..

Вот бы посидеть, подремать там...

Эхххххаааа...

Ходжа сразу узнал Гостя, хотя никогда не видел его...

Они обнялись, как тысячелетние братья, которые давно не виделись...

О чем говорили они?..

Самый богатый в мире человек и самый бедный?..

Куда идет мир?..

Куда бредет слепое Человечество?..

К Богу?..

Иль к сатане?..

Иль возвращается вспять?..
К Адаму и Еве?..
Сколько шагов осталось до Страшного Суда?..

Айхххх...

И можно ль остановить наш безумный мир, как машину, летящую в пропасть?..
Как выпущенную стрелу?.. пулю?..
Как горный обвал-сель?..
И близок ли Ноев Ковчег?..
И почему крестьянин-кормилец или пастух получают сто долларов, а банкир — миллион?..
И может ли человек ответить на Эти Вопросы?..
Иль только Бог?..
Потом Ходжа Насреддин и его Гость вышли из чайханы и долго прощались-обнимались...
В старости прощанье — тяжело...
Говорят, что после этой встречи самый богатый на земле человек роздал все свои деньги беднякам и ушел в Рай, который вечно открыт для тех, кто все отдает людям...
Да!..
Потом из лимузина-динозавра медленно вытянулся... выпростался Золотой Мул...
Потом лимузин уехал...
Потом Ходжа подошел к Золотому Мулу и обнял его за золотистую тугую шею...
В этот момент человек и мул говорили на одном дочеловечьем языке:
— Брат, как я рад...
Вспыхнули изумруды глаз...
А на золотом лбу мула сверкнули каллиграфические знаки:
Учитель, Вы — мой Царь!..
Вы — мой Фараон!..
Вы все — что осталось от Них!..
Не гоните меня!

Айхххх!

Тут нашей сказке — конец...
А жаль!..

Ах, братья и сестры!..
Если вы бедны и любите стихи — то в чайхане «Золотой Мул», у Варзоб-Дарьи вас всегда ждут...
Бессмертный Ходжа Насреддин...
Бесплатный плов...
Золотой Мул...
Белый Осел...

Иииихххх!..

Ален Шакиров

В песках Таукум

Повесть

1

Олег стоял на потрескавшейся, высохшей земле. Перед ним раскачивалась высокая, в два человеческих роста, стена камыша. По пушистым головкам соцветий, подсвеченным косым закатным солнцем, пробегал ветер.

В бледном, чуть розоватом небе рассыпалось высокое, будто гора, облако; остатки его как бы развеяло по сторонам, затем эти обрывки стали стягиваться к невидимой точке в центре небосклона.

Олег вдруг понял, что не может двинуться с места. Он посмотрел вниз и увидел, что подошвы его ботинок стекли в трещины такыра¹, словно расплавленный воск, и, похоже, уже застыли где-то под землей. Стоя у беснующегося океана растительности, он увидел, как что-то невидимое, но определенно живое, двигалось наперекор золотящимся волнам.

Упав на колени, Олег рванул ворот рубашки, не сводя глаз с шелестящей стены камыша, из которой что-то выходило, — нелепое, безглазое... Он закричал, задыхаясь от страха; и вдруг существо, начавшее было оборачиваться на звук его голоса, побледнело и растаяло.

...Он полежал в кровати пару минут, силясь забыть увиденный сон. Скинул с себя сырое, липкое одеяло и прошел к стоявшему у окна бидону. На подоконнике громко тикал зеленый будильник, доставшийся ему от прошлых жильцов. Олег чуть подержал воду во рту, прежде чем глотнуть, и все равно горло обожгло холодом.

Остатки жара покидали голое тело испаряющимся потом. Он взял со спинки стула штаны, ниже колен сплошь усеянные цепкими колючками, и тяжелую военную куртку.

Снаружи было теплее, чем в остывшем за ночь доме. Высокое солнце припекало.

К обшарпанной стене льнул холодильник, — шумный, но пока рабочий «ЗиЛ». Он распахнул его зачем-то; внутри было по-прежнему пусто. Ледяная шуба вскрыла дверцу морозильника и спускалась сталактитами, почти касаясь нижней полки.

Шакиров Ален Аскарлович родился в Алма-Ате в 1983 году. Окончил Казахский Национальный университет им. аль-Фараби по специальности «Ихтиология и рыбное хозяйство», занимается изучением фауны Каспийского моря (морская биология). Участник Открытой Литературной Школы Алма-Аты. Проживает в Алма-Ате. Это первая его публикация в литературном журнале.

¹ Форма рельефа, образуемая при высыхании засоленных (такырных) почв в пустынях и полупустынях.

Олег вернулся в полумрак дома, нащупал под столом опрокинутую бутылку и вылил остатки в стакан. Получилось «с горкой». Газета потемнела, сквозь нее проступила неровная, исцарапанная поверхность стола.

Он снова вышел на улицу, бережно неся стакан. Сев на неудобный школьный стул, Олег устался в объединенные верблюдом кушары¹ тамариска, плывущие за кривым забором; выпил разом полстакана, ткнулся носом в пахучий рукав. Затем достал сигарету. Он потихоньку начал привыкать к местным «Медео».

Вот, другое дело! Все вокруг понемногу начало выравниваться, сделалось контрастным, а кое-где даже обозначились скудные полутона осенней степи.

А где же животное? Все лето тощий верблюд провел здесь на привязи, но сегодня его нигде не видно.

«Сожрали, — подумалось Олегу. — Надо бы сходить в магазин, помянуть закадычного друга... может, *ее* увижу по пути». Сунув руку в карман, он порадовался хрустнувшим банкнотам и минуту спустя уже шагал по центральной улице.

Впервые Олег увидел новые деньги прошлой зимой, и не успел опомниться, как привычных «деревянных» след простыл. Несмотря на контрастный рисунок и приятные цвета, вид местных купюр посеял в нем тревогу, — их появление лишний раз подчеркивало, насколько далекой была теперь Родина.

Магазин, глинобитный уродец без вывески, высунувшийся из подворья на дорогу, был закрыт. На стук никто не торопился.

— Хозяева! — громко крикнул Олег. — Есть кто?

В доме скрипнуло. С трудом проковыляв через двор, сморщенная старуха наконец отворила оконце магазина изнутри.

— Апай², мне «Талас»³, — сказал он.

Старуха исчезла, поскреблась с минуту в полумраке комнатухи и протянула ему бутылку с незнакомой этикеткой.

— А «Талас» чего, — кончился? — удивился Олег, разглядывая сомнительную жидкость на просвет. Со дна накренившейся бутылки взметнулись бледные густые хлопья.

Выцветшие голубоватые глаза зыркнули на Олега из темноты комнатенки, и старуха замотала головой, протягивая руку за бутылкой.

— Жаксы-жаксы⁴, — спешно сказал он, распрямляя двухсотенную купюру, — пусть «Кайсар» будет, хрен с ним... апай, а пирожки с чем?

Не разобрав ни слова из ее ответа, он все же взял два пирожка и поплелся по дороге. От магазина до дома Есбола — рукой подать. Олег оглянулся, — улица была пуста, — и, свинтив крышку, сделал пару жадных глотков.

— Ну не курится «на сухую», хоть ты тресни, — пояснил он своей тени и показал большой палец. Тень ответила тем же и затянулась сигаретой.

Вот и он. Саманный⁵ дом, ничем не примечательный, все равно казался ему самым красивым во всем поселке.

Около дома девушки не оказалось, но он не огорчился, увидев на веревке белье, — кажется, уже просохшее. Олег устроился в развалинах дома напротив, снова приложился к горлышку; сжевал безвкусный пирожок, так и не поняв, что же было внутри. Обрадовался потянувшемуся сквозь тело теплу, затем улегся поудобней и стал ждать.

¹ Глухие заросли.

² Обращение к старшей по возрасту женщине (каз.).

³ Сорт дешевого крепленого вина, производимого в Казахстане.

⁴ Хорошо (каз.).

⁵ Кирпич-сырец из глинистого грунта с добавлением соломы.

Где-то наверху в ствол вяза ударил дятел. Олег посмотрел вверх и сквозь остов крыши увидел его — пестрого, неуместно контрастного в этой жухлой степи, в приметной алой шапочке.

В последний раз он видел дятла на Можайском море, куда они с Викой ездили на его «опеле» пару лет назад. Он забыл тогда палатку в отцовском гараже; вспоминая усилия, которые они приложили, чтобы устроиться в неудобном салоне машины, Олег улыбнулся.

От воспоминаний в груди стало совсем тепло, и он скрутил крышку.

Но вот Умит выскочила из дома, в блеклом платье в зеленый цветочек, и в два шага очутилась у белья; потрогала, растянула на ветру отцовский свитер. Укрытый среди разбитых саманных стен, Олег жадно рассматривал ее, пока она складывала вещи в таз, и работал правой рукой. Черт, до чего хороша... и эти ее веснушки, которых он не видел ни у одной здешней девчонки, и фигура, которой, пожалуй, позавидовала бы и Вика...

Над головой снова застучал дятел, громче прежнего, и Олег в ужасе пригнулся, увидев, как она повернула голову на резкий звук; застыл, переводя дыхание. Пульсация в висках понемногу затихла, как отпустило и желание.

Он снова приподнялся на локтях, — возле дома никого не было.

В несколько глотков добив портвейн, Олег отряхнулся, спрыгнул с подоконника и побрел по пустынной улице.

Слева и справа на поселок наступали пески, едва сдерживаемые чахлым кустарником. Ходили ходуном в сумерках бледно-лиловые верхушки тамариска, в барханах заунывно свистел подвижный воздух.

Кутаясь в куртку и пряча сигарету от ветра, Олег разглядывал занесенную песком улицу и думал: да, надежно отец его упрятал... в самой дикой, чужой стороне. Долго еще здесь загнить? Да и вообще, — отпустит ли его это захоlustье?..

К дому, стоявшему в самом конце улицы, он шел долго, до самой темноты, а подойдя, увидел, что опять забыл включить свет, и окно единственной жилой комнаты сейчас было таким же черным, как октябрьское небо наверху. Заходить в этот дом ему не хотелось.

Дверь качнулась и захлопнулась прямо перед его лицом. Тогда он развернулся, тяжело опустился на жесткий стул и закрыл глаза. Где-то совсем рядом проскулил шакал.

Олег спал и не чувствовал ночного холода.

2

Как-то раз, еще по лету, у старика-соседа забарахлила моторашка, облезлый «Муравей». Вдвоем они оттолкали заупрямившуюся технику к нему во двор и Олег — он сам от себя не ожидал — всего за пару дней перебрал карбюратор ремкомплект, настроил зажигание, промыл топливную систему. «Муравей» забегал словно новый, и к Олегу стали обращаться — понемногу, раз-другой в месяц; но все же внимание, пусть только и такое, было ему приятно. И хотя его прежний опыт обращения с техникой сводился к школьным занятиям по труду, получалось у него неожиданно хорошо.

Вот и сейчас он ковырялся под капотом «москвича», доверенного ему Есболом, отцом Умит. Проблему слабой печки он решить сумел, но выяснил попутно, что подтекает шланг отопителя, и тут он ничего не мог поделать, — нужно было заказывать новый. Он захлопнул капот и увидел Есбола, шедшего к калитке с сумкой в руках.

— Здравствуйте, дядь, — сказал Олег, тщетно пытаясь оттереть ладони от грязи.

— Да не надо, — прекратил Есбол потуги Олега, поймав того за руку. — Салам. Чё, как там мой тулпар¹ поживает?

— Теперь не замерзнете, — Ташкент. Только вам бы по-хорошему и шланг махнуть, — Олег развел руками. — Этот не пойдет, высох совсем. В общем, до райцентра надо, дядь.

— А, шланг? Так у меня были где-то запасные, — обрадовался Есбол. — Я вечером принесу.

Они немного постояли под солнцем, выкурили по одной. В небе курлыкали журавли.

— Слушай, Олежка, — оживился Есбол, — который раз забываю сказать. Тут прошлой весной «Урал» в соре² потонул, — геодезисты ночью в магазин погнали, напрямки, — ну и впухли. Тот год как раз река разливалась хорошо, не подберешься, — вроде сухо на поверхности, а чуть наступишь, — вода подымается, и так на километры кругом. Трактором лезть побоялись — вдруг тоже засосет. Ну, сейчас-то вроде подсохло чуток, можно попробовать трактором дернуть. Только сперва копать надо, много, потом ждать, когда подсохнет, потом опять копать. Ну и собирать, — аккумулятор, генератор со стартером мы с председателем сняли сразу от греха подальше, — возмешь потом у меня. А то вон кто-то фары по весне скрутил... ну фары-то я тебе потом найду, если что. Попробуешь?

— Ну, давайте посмотрим, — неуверенно сказал Олег. — А чего сами не заберут?

— Да собирались всё технику прислать. А потом в Москве началось это самое, и как-то позабыли. В Алма-Ате, кажись, тоже своих дел хватает, не до того сейчас всем. А так у свояка в Желторанге «дэтэшка» есть, на гусеничном...

«Про меня, похоже, тоже позабыли», — подумал Олег.

Последняя телеграмма от отца пришла чуть ли не полгода назад. Прежде телеграммы и остальное привозил ему участковый из райцентра, видимо, попутно проверяя, как он здесь; а раз перестал проверять, значит, у отца и без него хватает забот. А может, стало вовсе плевать на непутевого сына.

— Ну хорошо. Где его искать-то, «Урал» этот?

Опустившись на корты, Есбол подобрал с земли палочку:

— Тут не сильно далеко, как тебе объяснить... в общем, от дома Джангазы, — знаешь же, где он живет? Нет? Да найдешь, смотри, — по главной до школы, оттуда направо, потом через канал пройдешь. Тут вот столбы увидишь, по ним до... раз, два, три, — принялся считать Есбол, — четвертого поворота налево... или нет, это к Касыму на фазенду... — Ай, — бросил он палочку, взглянув на сосредоточенно слушавшего Олега. — Я сейчас лучше дочку пришлю, пусть покажет. Заодно шланг передаст, а то мне машина нужна... ладно, Олежка, бывай!

Есбол повернулся и пошел прочь; и не увидел, как округлились глаза Олега.

«Вот черт, — подумал тот, — неужто и вправду придет?»

Ноги его сделались ватными, но тем не менее поволокли его в дом; он схватил полотенце, какие-то нехитрые банные принадлежности и, закрывшись в обшитой жестью будке, сполоснулся дождевой водой из бака на крыше. Воды было немного, но ему хватило.

После длиннеющих ночей, каждая из которых оказывалась холоднее предыдущей, вода в баке теперь не нагревалась и к полудню. Озябший, Олег поскреб щетину старой бритвой и посмотрел на себя в зеркало: «М-да, халтура...»

Ему повезло — в его гардеробе, сваленном в оставленный прежними хозяевами сундук, нашлась последняя чистая футболка. Он надел ее, натянул джинсы, настоящие

¹ Крылатый конь в кыпчакской (башкирской, казахской, татарской, кыргызской) мифологии.

² Мелководный бессточный солончак с выраженной береговой линией, характерный для пустынь Казахстана.

«левайсы»; перенюхав грудку носков возле продавленной кровати, все же выбрал пару пусть уже и «светящихся», но вроде бы свежих.

Обувшись в кеды, он вышел на улицу и примостился на неудобном своем стуле, закурил. Затем неспешно завязал шнурки «двойным скользящим», чтобы можно было подолгу гулять по колючкам.

Стрельнув окурком в запыленную траву, Олег прошел к забору и, глядя на пляшущее над дорогой пятнышко платья вдалеке, прислонился к калитке; затем решил, что так выглядит чересчур вызывающе и встал рядом, — прямой, руки в брюки. Но и в этом положении ему не стоялось, и он зашагал навстречу девушке.

...Они неспешно шли по центральной улице. Понемногу завязался разговор, и Олег удивился, насколько сильным оказался ее акцент. Впрочем, в отличие от отца, Умит еще не успела пожить в городе.

День был солнечный и безветренный, в такое время поселок обычно вымирал; но настоящей жары уже не было. К заборам по привычке жались ищущие тени животные.

— ...Нет, про зиму не надо, — сказала Умит. — У нас у самих зимой холодно.

Подумав немного, она все же спросила:

— А девушки в Москве красивые шубы носят?

— Ну, не прям-таки у всех красивые, конечно. Красивые у нас в ГУМе продаются, — правда, там дорого всё. Соболь, норка, чернобурка... аргентинская шиншилла даже есть, — добавил он, наблюдая за реакцией собеседницы.

Последнее замечание не произвело на нее никакого впечатления, и Олег отчего-то засмеялся. Заулыбалась и девушка.

— Смешное слово — «шиншилла». Кто это? — спросила Умит.

Олег замялся.

— Ну... в общем, это такая белка, которая в Америке живет, — сказал он без особой уверенности.

Пробитая скотиной тропинка тем временем сузилась, вильнув между кустов, и он пропустил Умит вперед, радуясь возможности полюбоваться ее загорелыми ногами. Маленькие ступни девушки были обуты в стоптанные китайские кроссовки.

Вокруг была степь с редкими возвышающимися над ней островками тамариска и чингилы¹. Между деревцами начал вдруг зарождаться пылевой вихрь, — он вытягивался, вбирал в себя частицы земли, быстро становясь непрозрачным; и вдруг скукожился, приник к степи и бесследно исчез.

Среди блеклой растительности взгляд Олега выхватил вытянутый силуэт оливкового цвета — ни дать ни взять крокодил. Даже ушедший в солончак по брюхо, «Урал» был огромным. Кабина грузовика возвышалась над степью на добрые два метра.

— На мосты лег. Тяжко вытащить будет, — пробормотал Олег, обращаясь, скорее, к самому себе, чем к девушке.

Умит молча стояла рядом. Она видела грузовик не в первый раз, и не в первый раз не находила в нем ничего интересного. Олег забрался в кабину, примостился на нагретом солнцем кожзаме; постучал зачем-то пальцем по окнам приборов. И заулыбался — машина ему нравилась.

На полу со стороны пассажира белели припорошенные пылью бумаги. Нагнувшись, он подобрал помятую книжицу и топографическую карту. Пробежав глазами название, Олег положил книжицу в бардачок; карту же развернул на сиденье и какое-то время водил по ней пальцем, отыскивая их поселок. Это было нетрудно, — на огромной местности, подписанной как «пески Таукум»², оказалось всего несколько поселений.

Он выбрался наружу, откинул капот и присвистнул.

¹ Засухоустойчивый колючий кустарник.

² Песчаный массив в Казахстане.

Двигатель выглядел совсем новым. Наверное, это была одна из последних таких машин, выпущенных в Союзе, — несмотря на многомесячный простой и наносы песка по углам моторного отсека, достаточно было провести ладонью по коллектору, чтобы тот засиял.

Громыкнув капотом, Олег спрыгнул на землю к ожидавшей его Умит.

— А хорош, чертяка! — радостно закричал он. — Вот вытащу, подшаманю, — как новый будет!

Он нашел в кабине какую-то плоскую железку и, орудуя ею, словно лопатой, выкопал рядом с машиной яму в полметра глубиной. Верхние пять-шесть сантиметров под солевой коркой были сухими, затем почва понемногу темнела, а еще ниже начинала выступать черная вода, — маслянистая, с резким запахом растительного тлена.

— Ничего, все равно вытащим, — пробормотал он, но уверенности в его голосе поубавилось.

Обратно шли, болтая о всяком. Ей было интересно всё: а какая Москва ночью? какую музыку у них слушали позапрошлым летом? был ли Олег в Ленинграде?

— А как «Таукум» переводится? — спросил он в свою очередь, вспомнив найденную карту.

Умит взглянула на него удивленно и ненадолго задумалась, прежде чем ответить:

— «Песочная гора».

Гор поблизости Олег не припоминал и подумал, что песчаную, пожалуй, запросто могло и сдуть.

Чем ниже к горизонту клонилось солнце, тем чаще тени их соприкасались; те почти уже прильнули друг к дружке, когда Умит вдруг оступилась и запрыгала на одной ноге: «Ай, ай!»

Олег увидел, что растоптанная кроссовка застряла в старой сусличьей норе, отчего девушка оказалась разутой посреди колючего кустарника. Он высвободил кроссовку из норы, отряхнул от песка и подал ей, но заметил, что узел сильно ослаб.

— Давай сюда, завяжу фирменным способом.

Присев, Олег выставил колено вперед, чтобы она могла поставить на него ступню. Чуть помедлив, Умит взялась рукой за его плечо и позволила ему надеть кроссовку на ее голую ногу.

— А чего на босу ногу носишь? Вон натерла все себе.

Девушка молчала и лишь внимательно наблюдала, как он вяжет свой «двойной скользящий». Внезапно сумерки, пахучие и сладкие от близости застойной воды, опьянили его.

— Вот так, — он затянул узел и, слегка придерживая ее за щиколотку, поднял голову. — Не туго?

— Нет, — улыбнулась Умит, глядя ему в глаза, — и он, обнадеженный, взволнованный, вдруг поцеловал ее чуть выше колена, неожиданно для них обоих.

— Ну ты чего! — возмутилась она, отдергивая ногу. — Жынды ма?¹

— Извини, — улыбнувшись, Олег развел руками. — Не знаю, что на меня нашло. Ну, не злись.

Насупившись, Умит ускорила шаг. Он следовал за ней, злой на себя за невольный порыв. В спины им светило уходящее солнце, сухо шуршали на ветру плоды-коробочки чингиля.

И только когда он застыл у ее крыльца — раздосадованный, поникший, — она все же посмотрела на него; контур ее губ чуть смягчился, и Олег услышал: «Пока».

¹ С ума сошел? (каз.)

— Пока, Умит! — радостно крикнул он в закрывшуюся дверь. — Пока! — и зашагал по улице в осенних сумерках, мечтательно улыбающийся и впервые за многие месяцы — счастливый.

По левую руку от него начиналась тополевая роща. Огороженная низким забором, роща была единственным местом поблизости, где можно было накопать червей — тонких и красных, вроде навозных, но только живших в песке среди корневищ под жидкой подстилкой перегноя. Руки после них оставались чистыми.

«Надо бы сгонять разок, что ль — самые погоды начинаются, — подумал Олег. — Жерех жирный ходит, мухи разбежались... самое оно для балыка».

Роща кончилась и потянулись заборы. Белой краской на одном из них было выведено: «Уй сатылады».

«Дом продают, — догадался Олег. — Да кто бы купил...»

— Друг, погоди-ка, — окликнули его откуда-то справа.

От забора отделились две фигуры, прежде, видимо, сидевшие на кортах. Одного Олег узнал — кажется, Марат — не то одноклассник Умит, не то бывший ухажер. Ему было в общем-то плевать.

— Как дела, Олежка? — вполне миролюбиво спросили его.

Но он понимал, к чему шел разговор — руки ему никто не подавал. Олег ничего не ответил, и второй парень повысил голос:

— Ты чего молчишь? Тебя же нормально спрашивают.

Марат чуть осадил приятеля: «Э, Сека, койши»¹, — и снова повернулся к нему, нехорошо улыбаясь:

— Чё, уже домой провожаешь?

— Колышет тебя, что ли? — мгновенно рассвирепел Олег, надвигаясь на того.

Олег почувствовал, что парень стусевался; но Марат все равно сделал шаг в его сторону и довольно ровным голосом сказал:

— Сестренка она наша. Последний раз предупреждаю, — больше чтоб не видел тебя здесь.

Улыбнувшись ему в лицо, Олег повернулся и пошел по дороге. Он был уверен, что его остановят, ждал хотя бы привычного казахского ругательства вдогонку. Но, к его удивлению, ничего такого не случилось.

3

Лежа под машиной, он бил пешней в ссохшуюся грязь, временами отворачиваясь от летевшей в глаза соленой пыли. Верхний слой почвы снимался легко, но, когда Олег принялся откапывать раму грузовика, выяснилось, что пробить спрессованный слой очень непросто. Штыковую лопату постоянно приходилось править, и даже здорово выручавшая его пешня, одолженная у рыбаков, уже чуть затупилась.

В первый день он окопал машину по периметру, затем поднырнул под передок и начал отстукивать мост. Поначалу дело спорилось, но чем дальше Олег залезал под машину, тем труднее приходилось. Силы быстро иссякали.

Раз в полчаса он выползал на солнцепек и выволакивал следом из-под днища старый ковер с наваленными на него комьями грязи. Олег ссыпал мусор в стороне, затем садился на ковер, закуривал и долго и бездумно смотрел в раскинувшуюся вокруг степь — высоленную, кое-где потрескавшуюся и вздыбленную коркой такыра, похожей на изнанку рыбьей чешуи.

После первого дня работ, вернувшись домой, Олег уснул без капли спиртного и спал как убитый.

¹ Хватит (каз.).

Наутро ему стало жаль времени, уходящего на дорогу в два конца, — он рассчитывал управиться до начала настоящих дождей, покуда почва не раскисла. Олег закупил кое-какую снедь: консервы, макароны, мешок лука, — захватил из дому котелок, канистру воды, спальный мешок. Все это он свез на соседском «Муравье» к грузовику и отогнал моторашку обратно.

Думал даже обойтись без алкоголя, но все ж не выдержал, — на обратном пути ноги сами свернули к магазину, где Олег обменял пеструю купюру нового образца на четыре бутылки крепленого вина.

...Степь потемнела, невидимое солнце просвечивало красным из-за черноты закатных туч. Олег выбрался за границу сора, нарвал высохшей травы поодаль, примостил в ямке хворост. Сверху легли тонкие ветви тамариска.

Над притихшей степью потянулся дымок. Странно, но он совсем не резал глаза, — сколько Олег себя помнил, в походах и выездах на природу ему больше всего досаждал дым костров, от которого приходилось то и дело отсаживаться, отодвигаться прочь от тепла, такого желанного в межсезонье.

Деревья тут были особенные, непохожие на привычные породы средней полосы, — твердый, как камень, саксаул и изящный тамариск, и толстоствольная туранга... И дымили здешние растения совсем по-другому, и жар давали другой, не прогорая быстро и дотла, а то тлея, то просыпаясь средь глубокой ночи язычками пламени. Даже хлипкие на вид поленца могли согреть часами.

Олег невольно вспомнил, как Есбол угощал его шашлыком на саксауле, вспомнил сочные, кипящие изнутри кусочки бараньего мяса; и немедленно почувствовал, как съезживается его желудок.

Ночь тем временем совсем сгустилась. Над степью вдруг заплакал, завыл проснувшийся шакал, и к нему тут же стали присоединяться другие голоса, — и со стороны, от реки, и чуть ли не из-за Олеговой спины, отчего тот резко повернулся на локте и уставился в черноту за границей света.

— Вот сукины дети, — выругался он, дернув плечами. Дождавшись, когда нытье и скулеж на секунду прекратились, он громко буркнул в темноту пару раз, подражая собаке. Но концерт продолжился снова.

Тогда Олег принес из кабины бутылку «Таласа» и уселся поверх спальника, глядя на пламя.

Вспомнился пятничный вечер, когда пацаны собрались на Славкином дне рождения, и как какой-то подвыпивший парнишка, Олегу незнакомый, пролил немного пива на Викино платье. Казалось бы — пустяк. Но несколько минут спустя они уже неслись домой в пахучем салоне «Волги», несмотря на извинения и на всеобщие уговоры остаться. За окнами такси тянулось Садовое кольцо и шумно волновались верхушки тополей в рыжеватой темноте над фонарями. В такие вечера ему хотелось уехать далеко-далеко — к морю, Чёрному или Каспийскому, пускай даже к Можайскому; затем — к горам, чтобы пешком подняться на тот «Кавказ», о котором писал Лермонтов, и дальше — на край света...

Ему хотелось спросить Вику, чувствует ли она то же самое, но в такси она не проронила ни слова, и Олег тоже молчал.

Сейчас, сидя в ночной степи, Олег уже не мог поверить, чтобы такой чудесный летний вечер мог быть испорчен кружкой пива. Значит, было что-то еще...

«Ты ж моя Вика-Викуля, дитя Мещерской стороны, генеральская дочка...» Какими еще прозвищами он звал ее?..

Пошел дождь, и чешуйки такыра вокруг зашелестели под ударами капель. Вслушиваясь в волшебную, шуршащую степь Олег улыбался, прикуривал от костра сигареты одну за другой, что-то вспоминал и радовался, что память его была еще цепкой и многое из того, что он любил когда-то, все еще оставалось при нем.

Вслед за приятными воспоминаниями пришли другие, — полустертый вечер в ресторане, когда он достал табельный «макаров» и принялся палить в потолок; лицо отца, глядевшего на него с ненавистью наутро: «Досалютовался, мерзавец...»

Олег не успел промокнуть, дождь стал стихать. Зато к этому времени он порядком захмелел и, скулив напоследок сигарету, укутался в толстенный спальник и заснул.

...Олег не понимал, каким образом он держится в воздухе, но он летел. Летел над бесконечной степью, кое-где отмеченной белоснежными полями высолов с вишневыми ободками низкой травы вокруг. Местами под ярким солнцем блестела вода, вблизи оказывающаяся мелководными лужами, наполненными желтой, будто ржавеющей, мутью. Он немного удивился, не увидев в них своего отражения; не находил он и своей тени на земле.

Олег чувствовал: мышцы натянуты так сильно, что он не может шевельнуть конечностями, лишь двигались немного ладони раскинутых рук, вверх-вниз, — словно оперение у планера. Он и ощущал себя планером, легковесным и послушным, готовым занырнуть на дно самой глубокой воздушной ямы, и способным с такой же легкостью выскочить из нее под безумно прямым углом.

Пошевелив ладонями, будто рулями, он начал замедляться, одновременно снижаясь. Вскоре быстрый воздух перестал сушить глаза, и тогда Олег сложил руки и спрыгнул на зыбкую верхушку высокого бархана, не сумев дожидаться, когда снизится до благоразумной высоты.

Он посмотрел на свои руки, повернул их ладонями вверх — самые обычные, человеческие. Олег счастливо засмеялся, поняв, что овладел искусством, позабытым людьми.

Взглядом зацепился за группу раскидистых деревьев и направился к ним, проваливаясь в гребень бархана едва ли не по колено. Волны струились по песчаному склону, золотясь.

На фоне безбрежного неба будто заплясали желтокрылые бабочки — это азиатские тополя, туранги, теряли листву в задумчивом безветрии. Под ярким солнцем бархан начал стаивать и вскоре закончился тропинкой, проторенной сквозь заросли камыша. Олег смело шагнул туда и тут же порезал щеку острой листвой. Пришлось прикрыть глаза рукой.

Он спустился на дно старого речного русла, где заросли поредели и идти стало легче. Покрутив головой, Олег увидел одно из деревьев совсем рядом, на другой стороне. Нужно было пройти чуть ниже по течению.

Но дойти до деревьев он не успел.

Олег услышал легкий треск и поначалу не обратил на него внимания: в камышовом море прячется много живности. Но треск усилился, стал громче, упрямее, и он в беспокойстве замер, — а ну как кабан? Он слышал разные истории от охотников, столкнувшихся с рассерженным зверем.

— У! — заорал он, с силой топая ногой по податливому дну протоки. — Кыш, твою мать!

И тут же, словно в ответ на его выкрик, из стены камыша что-то начало подниматься. Олег застыл, с открытым ртом глядя на вздыбленное над ним зеленое бревно, которое росло и в стороны, и вытягивалось ввысь.

Основание исполинской камышины было уже больше метра в обхвате, когда верхушка ее, едва заколосившаяся, вдруг обломилась с громким треском. Следом не выдержала собственного веса и нижняя часть ствола, и тот стал заваливаться, словно подрубленная сосна.

В небо поднялось облако иловой пыли; промелькнула над степью стая испуганных пичуг, и стало тихо. Олег в ужасе смотрел на заросли, забыв дышать.

Но тишина была недолгой.

Бревно над его головой поднималось снова, теперь уже параллельно земле. От ствола отпочковались новые ростки и, упершись в землю, удлинялись, поднимая материнский побег ввысь, выше растущей рядом туранги... Их было шесть, шесть суставчатых ног, худых и длиннющих.

Чудище поочередно приподняло каждую ногу над желтой степью и постигало их, словно разминая после спячки. Что-то рвалось с сухим треском. Существо начало разворачиваться на месте, пока передняя часть его туловища не оказалась направлена в сторону, откуда пришел Олег. Тогда оно замерло и протянуло вперед одну из сегментированных конечностей.

Существо, с виду напрочь лишенное головы, нависло над Олегом. Он закричал, пытаясь если не улететь прочь, то хотя бы убежать вверх по руслу; но оставался недвижим, словно вросший в сухое дно.

Но существо его даже не заметило. Мелькнули высоко над головой последние метры нескладного тела, и оно зашагало прочь. Олег видел, как падают с неба сухие обломки камыша и чудище, теряющее растительный чехол, будто старую кожу, карабкается вверх по крутому берегу. В местах, где оболочка существа отставала, туловище поблескивало зеленоватым лаком.

Наконец оно перевалило через берег и исчезло на противоположной стороне протоки. Олег же опустился на высохший ил и неумело перекрестился. Попробовал даже вспомнить слова какой-то молитвы, когда взглянул на возвышавшуюся над ним турангу и обмер.

На дереве, минуту назад усыпанном ярко-желтой листвой, не осталось и листка; но оно не просто облетело, и Олег знал это наверняка. Туранга была мертва, мертва и обезвожена, как русло реки, на дне которой он сейчас стоял на коленях и кричал.

...Упершись в землю локтем, Олег тупо смотрел в пламенеющие угли костра. Одежда была липкой от пота. Во рту пересохло, и он присосался к чайнику, жадно глотая холодную заварку; затем сделал большой глоток «Таласа». Только сунув в рот сигарету, чуть успокоился и начал приходить в себя.

«Черт, ну и сон, — подумал он. — Кому расскажешь — ведь не поверят...»

Вдруг из костра — так ему показалось — что-то выскочило, рыжее, чуть ли не в две ладони шириной, похожее на паука с непомерно большими челюстями.

Олег было сделал слабое движение рукой, пытаясь отогнать очередную кошмарную тварь, но та с готовностью приняла боевую стойку и бросилась на него.

Он дернулся назад, перекатываясь в пыли вместе со спальником, затем выскочил наружу и закричал, чуть не плача:

— Да вашу мать, что ж вам всем надо-то?!

Рыжей твари нигде не было видно. Олег сгреб в охапку спальный мешок и швырнул его в кабину грузовика; залез следом, хлопнув жесткой дверцей, и в пару судорожных глотков добил бутыль. Застучал в крышу ливень, по ветровому стеклу побежали ручейки.

Но сон к нему не шел еще долго.

4

Олег понял, что с самого начала принялся копать неверно: слишком долго возился у переднего моста, сходу начав рыть вглубь. Вскоре оказалось, что он лежит в глубокой яме, наполненной сочащейся снизу болотной жижей, и, несмотря на удивительную для середины октября теплынь, весь продрог.

Стало ясно, что почву следовало снимать постепенно, пласт за пластом, неспешно продвигаясь от передней части машины к задней. Таким образом к моменту, когда Олег возвращался бы к передней оси, поверхность грунта на дне прямоугольной

ямы уже немного подсушивалась бы. Только сейчас он вспомнил, что именно это ему советовал Есбол.

«Да, полезно все-таки иногда старших слушать», — подумал Олег.

Лежа на спине, он вгонял лопату в плотный, спрессованный грунт под мостом и, в очередной раз переводя дыхание, думал, — как чудесно было бы, приди Умит к нему снова.

Она навестила его два дня назад, принесла отварной баранины в котелке — отец овцу зарезал — и его любимых воздушных баурсаков¹. С каким аппетитом он уплетал их после неизменных макарон с килькой!

Однако его расстраивала отстраненность девушки, казалось, совершенно игнорировавшей его осторожные попытки ухаживания.

Зря, конечно, он назвал ее Надей, пусть и шутя. Умит обиделась, а его нелепые объяснения сделали только хуже, — само собой, она и прежде знала, как звучит ее имя на русском.

Олег представлял себе, как снова появляются в поле зрения ее кроссовки и как он, щурясь, выползает к ней на свет. И плевать, что сейчас из-под днища проглядывались лишь груды грунта, наваленные по обе стороны машины, такие высокие, что за ними не видно степи, — он почти уже слышит ее шаги.

Вот Умит становится на колени и высыпает из подола платья на пыльную скатерку, служившую ему столом, золотистую россыпь баурсаков. Она терпеливо ждет, пока он поест, а затем Олег кладет голову на вытянутые ноги Умит, уткнувшись носом в ее живот, чудесно пахнущий хлебом. На этот раз приметы девичьей благосклонности проступают яснее, и она шепчет что-то очень ласковое, поглаживая его взъерошенные волосы...

От мечтаний Олега отвлекло грубое прикосновение металла к груди. Повернув голову, он скосил глаза и увидел перед собой толстенную балку, покрытую засохшей грязью. Странно, подумалось ему, отчего это она стала такой близкой? Олег посмотрел туда, где находился передний бампер грузовика, но привычного просвета меж металлом и землей не обнаружил.

Зато увидел, как колеса погружаются в мягкий грунт, на глазах, — медленно, но неуклонно. Олег было дернулся, но его держало уже крепко и продолжало вжимать в поверхность сора.

«Вот debil, — с тоской подумал он. — Размечтался-то, чугунная голова...»

Но для настоящей злости на себя времени не оставалось. Он вцепился руками в мост, напряг мускулы, засучил ногами, пятками пытаясь вгрызться в землю, — ничего.

С каждой секундой балка прибавляла в весе. Олег закричал, пока мог, — испугался, что помрет беззвучно, словно безголосая тварь.

— Помогите! — и воздух в легких кончился. Он с хрипом всосал в себя еще полглотка: «Помоги...» Но и теряя сознание в навалившейся фиолетовой мгле, от тяжести которой шумело и стучало в ушах, он понимал, что на километры кругом никого нет. И даже окажись здесь половина жителей поселка, вряд ли они смогли бы хоть чуточку приподнять «Урал».

Осознав, что другой возможности не представится, Олег рванулся из-под балки — на выдохе, с рычанием, до отчетливого хруста в груди.

Балка вдруг проскребала по ребрам и перестала вдавливать спину в холод сора. С трудом перевернувшись на живот, он ползком обогнул мост, протиснулся под рамой, обдирая кожу, и скорчился на потрескавшейся корке такыра — окровавленный, обессиленный, но живой.

¹ Выпечка казахской кухни.

Он глядел ввысь и то ли скалился, то ли улыбался солнцу, и стонал от боли. Каким-то чудом удалось подняться на ноги; он тут же едва не упал, и ему пришлось сделать пару шагов, чтобы восстановить равновесие... и ноги потащили его вслед кривляющейся тени — по такры, по пожухлой траве сквозь колючий кустарник...

Кровь быстро пропитала рубашку, и он стал замерзать на дующем в спину ветру. Порой ему казалось, что он заблудился, но всякий раз, вскидывая голову, Олег тут же находил ориентир — стройные тополя поселка.

Он споткнулся и упал, какое-то время лежал на солнышке без движения, дрожа в ознобе; затем долго полз на карачках... наконец ему удалось приподнять голову и разлепить слезящиеся глаза, и тогда Олег увидел закопченную печную трубу поверх знакомых кушаров тамариска.

...Он дернул разошедшиеся дверцы шкафчика, едва не сорвав его со стены; рассыпал содержимое аптечки на столе. К счастью, и вата, и бинты оказались на месте.

Собственно, только это в аптечке и было. Из валявшихся под столом бутылок Олег выбрал несколько с остатками на дне, смочил вату и изогнулся, осторожно проведя ею по спине. Он стоял в центре комнаты, вспотевший, с перекошенным от боли лицом, и бросал покрасневшие комья ваты себе под ноги.

Водка кончилась. Тогда он обмотал торс бинтом, не слишком туго, боясь пережать покалеченные ребра. Поставив на печурку чайник, нарыл в буфете черствых пряников; чуть посидел, таращась в непроницаемое от пыли окно. Попробовал устроиться в кровати, ставшей вконец неудобной.

На следующий день ребра заболели по-настоящему. Он поднялся зачерпнуть кружку воды; почти доковылял обратно до кровати, но подумал, что дверь лучше оставить открытой — на случай, если кто-нибудь будет проходить мимо. Тогда станет понятно, что он вернулся и, быть может, этот кто-то сумеет как-нибудь помочь.

Неужто в доме не осталось спиртного? Превозмогая боль, он принялся хлопать дверцами, звенеть пустыми бутылками; и вдруг в одном из шкафчиков увидел пару пузырьков темного стекла с поблекшими этикетками. Сердце его ёкнуло, он поднес пузырек к глазам и подумал обрадованно: «Живем! Напополам разведу — ровная чекушка выйдет».

Он вылил содержимое пузырьков в одну из бутылок, зачерпнул воды из бидона, потряс, смешивая жидкости. Наполнил стакан и судорожно, в несколько глотков, осушил. Нутро свело спазмом, и Олег замер, пытаясь удержать смесь в животе. Мелькнула мысль, что по ошибке он выпил ацетона.

— Фу ты, — выдохнул Олег, — ну и отрава...

Кривясь от тошноты, попробовал закусить твердой, будто пластмассовой, курагой. На всякий случай он снова взглянул на этикетку — препарат оказался просроченным почти на десятилетие, но все же в основе это был этиловый спирт, к тому же потихоньку начавший действовать.

Олег откинулся на стуле, чиркнув спичкой, и снова наполнил стакан. По комнате поплыл тяжелый дым «Медео».

Вторая пошла уже гладко.

Олег снова лег, укрылся пахучим одеялом.

«Сдалась же мне эта махина, — думал он, глядя в потолок. — Ее ведь и ротой солдат не вызволишь, а коли и вызволишь — на кой она нужна? Здоровья сколько положил на чертов грузовик...»

Впервые за много дней Олегу было нечем себя занять; в голову полезли тяжелые мысли, и ему стало тоскливо оттого, что молодость его догорает в неизвестности, в безнадежной, глухой степи.

Еще и *ее* где-то носило, — зашла бы, что ли, посидела рядом маленько...

Впрочем, Олег тут же порадовался, что в комнате больше никого нет, — слишком явным в его углу был запах давно нестиранной одежды.

Из щелей промеж беленых досок потолка торчали солома, птичий пух, блестящие нитки новогодней мишуры. По углам комнаты подрагивали на сквозняке обрывки серой паутины. За отклеившимися обоями что-то куда-то ползло, беспрестанно шуршало маленькими ножками; откуда-то из стен слышалось тихое, но четкое постукивание: тук-тук, тук, туку-туку-тук... Снаружи дома жалобно замычала забредшая на двор корова.

Но самым ясным звуком было тиканье зеленого будильника, раздающееся, казалось, внутри его головы. И он понял, что не может вспомнить, чтобы хоть раз его заводил. Вот ведь странно...

Он поворочался еще чуток, почувствовал, как мысли расползаются, и едва успел порадоваться нарождающейся дремоте.

...Он был, наверное, пустой бутылкой. Степь просматривалась от силы на пару метров — дальше начинались какие-то кустики, низкорослые, но все равно заслонявшие от него большую часть мира. Из их тени на него надвигалась маленькая черепаха, вяло перебирая ногами.

Олег лежал, укрытый песчаным перемётом, а ветер дул в него, издавая мелодичный, объемный гул. Он наблюдал за приближающейся черепашкой и чувствовал удивительное умиротворение, — оттого, должно быть, что воздух внутри него был нагрет ласковым солнцем.

В песок прямо перед ним воткнулась толстая суставчатая палка; затем такая же врезалась в землю чуть поодаль. На Олега упала движущаяся тень, и вот существо, видимое целиком теперь, уже удаляется от него, шатаясь, словно пьяное, но не отклоняясь с намеченной траектории.

Чудовищная медлительность и в то же время настойчивость существа, ковылявшего по явно непривычному для него миру, приводили Олега в ужас. Низкорослые кустарники под брюхом чудища на глазах съеживались и опадали, будто сожженные многолетней засухой.

Ветер тем временем все дул и дул и вокруг, и внутрь него; и, покоряясь ему, Олег тихонько завывал. А прямо перед ним лежал черепаший панцирь — потрескавшийся, выбеленный солнцем и степными ливнями, — пустой.

...Снаружи дома тарахтел движок. Олег узнал стрёкот дизеля, попробовал приподняться на локтях.

— Хозяева! — донеслось от порога, совсем без акцента, и постучали по дверному косяку.

— Погодьте там, выхожу! — испуганно закричал Олег, выпрямляясь на кровати; и скривился от боли.

Он кое-как натянул на себя несвежее трико, тщетно попробовал выдавить из умывальника хоть каплю; окунул платок в бидон и отер лицо от липкой корки грязи и пота. Посмотревшись в мутное зеркало, корявыми пальцами попытался привести волосы в порядок. Его трясло.

За забором урчала иномарка, бежевый японский внедорожник. Рядом с машиной прохаживались три фигуры, одна — несомненно женская. Олег машинально провел рукой промеж штанин, напрасно ища молнию.

На его жестком стуле примостился мужчина лет шестидесяти, в очках и в жилете с добрым десятком карманов. Олег встретил его взгляд, прозрачный и открытый, и сразу проникся к нему симпатией.

— Борис Леонидович, институт Зоологии Российской академии наук, — улыбаясь, представился гость. Олег удивленно приподнял брови.

— Олег, — назвался он. — Чем обязан?

Троица тем временем двинулась в их сторону. Девушка, на вид его ровесница, перешептывалась о чем-то со своими спутниками, глядя на него.

«Понятное дело — со своей физиономией я в этих краях как белая ворона», — подумал было Олег. А потом вспомнил свое отражение в зеркале минуту назад и понял: нет, он совсем уже слился со степью и мало походит на прежнего себя, холеного жителя столицы.

Он пожал потянувшиеся к нему руки, последнюю — бережнее прочих. Зеленые глаза девушки, Марины, смотрели на Олега с пытливым любопытством, немало его смутившим. Парни, молодой коллега Бориса Леонидовича, Вадим и водитель Рамиль оказались алмаатинцами. Вадим, кажется, был привычным к русским лицам всюду по степи; водителю же как будто не было дела ни до чего, кроме вверенной ему машины.

— Зарядка не идет, — изложил он Олегу суть проблемы. — Предохранители уже смотрел. Как бы не генератор...

— Погодьте, — сказал Олег, — а кто ко мне послал?

— Так этот, сосед твой, как же его... — попытался было вспомнить Рамиль. Олег кивнул, пощупал какие-то неведомые ему провода под капотом.

— А это что такое? — ткнул он пальцем в плоскую коробочку за фарой.

Рамиль нагнулся, поглядел: «А черт его знает, вот только недавно машину получили. До нас еще арабы сто тысяч накатали...»

— Понятно, — ответил Олег, вскрывая крышку плоской отверткой. Под нею обнаружились три провода в матерчатой оплетке, один — оплавленный.

— Ух ты, — обрадовался за их спиной Вадим, — неужто так просто?

— Может, просто, а может, и нет, — проворчал Олег, в нынешнем своем состоянии не могущий чему-либо радоваться, тем более — прежде времени. Принеся из сеней комок спутанных проводов, он вытянул один подходящего сечения и, обжав старыми контактами, приладил на место.

— А ну, пускай, что ли, — махнул он водителю. Обрадованный, тот полез за руль; зашумел мотор, и Олег увидел, как улыбка исчезает с лица Рамиля.

Олег прошел к водительской двери и заглянул внутрь автомобиля. На приборной панели светилась гирлянда контрольных ламп.

— Ну, по крайней мере, «контрольки» все исправны, — попробовал улыбнуться Олег. — Глуши давай.

— Слышь, а чё ж делать-то? — испуганно спросил Рамиль.

— А чего тут поделать, — видать, и впрямь «гена» подход. Может, мост диодный, может, «таблетка». Тут запчастей на вашу технику все равно нет... Вы вот что, — обратился Олег к Вадиму. — Ручка с бумажкой у вас имеется?

— Да, вот даже фломастер есть.

— Давайте, — Олег взял красный фломастер и крупно вывел на бумаге два слова.

— «Не глушить», — прочитала Марина, встав на цыпочки позади собравшихся у машины мужчин. — А это зачем?

— На руль наклейте, чтобы не забыть. А то не запустится потом. Это «бензинка» без генератора далеко не уедет, — пояснил он, глядя на недоумевающих полевиков. — А дизелёк потянет, лишь бы наутро запустился. Правда, без фар ползти придется... и да, радио с печкой тоже не включайте.

— Точно, — снова заулыбался водитель, — а я ведь знал, что так можно, да запомнил.

Борис Леонидович посмотрел на Рамиля лукаво, но ничего не сказал.

— Сегодня здесь переспите, а то стемнеет через пару часиков, — предложил Олег. — Тут у меня и вода питьевая, и дров вон куча лежит, пользуйтесь на здоровье. Рано утром выедете — в Алма-Ате после обеда будете. А то полпятого уже, куда вы сейчас.

— Спасибо за приглашение, — ответил Борис Леонидович. — Мы с вашего позволения где-нибудь в сторонке, под небом. Нам Таукумы — словно дом родной. У нас и палатки, и вся кухня полевая наличествует. Вы нам дайте только с полчаса, а там и сами пожалуйста — будем знакомиться да чаи гонять.

Олег кивнул, глядя на рыжеволосую Марину, и та отчего-то покраснела, улыбнулась смущенно. Он почувствовал, как, несмотря на травмы, забурлила кровь, спешно отвернулся и пошел к дому.

Превозмогая боль, он распахнул окна, прогоняя запах болезни, вывалил угольную крошку под чахлую яблоню. Чуть подмел, прибрал бутылки, удивившись их количеству. Затем умылся по-настоящему, переоделся в лучшее из того, что оставалось, и даже почистил зубы порошком, — кажется, впервые за неделю.

5

Они разбили лагерь неподалеку, за забором среди кустов тамариска, где когда-то пасся верблюд. Олег помогал Марине поставить ее отдельную палатку.

— Хорошие у вас палатки, — похвалил Олег. — Польские?

Но его вопрос остался без ответа.

— Что с вами? — спросила Марина, увидев, как дернулось от боли лицо Олега, — он наклонился вбить колышек, бинты натянулись и рубашка начала мокнуть. Марина всплеснула руками.

— Что же вы все это время молчали? — спросила она сердито. — Вот ведь какой... У нас же все есть в машине!

Она заставила его раздеться по пояс, поохала, но мужественно отлепила от спины старые бинты, промыла и перевязала раны. От прикосновения ее рук Олегу стало хорошо и спокойно; он сел рядом с Вадимом и Борисом Леонидовичем и прикрыл глаза. Рамиль тем временем вылавливал из бака, наполненного колодезной водой, огромный, едва-едва зеленоватый арбуз, совершенно лишенный полос.

...Ну а все-таки, про пеликана расскажите, дядь Борь, — упрашивал Вадим.

— Полно про пеликана, Вадим. Ты эту историю слышал не раз... как самочувствие, молодой человек? — поинтересовался Борис Леонидович у Олега. — Вы словно прямиком с войны.

— Мелочи, — ему не хотелось рассказывать, как нелепо он чуть было не сгинул под грузовиком, и поэтому Олег спешно спросил. — А что за пеликан?

Вадим придвинулся поближе, а зоолог вздохнул.

— Ох уж этот пеликан... ну да ладно.

— Стояли раз отрядом на Алакуле¹. А лето, жара... Ну, упростили меня мои студенты съездить искупаться на новый бережок — то ли галька там помельче, то ль водица потеплее — уже не вспомню. Приехали, значит, на берег, — полный «пазик» практикантов. Они, ясное дело, разом в воду все, а я уже не в том статусе был, чтоб с ними плескаться. Взял удилишко, устроился у впадения ручья. Ловлю, значит. А пескарь там сами знаете, какой — во! Вообще-то по науке губачом именуется, да кому до этого дело... прямо базельский сервелат, а не пескарь, короче говоря. Уха из него превосходная...

Ну так вот, наловил я их с десятка два, сижу да на ребятишек своих поглядываю. И тут удилишко мое, стеклопластиковое, с рогульки как сиганет — только-только успел за комель схватить. И так его гнет, и эдак, — едва успеваю леску с катушки стравливать. Метров десять отдал, должно быть, а рыба все не уймется никак. Кое-как

¹ Горько-соленое бессточное озеро в Казахстане.

завел ее в ручей, аки субмарину в мокрые доки, — вода в ручье премутненькая, рыба и успокоилась.

Смотрю, — маринка! Я ее за холку едва взять смог, толстенная! В ведро бросил, — так она в него кое-как поместилась... Ага, думаю, — попёрло! Червяка свежего цепляю, кидаю туда же, жду. И вдруг краем уха слышу, — стук какой-то за спиной. Поворачиваюсь и вижу, — ведро на боку лежит, а рядом — пеликан, и рыбину мою заглатывает. Хвост изо рта едва торчит. А пеликан этот на берегу будто прописался, — то ли подранок был, то ль еще что, да только к людям крепко привязался. Я ведь ему пескаррей поначалу бросал, — так не брал, шельма. Я к нему — а тот пасть захлопнул и хотел было стрекача задать, да рыбина тяжелая, перевешивает... В общем, упал пеликан на гальку и лежит, а маринка моя в мешке у него бьется. А тот все одним глазом на меня тарашится — глуповато, дружелюбно так...

Ну, думаю, амба. У меня уже было план выработался: маринку эту подсолить да на лозу в теньке подвесить, чтоб потом с Палычем под «текелийское»¹ оприходовать, как ребятишки по палаткам расползутся, а тут такая напасть.

В общем, сгрёб я этого пеликана в охапку и давай трясти, — а вдруг маринка моя вывалится. Не пускает, ни в какую... И тут позади меня голос: «А чем это вы здесь, Борис Леонидович, занимаетесь?» Поворачиваюсь, — хуже не придумаешь. Студент мой, притом из самых бестолковых, — все-то ему реликтовая чайка в каждом молодом хохотуне мерещилась, — стоит и зыркает так нагло. И пеликан мой на него с надеждою косится.

«Санька, — говорю, — тут какое дело», — и объясняю ситуацию. А ну, думаю, как подсобит, — парень он сноровистый, даром что в науке бестолочь. Не-а. «Вы птицу-то мучать перестаньте, — говорит. — Для специалиста вашей величины подобное поведение просто недопустимо». Я аж опешил от такой наглости. «Да ты чего, Санька, — говорю, — совсем нюх потерял? Подсобил бы лучше!» А тот мне: «Умейте проигрывать, товарищ Левинкас. Вам ли не знать, что доброе имя дороже любой рыбины стоит».

Ну и что мне оставалось делать? Оставил я этого пеликана и красный, как рак — еще бы, от такого-то молокососа по морде отхватить, — потопал со своим ведерком восвояси. Маринку на том месте я больше ни разу не поймал, хоть и пробовал неоднократно; ну а Николай Павлович разбился в следующем году на мотоцикле. Короче говоря, так мы с ним «законной закусью» и не закусили...

— Что-то совсем грустно вы закончили сегодня, — сказал Вадим.

Присутствующие помолчали. Солнце клонилось все ниже, почти спрятавшись в ветвях чингиля. Хрустнул арбуз, развалившись на две половинки.

— Арбуз разбирайте, пока холодный, — проговорил Рамиль с набитым ртом.

Олег снова попросил листок бумаги и начал сосредоточенно сопеть, скрипя фломастером.

— Тише, тише, — засмеялся Вадим. — Единственный фломастер нам угробишь.

Закончив, Олег передал листок зоологу и спросил:

— А это кто такой, Борис Леонидович?

Тот разложил рисунок на коленях.

— Ну, врать не буду, — художник из вас не ахти, — но общие черты вы передали верно. Несомненно, это представитель отряда привиденьевых, иначе говоря, — какой-то из палочников.

— Палочник? — теперь Олег вспомнил, где видел изображение этого существа, — в одном из школьных учебников. — А какого размера они бывают?

— Это одно из самых крупных насекомых на планете, — ответил ученый, и сердце Олега забилось чаще. — Иные тропические виды могут достигать в длину до тридцати сантиметров, а то и того больше... а что такое? — удивился Борис Леонидович, увидев,

¹ Марка казахстанского пива.

как разочарованно вытянулось лицо собеседника. — Да вы никак ожидали, что они ростом с теленка вымахивают?

— И что, они других насекомых жрут?

— Да нет же. Самых бы не трогали, потому и активны они в темное время суток. Вся жизнь палочников — кстати, в старину их еще страшилками звали — связана с растительностью, — на ней они живут, ей подражают, ею же и питаются: листьями, мягкими частями побегов...

Марина наконец закончила налаживать походный быт и появилась из палатки, переодевшись в узкие джинсы и рубашку хаки с короткими рукавами. Подойдя к дымящемуся самовару, возле которого собрались мужчины, она села на походный стульчик. Олег не успел отвести глаз, когда Марина взглянула на него. Он спешно устался на самовар, в блестящем боку которого отражался свет разгорающегося костра.

Она поправила волосы, медные в закатном свете; обкусывая толстенный арбузный ломоть, поймала языком струйку ягодного сока, побежавшую было по ее загорелому запястью.

Олег незаметно поерзал на стульчике. «Ну, чертовка, что творит...»

— А вы откуда, Марина? — спросил он.

— Из Москвы, как и папа, — улыбнулась Марина, и Олег подумал: «Вот те раз». Но тут же успокоился: насколько он помнил, ни откровенного флирта, ни предосудительных замечаний в адрес девушки при Борисе Леонидовиче он себе не позволял.

«Покамест».

Олег вздохнул, собираясь с духом.

— Я ведь тоже в Москве родился.

— Правда? — оживилась девушка. — А где жили? Мы вот на Ломоносовском обретаемся.

— Да вы шутите, — улыбнулся Олег. — Мы с вами вдвойне земляки, выходит. Там и я жил когда-то. На Гарибальди...

— Не может быть! — обрадовалась Марина. — Слышал, пап? А до какого года у нас жил? — перешла она на «ты», придвигаясь к собеседнику.

Олег хотел было ответить, но услышал позади шаги и обернулся.

За спиной стояла Умит: в голубом платье, в серых туфельках на каблуке, невысоком; в подвижном свете костра ее ноги выглядели неправдоподобно длинными. Олег поразился, до чего жестким стало ее лицо.

Он хотел что-то сказать, но со стула поднялся, будто проглотив язык. Разница в их росте теперь была совсем незаметной.

— Добрый вечер, — благодушно поприветствовал Борис Леонидович за всех, но ответа не получил.

Умит взяла Олега за руку — запястье словно перетянуло проволокой, — и потянула за собой в серый сумрак тамариска. Но прежде чем увести его прочь, она до того выразительно посмотрела на Марину, что даже Олегу стало не по себе; взгляд Умит яснее слов говорил: «Не смей, это — мое».

Он шагал за нею бессловесно и покорно, словно ведомый на заклятие. Сидевшие у костра застыли, провожая их взглядами, и только водитель тихо хохотнул.

6

Когда они подошли к грузовику, сумерки совсем стусились. Затянутое тучами небо алело лишь на горизонте, выделяясь медною закатной полосой.

— Влюбился? — спросила она.

— Влюбился, — сознался Олег.

— В меня хоть? Или в эту свою... — Умит замолчала, подыскивая колкое

слово. — Русскую! — чуть ли не выкрикнула девушка, так и не сумев придумать ничего обидного.

Оторопь, вызванная неожиданным появлением Умит, прошла, и Олег не сумел удержаться от улыбки. Они расположились возле машины, она — на его спальнике, он — на худом бревнышке по другую сторону костра.

— Ничего смешного! — недовольная его реакцией, сказала она. — Как ее там?

— Марина. Это значит — море, — добавил он невпопад, и тут же поспешил добавить: — Да я ведь не в нее влюбился. Ты лучше меня это знаешь.

Умит помолчала, затем тихо произнесла:

— Здесь нет никакого моря.

Она легла на спальник и, чуть разведя ноги, стала медленно подбирать подол платья тонкими пальцами, оголяя живот. У него перехватило дыхание.

— Целуй, — властно сказала девушка.

Но его и так уже тащило к ней; он принялся целовать ее шею, широкие скулы, виски...

Она позволила поцеловать себя по-настоящему, и Олег стал задыхаться и от страсти, и от нехватки воздуха. Он потянулся губами к ее грудям, будоражащим, все еще скрытым под платьем, но вдруг почувствовал на темени ладонь Умит, бесцеремонно толкавшую его дальше, мимо ее плоского живота, и подчинился.

После долго сидел у ее ног, всматриваясь в безмятежное лицо девушки, подсвеченное полыхающими углями. Она вдруг приоткрыла глаза и спросила шепотом:

— А ты?

— А что я? — улыбнулся Олег.

— Я хочу, чтобы тебе тоже хорошо было, — сонно пробормотала она.

— Мне и было хорошо, — сказал он и слегка сжал ее ступню сквозь спальник.

Это было правдой. Он наслаждался ею, словно родниковой водой, — после судорожных первых глотков пригубляя уже неторопливо, проникаясь неявной сладостью источника.

Теперь она спала, а он курил и пытался угадать, как дальше пойдет его жизнь.

Вскоре Олега потянуло в сон. Осторожно забравшись в спальник к Умит, он приобнял ее и закрыл было глаза; но, прижавшись к девичьим ягодицам, понял, что уснуть теперь не сможет.

Олег потянул за краешек подола, поднимая ткань платья по ее бедру и расстегнул джинсы. Не открывая глаз, Умит, вроде бы до этого спавшая, рукой скользнула ему за спину, с неожиданной силой прижав к себе.

Он двигался, стиснув зубы, словно вырываясь из-под стягивавших спину бинтов, снова намокших, прочь из израненного тела, — и, наконец, сдавленно закричал в темноту, пахнущую подступавшими холодами.

Порывом ветра взметнуло огонек, и саксаул загудел, разгораясь в полную силу.

...Они подошли к ее дому в предрассветной мгле. Умит на цыпочках юркнула в дверь, помахав ему на прощание. Дома в поселке были мрачными, с уже стылыми трубами, с еще темными окнами. Непогода заволокла небо над степью целиком, обещая обложные дожди.

Дойдя до окраины поселка, Олег увидел, что полевики собирают лагерь. Тарахтел прогреваемый автомобиль.

Он подождал в стороне, наблюдая, как забрасывают снаряжение в багажник. Подумать только: впервые за эти годы он встречает земляков и вдруг прячется, и ждет не дождется, когда те уйдут...

Ему было стыдно и тошно. Но вот пыль, поднятая машиной, осела, и Олег прошел к соседским воротам.

— Хозяева! — крикнул он, сложив руки в рупор. — Уйде ким бар?¹

Он постоял с минуту. В доме не раздавалось ни звука. Где-то за поселком урчал разгоняющийся внедорожник.

— Дядь Жапаргали! — снова закричал Олег, отворяя калитку и заходя вглубь подворья. Внутри дома слышались сперва шарканье, затем настойчивое мяуканье и беззлобное ругательство.

— Здрасьте, дядь, — сказал он, завидев старика, высунувшегося в дверь в одной майке. — «Муравья» дадите?

...По сторонам от моторашки ползла степь, начавшая уже потихоньку увядать. Над испарпантым пластмассовым козырьком замаячили кроны туранг, и на следующем полевом перекрестке Олег свернул в их сторону.

Он оставил моторашку и пошел среди толстых стволов, выбирая подходящее дерево. Наконец остановился у старой туранги, в которую когда-то давно ударила молния. В метре от земли расщепленный ствол раздваивался, и одна половина дерева накренилась и умерла, в то время как другая покуда шелестела листвой.

«Вот это, — подумал Олег. — Раз-другой рубану — само завалится».

Он побрел было обратно к «Муравью», когда заметил что-то смутно знакомое и обмер.

Неподалеку виднелась группа молодых деревьев: два пышных, волнующихся золотом на фоне синюшных туч, и стоявшее особняком третье, молчаливое и совершенно голое, как мертвая половина выбранной им туранги.

Олег направил моторашку к облетевшему стволу, стараясь ни о чем не думать; но подреберье всюду холодило тревогой. Захавшая туранга высилась на краю пересохшей протоки с крутым соседним берегом.

Под ногами захрустели опавшие ветви. Олег подошел вплотную, провел рукой по вспученной коре; неровная поверхность подалась, обнажая выбеленный временем ствол, сплошь прободенный ходами насекомых.

«Вот ведь дурацкое совпадение», — подумал Олег. Но тут же понял: нет, не совпадение.

От дерева к протоке уходила полоса погибшей растительности: жухлой обесцвеченной травы и поникшего кустарника. При виде скрюченных веток у Олега сжалось сердце.

Он снова уселся за руль и, найдя брод через высохшую речку — более-менее пологий спуск с выходом на соседний берег — медленно поехал вдоль удивительно ровной полосы, уходящей в зазубренный саксаульниками горизонт. «Муравей» скрипел, шатался и подпрыгивал, вихлял на кочках скользкой травы. Иногда борта моторашки задевали мертвые ветви, и тогда те беззвучно осыпались, обращаясь в пепел.

Полоса круто свернула в сторону под прямым, чуждым природе углом. Слева вдалеке уже маячили ряды стройных тополей, указывая на близость поселка, и он уже начинал догадываться, куда попадет, двигаясь новым курсом.

След оборвался, совсем чуть-чуть не дойдя до засоленной пустоши. Но Олег все равно протянул вперед еще немного. Затем закурил, облокотившись о руль. Стрекотал на холостых двигатель.

Он вдруг почувствовал, что рот наполнился слюной, сплюнул и отбросил сигарету, но все равно согнулся в рвотном позыве. Ноги его подкосились. Упершись руками в сухую почву, Олег кашлял и отплевывался, не сводя слезящихся глаз с темного пятна перед собой.

Он смотрел на свой «Урал».

¹ Есть кто дома? (каз.)

7

...Олег принес из кузова моторашки туранговые пни и кувалдой забил их под раму грузовика. Порой приходилось стёсывать почву лопатой, чтобы пни загнать в зазор.

После он залез под машину и снова принялся высвобождать мосты, не опасаясь уже, что его придавит.

Вечером открыл последнюю банку кильки, вывалил в макароны.

Разминаясь после ужина, Олег прогулялся в сторону от машины, в полосу пожухлой травы. Конечно же, он нашел и бутылку, и маленький панцирь, напоминающий кусок мыла, что лежит на его уличном рукомоинике третий год подряд. Он подержал бутылку вспотевшими руками, поглядел зачем-то внутрь. Затем поводил ею по сторонам, пытаясь поймать ветер. Но заштилевшая степь молчала.

Теперь он знал наверняка, что времени у них осталось совсем мало.

...Вылезать из спальника наутро не хотелось. В кабине стоял холод. Сквозь запотевшие стекла машины Олег увидел, что вокруг лежит иней.

Весь день он выбивал затвердевшую грязь из-под мостов, злой на себя оттого, что не управился до заморозков. Казалось, хмурое небо вот-вот разродится снегом, но пока степь лежала непокрытой.

Наконец Олег придирчиво осмотрел днище машины, для очистки совести ударил в паре мест лопатой и понял — готово. Валящийся с ног от усталости, он не смог даже порадоваться тому, что эта часть работы была позади.

Он завел «Муравья» и двинулся к поселку, выискивая слипающимися глазами грунтовку в степи, подсвеченной закатным багрянцем. Олег мечтал о продавленной своей постели; но еще сильнее ему хотелось увидеться с Умит.

«На полчаса из дома выйдет — и то хорошо», — подумал он, пропуская свой поворот.

Олег был уверен, что им двоим теперь и целой жизни будет мало.

...Ожидая друзей, Олег глазел на гулявших девчонок, и все ему в них нравилось: и звонкие голоса, и отчаянные, бесшабашные призывы к официантам «повторить», и платья, умеренно длинные...

Потом появилась она: среднего роста, коротко стриженная, в строгих очках, — он думал раньше, что такие девушки вообще не в его вкусе.

Она забегала в их зал всего дважды и всякий раз на пару минут, но этого было достаточно, чтобы он влюбился. Олег напрасно старался перехватить ее взгляд, скользящий по столикам, зачем-то вслушивался в ее короткие замечания официантам. Работы, похоже, было невпроворот, так как едва он успевал отметить ее профиль под приглушенным светом абажуров, как она тут же исчезала вновь.

Тем временем подтянулись строгинские — он, несмотря на недавнее свое назначение, никого из друзей не чурался, позвал всех.

Надо же, даже ботаник-Славка, вечно щеголяющий густой шевелюрой, сделался таким же неприметным, как остальные пацаны. Славка приехал сегодня на «бьюикеривьера».

Раньше тот ездил на «шестерке», которую затем сожгли прямо в их общем дворе после каких-то разборок. Кажется, этот «бьюик», подаренный ему строгинскими взамен «шестерки», и перевесил чашу весов, окончательно решив Славкину судьбу. Олегу стало жаль, что вчерашний отличник теперь мало отличается от прочих ребят, ну, разве что осталась еще некоторая робость в Славкином взгляде, ошупывавшем здешних девчонок слишком уж бегло...

Он мало запомнил из того, что говорили парни тем вечером: помнил нескончаемые тосты «за комитетчика», помнил себя, едва ли не бегущего вслед за нею, и ее исчезновение в глубинах кухни, куда не пустил его охранник.

Тогда Олегу пришлось пригласить администратора, и вот она стоит перед ним, приветливо улыбаясь. И он, вроде бы только что дерзкий и пьяный, готовый разбить голову охраннику, чувствует, как краснеет; а до того успевает сказать, спотыкаясь через слово, что «человечеству завидует хотя бы потому, что человечество имеет счастье наслаждаться подлинной женской красотой хотя бы в ее смену». И потом, когда она произнесет благословенные цифры, он запишет их на подкладке своего пиджака, и уже снаружи на радостях поочередно обнимет пацанов — и своих, и каких-то еще, левых...

Вот они уже идут вдвоем вдоль широкой реки в ноябрьских сумерках, и в ледяной глади отражаются рыжие фонари проспекта. Провожая ее после смены, он много шутит и совершенно трезв.

Но что-то происходит, — миг светает, и замерзшие берега вдруг вспучиваются блеклой зеленью, которая стремительно прорастает отовсюду: и из гладкого льда, в котором только что отражались огни, и из асфальта по обеим сторонам Москвы-реки; секунду спустя все тонет в чашобе, сквозь которую пробита полевая дорога, освещенная полуденным солнцем.

Олег чувствует на своей руке тонкие пальцы Вики. Она просит его сбросить скорость, но, распаленный алкоголем, он все мчит по проселку, по верхушке холма, под которым ходят взад-вперед камышовые стебли. Колеса бесшумно скользят по глубокой, будто бы мучной, дорожной пыли.

Что-то огромное возникает из камышового моря, нелепое, похожее на чудовищного палочника, существо, виденное им когда-то в книге по природоведению. Силясь преодолеть гравитацию, на неимоверно тонких ногах палочник движется какими-то рывками, словно шагая против шквального ветра.

Существо нависает над дорогой, будто бы в задумчивости, и Олегу кажется, что их «опель» сумеет пролететь между ногами палочника, если взять чуть левее. Он крутит рулевое колесо — несильно, буквально вполоборота, тут же возвращая руль назад, — но этого оказывается достаточно, чтобы машину занесло.

«Опель» разворачивает поперек проселка, и в следующую секунду движущаяся навстречу сегментированная конечность с треском врывается в пассажирскую стойку машины.

...Кричат птицы. Пыль, поднятая слетевшим с дороги «опелем», улеглась. Он повернул голову к пассажирскому сиденью, но ее не увидел. Ему удалось выбраться из машины, вывалиться из бокового окна в высокий июньский травостой. С волос в траву посыпались квадратики разбитого стекла.

Олег пополз было вперед, но что-то торчало из разорванной ладони, мешало. Он зубами вытянул из раны кусок пластмассы, и выплюнул его — это был осколок рамки от магнитолы «блаупункт».

Откуда-то со стороны трассы, через поле, к нему неслось голубое пятно Славкиного «бьюика».

Он поднял глаза и увидел рядом с собой стайку тощих березок, единственную на сотни метров вокруг. Между тонких светлых стволов съехался изуродованный кузов «опеля».

— Вика, — позвал он. — Родная! — он кричал и не понимал, отчего это вдруг стало так холодно. Рванул назад, к машине, но чьи-то руки вцепились в него, и кто-то прокричал в самое ухо: «Все, все, братан, хорош... да держите же его! Нечего ему туда смотреть...»

Олег кричал, сопротивлялся, но его все равно куда-то тащили. Носки кроссовок скребли по высохшей земле.

— Славка, — простонал он, — мне к ней надо, слышишь? Пусти...

— Какой еще Славка, котакбас?¹ — голос был враждебным, но знакомым. — Мя саган²...

— Марат?! Ты-то откуда? — прохрипел Олег, вяло пытаясь отбиться от тащивших его темных фигур. Ему не ответили, только коротко ругнулись на казахском.

Олег вяло перебирал ногами, тройка то и дело спотыкалась. Где-то в середине улицы его уронили, и пару минут он просто лежал и смотрел в темноту, в которой поочередно вспыхивали сигаретные огоньки. Промеж плотных облаков из морозного неба пробивался полумесяц.

Наконец Олега бросили на пол в его комнате; кто-то звонко отряхнул ладони. Он поворочал высохшим языком, ощупывая зубы. Передние на месте — уже нехудо...

— Еще к ней подойдешь, — закопаю, понял?

Олег не понял и протестующе что-то промычал. Тогда ему врезали еще раз, ногой, но уже вполсилы, без души; затем двое вышли, прикрыв за собой дверь.

Он хотел встать, оперся было на руку, но передумал и снова прильнул щекой к липким доскам.

«А молодцы все-таки — донесли ведь...» — подумал Олег, закрывая глаза. На этот раз, к счастью, в его голове была сплошная темнота.

8

Есбол сидел на скамье снаружи дома, курил и смотрел на облетающие тополя. По поселку растекалась дымка с привкусом сырой листвы. Увидев бредущего по дороге Олега, Есбол встал, собираясь зайти в дом.

— Ты чего притащился? — окрикнул Олега. — Нет ее здесь.

Поняв, что отношение к нему изменилось, Олег в свою очередь решил пренебречь приветствием и сходу выпалил:

— Чтоб вы знали, дядь Есбол, — я ее люблю.

Лицо Есбола скривилось, и он топнул, закричал:

— Молчи, твою мать! Ты в зеркало себя видел? Вот она, твоя одна любовь!

Стоя с разбитым, опухшим лицом, Олег промолчал. Пусть вчера его и подловили нетрезвого, это мало что меняло.

— Я брошу... нан урсын³, — вспомнил он.

Есбол ухмыльнулся, но тут же вновь прикрикнул:

— Сам-то понял, что сказал? Поди «поправился» уже с утра?

Тот покачал головой.

— Что, нет? — нарочито удивился Есбол. — Зря. Как там говорят — «утром выпил — целый день свободен»?

Олег против воли засмеялся.

— Мне, правда, работать надо.

— А чего тогда здесь ошиваешься? — снова нахмурился Есбол.

— Вы говорили, с трактором подсобите, как копать закончу. Вот я и пришел...

...Трактор вновь загрохотал, задергался на месте. Сидя за рулем грузовика, Олег подрабатывал педалью газа, пытаясь помочь надрывавшейся впереди «дэтэшке».

¹ Членоголовый (*ругательство, каз.*).

² Получай (*каз.*).

³ Хлебом клянусь (*каз.*).

В воздух полетели пластины грязи, сорванной гусеницами, но «Урал» не сдвинулся ни на сантиметр. С неба падал шелестящий мелкий снег. Олег увидел, что тракторист выбрался из кабины и идет к нему.

«Все, — обреченно подумал он, — без толку».

День догорал. Сейчас Ергали отцепит трос и укатит в свою Желтурангу, а Олегов грузовик останется ждать следующей весны, наверняка полноводной; да так и сгинет в соленой грязи.

До обеда Олег провозился под капотом машины, устанавливая отсутствовавшие детали. Приладил на место аккумулятор, проверил жидкости и, покрутив с минуту стартер, улыбнулся, заслышав, как чихает большой мотор, пробуждавшийся от двухлетней спячки. Поначалу тот грохотал и сотрясался так, будто вот-вот собирается выпрыгнуть из-под капота; потянув на себя ручку подсоса, Олег немного выровнял работу двигателя. Машина успела поработать с полчаса на прогревочных оборотах, когда над побелевшей степью завиднелся квадратный силуэт «дэтэшки».

И вот они попытались, но тщетно.

— Братишка, у тебя блокировки-то включены? — спросил его подошедший Ергали. — Ага, вижу... ну чё, может, тогда колеса потравим?

— А смысл? Он даже не подвинулся. Его бы только с места сдернуть, — может, с рывка попробуем?

Тракторист поскреб затылок:

— Опасно. Тросом прилетит в «лобовуху» — костей не соберешь.

— Ну хоть потихоньку, — упрашивал Олег. — Не сорвем... Всё, до весны опять, а то и до лета, если вода вообще сойдет.

— Ну ладно, — сжалился Ергали. — Была не была...

Глядя, как трактор пятится назад, отдавая тросу слабину, Олег включил передачу, чуть отпустил сцепление и дал отмашку трактористу — готов! Трактор покатился вперед, и Олег втянул голову в плечи, со страхом ожидая звука лопающегося троса. От волнения чуть было не забыл про педаль газа, спохватился в последний момент; грузовик заворчал, затрясся.

Трактор выбрал трос, и машину рвануло, вдавив Олега в спинку. Снаружи из-под колес раздались страшный скрежет и свист, и Олег, не обращая внимания на ушибленную спину, с восторгом увидел, как по сторонам поплыла, опускаясь вниз, блеклая степь.

Рева, грузовик выбрался из колеи и, медленно набирая скорость, двинулся к полосе кустарника, прочь с поверхности сора. Они заранее уговорились не останавливаться, если «Урал» вдруг стронется с места. Трактор впереди дымил, словно поезд.

Наконец они встали на проселочной дороге, выбрались из кабин под хмурое вечернее небо и расцепили машины.

— Нормально, с Есакой мы сами сочтемся, — сказал Ергали Олегу, который понятия не имел, как благодарить своего спасителя; он только и мог сейчас, что угостить того сигаретой.

Они пожали друг другу руки, хлопнули дверьми, и машины расползлись в разные стороны. А сверху все сыпало мелкой снежною крупой, уже не спешившей таять.

На следующее утро в поселке топили сильнее прежнего, и школьник, громко бивший каблуком, не смог заставить лужу треснуть.

9

Спалось ему плохо. В этих снах не существо являлось к нему, но что-то страшное случалось с машиной. Проворочавшись ночь напролет, он дождался наконец рассвета и вышел на холод.

Грузовик по-прежнему стоял во дворе: он никуда не делся, не продавил огромными колесами подмерзшую почву двора, не сторел. В синюшном полумраке, с выкрученными фарами, автомобиль снова напомнил ему спящего крокодила.

Олег понемногу успокоился, но сна не было. Он поставил на огонь кастрюлю воды, соскоблил с крышки банки из-под тушенки, открытой им к ужину, остатки жира.

Дождавшись, когда вода согреется, первым делом оттер стекла машины от инея и пыли. После помыл капот и крылья, ополоснул кабину. Затем ломом попробовал отстучать тормозные механизмы от набившейся в них грязи. На землю просыпалось немало комьев земли, но Олег был уверен, что еще больше оставалось внутри. По-хорошему нужно было снимать колеса, поочередно, но грузового домкрата у него не было.

Управившись, Олег долго стоял у плиты с блаженной улыбкой, отогревая замерзшие руки в горячей воде: «Вот кайф...» Затем он перекусил перловой кашей, в которую для вкуса была замешана ложка жира; проглотил пару пиалушек чая и вышел наружу.

Грузовик к тому времени полностью прогрелся, от техники веяло теплом. Забравшись за руль, Олег осторожно провел машину через ворота и медленно покатил по главной улице. Ему казалось, что «Урал», вымытый и вычищенный, поехал значительно веселее.

Миновав тополиную рощу, он остановил машину посреди улицы, не глуша: наверняка ей нравилось жечь топливо после стольких месяцев простоя. Глухо рокотал мотор. В домах вокруг дрожали стекла. К автомобилю понемногу стягивались люди.

Вышел Есбол, остановился на пороге и, не сводя с машины глаз, что-то крикнул внутрь дома.

— Салам, Олег, — произнес кто-то совсем рядом.

Он повернул голову влево и вниз и увидел стоявшего у подножки Марата.

— Салам, — Олег пожал протянутую руку.

— Все-таки вытащил?

Олег чуть помедлил, но все же ответил:

— Вытащил.

— Считается, — одобрил собеседник.

Они помолчали немного.

— На вот, держи, — Олег принял в окно протянутый ему сверток и заглянул внутрь. В промасленной бумаге оказалась новая поворотная фара-искатель, грузовая, на двадцать четыре вольта, с проводкой.

— Рахмет, Марат, — сказал Олег, взглянув парню в глаза. — Хорошая вещь, — я как раз искал такую.

Тот опустил взгляд, для порядка ударил носком по приспущенному колесу и произнес:

— Ты там это, не обессудь если чё.

Олег кивнул, затем перебрался на пассажирское сиденье и подал руку Умит, помогая ей взобраться наверх.

— Маскара¹, какой огромный, — сказала девушка, устроившись рядом с ним. — Привет.

¹ Ужас (каз.).

Она увидела его лицо и, поднеся руку ко рту, прошептала снова: «Маскара...»

Не обращая внимания на Есбола, наблюдавшего за ними с крыльца, Олег поцеловал ее в щеку. Затем грузовик двинулся вперед.

...Конечно же, она не поверила ему.

— Жуки уже не ходят. Здесь никто уже не ходит, тем более по ночам, — произнесла Умит, отворачиваясь. — Вон какой холод стоит.

Они сидели в нагретой кабине грузовика, вслушиваясь в утробное урчание мотора. Олег вздохнул, взглянул на солнце, плывшее в клочьях тумана над широким капотом «Урала», тусклое, едва просвечивающее сквозь хмарь.

Он рассказал ей обо всем: и о существе из его кошмаров, и о том, что случается со всем живым при встрече с ним. Не рассказал только про Вику.

Наконец он взглянул на девушку, впервые с начала разговора, и попросил ее ответить начистоту.

Умит долго смотрела в боковое стекло. Полоса погибшей травы терялась во мгле перед машиной.

— Может, верю. Может, нет — пока не знаю. Но я останусь с тобой, если я нужна тебе.

Волосы, чуть растрепанные у висков, загорелая длинная шея и сложенные на коленях изящные руки, сейчас сжавшиеся отчего-то в кулачки... Глядя на девушку, Олег понял, что никогда в жизни не сумеет полюбить кого-то так же сильно. Он попробовал было приобнять ее, но по сомкнутым губам понял — Умит опять отдалилась. Тогда Олег отсел на свое сиденье и кивнул, грустно улынувшись.

«Ну, хотя бы эта ночь у нас есть», — подумал он.

Олег нашел эту книжицу в день, когда Умит впервые привела его к грузовику, — помятую, лежавшую в пыли вниз страницами. По-видимому, кто-то достал ее из бардачка, бегло пролистнул и бросил под ноги.

Пока Умит прутиком чертила квадратики на припорошенной снегом земле, он еще раз перечитал книжицу и решил, что можно попробовать. Раскрыв инструкцию на крыле машины, придавил ее гаечным ключом, чтобы ветер не заигрывал со страницами.

Книжица с длинным названием «Руководство по эксплуатации УРБ-2А-2 и ее модификаций на шасси «Урал-4320»» для Олега была сегодня бесценной.

Следуя указаниям «Руководства», он стравил воздух из подъемного цилиндра, приподняв и опустив мачту. Затем поднял мачту полностью и закрепил установку, выдвинув по сторонам от «Урала» лапы опорных домкратов. Раскрасневшаяся Умит, в валенках, в теплых колготках и в овчинной безрукавке поверх вылинявшего свитера, подошла к нему.

Шнек буровой установки коснулся почвы и легко пошел вниз, выталкивая на поверхность комья: поначалу светлые, рассыпчатые, затем влажные темные. Через минуту на поверхность и вовсе стали выползать упругие колбаски глины.

Умит взяла один из таких кусков, похожих на пластилин, и быстро, пока пальцы не замерзли, слепила безрогую коровку.

— А где же рожки? — спросил Олег, выбирая шнек из пробитой лунки.

— Да вот же! — Умит снова сняла варежку и ткнула ногтем в пару бугорков на голове животного, почти незаметных.

— Ну, нет, — засомневался Олег, — по мне, больше на ушки похоже.

Умит деланно рассердилась, пихнула его в плечо: «Рожки, и все тут!»

Олег улыбнулся, радуясь, что она оттаивает.

К сумеркам они успели пробурить несколько десятков лунок диаметром около полуметра и глубиной по три-четыре.

Олег наконец улегся на стелющийся по земле кустарник, расслабляя натруженную спину, закурил. Выпрямленная мачта буровой установки подпирала близкое серое небо. Присутствие этой громадины, высившейся над степью тотемным столбом, успокаивало.

Он был уверен, что место выбрано правильно, — почва здесь была не твердая и не мягкая, лунки в ней бурились легко, не обваливаясь, если неуклюжий грузовик наезжал на них колесом. Расположенные в шахматном порядке, лунки растянулись в густом саксаульнике на добрые полсотни метров.

Деревья, росшие в полосе жухлой травы, были словно опаленными. Олегу показалось, что одна из безжизненных ветвей, чуть отклонившаяся в сторону от прочих, похожа на скрюченную девичью фигуру. Он мотнул головой, отгоняя тревогу.

Ему не было известно, верно ли он прикинул расстояние между точками бурения. Огляделся, посчитал, — оставалось с полтора десятка квадратиков, намеченных рукой Умит. Он подумал, что до темноты успеет сделать еще с десяток, да и ладно. Ему хотелось погреться у костра, хотелось выпить горячего чая и поесть баурсаков с соленым маслом. Хотелось скинуть тяжелую куртку и обнять Умит в натопленной кабине грузовика, — если она позволит.

Впервые за степные свои годы Олег начинал верить, что жизнь и впрямь расщедрилась на еще один шанс.

...Умит спала, положив голову ему на колени и вытянув длинные ноги через всю кабину, так что он уже который час мог поглядывать на них с восхищением.

Стрелка часов почти подтянулась к четырем утра, когда Олег перевел будильник еще на полчаса вперед. Затем снова поставил его на приборную панель, долго смотрел на циферблат, размеченный скругленными арабскими цифрами, и вдруг вспомнил, что на их заброшенной даче в Жуковке был точно такой же будильник в зеленом корпусе. В детстве его волновала таинственная надпись «4 камня» в нижней части циферблата; прошло столько лет, а он до сих пор не знает, что она означает.

Название марки всегда казалось ему странным, мало подходящим для часов. Оно напоминало о застывших в смоле доисторических насекомых, виденных им в музее на школьной экскурсии. Была ли тут какая-то связь со временем, с часами и с минутами?..

Зафыркал, затрясся двигатель. Увидев стрелку, замершую у «ноля», Олег повернул кран, задействовав маленький запасной бак. Еще несколько часов на холостых с работающей печкой, и двигатель заглохнет окончательно.

Умит приоткрыла глаза и сонно потянулась, ступнями упираясь в противоположную дверь.

— Как душно, — пожаловалась она, выпрямляясь на сиденье.

Олег чуть опустил стекло, и в салон потек холодный воздух. Он снова повернулся к Умит, и в рыжих отсветах костра увидел, что ее глаза широко раскрыты, — не то от удивления, не то от ужаса. Но проследив за ее взглядом, Олег разглядел лишь ветви кустарников, тянущиеся к огню из темноты.

— Что ты увидела?

Не дождавшись ответа, он переспросил, но Умит, неотрывно смотрящая в лобовое стекло, будто окаменела. Ухватив за плечи, Олег повернул девушку к себе и легонько встряхнул:

— Да не молчи же!

Умит потрясенно посмотрела на него. В глазах заблестели слезы.

— Я... я не успела разглядеть. Может, это сова над огнем пролетела...

Девушка прижалась к Олегу, всхлипывая, и он крепко обнял ее.

— Олежик, что происходит?

— Мне нужно, чтобы ты сейчас же побежала домой, со всех ног. И оставайся с отцом, пока я не вернусь.

Умит молча кивнула.

— Полянись, — настойчиво повторил он, отстраняясь и глядя ей в глаза, — хлебом.

— Нан урсын, — обиженно прошептала девушка.

Олег достал из кармана «бесконечный» фонарь и протянул ей.

— Хорошо. Вот «жучок», — помнишь, как им пользоваться?

Умит несколько раз нажала на рукоятку, и «жучок» зажужжал, потихоньку разгораясь теплым светом. Девушка быстро обулась и застегнула безрукавку.

— Ну все, родная.

Она прильнула к нему, и на этот раз поцелуй был таким, каким и должен быть, — настойчивым, долгим.

Олег посмотрел в лобовое стекло.

На этот раз он успел. Света второго костра едва хватило, чтобы осветить нижнюю часть тела существа, проплывшую высоко над огнем.

— Пора! — закричал он, толкая пассажирскую дверь.

Едва прыгнув на землю, Умит рванулась вперед и тут же врезалась в колючие кустарники. Но вот заверещал «жучок», и бледное пятнышко света в зеркале заднего вида стало быстро удаляться от него. Осознав, что она уже выбралась на проселок, Олег чуть успокоился.

Включив передачу, он снова попробовал найти свет ее фонарика за окном, ничего не увидел и тогда повернул голову в другую сторону — на движение.

Он впервые мог видеть его воочию, и снова поразился тому, как странно шагает существо — оно было сродни героям пластилиновых мультфильмов из детства. Чудище двигалось судорожно, будто оступаясь через шаг, бестолково суча ногами по сторонам, но при этом умудрялось перемещаться по совершенно прямой линии, никак не вяжущейся с манерой его ходьбы.

Конечности палочника были сложены из сегментов, похожих на вытянутые человеческие кости. Олег увидел, что подобие головы у того все же имелось: едва заметное утолщение в передней части туловища. Оно не испугалось огня, расшвыряв угли по сторонам и, кажется, даже не почувствовав, что ступило в костер, существо побрело дальше.

Вот оно добралось до края «минного поля», как окрестили их ловушку, и сходу провалилось передними конечностями в лунки. Сердце Олега радостно ёкнуло.

Будь у палочника только две пары ног, их задумка могла бы осуществиться. Но ног у того — шесть. Без видимых усилий восстановив равновесие, палочник вытянул конечности из лунок и снова зашагал на Олега, вцепившегося в руль «Урала».

«Вот же черт, — обреченно подумал Олег. — Не выгорело...»

Вздохнув, нащупал педаль газа. Его бил озноб, больше всего сейчас хотелось гнать отсюда прочь, в какое-нибудь очень людное место, но он тут же напомнил себе, что выбора нет, и отпустил сцепление. Дремавший двигатель зарокотал, машина стронулась с места.

10

Разгонялся «Урал» неимоверно медленно. Пусть Олег и развернул световой пучок на максимум, освещения сильно не хватало, поэтому приходилось и подруливать, и корректировать направление фары-искателя.

Дважды выжав сцепление, он переключился на третью передачу и нацелил центр капота в сегментированные конечности, шагавшие на него. Стрелка спидометра металась между двадцатью и сорока километрами в час. Понять истинную скорость

машины было невозможно, и Олег на всякий случай утопил педаль акселератора до упора, приготовившись к удару.

Капот грузовика врезался в гладкую ногу существа, вздыбившись бугром. Подпрыгнув, луч фары-искателя уперся в землю; грудную клетку ударило о руль, но Олег упрямо продолжал вдавливать педаль газа в пол. Уже не успевая наверстать скорость, погашенную столкновением, «Урал» вяло ткнулся покореженным носом в следующую сегментированную конечность, едва различимую в тусклом свете габаритных огней.

Но чудище успело оторвать ногу от земли, и та взмыла ввысь; машину сотряс удар, пусть и не такой сильный, как первый. В следующую секунду «Урал» влетел в саксаульник, с грохотом подминая жесткую растительность.

Он навалился на руль, пытаясь развернуть грузовик, попутно поправляя сбившийся луч фары-искателя. Круша ветки и вздымая фонтаны песка, грузовик начал разворачиваться по огромному радиусу. Олег завертел головой, высматривая отсветы костров по сторонам, но снаружи была непроглядная темнота. Он было испугался, что заплутал среди барханов, когда в лобовом замаячили рыжие огоньки, обозначающие «минное поле».

Олег удивился, как далеко они оказались.

Ему было слышно, как трут по кузову покрышки, зажатые покореженным металлом. Машина едва ползла, хоть двигатель и ревел на предельных оборотах. К загоревшейся на приборном щитке россыпи контрольных ламп он добавил еще одну, подоткнув рычаг блокировки дифференциала.

«Урал» рванул вперед. Стрелка датчика температуры уперлась в ограничитель, внутри двигателя булькало и лязгало, и из-за вздыбленного капота, из-за пара, бившего в лобовое стекло, Олег не видел, куда направлял машину. Тогда он высунулся наружу по грудь, положив руку на торец окна.

Ночь пахла полыньей и жженым сцеплением.

В свете костров он разглядел палочника, завалившегося вперед так, что задняя часть туловища его смотрела в черное небо. Одна из средней пары ног, следующая за раздробленной, была целиком выдернута. Оторванная конечность и на земле продолжала сгибаться и разгибаться, двигаясь со все тем же пугающим упрямством.

«Кажись, мачтой зацепило», — обрадованно подумал Олег. Впрочем, времени на осмысление произошедшего у него не было. Почти лишенный конечностей с левого бока, палочник силился подняться, упираясь в землю головой; но уцелевшие ноги его, елозящие вокруг туловища, соскальзывали в лунки.

Олег занырнул обратно в кабину перед самым столкновением.

Передок машины взвился вверх, словно грузовик оттолкнулся от трамплина. Оглушительный треск и скрежет металла на мгновение перекрыли рев мотора; Олег вцепился в руль, втягивая голову в плечи, и почувствовал, как ноги его отрываются от педалей, летя навстречу подбородку. Перевернувшись в воздухе, «Урал» врезался в землю, вминая мачту внутрь кабины, затем завалился на бок и, пропахав степь водительским бортом, замер.

Лежа в искореженной кабине, Олег удивлялся, что остался жив. Лицом он упирался в холодный песок, набившийся в салон, и во рту его были песок и кровь. Жгло болью стопу — сломанную или просто вывихнутую? — выяснять Олег не спешил. Ему хотелось одного — закрыть глаза и на пару дней уснуть в кабине грузовика, с которым он будто сросся. Он и начинал засыпать, понемногу убаюкиваемый журчанием тосола, льющегося из пробитого радиатора.

В остывающем моторе что-то безостановочно шелестело и поцокивало. Ему привиделась Умит, какой запомнил ее при первой встрече: загорелая девчушка, она стоит у распахнутых ворот и считает барашков, с раздутыми от травы и воды

боками, заходящих на подворье. Запустив животных в загон, она улыбается и наклоняется приласкать отставшего ягненка.

Сколько ей было лет: четырнадцать? пятнадцать?

Она закрывает ворота и видит его, идущего мимо с оттянутой авоськой. Их взгляды пересекаются, и девочка внимательно рассматривает его круглыми карими глазами, очень светлыми. Ее губы шевелятся, и с некоторым запозданием голос Умит звучит у него в голове: «Еще чуть-чуть».

Разлепив глаза, он поморгал, пытаясь сориентироваться в опрокинутой кабине. Затем уперся в рулевую колонку здоровой ногой, потянулся вверх и тыльной стороной ладони ударил в дверь, уверенный, что ее намертво заклинило в искривленном проеме; но та вдруг подалась, выпуская его из перегретой кабины в октябрьскую ночь. Ухватившись за водосток скрюченными пальцами, Олег попытался нащупать почву носками кроссовок. Ему это не удалось, но он все равно разжал ладони и припал к земле, скорчившись от боли.

Чуть приглушенный светом костров, над степью протянулся Млечный Путь, сейчас казавшийся столь близким, что тусклый огонек спутника двигался словно по другую его сторону.

Подволакивая ногу, Олег пополз на животе к ближайшему костру: по жесткой траве, по осколкам стекла, светящимся в отблесках огня. До него не сразу дошло, что он ползет на месте.

Он обернулся. Фара по-прежнему разгоняла темноту перед грузовиком, слепя Олега, и поэтому он не сразу разглядел кость, торчащую из подвернутой ноги. Странно, но он совсем не видел крови. Олег изумленно уставился на кость, удивительно длинную, и понял, что растет она откуда-то из мрака, сгустившегося под опрокинутой машиной.

Царапая металл, что-то рвалось к нему оттуда, придвигалось все ближе, поблескивая в отсветах костра.

Голова палочника исчезла вместе с частью туловища. Отверстие, уходящее внутрь него, казалось Олегу наставленным дулом; он осознал, что внутри ничего не было: ни внутренностей, ни желтых сгустков, обычно приходившихся кровью раздавленным жукам, ни даже какой-либо сердцевины, — только невозможная пустота.

Палочник изогнулся и, выворачивая суставы припиленной к степи ноги, повернулся на бок. Шатаясь на обрубках конечностей, он приближался, и Олег подумал, что сейчас он дотянется до него, вберет внутрь себя и тогда, быть может, издохнет, наконец.

Чернота зева нависла над ним, словно угольный тоннель. Олег почувствовал легкое движение воздуха, и кожа на лице вдруг съежилась и натянулась, словно бы на него полыхнуло из горнила. Олег задергался, зашарил руками по земле; неожиданно почувствовал холод металла и, сжав нащупанный предмет, что было сил метнул в круглую дыру перед собой.

— Да сдохни же, падла! — выкрикнул он с ненавистью и удивился эху, вернувшемуся к нему из нутра палочника.

Со стуком отскакивая от стенок, снаряд полетел в глубину наставленного на Олега зева. Он не успел понять, что же бросил, и лишь когда услышал нарождающийся механический звон, сообразил.

«Стало быть, половина пятого».

Нависавшее над ним чудище замерло, попятилось в темноту и вдруг вспучилось где-то посерединке туловища и расшеперилось, и взорвалось, разлетясь во все стороны сухими клочьями.

Отразившись от барханов где-то вдалеке, отголоски взрыва пронесли над землей. Вздохнула испуганно степь, заскулила. Заметались и исчезли в ночи искры костров и налетевшие откуда-то камышовые пушинки.

Он медленно отнял от лица руку, утыканную щепками. Израненную ногу теперь ничто не держало, и Олег стал отползать от «Урала» на локтях, пока не уперся ногой в жар костра. Он перевалился на живот, уткнувшись лицом в соленую и теплую землю, и только тогда его сознание начало меркнуть.

...Небосклон уже был посеревшим, осветленным зарей пасмурного дня.

Разлепив глаза, он увидел несколько полевых цветков, дрожащих на ветру перед его лицом. Кострища вокруг уже не дымились, но в неподвижном воздухе еще чувствовались и запахи, и тепло саксаула.

Рыжий глаз грузовика едва светился. Олег прикоснулся к разбитой переносице и ребром ладони ощутил окладистую бороду. Сколько дней уже он не брился?

Ощупав занемевшую ногу, он выдернул из нее толстый, словно ствол бамбука, обломок камышины и пополз по убеленной поземкой траве, срывая цветы в надежде, что их хватит на букет. Но их было совсем мало.

Олег привстал на коленях, оглядываясь вокруг.

Голубизна полосы снега посреди серо-желтых песков, редкие кошары в отдалении, пятнышки пасущегося скота. Нет нужды ломать голову над чем-то: все типично для Средней Азии, все просто. Земля кругом очень скудна, она не оправдала стараний людей, хотя и обезображена была бороздами там и тут.

Но люди живут здесь. Есбол, Жапаргали, остальные знакомые ему люди.

Умит.

Что будет с ними, когда степь укроет первым снегопадом, когда ударят настоящие морозы?

Что будет с ним?

Глядя на степь, застывшую в ожидании зимы, ему не хотелось думать ни о чем. Кривясь от боли, он поднялся на ноги и как можно быстрее, — покуда цветы не завяли, — заковылял к виднеющемуся на горизонте поселку.

Шамиль Идиатуллин

Последнее время

Фрагмент романа

Часть вторая

О крови не беспокойся

1

Солнце было ярким, а ветер жестким. Вокруг шурились, ежились и поругивались, а Альгер наконец-то чувствовал себя дома. Город из неясно-бурого стал четким серым с бежевыми, белесыми и угольными вкраплениями крыш и башен, под ногами перестало чавкать. И грязь, что, высохнув, поднялась к носу и глазам малозаметной, но колючей пылью, Альгера не злила, а заставляла умиленно вспоминать первые походы и развертывание в степи. Пыль, ветер и солнце. Молодость.

Альгер застыл на перекрестке и засмеялся, вынимая из глаза особенно упорную соринку, как перед самым первым боем с кочмаками — тогда Эбербад ему, помнится, даже по уху съездил, чтобы помочь стать в строй поскорее. Альгер за это довольно долго ненавидел Эбербада, до самого начала боя, и всерьез подумывал в суматохе зайти со спины и небрежно повести лезвием, но кочмаки прорвали левый фланг, и стало не до того. Альгер получил стрелу под ребра, и Эбербад полночи пер его сквозь пыльную траву, глинистые овраги и едкий солончак и еще пару раз съездил по уху и по губам, чтобы Альгер не стонал, и Альгер, придя в себя, цеплялся за бьющую руку и за руку волокущую, нежно пожимал их, покряхтывая от боли, и пытался заглянуть Эбербаду в глаза, чтобы тот понял, как Альгер ему благодарен и как не хочет, чтобы Эбербад расстроился и бросил его здесь, в пыли под утихшим ветром, ушедшим солнцем и хрустом шагов кочмаков, которые лениво перекивались и так же лениво резали раненых гетов.

Альгер вытер слезу вместе с застывшей улыбкой, локтем привычно отодвинул поглубже заворачавшуюся в бок боль — и чуть не грянул наземь от мощного толчка в спину.

Шамиль Идиатуллин — журналист и прозаик. Родился в 1971 году, окончил журфак Казанского университета, работает в ИД «Коммерсантъ». Первую заметку опубликовал в 1984 году, первый роман — в 2004-м. Лауреат премии «Большая книга—2017» («Город Брежнев»). Живет в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — главы из романа «Бывшая Ленина» (2019, № 7).

Роман «Последнее время» выходит в Издательстве АСТ: Редакция Елены Шубиной.

— Встал тут, — сказали ему и прошли дальше со скрипом и звяканьем.

Вконец стражи, твари, обнаглели, подумал Альгер с бессильной злобой, выпрямился и замер в приятном изумлении. От него удалялись две широкие спины в походной одежде. Почти армейской — но только почти. Знаков принадлежности к страже, союзной службе или просто к армии на них не было.

— Стоять, — скомандовал Альгер, кладя ладонь на рукоять ножа.

Широкие спины застыли немедленно и одновременно и поворачиваться стали тоже очень слаженно. Тем интереснее будет, подумал Альгер с растущим удовольствием и начал:

— Это город, молодые люди, здесь так...

И замолчал, всматриваясь.

Один из двоих, костистый, с ввалившимися глазами, чуть склонил голову к плечу, ожидая продолжения. Второй, плечистый и пузатый, глядел на Альгера, постепенно строя все более дикую рожу. Такую же, очевидно, какую строил Альгер.

Альгер снова поправил локтем занывший бок и выдохнул:

— Эбербад.

— Боги нетрезвые! — взревел Эбербад, в два шага оказался перед Альгером и растроганно съездил ему по уху.

Они с Ульфарном, костистым молчуном, только что вернулись из тихой разработки в земле вендов. С вендами недавно был заключен торжественный мир, пятый и вечный, — вечный, впрочем, третий, — так что никаких разработок, вылазок и походов в отношениях двух замирившихся сторон быть не могло. Их и не было, Эбербад с Ульфарном в составе отряда мирных землеведов просто изучали лесную пограницу родного края, а если изредка пересекали ее, то чисто случайно. И про опального ярла Вальдемара испытывали у местных из праздного любопытства, да не так уж и пытали. Никто же Вальдемара не тронул, в конце концов, жив, здоров, строит козни, пока более удачливых землеведов не дождется.

И жители пограничных деревень кормили и привечали отряд Эбербада сугубо добровольно и из добрососедских отношений, а про повешенного старосту и две сгоревшие деревни Эбербад даже не слышал и рассказывать не собирается. Разве что чуть-чуть, про самое интересное.

— Там таки-ие девки, — рычал он, больно хватая Альгера за локоть. — Глаза черные, волосы белые, грудь — во!

Он разжал руку, чтобы обозначить размеры, и Альгер поспешно перебросил куртку на ближнюю к Эбербаду руку. Ульфарн слегка усмехнулся. Он был не трезвее товарища, но явно приметливее.

— Мягкие! Сладкие! Целые! — выл Эбербад.

Прохожие, опустив глаза, переходили на другую сторону улицы. Альгер неловко улыбался, пытаясь принять одновременно и извиняющийся, и понимающий вид. Ульфарн наблюдал.

В любом случае это было интереснее, чем неизбежно начинавшие беседу жуткие рассказы о наступлении с юго-запада засухи, убивающей урожай и превращающей плодородную землю в топь, которая поглощает дома и уже принимается за людей. Альгер, наслушавшийся такого по службе, был рад тому, что в земле вендов разработчики не обнаружили бед тягостнее, чем строптивые селяне. Слушать про покладистых и сладких было еще приятней — ну, до третьего повтора и перехода от слов к жестам.

— Целую хочу, — сказал Эбербад и остановился, прицельно поводя головой. — Мягкую. Вон там.

Он ринулся через улицу, распугивая и чуть не переворачивая повозки. Альгер, вздохнув, последовал. Ульфарн, похоже, не отставал.

В замеченный Эбербадом веселый дом их не пустили. Привратник сказал, что пьяным и военным в веселые дома на центральных улицах нельзя, приказ мастера.

Эбербад с этим смирился и дал увлечь себя в торговый район. Отказ в тамошнем веселом доме, «девочки отсыпаются, приходите вечером», он тоже принял с удивительным спокойствием. Но в третьем, откровенно занюханном клоповнике, Эбербад взорвался и дал холую в рыло. Тот, признаться, сам наварлся — был высокомерен и не потрудился придумать хоть какое-то объяснение. Но извиняться перед ним пришлось, долго, Альгеру, и вытрясать половину дежурного кошелька на возмещение ущерба — тоже ему. Обошлось бы и без этого, не убили же, даже нос не сломали. Но мимо проходила стража, да и за спиной у отсмаркивающего кровь холуя обнаружилась табличка Желтой гильдии, связываться с которой не стоило ни служивым, ни разработчикам.

В итоге Альгер взялся найти мягких и целых самостоятельно.

Улицы становились уже и темнее, стены — грязнее и облупленнее, под ногами снова чавкала грязь, до которой солнце не дотягивалось никогда, Эбербад бурчал про падение нравов, забытый страх и крайнюю степень неуважения, которую народ демонстрирует своим защитникам, Ульфарн слушал, а Альгер брел, все горше сожалея о том, что встретил старого товарища.

А куда деваться. Память молодости есть память молодости, а долг жизни есть долг жизни. Первую надо хранить, не отвлекаясь, второй — отдавать, не жалея. А если жалеешь, никому не говори и не показывай виду.

Впрочем, долго жалеть не пришлось. Сразу за храмом Фрейи обнаружилась большая баня самого заманчивого вида и оснащения.

— Ждите здесь, — велел Альгер и пошел договариваться, но с полдороги вернулся и еще раз велел ждать здесь и не двигаться, пока он не позовет, а то опять...

Эбербад обиженно заворчал, но не стал выяснять, что там «опять» и не его ли в этом «опять» пытаются беспричинно обвинить, Ульфарн же кивнул и показал, что удержит товарища, если надо.

Обоим, к счастью, хватило ума не высовываться, так что Альгер сумел договориться с лысым безбородым типом южного вида и о палате с парилкой, и о девочках. Девочки выходили дороговато, но раз в жизни Альгер мог себе такое позволить, к тому же сам пользоваться их услугами не собирался. У него была Розамунда, которая всяко красивее и приятнее любой продажной девки. Боевых товарищей уважить необходимо, но и все на этом.

Ну и посмотреть с безопасного расстояния забавно, наверное.

Альгер не слишком любил развратные досуги других народов, что южных однобожников, что восточных и северных колдунов, поэтому не бывал ни в термах, ни в савунах, ни в хамамах, предпочитая мыться дома или в речной запруде, пока она не зацвела. Но озирался он с большим интересом, заранее готовясь сдержанно содрогнуться от омерзения и стыда за разврат и грязь, обыкновенно скапливающуюся под стенами храма, как под любой красивой надстройкой, имеющей грешное человеческое основание.

К некоторому удивлению и даже разочарованию Альгера ни галерея, которой они прошли, ни выделенная им палата «постыдного» либо «развратного» впечатления не производили: сыровато, темновато, душновато, звук тревожно дробится и прыгает между стенами, как попиленный на шайбы чурбан, но в целом довольно чисто, камень светлый или белый, и запахи не дерзкие, а приятные и умиротворяющие: уголь, смола, пиво и жареный ячмень.

Жбан с пивом и несколько стаканов стояли на столе. Эбербад немедленно плеснул себе и выпил раз и другой, рыгнул, невнятно, но одобрительно буркнул сквозь пену, облепившую усы и бороду, и принялся раздеваться. От него поперло перекисшим потом и иными немывотостями. Альгер хотел высказаться в пользу предварительного, причем немедленного, помыва, но передумал.

Ульфарн понюхал жбан, пить не стал, кивнул и выжидающе посмотрел на

Альгера. Альгер, потоптавшись, пошел было за лысым, но тот уже вел четырех девок в обычном городском платье.

Куда нам четыре, чуть было не сказал Альгер, но Эбербад его опередил:

— Это все, что ли? Кого из этого выберешь?

Девки равнодушно улыбнулись его груди, начавшей уже обвисать на мощное пузо, и приняли позы, заученные годы тому как. Левая, что погрузнее, так даже, наверное, не годы, а десятилетия. Девка справа, наоборот, оказалась отчаянно молоденькой и плоской, кроме лица, лицо — как у хорька. А вот пара в середине была пригожей, аппетитной и на все вкусы — одна потемней и пониже, вторая порыжей и повыше, обе грудастые, но без свисающих боков. От темненькой Альгер и сам не отказался бы, напомнила она ему одну там, такую, что и углубиться в воспоминания не грех, со всех сторон. Но еще большим грехом было не помнить Розамунду, да еще под стенами храма Фрейи, богини, не видящей разницы между любовью и войной. Поэтому Альгер поправил перевязь — отчего темненькая ухмыльнулась и сделала движение руками и бедрами — и резво сменил предмет размышлений.

Они поэтому, наверное, так и встают, догадался Альгер, чтобы крайних отбрасывали, а брали средних. Крайние, может, и не сдаются вовсе, а создают видимость обильного выбора. Старая уж точно доплачивать должна.

Эбербада как будто возмутила такая же мысль.

— Ты бы еще козу с подворья притащил, нагнал тут... Рабыни, что ли?

— Какие рабыни? — спросил лысый с искренним недоумением, забыв, что должен возмутиться.

Эбербад, невнятно ворча, шагнул к столу и плеснул себе еще пива. Девыцы переглянулись и пошли к двери.

— Ты, рыжая, останься. И короткая тоже, — сказал Ульфарн неожиданно низким, даже певческим каким-то голосом. Из жрецов, что ли, подумал Альгер.

Рыжая остановилась, темненькая тоже.

— Не ты, вот эта, — пояснил Ульфарн, ткнув длинным пальцем в сторону мелкой.

Мелкая посмотрела на лысого, тот дернул глазами и с улыбкой осведомился:

— Еще чего-нибудь любезным господам?

— Еще пиво и бабу, — велел Эбербад, опрастывая жбан в стакан.

— Пиво такого же желаете? Есть конопляное и анисовое.

— Пиво такое же, бабу другую. Мягкую и целую.

— Целых нет, — отрезал лысый, выпрямляясь. — Тут термы, а не жертвенник.

— А это можно легко... — начал Эбербад, развеселившись, и Альгер торопливо перебил:

— Братя, двух вам хватит, а я пас, у меня жена.

Ульфарн засмеялся, разглядывая Альгера, будто привозного зверя. Альгер старательно улыбнулся в ответ, отметив краем глаза, что лысый быстренько увел матерую и темненькую, и даже порадовавшись мельком, что самая пригожая этим не достанется. Оставшиеся девки тихо дышали в углу. Понимали.

Эбербад примиряюще пояснил Ульфарну:

— Брат, в Вельдюре с таким серьезно, у них же контракты... Контракт у тебя, да?

Альгер дернул щекой, некоторое время разглядывал руки Ульфарна, вольно лежавшие на перевязи, и предпочел коротко кивнуть. Эбербад продолжил:

— У них такие контракты, уши режут, если что, у-у. Страшное место этот Вельдюр, да, сестренки? Жаль, что бережливый такой брат Альгер, уши пожалел, а? Ну понимаем, понимаем. Баба-то не тебе, баба мне нужна. Я чего шел? Мне нужна мягкая целая. И где она?

Эбербад выразительно рассмотрел девок, которые немножко ожили, но благоразумно помалкивали, рассмотрел остальную комнату, не обойдя взглядом ни

Альгера, ни Ульфарна, и удрученно развел руками, показывая, что мягкой целой нет. Подумал и добавил:

— То есть я могу и так, да, за братца порадоваться, а, Ульфарн, порадуюсь за тебя? А сам попощусь. Потоскую.

Он ухватил стакан и принялся заливать скорбь пивом, приговаривая после каждого мелкого глотка:

— Не заслужил, значит. Мягкую целую. Чтобы глаза черные, а волосы светлые. Не по рылу моему и не по статьям, значит. Значит, город и народ плохо защищал. Кочмаков и вендов мало резал. Спасал вас плохо.

— Ладно, — сказал Альгер, чтобы не сказать ничего другого. — Найду тебе мягкую светлую.

Он вышел из палаты, постаравшись не хлопнуть дверью, и остановился, покачиваясь и дожидаясь, пока уйдет из глаз черное бешенство. Естественно, никакую мягкую светлую он искать не собирался — да и не умел. За такие слова и манеры по-хорошему следовало не бабой, а ножом награждать, но случай был особым, а долг застарелым.

Оставлю денег лысому и уйду, понял Альгер с облегчением, сделал шаг и чуть не сшиб внезапно шмыгнувшую мимо женщину. Пришлось придержать ее, чтобы не упала и чтобы не сбежала.

Она прошла по Альгеру пронзительно черными глазами, повела удивительно мягким плечом, убирая с лица пшеничную прядь, и сказала негромко, но очень уверенно:

— Ты, мастер, или прижми, или отпусти, чего держать-то без толку?

— Не убежишь? — спросил Альгер, лихорадочно соображая.

— А надо?

— Не надо. Здесь работаешь?

Мягкая светлая улыбнулась:

— Подрабатываю.

Альгер убрал руки, отступил на полшага и рассмотрел собеседницу с растущим восторгом и облегчением. Она ответила оценивающим взглядом. Альгер к таким женским взглядам не привык, ну да что он знал о нравах веселых домов и терм. Девка, наверное, вымывала здесь за гостями или кухарила, ну и в палаты забегала, если звали. А чего не звать — девка не то чтобы видная, невысокая, скулами и плечами широкая, а ногами худоватая, откровенная кочмачка или еще какая степная поросль, и одета на редкий даже для степняков манер, с ремешком или завязкой чуть ли не на каждом суставе, но вполне пригожая, да и страсть к сочетанию мягкого, черного и белого гложет, возможно, не одного гостя.

Альгер задрал ладони в знак чистых намерений и спросил:

— Хорошо заработать хочешь?

— С тобой, что ли? Так иди с хозяином договаривайся.

— Он тебя скрывает пуще драгоценности, — сказал Альгер и сообразил: — А деву изображать умеешь?

— Дяденька, голову лечи, — сказала девка зло и повернулась, чтобы уйти.

Альгер прынул к ней и тут же качнулся обратно, задрал ладони выше.

— Ну дружок у меня, должен я ему, вбил в голову, пьяный очень, — горячо зашептал он, гадая, что за звуки толчками выходят из-за двери, нехарактерные даже для веселых терм.

Девка тоже слышала и пыталась разобраться. А то и разобралась уже, судя по остановившимся глазам.

— Три мерки даю, — торопливо сказал Альгер. Цена была несуразной, он за три сговорился с лысым на все — палата, парилка, две девки и жбан пива, — но куда деваться.

— Покажи, — велела девка против всяких правил и приличий, да не до них уже было. За дверью отчетливо раздался женский вой, пресеченный ударом. Альгер оглянулся на дверь и пробормотал с досадой:

— Да что ж они. Все в порядке будет, обещаю. Пойдем скорей, а?

Он хотел сказать девке, что входить без нее — только раззадоривать всех, тогда пусть уж лысый сам разбирается, а вот новая девка наверняка отвлечет и смягчит Эбербада, а там можно будет уйти от ударов в слова и заболтать неприятность так, чтобы она стала терпимой. Без девки никак.

— Деньги, — напомнила она, не отрывая неприятно черных глаз от бороды Альгера.

Альгер поспешно вытащил кошелек и показал его нутро девке:

— Вот, семь мерок, три хозяину, три тебе, по чести.

— И там все в порядке будет? — осведомилась она с непонятным выражением. — Ты поручился, так?

— Да-да, — торопливо буркнул Альгер, мельком удивившись обширности лексикона дикой кочмацкой девки. — Идем?

Уже толкнув дверь, он спохватился:

— А девственность-то, кровь?..

— О крови не беспокойся, — сказала степнячка, подталкивая Альгера в спину.

Никто не смел трогать Альгера без его согласия, кроме жены и командира, но дать урок нахалке он уже не успевал — да и не до того стало.

Девка советовала не беспокоиться о крови. Она ошиблась.

Альгер понял, что тоже ошибся, но сообразить, сколько раз и когда впервые, уже не успевал.

Эбербад сидел за столом. Голая грудь и борода у него были неровно перепачканы кровью. Не его кровью, а рыженькой девки. Она была плохо видна и еле слышна, потому что стояла на коленях, а Эбербад, ухватив ее за волосы, прижимал лицом то к своему животу, то ниже, не давая ни вскрикнуть, ни задохнуться. При этом он сердито бормотал под нос про то, что не заработал, оказывается, ни на мягкую светлую, ни на пиво, а свободной рукой теребил, потряхивая, пустой жбан.

В углу всхрапнули, и Альгер перевел взгляд туда с ужасом: кряхтение было совсем не женским. Оно и не было женским: кряхтел Ульфарн. Он, даже не раздевшись, возился над распростертой мелкой девкой. Альгер не сразу разобрал, что именно Ульфарн делает с нею, потом ужаснулся, домыслив подробности, потом с облегчением понял, что правдой это быть не может, ведь даже с мертвым человеческим телом такое творить затруднительно, а потом просто привалился спиной к стене, пытаясь не рухнуть, ведь Ульфарн делал с мелкой именно то, что увидел и домыслил Альгер. А она даже не стонала. Видимо, была без сознания. Только безвольно моталась на тонкой шее залитая кровью голова. Кровь была слишком черной и густой.

— Эбербад, я нашел, — услышал Альгер слабый голос далекого незнакомца, задумался о том, откуда здесь взялся незнакомец, поспешно захлопнул рот и прикрыл его ладонью, сообразив, что это никакой не незнакомец, а он сам говорит, обращая внимание рехнувшегося Эбербада на себя и на ни в чем не виноватую кочмацкую девку, и что самое мудрое, что он может сейчас сделать — это схватить несчастную светлую мягкую за шиворот и бежать прочь, мимо лысого, мимо ворот, мимо прохожих и мимо стражи, надеясь на то, что никто не успел его разглядеть, запомнить и что никто не сможет найти.

Но сил бежать не было, ни на что сил не было, только на то, чтобы стоять и смотреть, как Эбербад вздергивает голову, разглядывает вошедших, и его слипшиеся в кровавые сосульки усы расползаются от улыбки, как ножки надувающейся гусеницы.

— Све-етлая, — протянул Эбербад и отшвырнул рыжую от себя.

Она рухнула на пол и потихонечку поползла, не видя куда: один глаз затягивался

огромной опухолью, а нос был явно сломан, с подбородка густо капало. Ползла она куда не надо, к Ульфарну.

Тот, к счастью, не замечал.

А Эбербад медленно восстал и двинулся к двери, радостно причитая сквозь кровавую бороду:

— Вот брат ты братишечка мой милый, вот и нашел, что нужно старику. Сейчас старик отдохнет наконец. Сейчас старик заслужил, так выходит. Сейчас старик получит заслуженное.

— Он меня бить будет? — слишком хладнокровно осведомилась кочмацкая девка.

Она даже не пыталась выскочить в коридор, наоборот, давила дверь лопатками, будто нарочно, чтобы та закрылась потуже. Лицо у девки покраснело, словно от удовольствия, только складка между бровями осталась белой.

Альгер поспешно замотал головой, и Эбербад, улыбнувшись еще шире, повторил это движение так, что с усов сорвалась пара густо черных капель.

— Зачем бить? — удивился он. — Я женщин не бью, миленьких таких, мяконьких таких, светленьких... Вот эту я же не бил, несмотря, что рыжая.

Он попытался, не глядя, ткнуть рыжую ногой, но та уже отползла, так что Эбербад потерял равновесие и чуть не рухнул на пол.

— Сделаешь хоть что-нибудь? — уточнила светлая, зыркнув на Альгера и снова уставившись на Эбербада и немного на Ульфарна.

Тот порывивал все ритмичней и на происходящее рядом внимания не обращал.

— Эбербад, ты рехнулся? — слабо спросил Альгер сквозь ком в горле и груди. — Стража же... Повесят же.

— Меня? — изумился Эбербад. — За девку продажную — меня, воина, честного командира, который кровь за вас проливал?

— Вот так и проливал, значит, — сказала светлая, присев и качнувшись из стороны в сторону.

Коленки у нее, видать, тряслись, сколь бы твердым ни оставался голос.

— Сла-адкая, — промычал Эбербад. — Сейчас-сейчас, покажу, как.

Он внезапно очень трезво посмотрел на Альгера:

— А если что — откупишь. Ты мне жизнь должен, помнишь ведь? Вот и плати, братишка.

Он кинулся на Альгера, и Альгер, не думая, рухнул набок, выдергивая нож, но не смог выдернуть, поскольку на ножны и рухнул.

Удар, шипение, легкие шаги.

Альгер завозился, перекатываясь на спину, и обнаружил, что Эбербад примерно так же неловко барахтается на полу у двери, с недоумением поглядывая на неправильно вывернутую ногу, а светлая идет в глубину комнаты, на ходу поправляя пятку мягкого сапога. Эбербад, значит, кинулся не на Альгера, а на светлую, а она увернулась так ловко, что нападавший влетел в дверь и кулаком, и лицом.

К тому времени, как Альгер понял это и попытался встать, светлая, перешагнув через рыжую, нагнулась к всхрапывавшему все отчаяннее Ульфарну и без размаха ткнула его не костяшками, а мягким низом кулака в загривок и сразу в ухо, повернулась и пошла к Эбербаду.

Ульфарн молча, даже не всхрапнув напоследок, рухнул лбом в пол рядом с головой мелкой девки. И замер.

Эбербад, возможно, понял, что это значит, и попытался собраться, чтобы встретить светлую, а та свела и развела кулачки и легонько, все так же, мягким низом, ткнула одним Эбербада в глаз, а другим под горло.

Эбербад схватился за лицо и за горло и завопил, сквозь пальцы потекло черное, а светлая, подмигнув Альгеру, издала стон, высокий и такой нежный, что Альгер,

потерявшись, выпустил из руки пойманную наконец рукоять ножа, чтобы придавить постыдное и неуместное вздымание плоти.

Эбербад завопил громче и заглянул правым глазом в полные крови ладони. Вместо левого глаза у него было вдавленное синеватое веко, из-под которого будто стекало разбитое яйцо с багровым желтком. Из черной дырки между ключицами толчками бил фонтанчик крови. Светлая простонала еще сильнее и нежнее, отряхнула и сунула в тонкую подошву сапога похожий на спицу клинок, присела перед Альгером, смотревшим на нее с виноватым испугом, ловко выдернула его нож и полоснула по шее.

Альгер поморщился от короткой боли и мерзко затопившего рот и горло душного потока, тронул скользкую шею, ужаснувшись размеру раны, которую трудно будет зашить, да и шрам останется, и жалобно поглядел на светлую.

Зови лекаря, попробовал сказать Альгер, соображая, что правильнее: позволить крови стекать на пол или глотать ее, что плохо для желудка, — но не смог ни сказать, ни понять.

Эбербад за спиной девки закричал отчаянно. Светлая тоже увеличила громкость и торжество стоны, так что во дворе засмеялись и подбадривающе засвистели. Очень недалеко отсюда. Там, оказывается, продолжалась и будет продолжаться нормальная человеческая жизнь. А здесь была только смерть, умеющая счастливо стонать с каменным лицом и по колено в крови.

— Я же говорила, о крови не беспокойся, — странно гнусавым, не идущим ей голосом протянула светлая, ловко нашаривая и выдергивая кошелек Альгера. — Не бойся, у тебя быстро будет. Ты парень неплохой, просто обещание держать не умеешь. Можешь посмотреть, что с плохими бывает.

Она очень горячей рукой подняла и будто подклеила тяжелеющие веки Альгера, встала и подошла к Эбербаду.

Тот какое-то время пытался сопротивляться, а Альгер какое-то время смотрел, что бывает с плохими. Но оба не успели пожалеть о том, что были недостаточно хорошими.

Последнее время наступает и выходит по собственному усмотрению.

2

Небо было, как всегда, огромным и всеобъемлющим, перечеркивавший небо Гусиный путь остро сиял, как солончак в полдень, сияли и созвездия, названия которых она не знала, поэтому придумывала сама: Стадо жеребят, Лепешка, Котел с Бараньей ногой, Брат и Сестра, — и каждая звездочка была, как прокол черной страшной бездны, сквозь который ночью пытается продавиться невероятный жар ночного спрятанного, но куда более лютого, чем дневное, солнца, чтобы упасть на землю и сжечь ее. Если небу, которое днем и ночью любителю на землю и живущих на ней людей, перестанет нравиться вид, оно позволит ночи затянуться. Тогда ночное солнце сквозь проколы звезд доберется до земли — и наступит Ахыр заман, Последнее время. Но пока небо терпит. Раз за разом приходит рассвет, и дневное солнце выталкивает ночное из дозволенного участка мира.

Наверное, так будет и сегодня, сонно подумала она и прикрыла глаза, но тотчас поежилась. К костру шел Тотык, разговаривая с кем-то на незнакомом языке. Язык был странный, с неправильными твердыми звуками, и какой-то неровный, будто говорящий подпрыгивал, отчего тон бродил вверх-вниз, а слова точно обрывались и начинались с середины. Тотык сам не слишком умел обращаться с этим языком, поэтому слова у него звучали то слишком гладко, то потешно, а иногда не выходили совсем, и он с усмешкой переходил на родной. А его родного почти не знал собеседник

Тотыка. Самые простые слова он произносил грубовато и неверно, да и голос у него был сипловатый и сдавленный. Но друг друга они понимали.

Собеседник негромко настаивал на чем-то, а Тотык пытался отболтаться, со смешками и вроде бы вполне добродушно, если не расслышать брошенное вполголоса «Знаю я, что должен, потрох ты рыбий». «Рыбий потрох» у Тотыка было худшим ругательством, хуже оскорблений крови, матери и даже неба и отца.

Ей показалось, что и впрямь пахнуло рыбой, сырой вспоротой, затем сильнее — жареной, а затем отчетливо — просто углями на горячем железе, и она, так и не рассмотрев ничего, кроме двух зыбких силуэтов на фоне огня, поспешно прикрыла глаза, стараясь дышать ровно. «Мальчик, спать», — подумала она почему-то. Щеке стало жарче, над веками загуляли красные и желтые полосы. Сипатый что-то сказал, Тотык возразил, утомленно добавив:

— Сядь праведно.

Она не поняла, что это ей, и Тотык предупредил уже знакомым тоном:

— Накажу. Глаза открой и сядь праведно, на тебя посмотреть хотят.

Она без суеты, но и не мешкая, заворочалась и села на кошме, не поднимая головы. Жаровня с углями приблизилась, почти обожгла левую щеку и заставила выбившиеся из-под платка волосы скрутиться, воняя паленым, прошла кругом мимо лба к правой щеке, опустилась к подбородку. Твердый холодный палец, воняющий не рыбой и не углем, оказывается, а мокрым железом, ткнулся в губы — она вздрогнула, — приподнял верхнюю, оттянул нижнюю, проехал от переносицы к кончику носа и убрался.

Она поспешно отъехала по кошме назад, боясь поднять голову. Сипатый усмехнулся, они с Тотыком опять заспорили, причем Тотык злился все сильнее, повторяя то «Кошчы», то «Кул», и вдруг похлопал ее по плечу, веля встать, и сказал на понятном языке:

— Кула бери, если хочешь, я не возражаю, приказ есть приказ. Девку не отдам. Кто в даваре служить будет, стряпать, котел мыть?

Сиплый как будто поддакнул ему и засмеялся. Тотык зло возразил:

— Да она мелкая еще, под небом-то не греши.

Сипатый, подняв жаровню повыше, снова осмотрел ее и легонько, так же, как по носу, провел пальцем по ремням от горла до живота. Она вздрогнула и вцепилась в штаны на бедрах, отчаянно боясь поднять взгляд. Нельзя встречаться глазами, как будто она согласна или не согласна, или свободный человек, а не Кошчы.

Сипатый что-то задумчиво сказал, Тотык ответил и вполголоса добавил:

— Не бойся, не отдам тебя. Да ты и большая для него, ему соплюха нужна. Пусть Кула берет.

Какого Кула, мучительно подумала она, но не та она, что сидела недалеко от костра, покрываясь потом, ледяным от ужаса и немножко знойным от жаровни, а другая она, наблюдавшая откуда-то сверху и сбоку, ниже неба и выше костра, но сипатый опять длинно заговорил, сбивая с мысли, и Тотык кивнул чуть в сторону, где кто-то спал на такой же кошме, или не спал, а, как и она недавно, делал вид, что спит, обмирая от страха и тоски.

Сипатый цыкнул и сказал — и она вдруг его поняла, не она, вернее, а та другая, что смотрела со стороны, и не поняла, а как будто после долгого перерыва услышала песню на чужом языке, который выучила только сейчас.

Он сказал:

— Обидно, что тебе девка, а мне мальчик. Хоть жизнь ей облегчу слегка.

Холодный твердый палец уперся ей в подбородок, поднимая лицо. Она решила поднять глаза — и в глаза ударило ночное солнце, сломав ей голову светом, болью и невозможностью дышать.

Мальчик закричал.

Она села, судорожно пытаясь вдохнуть, и какое-то время металась невидящим взглядом по негустой тьме, а руки нелепо, как будто сроду не учились ничему, то болтались в воздухе, то накрывали переносицу, в которой клокотали вся кровь и вся боль мира. Тут она вспомнила — мальчик закричал! — откинула простыню и повернулась к мальчику.

Мальчик не кричал, а спокойно дышал, сомкнув длинные ресницы, и луна нежно держала его прозрачным серпиком за обвод щеки, только этим да пятнышком на кончике носа обнаруживая свое присутствие в каморе.

Некоторое время она наглаживала воздух над мальчиком, как учил Золач, внух — не столько для того, чтобы убрать дурные сны, сколько для того, чтобы самой окончательно вынырнуть из дурного сна. Это ведь в ее дурном сне кричал мальчик, и это был не ее мальчик, а другой, но тоже ее, хотя такое невозможно — и вообще, и потому, что свои не забываются. Тем не менее, она честно попыталась вспомнить, но, как всегда, лишь ухватила одной рукой за невыносимо занывший нос, другой — за горло, чтобы сдержать тошноту.

Ей, наверное, надо было чувствовать благодарность к сипатому. Ее ведь и впрямь почти не трогали, а когда пытались тронуть, сразу отставали. Оно и понятно, днем гнусавит и дышит с похрюкиванием, ночью храпит на пол-даvara, а нос кривой и с течью всегда, днем и ночью, зимой и летом. Она и сама к такому привыкла, и когда пять лет назад узнала, что хороший лицеправ может все сладить за полчаса, долго колебалась, не дороговато ли пять мерок за такую быструю, необязательную, да еще и болезненную, говорят, переделку. Насилу себя уговорила и ни разу не пожалела — ни о деньгах, на тот момент составлявших почти все ее скопленные за полтора года запасы, ни о переменах.

Из носа перестало капать, мужчины и даже некоторые женщины, в том числе давно знакомые, почти сразу начали разговаривать, трогать и предлагать всякое, что сперва пугало, потом радовало и занимало, но после надоело — ну и мальчик образовался. Отучаться от гнусавости пришлось довольно долго, нос до сих пор подтекал на сильных чувствах, переносица ныла перед дождем и в миг ярости, а от храпа, если верить отцу мальчика, не получилось избавиться до сих пор. Она и сбежала-то, чтобы не мешать спать хорошему парню. Ну, сама так считать привыкла, во всяком случае, — и кто докажет, что было не так?

И все это время она надеялась, что встретит сипатого. И боялась, что встретит его. Надеялась отомстить — и боялась, что слишком увлечется.

Сипатый наверняка давно сгнил, он, судя по голосу, был в возрасте уже тогда, предмет его занятий редко сопряжен с долгожительством, да и пограница союза со степью за дюжину лет пережила столько палов, засух и показательных охот на разработчиков, рейдеров и работоторговцев, что шансов дотянуть до встречи с нею у сипатого почти не было.

Она хорошо это понимала — но еще лучше понимала, что ищет сипатого в каждом мерзавце и что первым делом сломает мерзавцу нос, а дальше уж куда вдохновение выведет. Тотык говорил, что без вдохновения воин равен мяснику, а мясники быстро тупеют.

Вдали вскрикнули, но не мальчик, а женщина или девица, и не истошно, а будто останавливая кого-то. Не самый обычный для предрассветного часа звук: в это время положено или храпеть, или сонно бормотать, собираясь на службу, или утомленно ругаться вдолгую на излете затянувшейся гулянки.

Впрочем, больше не кричали и не шумели. Бывает и такое. Хозяюшка отогнала перебравшего постояльца, веселая девка обуздала позволившего себе лишнее гостя, а может, девчонка шуганула козу от мусорной кучи.

Она послушала еще немного, почти успокоилась, но на всякий случай с шептанием мазнув рукой над головой мальчика, тихонько встала, поправила лоскуты

баулы, подтянула распушенные на ночь ремни, влезла в войлочные туфли, с удовольствием ощутив пальцами левой ноги твердую холодную помеху, подошла к двери каморы, прислушалась, бережно, не скрипнув и не потревожив прохладного тока воздуха, приоткрыла дверь и выскользнула в коридор.

Коридор был пуст и залит, как воском, черной тишиной. Свет ей и не был нужен. Она уверенно, даже не считая шагов, а будто в такт непридуманной песенке, дошла до двери в тридцать пятую камору, она же пятая строчка песенки, очень осторожно, приподнявшись на цыпочках, ухватила за концы деревянную планку над дверью, потянула и на последнем остатке, когда спина уже стонала и готовилась то ли хрустнуть, то ли лопнуть в серединке, без щелчка вытолкнула эту планку вверх.

Беззвучно выдохнула, отбила несколько поклонов на южный манер, сбрасывая напряг в мышцах и суставах, вынула из левой туфли сперва ступню, затем, балансируя на правой ноге, монеты и, не сумев отказать себе в удовольствии повыпендриваться, пока никто не видит, вытянула левую ногу в сторону, вверх, а потом, медленно и четко разворачиваясь на правом носке, выгнула торс, чтобы он и нога были отрезком прямой, поводила этим отрезком, как стрелкой компаса, туда-сюда по линии горизонта, выпрямилась, на том же плавном движении ловко втокнула монеты в щель над дверью и поставила планку на место. Вернула на место и слегка подмерзшую ступню. Замерла. Прислушалась к себе и к миру.

Все было хорошо. Она была сыта, здорова и в неплохой форме, заработала за день больше, чем за месяц, хоть и куда меньше, чем надеялась, слегка очистила землю под небом и почти выпалась, несмотря на буйный и не то чтобы обыкновенно прошедший день.

Она собиралась всего-то проверить нечаянную наводку. Брунгильда, северная девка, снимала камору в соседнем крыле. На прошлой неделе за поздним завтраком в харчевне она рассказала землячкам, что хозяину терм ко дню стирки или даже ко дню Фрейи привезут на хранение кубышку манихейской теневой общины, и кабы у девки был серьезный друг с надежным отрядом, можно было бы обеспечить всему отряду долгое безбедное существование в любом вольном городе союза. Северянки с хихиканьем пообсуждали это, посетовали на острую нехватку серьезных друзей, а лучше целого отряда друзей, которые пригодятся не только в редких случаях, связанных с возможностью обнести манихейских трактирщиков и притонодержателей, но и почти каждый день, а лучше — ночь.

Северянки разговаривали весело, уверенно и громко, полагая, что наречия руси, сословия, постоянно передвигающегося по рекам и заливам на гребных кнурах, в прилесных городах не понимает никто. Она тоже понимала с некоторым трудом — столько лет прошло, но главное уловила — и в тот же вечер пошла к термам на разведку. И на следующее утро пошла, и пробыла там до вечера. И так каждый день, пока вчера утром не увидела подвоз кубышки: сперва поодаль остановились три повозки с серьезными мужчинами, которые, побродив по окрестностям, рассредоточились по зданию. После во внутренний двор въехала пара укрепленных повозок и вывернула к главному подъезду. Из терм вышел отряд смешливых парней в черно-белых одеждах и с полностью выбритыми головами — у них, кажется, даже ресницы были выщипаны, — явно веселясь, попрощался с бледным от ответственности хозяином, погрузился в повозки и умчался.

Серьезные мужчины разъехались через полчаса, уверившись, очевидно, что кубышка хранится как надо и где надо.

Еще через полчаса она брела по коридорам терм, приглядываясь, принюхиваясь и выискивая признаки прохода к сокровищам, которые обеспечат ее, мальчика, а может, и детей мальчика на пять жизней вперед. Не успела.

Но жалела она не об утраченной навсегда возможности найти и забрать кубышку — в квартал Фрейи, понятно, ей больше не соваться, — а о том, что не успела

услышать голоса долговязого урода, терзавшего малолетку. Вдруг он был сипловатым. Хорошо, если был, жалко, что не услышала, — но спрашивать было некогда.

Об остальном она не жалела — ни о том, что зарезала троих, ни о том, что спасла двух продажных девок, ни, понятно, о том, что обеспечила себе и мальчику полгода если не сытой, то сносной жизни и стала на шаг ближе к выполнению главной мечты о тихой жизни вдвоем.

Шаг — тоже немало. С него все начинается, многое продолжается и кое-что завершается, иногда даже счастливо.

Со стороны каморы долетел звук. Скрип и вздох. Мальчик проснулся, поняла она и быстро, но по-прежнему тихо пошла к двери, которую оставила приоткрытой. У порога беззвучно шепнула «мальчик, спать» и запнулась, сама не успев понять, почему, но мальчик жалобно сказал «мама», и она шагнула за дверь и сразу дернулась к пятке, понимая, что бесполезно: клинки остались в сапогах, страж сбоку двигался быстро и умело, так, что от лезвия возле уха она могла и не уйти, еще один страж в глубине комнаты держал ее на прицеле, и самое скверное — третий, главный, по всему, страж сидел на кровати, и не просто сидел, а держал на коленях сонного мальчика, приобняв его так, чтобы горло было в сгибе локтя.

Страж двинул локтем, чтобы она поняла, и она поняла, холодея, а мальчик, к счастью, не понял: он хмыкнул и повозил шеей с явным возмущением.

— Мама, мы уходим? — пробормотал мальчик.

— Да, — ответила она. — Не при нем, пожалуйста.

— Умная девочка, — сказал страж, не спеша встал и, издевательски баюкая мальчика, отнес его к пожарному выходу, который она считала наглухо заколоченным и заваленным. Он передал мальчика, пробормотавшего что-то непонятное, но, кажется, не испуганное, в приоткрытую теперь дверцу — с той стороны приняли и унесли.

И пошел к ней.

Она тут же присела, прикрывая голову и грудь.

Помогло это не особо. Зато нос не сломали.

Екатерина Полянская

В райских куцах Петербурга

* * *

Вынырнув из привычной дневной суеты,
Вдруг понимаешь: ночь. И тебе — кранты:
Словно бы сердце, переступив черту,
Падает камнем в гулкую пустоту.

Шторы плотны, надёжен дверной засов.
Только откуда он, этот тихий зов —
Чуть различимый в шорохе сквозняка
Голос далёкий: «... ноша Моя легка...»?

Стрелки часов, дрожа, повернули вспять.
Кто меня будит, не позволяет спать?
Кто этот мир вдребезги расколов,
Заново создаёт из осколков слов?

Кто напряжённо вглядывается во тьму,
Верит в меня и ждёт — вопреки всему —
Малую искру, отблеск живой огня?
Это мой Бог ищет в ночи — меня.

* * *

Кто там бродит неустанно,
Фонарём скрипучим режет,
Разбивает эхом гулким
Ночи сумрачный покров —
Вдоль по улице Расстанной,
Вдоль по улице Разъезжей,
Соловьёвским переулком,
Вереницею дворов?

Под шинелькою солдатской —
Холод, рвущийся наружу,
Горечь смятого окурка,
Хриплый кашель, резкий взмах.
Это ветер ленинградский
Подворотней слепо кружит,
В райских кущах Петербурга
Заблудившийся впотьмах.

Губы — серою полоской,
Соль на веках воспалённых,
Хлеб колючий и нетленный
В кулаке сухом зажат.
У него на Пискарьёвском,
Серафимовском бездонном,
Да на Волковом смиренном
Все любимые лежат.

* * *

Так своей и не стала ни там, ни здесь. Избегая клеток, сетей, мереж, Не пыталась прочно нигде осесть, Оправдать не сумела ничьих надежд.	Удивлялась миру, вдыхала мир, Непонятный, изменчивый и — простой. Сквозь реальность, вытертую до дыр, Восхищалась хрупкою красотой.
Что имела — вовсе не берегла, Даже пепел выдуло из горсти. Уходя, мосты за собою жгла И не оборачивалась в пути.	Спотыкалась, падала, не могла Удержать дыхание высоты... Кем была я? Куда и зачем я шла? — Я не знаю, Господи. Знаешь — Ты.

Карповка

Излучина реки. Казармы. Дождь.
На берегу — чернеющие туши
Пузатых катеров. Немая дрожь
Теней и света, отражённых в луже.

Похожий на сырую акварель,
Вздыхает сад, туманный и обманный,
Где не поймёшь — ноябрь или апрель —
Всё слишком поздно или слишком рано,

Где каждый вздох в древесных кольцах сжат,
Непроницаемы глубины сада...
И только блики времени дрожат,
Скользя по чугуну его ограды.

* * *

Памяти Андрея Базилевского

Как разгулялся нынче ветер! Он
Последнюю листву срывает с веток,
Швыряет, крутит, гонит пред собой.
Его порывы ударяют в окна,
И стёкла в них тревожно дребезжат.
И, засмотревшись в глубину проулка,
Где в сумерках единственный фонарь
Качается пятном живого света,
Как будто что-то ищет на лице
Земли моей — безмолвной и бесслёзной,
Я отчего-то вспомнила Белград,
Где шорох опадающих каштанов,
Мерцающие блики по воде,
И еле уловимый запах кофе,
Где бронзовые ящерки скользят
По дремлющим камням Камилигдана,
И горлинки воркуют во дворах.
И вспомнила ещё, что в сербских храмах
В одну свечницу ставят свечи все —
О здравии и об упокоенье:
У Бога мёртвых нет, но живы все...
И даже если б тяжкий груз молчанья
Могла я сбросить, вряд ли бы нашла
Слова вернее: мёртвых нет у Бога,
Но живы все.

Старая фотография

А кто это — в кирзовых сапогах
Остался в кадре на макушке лета,
И, шурясь от полуденного света,
Идёт себе с уздечкою в руках?

А это я — тесёмочка на лбу,
Да «фенички», да драная тельняшка,
На поясе брезентовая фляжка —
Шагаю за лошадкою в табун.

И в голове прелестной чепухи
Так много, и ещё не вышли сроки.
Не сделанные вовремя уроки
Да сигареты — все мои грехи.

И все пути ещё ведут домой,
Размашист бег степного иноходца.
И я смеюсь. И целый мир — смеётся
И щурится на солнце... Боже мой!

Игорь Булкаты

Зилахар

Отрывок из романа

I

Алеш Бегаты снял роговые очки, подышал на толстые линзы, протер их краем фланелевой рубахи и снова надел. Было прохладно, хотя печку топили постоянно. Работа не ладилась, но он привык преодолевать сопротивление вроде мерзнущих пальцев и частых позывов к мочеиспусканию, а лень оправдывалась даже плохо очиненными карандашами. Он взял с письменного стола стопку исписанной неровным почерком бумаги и пересчитал страницы. Их было пять, но могло быть и больше. В ожидании вдохновения Алеш Бегаты принимался переписывать первую попавшуюся страницу по нескольку раз, шлифуя текст, хотя вряд ли в этом была необходимость. Он покосился на зачехленный телескоп, но подумал, что звезды только мешают работе, что воодушевление, которое испытываешь, плясь в радужный окуляр, или с помощью допотопного квадранта вычисляешь апогей с перигеем, на самом деле путает мысли, подменяя творчество чувством удовлетворения счетовода во время перекура в туалете, когда спокойная гармония чисел холодит лопатки и поясницу, как проем распахнутого настежь окна. Позволять себе свободу выбора между Цефеем и Лирой, заглядывая в глубь вселенной со значительным видом, будто пытаешься выудить некую тайну, от которой у человечества волосы встанут дыбом, вредно для пищеварения. К тому же лучшие писатели в конце концов всё одно спускались на землю, прихватив с собой ласкающие слух диковинные названия звезд да золотую пыльцу вечности. Он усмехнулся «золотой пыльце», но все-таки оставил ее в личном каталоге светил, как после пьянки, когда вкус слова под воздействием сивушных масел становится рыхлым и приторным, как сырой рафинад, и ты полностью отказываешься от умозаключений, делая упор только на фактуре, однако позже жалеешь об утраченных впечатлениях.

Классические романы эпохи регентства начинаются с вполне конкретного описания природы, подготавливая читателя к грандиозным событиям. Между тем, исследования химического состава Цирцеи, имеющей в диаметре сто двенадцать километров, не ставят в зависимость ее активность от мифологических качеств, однако страх превратиться в свинью от слишком пристального внимания к ней заставляет одергивать фантазию, понимая, что по сути проникновение в тайну —

Булкаты Игорь Михайлович родился в 1960 году в Тбилиси. Прозаик, поэт, переводчик. Публиковался в журналах «Новый мир», «Дружба народов» и др. Живет в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 5.

большое свинство. В этом смысле природа Кавказа — прекрасное место для катаклизмов. Даже если забыть о прикованном Прометее, вопреки стереотипу добра жертвующем людям не сердце, а печень. Допустимость чудовищного темпа регенерации подмывает жертвенность известного персонажа. Впрочем, если планеты и астероиды со временем все больше и больше становятся похожими на мифологических прототипов, независимость их характеров остается неизменной, что, кстати, и является единственной константой при описании вселенной. Влияют ли они на писательский талант? Вряд ли. Хотя оный талант, по идее, должен бежать рядом с историей, как пристяжная, равно принимая на себя удары на стыке эпох, мощная инерция коих подчиняет себе мысль и волю, и писатель, повествуя о трогательных человеческих отношениях, сваливается в сентенции о бренности мира.

Забавно описывать природу, держа в голове сжатую, как пружина, мысль о том, что альпийские луга в окрестностях обсерватории и уютная деревня ниже по склону под названием Хвелиандро с ветряной мельницей, полуразвалившимся храмом и колокольней, и площадь, вымощенная голышами, похожими на бритые головы, а на площади здание управы с мраморным бюстом Ленина при входе, рядом почта, винная лавка и клуб, и торчащая из стены железная труба, из которой постоянно хлещет вода, и длинный каменный резервуар для скота, благополучно используемый детворой в качестве купальни, но — что удивительно! — приходящий с пастбищ на водопой скот никогда не гадит на площади, и поле Зилахар с уклоном в сторону старого кладбища, на котором, если верить местным, ночами гоняют мяч вставшие из могил покойники, а по воскресеньям проходят ритуальные игрища с мордобоем и кровью, и река Саукаба в низине, неистовая, как все горные реки, — все это может быть местом для поворотных событий. Во всяком случае, попадая сюда, человек меняется на глазах, с него слетают спесь и злоба, и даже воскресный мордобой заканчивается вполне себе дружеским обменом рукопожатиями. Но не это заботило писателя: в странной закономерности, словно бы из последних сил удерживающей мир в пределах взора с террасы обсерватории, сквозило некое отчаяние. Именно это чувство, а вовсе не страх за сына, заставляло его рыться в собственной душе, выискивая ошибки, ответственность за которые, как думал Алеш Бегаты, влияет в конечном итоге на судьбу мира, — и двигало писательским ремеслом, словно поршнем по тубусу телескопа, не давая никакого удовлетворения. Алеш Бегаты прекрасно понимал, что отчаяние сродни невысказанности, что оно востребовано человеческой косностью, а стало быть его можно эксплуатировать в хвост и в гриву, и это тоже раздражало. Впрочем, Хвелиандро — совсем другое дело. Может быть, это село последней надежды? Алеш Бегаты взял из стопки в коричневом несгораемом шкафу новый лист бумаги, на котором фиксировались данные астрономических измерений, и на обратной стороне стал писать карандашом.

За молоком и овечьим сыром в деревню ходили по очереди. Сын иногда придумывал себе дело в обсерватории, например, чистку окуляров телескопа с помощью саж и самодельной кисти из ушных волос буйвола, а также салфеток и разведенного ацетоном и крепким хлебным самогоном снадобья. Он знал, что оптику достаточно протирать раз в неделю, что в обсерватории нет пыли как таковой, и если на линзах и образовывался легкий налет, то только от ресниц. Но сыну не мешал. И не потому, что тот маскировал плохое самочувствие занятостью, а потому что боялся нарушить размеренность или, как говорил Кортасар, неизменный круговорот. Противостояние иной реальности происходило по методу отрицания системной дивергенции, когда функции времени опускаются за ненадобностью, и любое новшество, которое вне стен обсерватории повергло бы в панический ужас, воспринимается как давно отложенная на полку памяти ипостась. В сущности, разница небольшая между давно забытой истиной и истиной, вводящей мозг в ступор. Все дело в рефлексии. Разумеется, мысли о смерти сына пугали ровно настолько, насколько Алеш Бегаты

был готов к встрече с ней. Ведь не так страшна потеря близкого человека, как ожидаемое изменение размеренности и порядка, сутью коей является в том числе и родительская привязанность. Но здесь, среди звезд и планет, чья близость так или иначе меняет отношение к жизни, страдание замедлялось до возможности ее технологического осмысления или, вернее, до уровня, когда движения души позволяли разглядеть в смерти гораздо больше прекрасного, нежели в иных условиях. Он подумал, что именно свежий воздух и звезды могут благотворно повлиять на состояние здоровья сына, прилагающего немалые усилия для сокрытия подавленности и уныния. Иные превращаются в циников, что, в общем-то, является первым признаком контракта со смертью. Они словно бы освобождаются от всего брэнного, от размеренности и порядка, мыслят четко и ясно, а речь становится предельно лаконичной. Если иметь в виду обозначенный в контракте срок, а также потерю всякого интереса к обычным ценностям, то остаток дней следует проводить среди звезд и планет. Впрочем, Алешу Бегаты всегда казалось, что у подростков это происходит иначе. У них вообще другое отношение к смерти, к земным благам. Однако выяснилось, что цинизм и острота ума у смертельно больного подростка не зависят от опыта, учитывая изматывающую раздражительность супротив природной выносливости, проявляющейся в пружинящей походке, естественной в горах, но отвлекающей внимание от болезни.

Скрипнула обитая черным дерматином дверь, и в помещение прошмыгнул мальчик в бейсболке. Он старательно отводил взгляд, чтобы скрыть круги под глазами. Иногда ему приходилось разговаривать с отцом, стоя к тому спиной.

— Ты позавтракал? — спросил Алеш Бегаты.

— Да, позавтракал, — ответил мальчик.

— И молоко попил?

— Попил.

— А что тебе приготовила на завтрак несравненная Мзия?

— Яичницу с колбасой.

— Вкусно, должно быть.

— Как обычно.

— Что с тобой, Аца? Ты опять не спал всю ночь?

Мальчик подумал немного и сказал:

— Мы разговаривали с Иналом.

— Ну и что тебе наплел этот сумасшедший?

— Он не сумасшедший, папа, — голос серьезный, немного грустный. — Сказал, что перед дождем к нему обычно приходит Хамыц.

— Перед каким дождем? Здесь редко бывают дожди.

— Но бывают же. Я люблю дождь. И раньше любил... когда еще не болел.

Алеш Бегаты помолчал, потом осторожно заметил:

— Ты же знаешь, его отца расстреляли грузины.

— Он имел в виду не отца.

— Кого же?

— Нарта Хамыца.

— Не кажется ли тебе сомнительным появление Нарта Хамыца здесь, в обсерватории? — спросил Алеш Бегаты.

— Нет, не кажется, — ответил мальчик. — Инал утверждает, что у Хамыца есть средство от лейкоза.

— Он наркоман, еще не такое наговорит! — усмехнулся Алеш Бегаты. — Потом у тебя должно быть собственное критическое мнение.

— После того, как у меня диагностировали рак крови, его нет.

За утлым деревянным мостом через реку Саукаба, над обрывом, виднелись густые заросли ежевики, и свесившаяся над рекой, словно испугавшаяся в последнее мгновение зачерпнуть наждачными листьями студеной воды старая смоковница, и дальше черешневый сад и виноградники, а за ними каменные дома и пристройки. Запах голубой глины и ила смешивались с ароматом ячменного сусла и можжевелевого дыма. Попасть в Хвелиандро было непросто. Мостом пользовались редко, предпочитая брод, а по весне, в половодье, запрягали быков и отдавались их чутью. За рекой начиналась совершенно другая жизнь. Сверху она казалась исполненной глубокого смысла. Родовые или клановые связи, культивируемые в мужчинах с детства, держали посторонних на расстоянии плети, подминали под себя мир. Такие слова как «жалость», «сострадание», «сочувствие» были изъяты из лексикона. Адат, размеренность и покой, как морская цианя, немедленно вбирали в себя малейшее проявление слабости, а для печали вымощенная бритыми головами проселочная дорога, упирающаяся, как меч, в грудь реки Саукабы, не годилась. Вдаваться в подробности этой особенности Хвелиандро — все равно что разбираться в сути добра или справедливости, скрывающих в себе, как известно, множество недоброго и несправедливого. Можно, конечно, сослаться на статичность понятий, на некую цикличность и завершенность, являющиеся частью безудержной фантазии, но разрывающие восприятие, как двужильный телефонный провод при входе в коммутатор, когда нет никакого смысла в сострадании. Все эти слова были вытеснены из обихода, изгнаны, как изгоняют блудниц, побивая камнями. Однако, говоря об исключительности Хвелиандро, можно было бы привести еще одно сравнение — с оплакиванием, когда уже нет плакальщиц, а плач все еще длится ларго, выворачивая боль наизнанку. Алеш Бегаты как-то в разговоре с Большим Батом озвучил это сравнение, выразив сомнение относительно строгости уклада жизни в деревне, ведь мир меняется, а Хвелиандро застряло где-то в средневековье, но тот оборвал его на полуслове, заявив, что людей не спасет ничто, кроме адата. У Алеша Бегаты были аргументы для опровержения данного заявления, но он промолчал, потому что разумные доводы, как правило, убивают надежду.

Его удивила некая расхлябанная наивность Большого Бата, прагматика до мозга костей, руководившего ополчением, первым выдвинувшего идею создания резервации для непокорных на территории Хвелиандро. Он носил камуфляжную униформу с полковничьими погонами, на макушке обозначилась проплешина, которую он безуспешно скрывал, начесывая волосы, у него был пивной живот и большие косолапые ступни, обутые в американские краги. Вопреки внушительным формам, Большой Бат имел тонкий голос, срывающийся на визг, если кто-то не выполнял его приказаний. Собственно, сама деревня появилась как резервация. Некоторое время назад туда стали свозить убийц, насильников и воров. Высокогорье и климат не способствовали созданию поселения. Между тем оно появилось. Сначала ссыльные жили в палатках на поле Зилахар под присмотром ополченцев, выполнявших функции охранников. Условий сосуществования, несмотря на социальные, национальные и профессиональные особенности, было несколько: все должны говорить на одном языке, а если кто не знает этого языка, обязан выучить, беспрекословно подчиняться старшему, не воровать и не притеснять слабых. Замеченных в нарушении правил лишали пайка. Злостных нарушителей возвращали в обычные пенитенциарные учреждения. Позже, когда была организована Управа, построены теплые жилища, налажен быт, а Большой Бат разрешил приехать к поселенцам их женам с детьми, прибавилось еще одно правило — не прелюбодействовать. Хотя вряд ли у кого-то оставались силы на любовные утехы. Жителей резервации называли Надрезанными Ушами, потому что во время обряда посвящения в граждан мужчинам старше семнадцати лет надрезали мочки ушей. В резервации все работали дружно — выращивали ячмень и рожь, разводили крупный рогатый скот, варили пиво и строили дома. Каждое

воскресенье на поле Зилахар устраивались кулачные бои с участием как Надрезанных Ушей, так и ополченцев. Социальный статус не афишировался, однако Надрезанные Уши все-таки держали в уме свое положение, поэтому бились с ополченцами до первой крови. Зато с каким остервенением они набрасывались на своих собратьев. Голые по пояс поселенцы осыпали друг друга такими ударами, что лица их в конце концов превращались в сплошное кровавое месиво. Впрочем, зрители строго следили, чтобы стычки не заходили слишком далеко, и как только бойцы выпускали пар, давали команду об окончании боя, и все пожимали друг другу руки.

Через некоторое время стали подтягиваться люди разных возрастов и сословий с семьями и проситься в деревню. Большой Бат коротко разъяснял мужчинам условия проживания в резервации, после чего приказывал провести обряд посвящения.

Деревня разрасталась, дома возводились компактно, дороги аккуратно мостились. Подросло первое поколение родившихся в Хвелиандро детей, замкнутых и немногословных. Они ходили в школу, расположенную недалеко от больницы. Это было двухэтажное здание с крыльцом, огороженное желтым частоколом, во дворе — турники и самодельные штанги с гантелями. Ученики носили школьную форму, девочки заплетали косички, а мальчики стриглись под бокс. Во время перемен они бегали по двору, шумели и резвились, но не слишком активно, как будто боялись разбудить лавину.

Большой Бат привлек Инала к работе преподавателем начальных классов, надеясь, что близость детей заставит того отказаться от пагубной привычки. Пригодилось университетское образование, и все бы ничего, если бы однажды его не застукали в школьной уборной со шприцем в руках и жгутом в зубах. Скандал замаяли, и он продолжил работать в школе — все равно его нечем было заменить. Подобно герою булгаковского рассказа, Инал пристрастился к наркотикам после жесточайших приступов панкреатита, когда боль в течение нескольких дней удавалось снять только морфином. Периодически он ложился в районную больницу, где детоксикантами врачи на некоторое время блокировали наркозависимость. Инал держался из последних сил, целыми днями пропадал в школе, общаясь с детьми, но в конце концов все-таки срывался. Он был худой и жилистый, с копной черных волос и огромными печальными глазами.

Дети привязались к Иналу Хамыцевичу, признав его за своего, потому что, кроме увлекательного преподавания азбуки, арифметики и мифологии, он самолично надрезал себе мочку уха, продемонстрировав общность с Надрезанными Ушами, и ученики оценили это. Правда, Большой Бат выказал недовольство, заявив, что следует дистанцироваться от жителей Хвелиандро, что поведение его дискредитирует саму идею создания резервации и что если Надрезанные Уши не чувствуют превосходства руководителей, то вся работа коту под хвост. Инал возразил, что педагогика подразумевает чувство свободы и способность самостоятельно мыслить. Большой Бат кашлянул в кулак и завел глаза под лоб. В голосе его звучали назидательные нотки: «Наркоман несчастный, чья б корова мычала... Резервация — это материал для новой жизни, нового сознания, а дети — будущие граждане общества». Инал кивнул понимающе: «Спокойно, брат, главное, чтобы они были счастливы».

За ужином в спор был вовлечен Алеш Бегаты. Прислуживала грузинка Мзия, чуть прихрамывающая дородная женщина, обвязанная шалью. Она жутко боялась сквозняков, поэтому требовала наглухо закрывать двери и окна. Раз в неделю Мзия брила усы и смазывала кожу каким-то снадобьем, отчего кожа ее лоснилась, и женщина становилась похожа на надзирательницу. Однако пропорционально росту усов выражение глаз Мзии становилось мягче. В воскресенье вечером, накануне тайного туалета, она являла собой верх доброты и миролюбия, и даже черная поросль над верхней губой не портила впечатления, а фирменные пироги ее со свекольной ботвой получались особенно вкусными. Однажды Мзия поймала в коридоре только

что вышедшего из уборной Алеша Бегаты и с придыханием стала умолять его дать подержаться за причинное место. Тот остановился и серьезно проронил:

— Комета Левджоя диаметром пятьсот метров может вторгнуться в солнечную систему в августе нынешнего года, я видел ее в телескоп.

Женщина вздрогнула, глянула на него с прищуром и пригладила большим и указательным пальцами усы.

Муж ее по имени Бакар до войны был художником, после призыва его направили в США на трехмесячные снайперские курсы, а по возвращении влился в ряды элитных частей грузинской армии. Получил новенькую винтовку М62, камуфляжную униформу, паек и расположился на одной из высот в районе села Прис, где и был пленен ополченцами, а впоследствии вместе с женой и сыном включен в список резервации. Бакар год разрисовывал фасады зданий Хвелиандро, но внезапно заболел трясучкой, и его сделали конюхом. Он даже принес в жертву Уастырджи ягненка, вымаливая прежнее здоровье, но без толку. Переживал жутко, иногда приходил в обсерваторию помочь по хозяйству, был молчалив и медлителен в работе, хотя поручения выполнял исправно.

Мзия подала мясо под чесночным соусом, овечий сыр и виноградную водку. Для Ацы она сварила суп из белой фасоли и приготовила напиток из шиповника. Ужин проходил за круглым столом, покрытым коричневой клеенкой, возле малого телескопа. В споре Алеш Бегаты занял сторону Инала, сделав акцент на свободе выбора, даже если этот выбор сулит тиранию. Нельзя человека лишать права выбора, нельзя его насильно делать счастливым. Большой Бат выпил водки, закусил зеленью и сыром и заулыбался, показывая ровные крепкие зубы. Он сказал, что его тошнит от этих митинговых речей, от их либерализма, от которого тащит дешевым одеколоном. С Иналом все понятно, он не изменился с тех пор, как после созерцания через бинокль ущелья реки Саукаба его рвало на балконе, огороженном сетчатыми перилами, под дверью бабки Малат, и Большому Бату перепало от старухи, которая воспитала их, но Алеш-то, Алеш, разве он не понимает, что только контроль за выполнением правил способен внести порядок в этот мир. Правила, конечно же, придумал Большой Бат, — хмыкнул Алеш Бегаты, — и осуществлять контроль выпало тоже ему. Да, — согласился Большой Бат, — кто-то же должен этим заниматься. Алеш Бегаты поправил очки на переносице и закурил — кто ему дал право вершить судьбы, он что, Господь Бог? Нет! — вмешался Инал. — Он не Господь Бог, он — диктатор! Еще одно слово, и этот долбанный наркоман вылетит из обсерватории, как пробка! — вспыхнул Большой Бат, хлопнул еще водки, оторвал руками кусок мяса, отправил его в рот и стал судорожно жевать. Над столом нависла тишина, только и был слышен скрип зубов жующего. Подскочила Мзия и вопросительно оглядела сотрапезников — не угодно ли чего. Однако все молчали. Попереминалась с ноги на ногу и вернулась к своим делам. Алеш Бегаты налил себе шиповникового напитка и, наблюдая, как трясет Инала, не спеша выпил. Никто не умаляет заслуг Большого Бата, — сказал он, поставил граненый стакан, но пальцев, сжимающих его, не разжал, — никто. Все прекрасно помнят, как под его руководством поселенцы строили обсерваторию, как полировали войлоком линзы телескопов. Но это не дает ему права вести себя, как пахан. Инал отодвинул тарелку и встал. Он может сам постоять за себя, ни в чьей помощи не нуждается. Большой Бат засмеялся, шевеля языком за щекой. Он-то? Этот наркоман? Неужто Инал забыл, что если бы не Большой Бат, его бы давно выгнали с работы? А обсерватория строилась для младшего, умеющего вычислять время прохождения планет через небесный меридиан. Нет, конечно, никто ничего не забыл, спасибо Большому Бату за такую милость. Инал вышел из помещения.

II

Он вкатил себе в пах полбаяна герыча, сжал ноги и откинулся на комковатую подушку. Затем снял иглку со шприца, примотал ее грязным куском марли к пластиковому корпусу и затолкал в распоротый матрас. Утро было тихим и теплым, в открытое окно дул ветер, и занавеска колыбалась, как парус.

Отделение называлось наркологическим, но пациенты встречались разные. В палате вместе с Иналом лежал сорокапятилетний Реуаз, не совладавший с мыслью о том, что проститутки могут стоять не только вдоль трассы, но и на собственной кухне. Причем на качестве приготовленной ею пищи это почему-то не сказывалось. Однажды в голове у него что-то щелкнуло, какой-то желобок не выдержал давления и сдвинулся с места, после чего Реуаз с периодичностью раз в три дня порывался либо зарезать жену, либо повеситься. В дурдом еврейского квартала его забрали после очередной попытки суицида. Он пытался повеситься на бельевой веревке, срезал ее во дворе дома, причем сушившееся белье аккуратно сложил на скамейке, привязал конец к ветке орешника, сунул голову в петлю, словно примеривал единственный парадный галстук, и со сладостным чувством выигранной у опостылевшего мира дуэли подогнул ноги. Смерть не приходила, брошенная в морду Хвелиандро тавотная перчатка валялась в излучине реки Саукаба, и ветер шелестел в кронах деревьев. Реуаз посмотрел на покачивающуюся ветку и выругался. Даже умереть в этом лживом мире не удастся по-человечески. И тогда он заплакал, чувствуя, что слабеющее сознание есть единственно возможная ясность мысли, внезапная и обжигающая, как ледяная купель, но задолго до попытки суицида сроднившаяся с дыханием смерти, а посему печальная в своей бесполезности. Он засучил ногами, что жертвенная овца, и взмолился о том, чтобы раствориться в ослепительном свете, но тут появилась «благоверная», которая была озадачена исчезновением свежeweыстиранного белья и, увидев картину, заголосила на всю округу.

Психиатр — невысокий мужичок средних лет с залысинами и толстыми линзами очков, сквозь которые виднелись выпуклые белки глаз с красными капиллярами, похлопал Реуаза по плечу и сказал:

— Не стоит отчаиваться, друг мой! Все они одинаковые! — и обернувшись к медсестре, бросил ей через плечо. — Вколите ему галоперидол.

На этом гостеприимство лечебницы было исчерпано. Несколько раз Реуаза посещала супруга — дородная женщина без талии и с плоским, как чемодан, задом. Взглянув на нее, Инал поразился богатству мужской фантазии, а также самоотверженности, ибо только оные качества могли побороть отвращение к женскому полу. Супруга приносила ему помидоры, огурцы и пироги с мясом, садилась в изножье и, смахивая слезы толстыми пальцами, качала бульдожьей головой. Беседа не клеилась. Стоило только женщине поинтересоваться самочувствием Реуаза, как тот принимался скулить. Поэтому они предпочитали сидеть молча. Иногда в ее присутствии случался рецидив, и тогда больного привязывали к кровати, вытягивали язык изо рта и протыкали булавкой, чтоб не проглотил. Реуазу оставалось только мычать да шевелить пальцами ног с давно не стриженными ногтями.

Палата никогда не закрывалась, дверь с крашенным белой эмалью стеклом была закреплена в распахнутом положении. В коридоре напротив палаты, расставив ноги под столом, сидела молодящаяся медсестра. Лицо ее было бы вполне миловидным, если бы не смазывающий впечатление второй подбородок. Медсестру звали Марго, ласкательно — Маргуша или Маргунчик, в зависимости от времени суток. Она страдала чем-то вроде астмы, во всяком случае, дыхание у нее было вовсе не как у тургеневских барышень. Заступив на дежурство, Марго привычно пробегала процедурный лист, заглядывала в журнал, где в графе о динамике течения болезни

улучшение или ухудшение состояния пациентов отмечалось знаками «+» или «?», а то и «++» или «???», убирала бумаги и принималась наводить марафет, косясь на Инала. Чулки она носила ажурные, бежевого или светло-коричневого цвета, что, впрочем, подчеркивало белизну ее толстых ляжек над кружевной резинкой. Подложив руку под голову, Инал с любопытством разглядывал промежность ее ног, и ухмылка на губах от прихода герыча усугублялась трогательной комичностью ситуации.

— Так! — на весь коридор произнесла Марго, завершив марафет. — Тяжелым больным рекомендуется стянуть портки и подготовить задницы для укола. Остальным подойти к моему столу и в порядке очереди получить назначенные лекарства.

В палатах заскрипели кровати, послышался приглушенный антидепрессантами говорок. Инал встал, запахнул казенный халат и, пошатываясь, двинулся к сестринскому столу.

— Великолепная Агунда! — медленно и негромко проговорил он, обращаясь к медсестре, и пузырящаяся слюна предательски повисла на губе. — Мы встречались нынче утром во дворце у Уастырджи, не правда ли?

Марго подняла голову, и что-то похожее на сострадание сместило рисованную бровь ближе к переносице. Однако она подыграла Иналу.

— Было жарко, — ответила она. — Ты опять улизнул ночью.

— Но я же не виноват в том, что они зовут меня каждый раз.

— Прекрати пользоваться старым шприцем, — сказала Марго.

— Разве это так важно, великолепная Агунда? Мир рушится нам на голову, а мы печемся об использованных шприцах.

— Глупый! — заморгала приклеенными ресницами Марго. — Ты же внесешь инфекцию!

— Плевать на инфекцию! — осклабился Инал, и конечности его зашевелились, как на шарнирах. — Я сам инфекция в кишках у Осетии!

Больные обступили его и укоризненно закачали головами.

— Ай-яй-яй! — сказали. — Как не стыдно! — сказали. — Ты же совсем молодой человек, почему губишь себя?

Инал неторопливо обвел их взглядом и громко выпустил газы.

— Сисаѣй маѣ йаѣ заххытыл ф?хой! — процедил сквозь зубы гладко выбритый неврастеник в дорогом спортивном костюме. — Взять бы его да шмякнуть об землю! Ты кем себя возомнил, наркоша? Из-за таких, как ты, страдает Родина!

— Вот-вот! — поддержал его известный параноик по имени Челе, тщедушный кряхтун и завсегдатай лечебницы, с пеной у рта доказывающий всем, что Грузии не существует, что грузины — переодетые армяне, а война — выдумка кударских бандитов, которым перекрыли каналы поставки турецкого спирта.

— Ты почему не в ополчении? — спросил неврастеник, поглаживая пузо холеными пальцами. — Там ребята жизнью рискуют, а ты отлеживаешься тут...

Инал попробовал прикинуть, сколько секунд будет длиться приход и хватит ли времени ответить на оскорбление. Увы, героин действовал слишком быстро, порой он опережал даже природное остроумие, и с этим приходилось мириться. Он прислонился к стене, закрыл глаза и приготовился к безразличию.

— Вы что, не видите, что он болен? — вступилась за Инала Марго. — Поглядите, еле на ногах стоит!

— Да он из Надрезанных Ушей, ширнулся только что, кайф ловит! — сказал неврастеник.

— Если вы не прекратите свои нападки, я позову врача! — пригрозила Марго и для убедительности встала, выпятив грудь.

— Ну что ты, Маргуша! — включил заднюю неврастеник. — Мне просто обидно, что у нас под ногами путаются такие лоботрясы!

— У кого это, у вас? — прозвучал вопрос, и все обернулись на голос.

В проеме двери стоял Реуаз с гигантской булавкой в руке. По подбородку его текла кровь и капала на зеленый линолеум.

— Батрадз! — еле заметно улыбнулся Инал. — Наконец-то ты пришел!

— Какой такой Батрадз? — запищал Челе, надрывая гортань, и жилы вздулись у него на шее.

— Батрадз! — повторил Инал. — Ты пришел, брат!

Внезапно Челе подскочил к нему, вцепился худыми пальцами в отворот халата и затряс.

— Нет никакого Батрадза, разве ты не видишь, нет никакого Батрадза!

Инал не открывал глаз, и с лица его не сходила блаженная улыбка.

— Я бы его пристрелил к чертовой матери! — сказал неврастеник.

— Выгнать его из лечебницы! — закричал кто-то из больных.

Реуаз медленно подошел к сестринскому посту, положил на стол окровавленную булавку и произнес, шепелявя:

— Если кто-нибудь тронет Инала, будет иметь дело со мной!

— Лучше присмотри за своей потаскухой, пока ее не перетрахала вся Осетия! — бросил ему в спину неврастеник.

Марго поняла, что дело пахнет мордобоем, и нажала тревожную кнопку.

Однако пока подросли санитары с черными дубинками, Реуаз дернул неврастеника за рукав спортивного костюма и оторвал его. Больные накинудись на него, повалили на пол и стали избивать. Инал нашел в себе силы приблизиться к ним, произнести: «Я с тобой, брат!», — как получил удар по хребту дубиной и потерял сознание.

III

Рассматривать поведение человека вне контекста истории, в соответствии с рефлексией на его победы и поражения, которые спустя некоторое время меняются рубашками, а затем, подобно шпорцевым лягушкам, сжирают линьку, — вредно для писателя. В конце концов у него вырабатывается условный рефлекс на потрясения как на лакомство, и поспешающая душа (Бродский) тащит за волосы к письменному столу. Алеш Бегаты научился противостоять чувству сострадания, которое в большинстве случаев, как у неопытных сук, заканчивалось ложной беременностью да шумным выпуском газов. С тех пор как он ощутил терапевтический эффект писательства, большую часть написанного приходилось сжигать, даже не дожидаясь, пока в нем заговорит совесть. Ненужные никому экзерсисы, если не считать того, что Алеш Бегаты принаровился оттенять карандашом фразы, которые считал важными и которые могли стереться не только из памяти, но и с бумаги. Он придавал объемность словам, будто на них был направлен свет от зависшей за спиной яркой планеты, и тени от морфем, являясь продолжением его самого, уходили в бесконечность. Люди и события обретали значимость ровно в той мере, в какой они снабжались конкретными деталями эпохи.

Он знал, что связывать прошедшие события с современностью, как делают то философы, бесполезно, если определенная часть предметов или явлений лишена сакрального смысла, если они, эти предметы и явления, не заставляют содрогаться, и человек исподволь не вносит их в область мифологии. Когда размышления об истории, о судьбе твоего народа и о роли личности приводят к убеждению, что без насильственного насаждения добра и справедливости мир теряет смысл, значит пространство вокруг тебя разрежено, как в высокогорье. К дефициту кислорода человек в конце концов привыкает, а к дефициту сути, раскрывающей человека с лучшей стороны, не может. Причем упомянутая суть не обязательно божественна.

Большой Бат пошел давно проторенным путем — объявил мораль вне закона, а человеческую жизнь высшей ценностью, освободив жителей Хвелиандро от ответственности за судьбу мира. Постоянный труд и сытая жизнь обеспечивали порядок в деревне. Ритуальные жертвоприношения свершались исправно, говорили на одном языке, который со временем стал скудным, как сленг, и служил лишь для обмена самой необходимой информацией. Даже молитвы стали сухими, как дикое сорго, в них не чувствовалось страданий или радости. Впрочем, возможно, в этом и заключается смысл молитвы — четко, ясно, по-деловому требовать от Господа того, что отнято у тебя безвозвратно. Не факт, что разбавленные соплями слова быстрее дойдут до ушей адресата и Тот, смяв вселенную, словно кушак, и швырнув его под кровать, бросится немедленно выполнять твои требования. Несмотря на запрет, иноземцы тайно общались на своем языке, давали волю чувствам и с удивлением обнаруживали, что становится легче. Они писали длинные письма давно забытым родственникам и знакомым, хвастаясь работой до изнеможения и сытой жизнью, спокойствием за детей и полным отсутствием криминала в резервации, не скупились на эпитеты, отчего послания становились слезливыми и тошнотворными, но это тоже способствовало облегчению. Потому что выражать тоску всегда проще на родном языке. На почте у Большого Бата сидели доверенными люди, которые безошибочно выбирали такие письма и сжигали их. Все делалось из необходимости, висевшей над резервацией, словно грозовая туча, вносившей в жизнь целесообразность.

Женщины превратились в уродливых самок, страдающих от недостатка внимания мужчин, поскольку последние, вследствие косности мышления, разучились облекать чувства в словесную форму. И тогда они перестали следить за собой, лица их покрылись коростой, а голени поросли волосами, *pedes pilosiusculum*, только ногти на босых ногах были ухожены, потому что при общении с ними мужчины не смели поднять глаз от земли, лишь изредка прихватывали взглядом кончики пальцев. Женщины заметили это и старались удержать их внимание хотя бы на краю огрубевшей плоти, как мысль в пределах сознания, и чистые ногти двигали генеалогию в сторону новой модели мира.

Весной Большой Бат объявил, что для приведения в надлежащий порядок ежедневных наблюдений за смещением небесных светил Алеш Бегаты назначается старшим по обсерватории, а это предполагает контроль за всеми службами, включая садовника Махмуда и стряпчего Талгата, а Инал — штатным помощником, в чьи обязанности будет входить слежение за метеорологическими изменениями и оповещение ближайших аэропортов и портов Чёрного и Азовского морей о надвигающейся буре. Разумеется, исследование смещения небесных светил в зависимости от времени года необходимо, но не менее важно сверять результаты астрономических наблюдений с данными каталогов Флемстеда, Ас-Суфи и Улугбека и своевременно вносить коррективы в книгу обсерватории. На что Алеш Бегаты ответил, что с началом цветения шиповника созвездия видны лучше, не обязательно заглядывать в телескоп. Большая Медведица сдвигается к западу, причем ковш наклоняется примерно на тридцать градусов, но этого вполне достаточно, чтобы содержимое его вылилось на треть. Однако, что самое любопытное, Киносура, входящая в состав созвездия, не меняет своего местоположения.

— Ты о чем? — удивленно устался на него Большой Бат.

— Киносура по-гречески означает собачий хвост, — ответил Алеш Бегаты. — Прежде чем стать звездой, она была нимфой на горе Ида, кормилицей самого Зевса.

— У меня мало времени, — сказал Большой Бат.

— Я знаю, — Алеш Бегаты вышел на террасу, перегнулся через перила и позвал сына, затем, дождавшись, когда тот откликнется, вернулся в помещение и добавил: — Если человека лишить надежды на родство со звездами, он станет несчастным.

Пока Большой Бат шел через двор по выложенной коричневой плиткой дорожке,

он не мог избавиться от ощущения, будто его в очередной раз окунули в бочку с дерьмом. Он был уверен, что словоблудие писателя, доводящее порой до бешенства, исходит из комплекса неполноценности, из нереализованности писательского таланта и желания самоутвердиться. Когда у него заболел сын, Большой Бат немедленно предложил ему работу наблюдателя в обсерватории, полагая, что Алеш Бегаты перевезет в Хвелиандро семью. Тот, конечно же, согласился, выразив уверенность в том, что прогулки по живописным окрестностям обсерватории пойдут мальчику на пользу. Однако супруга его ехать отказалась, и аргумент писателя относительно полезности прогулок смертельно больного сына на свежем воздухе теперь вызывал большие сомнения. Скорее всего, писатель, соглашаясь на в общем-то рутинную работу в обсерватории, преследовал какую-то свою цель. Большой Бат и думать бы не посмел о подобном, если бы случайно не прочитал несколько страниц его рукописи, в которой довольно пафосно говорилось о манипулировании сознанием Надрезанных Ушей, о свободе выбора и свободе вообще, о языке как средстве самоидентификации и о поэзии, коей не стало в Хвелиандро. Каков наглец! Ему дали работу, возможность продлить жизнь ребенку, а он лезет со своими умозаключениями в дело всей его жизни. Но Большой Бат никому не позволит совать свой нос куда не следует, даже другу детства. Он вспомнил длинный двухэтажный дом с захламленным балконом, из окон торчат дымящиеся сигары труб, и школу через дорогу, и холм со змеящейся грунтовой, поросший чертополохом, и кладбищем на отшибе. У сетчатых перил стоят три мальчика — один постарше, в бейсболке и джинсах, второй лохматый, в старомодных круглых очках, третий поменьше ростом, худой и болезненный, в коричневой фланелевой рубашке, заправленной в зеленые бриджи, из-под которых вылезает гармошка шерстяных колготок. Тот, что постарше, смотрит в большой черный бинокль, и рот его приоткрыт от изумления. А младший пятится в глубину балкона, и его рвет желчью. Мальчик согнулся в три погибели, его выворачивает наизнанку, и из кухонного окошечка высовывается голова бабки Малат в траурном платке, плохо скрывающем белые волосы, и, двигая вставной челюстью, она говорит:

— Ну и засранец же ты, Бат! И когда только ты поумнееешь!

Большой Бат вышел со двора, оглянулся на красные ворота с изображением желтого смеющегося месяца в окружении пляшущих созвездий и сел в свою красную «Ниву». Он поехал вниз по дороге, усыпанной белым гравием, мимо дубняка, увешанного овечьими шкурами, мимо храма с покосившейся колокольной и родника под дикой грушей, вдоль поля Зилахар и старого кладбища. Обычно, чтобы сэкономить бензин, Большой Бат включал нейтралку, глушил мотор и катился под гору накатом, но в этот раз он не сделал этого. Напротив, стал разгоняться, хотя опасность свернуть шею была реальной. Когда же приходилось тормозить и на поворотах машину заносило, громко ругался. Конечно, писатель был его другом, они росли в одном доме, а в период грузино-осетинской кампании вместе защищали город, но в последнее время их отношения натянулись. Идея создания резервации в горах принадлежала Большому Бату. Он давно думал над тем, как компактно разметить людей с разными убеждениями в определенных условиях с целью создания совершенно новой формации, в которой социальная востребованность была бы обусловлена идейным и идеологическим содержанием. Предполагалось отобрать в местной тюрьме наиболее отъявленных нарушителей закона и переселить в резервацию, а дальше изменить их сознание с помощью сложной системы наложения конкретных обязательств. Вдвоем с Алешем Бегаты они написали пространную программу по перевоспитанию убийц и воров, но методы воздействия на сознание непокорных с самого начала не устроили писателя. Однако настоящие разногласия начались после того, как идею поддержал Президент и правительство выделило деньги. По мнению Большого Бата причина несогласия писателя заключалась в оторванности от реальности, в неспособности объективно оценивать ситуацию. Он был уверен, что Алеш Бегаты витал в эмпиреях,

не особенно сопротивляясь стремлению собственных литературных персонажей увлекать его в межзвездные дали, где могли обитать души лучших представителей человечества. Что же касается обсерватории, то можно спорить до хрипоты о недостатках гелиоцентрической системы Коперника супротив геоцентрической Птолемея, которая, по утверждению Алеша Бегаты, антропоморфна в той мере, в какой человеку свойственно стремление на небеса и указывание дороги ближним. Писатель даже проследил закономерность в соседстве резервации с обсерваторией, настаивая на высшем смысле существования Хвелиндро как перевалочного пункта для жителей старше семидесяти лет. Большой Бат усмехнулся несусветной глупости и ударил по тормозам. Недалеко виднелся храм Джеруастырджи, а с паперти, как тараканы, разбегались богомольцы, заметившие машину Большого Бата. Может быть, писатель думает, что тубус большого телескопа предназначен не для наблюдения за звездами, а для перемещения стариков поближе к Единорогу, Волопасу или Живописцу? Ха-ха, только скудоумный писака способен возомнить такое. Большой Бат перевоспитывает Надрезанные Уши в первую очередь для их же блага, но не для того, чтобы они лезли, как сквозь дымоход, через тубус большого телескопа на небо, что не равносильно мору или потопу, но по меньшей мере безрассудно.

IV

Опершись на перила, Уастырджи глянул вниз на змеящуюся реку Саукаба, на белое здание больницы, где больные в казенных полосатых халатах курят на крылечке, сидя на корточках, и липа шумит во дворе. За рекой начиналась грунтовая дорога, безлюдная, как пустыня, примерно через семьсот метров она круто уходила в гору, а на горе виднелось кладбище с часовней. Уастырджи подозвал Ацамаза, изящного молодого человека, только-только научившегося бриться, и, кивнув в сторону белого двухэтажного здания, спросил вполголоса:

— Что за деревня, сынок?

Молодой человек скользнул взглядом по кровле больницы, по булыжной площади, по куполу обсерватории и, потерев в руках тростниковую свирель, ответил:

— Хвелиндро.

— Почему так пустынно?

Ацамаз пожал плечами.

И они продолжали смотреть, пока не набежали тучи и не загремел гром.

В это время рогоносец Реуаз выволок Инала во двор, поставил на ноги и встряхнул:

— Мужик ты или нет! Возьми себя в руки!

— Матерь Божья! — ответил Инал. — Тошнота подступает, не от сострадания ли к человеку?

И заплакал. Но слез его не было видно, потому что лил дождь.

— Прекрати, парень! Не говори так никогда!

— Почему?

Реуаз молчал. И дождь усиливался.

— Сострадание сокращает жизнь! — произнес наконец Реуаз.

— Ух ты! Шас описаюсь от твоих сентенций! — отозвался Инал.

Реуаз подставил лицо каплям и осклабился, показывая окровавленный язык.

— Веришь, меня самого воротит иногда от собственных слов. Бывает, подопрет, подопрет, аж дышать невозможно, а попробуешь сказать что-то, и во рту — словно дерьма нажрался, — Реуаз оглянулся и указал пальцем куда-то вдаль. — Сколько женщин состарилось в ожидании! Мы сами виноваты во всем!

— Ни хрена не понимаю! — стараясь перекричать ливень, произнес Инал.

— Ты что тупой? — сказал Реуаз. — Ухо порвал себе зачем-то! — он говорил что-то, говорил, но Инал разобрал только последние его слова. — Все остальное — слепота, придуманная слепыми для слепых!

— Все остальное слепота! — повторил Инал и тоже подставил лицо каплям.

Остальное — слепота.

Уастырджи увидел, что губы Инала шевелятся, как пиявки, и веки дергаются от капель, и глазницы полны то ли слез, то ли дождевой воды. А в груди колотится сердце, сообщающая импульсы всем клеточкам его изможденного организма, колотится так, что земля дрожит под ногами и стены больницы гудят.

Море высохло, огромный котлован шипел и пузырился, словно под землей пылали миллионы костров, и пар вился над поверхностью. Жар стоял, как в кузнице. Рыбы бились в агонии и казалось, будто песчаное дно покрыто слоем густого булькающего варева. От едкой соли слезились глаза, тело было раскалено, и пот катился градом. Он стал подниматься по склону, ставя ребром ступни, чувствуя, как песок осыпается под ногами. Выбравшись наверх, путник оглянулся и увидел высохшее море и островки белой соли на дне. Над морской впадиной висело серо-зеленое марево. Но внезапно набежали черные тучи, и разверзлись хляби, и дождь хлынул с небес, как во время потопа, а вместе с ним морские твари — и синие киты, и касатки, и черные скаты с острыми хвостами, и серебряные меч-рыбы. Падая, они пружинили и подскакивали в воздух, что полные бурдюки, и звук был такой, будто на берегу собрались великаны и хлопают в ладоши. Дождь лил несколько дней, затем тучи расступились, проглянуло солнце, и блестящие волны устремились к берегам.

Возле леса стоял царский шатер с барсовой шкурой на куполе. Войдя в шатер, путник увидел круглый деревянный треножник и чашу в форме ладьи, наполненную пенным пивом. Он жадно приник к ней губами и осушил. Взгляд его упал на убранное атласом супружеское ложе и длинный обоюдоострый меч посреди. Путник поднял оружие и попробовал жало ногтем большого пальца и по тому, как дзынькнул металл, понял, что хозяин ушел навсегда. Тогда он покинул шатер и направился к лесу и наткнулся на двух витязей. Они лежали на песке, пронзив друг друга кинжалами, и лбы их соприкасались. Путник разнял их и, заметив, что это близнецы, даже ямочки на щеках одинаковые, — заплакал навзрыд. На плач из леса вышли белая стреноженная лошадь с длинной гривой и черный пес. Видать, одного из братьев, — подумал путник. Он нарвал охапку сочной травы и протянул лошади, но та неожиданно резво рванула в сторону и ускакала. По аллюру путник догадался, что вовсе она не стреножена, а лишена передней ноги. Он побежал следом, роняя по пути траву, и выскочил к бурной реке. За рекой высилась гора, на вершине которой сидел худой мужчина и, задрав к небу клинышек бороды, пел сладким голосом, подыгрывая себе на струнном фандыре.

На склоне горы виднелись три села. Нижнее располагалось вдоль пастбища и распаханых террас. Среднее было застроено конюшнями, псарнями и сокольнями. А верхнее — многоярусными домами из камня. Оно было огорожено крепостной стеной с бойницами и подзорными башнями по углам. В стороне от сел, за перелеском, раскинулось зеленое поле, а на опушке — родник.

Путник вернулся к морю, взвалил братьев на плечи и понес их к нижнему селу. Реку он перешел вброд, но когда кровь братьев окрасила воду в красный цвет, пастух, приведший лошадей на водопой, поднял крик. Путника вышли встречать с вареной бычьей лопаткой и рогом, полным пива, и стар и млад. Старейшина с только что обритой головой — капельки крови едва-едва засохли на черепе — долго смотрел на него, но не признал. Мертвые витязи — мои сыновья, — сказал он. — Завтра их похоронят с почестями, как воинов. А тебя, по нашему обычаю, принесут им в жертву вместе с лучшими боевыми конями и соколами. Путнику показался странным обычай, но он промолчал и последовал за хозяевами. Молодежь, не переставая,

плясала и распевала веселые песни. Приняли гостя радушно, зарезали в его честь быка, да и на пиво не поскупились. А ночью путник вышел во двор подышать и услышал доносящийся из хлева стон. На всякий случай он обнажил меч и распахнул двери. Пахнуло навозом и прелой соломой. С висящей на перекладине белой бурки стекала вода. Скотина спокойно пережевывала жвачку. Вдруг навстречу вышел расплывшийся в ослепительной улыбке мужчина. Из одежды на нем была лишь войлочная плетъ на запястье, если ее можно причислить к одежде. Между ног висело мужское достоинство солидных размеров. При лунном свете путник заметил лежащую в углу женщину с бесстыдно раскинутыми ногами. Рядом стояли трехногий конь и черный пес.

— Кто твой отец? — спросил мужчина.

— Хамыц! — ответил путник.

— Хамыц?! — гневно переспросил тот и замахнулся плетью, ударом которой превращал людей в мерзких тварей, но его остановила нагая женщина:

— Не бей его! — сказала она.

— Почему? — повернулся к ней мужчина с плетью.

— Потому что он из Надрезанных Ушей.

Мужчина подумал немного, а потом пнул женщину ногой.

— Не твое дело! Его отец соблазнил мою жену, опозорил на весь мир!

— Они не прощают оскорблений, — сказала женщина. — Меня ведь ты тоже соблазнил.

— Ты — другое дело! — осклабился мужчина, снял с перекладины все еще сочащуюся дождевой водой бурку и накинул на плечи.

— Нет, не другое, — демонстративно отвернулась от него женщина.

Утром в сопровождении пляшущих и распевающих песни жителей деревни его вывели на кладбище и завязали за спиной руки. Он сел на свежую насыпь, пахнущую полынью и лебедой, и заглянул в разверзшуюся перед ним могилу. Погруженным в мягкую землю босым ступням было тепло и уютно. На краю поля Зилахар, возле сложенного из камней прямоугольного жертвенника, пылали костры. Привязанные к столбу бык и овца, словно бы предчувствуя заклание, понурили головы. Тут же стояли несколько бритых наголо бородатых мужчин в рубахах навывпуск и о чем-то степенно переговаривались. Перед ними на каменном возвышении поблескивал медный кубок с каким-то напитком, рядом лежал обнаженный меч. Один мужчина — по седой бороде путник узнал в нем старейшину — закатал рукава, поднял над головой кубок и произнес молитву. Слов было не разобрать, но путник догадался, что он просит у Всевышнего разрешения на проведение ритуала.

Когда взошло солнце, его развезло, и он стал клевать носом. Но тут подошла бабка Малат и, даже не поздоровавшись, сказала:

— Выбор пал на тебя, будь мужчиной!

Путник вздрогнул от неожиданности, но выдал из себя ухмылку.

— Откуда ты взялась, бабка?

Малат взглянула на него — тот же черный платок, плохо скрывающий ослепительную белизну волос, чистые глаза с ехидцей да шамкающий рот. Не то чтобы она не узнала его, Малат смотрела долгим немигающим взглядом, будто знала его так давно, что успела позабыть.

— Я гадала по бычьей лопатке, и выбор пал на тебя, готовься.

— Что это значит, бабка?

— Почему ты меня так называешь? — прищурилась Малат.

Он попытался высвободиться и встать, но не смог — силы покинули его.

— Разве ты меня не помнишь? — дрогнул его голос.

— Я помню все, не переживай, сынок.

— Нет! — закричал он. — Нет! — и мужчины обернулись на крик.

Старухе стало его жалко, и она погладила теплой ладонью его небритую щеку.

— Успокойся, это — великая честь.

Путник ощутил ее запах, и слезы брызнули из глаз.

— Ты сама говорила, что помогала рожать моей матери, и что пуповина едва не задушила меня, и если бы ты ее не распутала, то я бы умер.

— Так часто бывает.

— А потом, когда я не подавал голоса, ты с такой силой шлепнула меня по заднице, что чуть кости не переломала, но все-таки я задышал, — не унимался он.

— Да, сынок, иногда приходится делать больно, чтобы сохранить жизнь.

— Когда я научился жевать, ты кормила меня кукурузными лепешками.

— Разве? — приподняла левую бровь Малат.

— Да, бабушка, и Алеша кормила, и Большого Бата.

— Я не знаю таких, — нерешительно произнесла Малат.

— Знаешь! — снова повысил голос он. — Ты воспитала нас, мы жили вместе, а когда застрелили Алеша, ты омыла его и оплакала.

— Погоди, когда это было?

Путник задумался.

— Не знаю. Может быть, мне это приснилось.

— В любом случае, это моя обязанность, — она выпрямилась и собралась уходить, но смотрела уже не так отстраненно.

— Что со мной будет?

— Ты приобщишься к богам!

Старейшина закончил молитву, отхлебнул напиток и поставил кубок на место, а потом вдруг повернулся к нему, вытянул красные от напитка губы и задрал седые брови к самой лысине, точно его саданули в спину ножом, и зашептал какие-то слова, шевеля всеми мускулами лица. А он, проваливаясь в полудрему, не чувствуя собственного тела, стал понимать его, как понимает Ацамаз язык птиц, и сердце его наполнялось благодатью. Слова были совсем простые, дескать, это древо жизни, и мы — что твои малыцы — режемся в салки под его раскидистой кроной, и внизу деревня Хвелиандро и река Саукаба, а на склоне горы храм с колокольной.

«А как же смерть?» — хотел было он спросить и даже приоткрыл рот, но старик убрал губы, не опуская бровей, и процедил сквозь зубы, что у них не принято говорить о смерти, разве что в смысле невыполненного долга или конца немощи.

«Забавно, — подумал он, — что же есть под кроной древа, ежели нет смерти, и что есть само древо?»

К нему подвели гнедую лошадь без сбруи.

Затем подошел сам старейшина и дал отпить из кубка. Напиток был густым и хмельным, и ему мгновенно ударило в голову.

— Мы принесем тебя в жертву вместе с лучшими лошадьми и соколами, — сказал старейшина. — Это большая честь.

Его подхватил какой-то громила, подвел к жертвеннику и снова заставил отпить хмельного напитка. Тепло разлилось по телу, он закрыл глаза, и по тому, как ему выгнули шею и туго затянули веревку, стало понятно, что сейчас ему перережут глотку.

Старейшина забубнил молитву, периодически смачивая его голову из кубка, и каждый раз медь звенела при соприкосновении с теменем. Но жертву это уже не тревожило.

— Ладно, ладно! — закричал он. — Я построю вам дорогу в небо, только не убивайте меня.

— Ш-ш-ш! — сказала Малат. — Не кричи!

— Но вы же сами жалуетесь на отсутствие дороги в небо.

— Что ты можешь, глупый? — окинула его снисходительным взглядом Малат.

Забили в барабаны. Путник промокнул плечом стекающий по подбородку пот и ответил:

— Телескоп.

— Что? — переспросила Малат. — Что ты сказал?

— Телескоп! — повторил путник. — С его помощью можно попасть на небо и говорить с богами.

— Я тебя не слышу! — старуха поднесла ухо к его губам и незаметно перерезала веревку, стягивающую запястья. — Беги в храм, там тебя никто не тронет!

Под бой барабанов молодые люди сняли рубахи и, оставшись голыми по пояс, начали пляску жертвоприношения. Гибкие мускулистые торсы поворачивались одновременно плавно и ритмично, движения были отточены. Пляшущие встали в круг, обняли друг друга за плечи и закружились, что мельничный жернов, издавая характерные звуки, напоминающие вой ветра. Бой барабанов, возгласы, топот босых ног смешались в один общий гул. Даже солнце зависло в зените при виде этой пляски.

На глазах у изумленных людей путник стремительно пересек площадь Зилахар и ворвался в полупустой храм. Случайно зацепил бронзовый шандал с горящими свечами у стены, металл скользнул по каменному полу, скрипнув, как мускусная крыса, но путник перехватил его и не дал упасть. На мгновение он обернулся к выходу, откуда падал ослепительный свет, увидел нарастающую суету и продолжил движение в сторону прохода, ведущего на колокольню. Коридор был узкий, винтовая лестница крутая — каждая ступень высотой полметра.

— Запретная зона! — закричал он, брызжа слюной.

В храме было тихо.

Он взобрался на колокольню, пересек терраску с осыпавшейся кладкой и остановился на краю, тяжело дыша. Солнце стояло высоко, с моря дул ветер, и у него слезились глаза. Путник подумал, что вся эта чертовщина от передозировки, что страх свихнуться окончательно — лучшее средство от героиновой зависимости, однако в глубине души таилось любопытство, которое было похлеще любого наркотика. Его затрясло то ли от холода, то ли от ломки, и чтобы унять подступающую тошноту, он прокусил ребро ладони, слизнул кровь и огляделся. На паперти толпился и шумел народ. Поле Зилахар пустело. На опушке леса спокойно паслись косули. По дороге, ведущей к храму, катились телеги, груженные блестящими на солнце круглыми линзами. Путнику пришла в голову дурацкая мысль устроить пожар и смыться в суматохе, но куда тут сбежишь. Он пошарил по карманам, нашел сигареты с зажигалкой и закурил. Никогда еще курево не казалось таким приятным.

Двое молодых людей отвязали быка с овцой и повели их к жертвеннику. На поле Зилахар появились жрецы в блестящих ритуальных одеяниях, похожих на плащи. Они передали молодым людям длинные ножи, отступили и принялись хором читать молитву. Голоса у них были высокие, но заунывные. Молодые люди закатали рукава, обнажив мускулистые предплечья, схватили — один быка, второй овцу, — повалили на землю и перерезали им горло. Они подождали, пока жертвы истекут кровью, отделили головы, а туши подвесили на крюки для свежевания. К тому времени жрецы закончили читать молитву.

На жертвеннике догорал костер.

Сухбат Афлатуни

Деряба

Рассказ

Горячее вечернее солнце светило на него, он щурил глаза, хватался за скользкие подлокотники и снова глухо кашлял. На западе, за холмами, уже шла ночь, сейчас темнота затопит всё, и его с этим плетеным креслом и с этим кашлем. И он исчезнет. Останется только хриплый, куриный голос из комнаты, повторяющий одно и то же на одной ноте, просящий, требующий, родной...

Он родился в девятьсот четвертом году, в казачьей станице, имя которой так часто менялось, что потеряло смысл. Он был третьим из выживших детей.

Он родился в девятьсот четвертом, и был назван Василием.

Семья жила небедно, он помнил выпуклые, умные глаза коров и густой звук от мух и слепней.

В тринадцать лет он уже был мужчиной. Он был костляв, с тонким ртом и серым морозным взглядом. Он был некрасив, но красота казаку и не к чему. Вот его красота — и он проводил пальцем по клинку отцовской сабли.

Гражданская вышибла его из дома. Отец был застрелен, старший умер от хвори, остальных размотало войной. Мать он так и не нашел, может, надо было сильнее искать, он не искал.

Он набавил себе три года, а выглядел он и так на двадцать. Войной отнесло его на Украину, он перекачивался от одних к другим, как зеленое, не ко времени сорванное яблоко. Веселее и голоднее всего было у анархистов, к которым он прибил под Николаевом. Анархизм утвердил его в спокойной ненависти к людям; эта ненависть давно, еще со станицы, сидевшая в нем, теперь оформилась идейно.

От анархистов перекатился в банду Архангела, державшего в ледяном страхе местечки. Сам он ненависти к жидам не разделял, но любил попугать их, а еще хохлов, которых отчего-то тоже считал жидами, хоть те и молились по-православному и ставили в своих хатах иконы. К религии он относился с молодой и едкой недоверчивостью, и когда при нем начинали про божественное, болтал ногами и сплевывал в траву.

Постепенно война и убийство ему наскучили. Ему надоело дышать кровью. Он слишком презирал людей, чтобы радоваться их быстрой и некрасивой смерти. Он глядел на трупы круглым, ничего не выражавшим взглядом. Он устал.

У него были красноватое безволосое лицо и тяжелый подбородок. Из-под грязной шапки выбивался серовато-желтый чуб.

Сухбат Афлатуни (наст. имя — Абдуллаев Евгений Викторович) — поэт, прозаик, критик. Родился в Ташкенте. Окончил философский факультет Ташкентского университета. Автор двух сборников стихов и нескольких книг прозы. Дважды лауреат «Русской Премии» (2005, 2011), лауреат молодежной премии «Триумф» (2006). Постоянный автор «ДН». Живет в Ташкенте.

Он дымил, как все, и ругался, как все. При виде женщин он нехорошо улыбался, но чаще брал свое даже без улыбки. Быстро и почти с рычанием, как юный зверь.

Это произошло в одном из местечек. Пока остальные архангеловцы делали свои дела, докалывая остатки местной самообороны, он прошелся по хатам. Хаты стояли пустыми и темными, жида бежали или попрятали себя, и он, больше для порядка, чем удовольствия, пострелял по стеклам. Пнул, как мяч, бросившуюся под ноги тощую курицу, и уже собрался к своим... как вдруг заметил, скорее, почувствовал, метнувшиеся женские тени. Две, нет, три. Бежали в сторону мельницы, прячась за кустами. Одна сильно прихрамывала.

Василий присвистнул и бросился в погоню. Трудно пришлось бежать, по плавням, в тумане. Тех, двоих, не нагнал. Зато на хромоножке отыгрался, ух как отыгрался. В глазах почернело аж.

Обычай, принятый в банде, требовал после застрелить или придушить ее. Но, поглядев и утерев с губ слюну, не стал. Не от жалости, а бис его знает, отчего. Натянув сырые штаны, побежал догонять своих. А та осталась в тумане.

Через день после того в перестрелке его ранило. Это его спасло. Отступая, архангеловцы оставили его у верных людей; на болотах банду окружили — кого постреляли, кого потопили в жиже. Самого батьку Архангела отвезли в Киев, судить и там же в подвалах по-хозяйски прихлопнуть. А Василия верные люди быстро выпроводили, чтобы беду им в хату не свел. Сунули сухарь и вытолкали. И он пошел по ночной траве, шатаясь.

Два дня лесами шел, питался редкой ягодой, пробовал грызть кору и не смог. И вышел, выполз к тому самому местечку. Смерти он не боялся, только бы пожевать чего перед тем, как прикончат. Но в местечке пусто было, ушли из него люди и жизнь.

Жидовка его узнала и собралась кричать. Василий зажал ей рот и захрипел в ухо: — Молчи... Будешь моей жинкой?

Это он добавил неожиданно не только для нее — она аж застыла — но и для себя, такого плана в голове не было. И он тоже застыл. А потом, разжав ладонь и освободив ей рот — она так и стояла и дышала — впился в него сухими губами. И она, хромоножка, на его ласку ответила. Так горячо, что почернело в глазах, как тогда.

Вздохнув, поволокла его на себе; он уткнулся носом в ее плечо.

— Эй... Зовут тебя как? — спросил только.

Сарка оказалась с дурным и пилючим характером. Как казачка, только еще хуже. Василий валялся в лихорадке, слушал, как Сарка все плетет свою длинную ругань.

— Русский чоловік, — хрипло говорила Сарка, — должен быть здоровый, крепкий, як рысак. Що ж мне такой хворий попався, а?

— Выздоровлю, задушу, сука! — отвечал Василий с печки.

— Ой, испугалася... На, попей!

Василий послушно пил.

— Что ты туда в воду бросила? — спрашивал, подумав.

— Що я могла кинути? Пусто в хате! Только пыль могла туда кинути... У других чоловіки як чоловіки, всё в хате есть, и это, и другое, а этот только хворити может...

«Врет! — думал Василий, утирая выступивший после питья пот. — Отраву бросила. Или плюнула. Колдовка...»

Василий выздоровел, но жену не задушил. Побил только один раз, и то не больно, а просто, чтоб знала.

Году в двадцать шестом Василий подался на работу в город, но быстро там устал и заболел. А едва выздоровев, перевез туда Сарку, она уже была с животом, ждали второго.

Всего она родила ему троих. Первый, Игнат, пошедший в породу Василия, помер в детстве; а двое других, черненькие, в Сарку, крепко уцепились в эту жизнь. Марк и

Римма, это уже Сарка им такие имена сочинила. Василий рукой махнул: к детям у него наблюдалось равнодушие. В городе ему было тесно; обилие людей, бегающих вокруг, вызывало в нем тошноту. На работах он быстро уставал, хлопал дверью и уходил, но Сарка не давала ему полежать, толкала, кружилась над ним, как оса, и гнала на новые работы.

Сама она выучилась шить и стала портнихой; к ней приходили женщины, такие же шумные, как она; по всей комнате валялись лоскутки и даже в супе плавали пуговицы. После родов Сарку разнесло в бедрах, она стала активной, от ее активности все вокруг шумело и трещало, но мало что делалось. Она варила мутные, как мыльный раствор, супы, которые теперь звала бульонами. Она изводила Василия, а ночью клала ему голову на живот и плакала. От нее шел запах керосина, кухонной гари и мыльца, которым чертила на тканях. Но с годами он переставал чують запахи, огорчаться и радоваться им.

Редкие бабы, с которыми он нет-нет да погуливал, быстро под ним выдыхались и отворачивались, кажа ему мокрые спины с вмятинками от бюстгальтера. Городское это слово он так и не освоил, долго путал с «бухгалтером», да и даже через годы городской жизни произносил его то как «брызгальтер», то еще как-то, что бабы тихонько давились смехом. Смеяться ему в лицо они не решались, боясь его мертвого взгляда.

А Сарка была не такой: знала подходы. Знала, когда можно ругать, а когда замолкнуть. А когда — прижаться, исчезнуть под ним, утешить. И он держался за нее, зубами и ногтями, точно боясь остаться один на один с этим миром, с этими людьми и глупыми бабами, которые не умели ничего понять. С самой этой ненавистью, которая если бы могла выплеснуться из его глаз, то сожгла бы весь мир, как кислота.

Сарку он тоже ненавидел, но по-другому, от тяжелой своей любви. И всю ее родню, которая приезжала к ним в комнату, и надо было уступать топчан и слушать долгие разговоры на их языке. Его родня тоже пару раз наезжала, и это было еще хуже.

Постепенно он привык к Саркиной горластой родне, к другим чернявым, которых сновало вокруг все больше, злоба на них стала тихой и привычной, как боль от раны на погоду. Он даже развлекался, угадывая в газетах и по радио их фамилии, а если сомневался, то уточнял у Сарки. Дети ходили в школу и показывали ему вечером пятерки.

Что-то он даже полюбил. Любил тир в городском парке, к которому выстраивалась очередь из желающих, но его как матерого стрелка пропускали вперед. Любил Черное море, к которому они пару раз ездили оздоравливать детей; любил его пустынные пляжи с поблескивающими трупами медуз. Любил дрозда-дерябу, жившего у них на подоконнике в тесной клетке. Сам его, подбитого, выходил и поселил здесь к радости детей и недовольству Сарки; кормил, чистил клетку и слушал веселые звуки, которые тот издавал.

Они разжились еще одной комнатой, соседа по коммуналке как раз удачно посадили. Его, Василия, тоже как-то раз взяли, но не за политику, а по работе, но тут за ним было всё чисто, подержали и выпустили. Следовательно был тоже по фамилии Рубинштейн, кстати... Жизнь, поскрипывая, ползла вперед.

Иногда только ночью накатывало ледяное непонятно что, вспоминалась Гражданская и убитые; мертвых он не боялся, но вот из живых кто-то мог нечаянно встретить его и признать... И его окатывало морозным потом, он хрипел и будил Сарку, и та все понимала и только шепотом просила не так сразу... Он смотрел на белевшую в темноте, распластавшуюся Сарку и думал, что ведь и она может его выдать, заложить или отравить... и знал, что не может. И зарывался в нее, стыдясь этого темного счастья и слабости.

Работал он в последние годы в торговле, куда его засунула Саркина родня, работал без огонька, но не воруя; не столько из честности, сколько из отсутствия фантазии и презрения ко всему. К тридцати пяти он почти облысел. И тут началась война.

Его призвали. Он успел запихнуть Сарку с детьми в набитый вагон и ушел воевать, собираясь при первой okazji сдаться в плен. Оказия представилась быстро.

Потом был немецкий лагерь, из него он тоже вышел быстро. Новому порядку нужны были такие, как он. Спокойные исполнители с холодной искрой в глазах.

Он снова убивал, спокойно, слегка устало; без той истерики, которая была у молодых. Те убивали ненасытно, бестолково, точно продали душу дьяволу. Он же никому своей души не продавал. Он не был даже уверен, есть ли она у него. Он служил в Белоруссии.

Он презирал немцев, за их слабость, чистоплюйство и задранный нос и, дай волю, убивал бы их, как сейчас убивал евреев, белорусов и других, кого приказывали; мертвые не имели для него национальности. В лунные ночи мысли иногда возвращались в прежнее время, он вспоминал клетку с дерябой и горьковатый запах из нее, вспоминал теплые руки Сарки. Ее фотографию с детьми, зашитую в немецкую шинель, он таскал с собой.

У него были бабы, короткие, быстро забывавшиеся, не то всё. Хотя и молоденькие случались, и с внешностью. А всё после этого дела сплунуть хотелось, и он курил и сплевывал. Заколдовала его, что ли, Сарка? Может, и заколдовала... И скучал по ней.

К середине войны он выдохся. Злоба и боль, накопленные с Гражданской, были растрачены. Расстреливал и жег он уже спустя рукава. Да и чувствовал, что весь этот их орднунг ненадолго, думать надо, думать. И он курил и думал, и давился кашлем. Ничего так и не придумал.

Спасло его, как и тогда, ранение, ступню оторвало. Не иначе как родился в рубашке. Форма, документы, все сгорело, все в дым ушло.

В сорок пятом, на костылях, он добрался до Ташкента.

К нему выбежала, прихрамывая, Сарка, худая, желтая и еще больше подурневшая. Он обнял ее и чуть не завыл от радости. Вокруг крутились подростки, Марк и Римма. Он обнял их тоже.

Сарка собралась возвращаться на Украину, но он сказал: «Нет».

Сарка посмотрела на него своими большими совиными глазами:

— Ты що, собрался всю жизнь стирчать в этом Ташкенте?

Он сказал: «Да», — и поглядел так, что Сарка замолкла и напыжилась, точно собиралась заплакать, но вместо того стала мыть пол.

— У всех, как у людей, — хрипло шептала она ночью, — все вертаются, всем уже этот табор поперек горла, все мечтают домой...

На следующий день Сарка ходила с синяком на руке. «Об стул ударились», — объясняла детям и прикладывала огуречные очистки.

И они стали жить в Ташкенте. Ему сделали протез.

Первое время он валялся по больницам, пока Сарка его не забрала и не выходила дома. А может, и не выходила, а так допекла своим нытьем, что он встал со смятой кровати и снова включился в жизнь.

Он работал на тихих должностях в одном, потом другом тресте; он носил чужую медаль «За отвагу», тяжелый серый кругляш, купленный по случаю на рынке, который здесь все звали базаром. И он со временем тоже стал звать здешние рынки базарами, а вместо «сходить на рынок» говорить «сделать базар».

В конце концов, ему здесь больше подходил климат, кашлял меньше. Скучал только по морю и по дрозду-дерябе. Дети, желая его порадовать, поймали ему на день рождения какую-то местную певчую мелочь и поднесли вместе с клеткой, но он их только отругал.

Сарка продолжала стрекотать на своем «Зингере», обшивая его, детей и шумных женщин, приходивших к ней и принимавших разные позы у зеркала. Дети доучились в школе, Марк поехал поступать в Москву и так поступил, к его, Василия, хмурому удивлению и Саркиному ликованию.

Когда, при Сталине еще было, стали теснить евреев, ему это не понравилось. Ему вообще не нравилось, что творила эта власть, а уж на евреев, с которыми жизнь его так тяжело и крепко связала, он имел личное право. Он сам, а не по свистку начальства, будет решать, любить ему их или ненавидеть, или любить и ненавидеть совместно...

Он даже чуть не поколотил, работал с ним вместе, начавшего хаять при нем евреев. И поколотил бы, если бы тот, почувствовав его взгляд, не стал пятиться: «Ты чего?.. чего, а?» «Ничего», — ответил Василий, разжимая кулак.

Сарка что-то чувствовала. Вдруг начинала плакать, опустив голову, упершись лбом в горбатый свой «Зингер».

«Страшно мне с тобой», — сказала ему как-то, поправляя на нем сорочку.

С годами его щеки ввалились, а глаза, наоборот, стали выпирать, точно от базедовой болезни, которой, к счастью, не имел.

Чем больше старел, тем больше рос в нем аппетит к жизни. Каждое утро он обливал себя холодной водой; капли весело сползали по его крепкому жилистому телу. Он полюбил кефир в бутылках зеленоватого стекла. Только от курева не мог себя отвадить. Жажда жизни всходила в нем, как квашня под тряпкой. Он боялся. Он боялся, что у него возьмут и отберут эту жизнь, темную, унылую, с темными и унылыми людьми, толкавшими его в трамваях и очередях. Что его признают. Что его будут судить. Что поставят затылком к ледяной стенке. Он мотал головой, отгоняя эти мысли, и сжимал зубы. Зубы у него, кстати, кроме двух, выбитых в молодости, были в комплекте. Не то что у Сарки, не вылезавшей в последние годы из страшного зубоврачебного кресла.

И тут вот оно и случилось. И ведь не хотел тогда в больницу идти, да Сарка потащила. Родственник, то-сё... «Ну и шо, шо дальний, другой родни нема...» Поплелся с ней; а там в палате лежит этот ее родственник, после инсульта. Лежит и смотрит. И Василий на него, походя, глянул. И как пишется в книжках: «Их глаза встретились». Так встретились, что у Василия расширились зрачки, и у того тоже, замычал весь, затрясся... Хорошо, что речь после инсульта не вернулась и движения, а то бы тут же и заложил. А Сарка застыла, понять не может.

— Спутал, видать, с кем-то, — сказал ей. — Айда домой, что встала?

Всю ночь он курил и кашлял. Он думал, как убрать этого, который вспомнил его по белорусским делам, и он этого тоже вспомнил. Сарка чувствовала сквозь сон его кашель и запах курева, но молчала. Даже сквозь сон понимала, сейчас не надо. Всё хромоногая понимала.

Под утро в его голом черепе сложился план... Но так там и остался. Потому что в девять утра, когда он, не раздеваясь, вздремнул, позвонили из больницы. Да, ночью. Остановка сердца. Приезжайте, забирайте.

— Шо ты такой счастливый? — глядела на него Сарка, быстро расчесываясь у зеркала.

— Сон добрый бачив, — сказал он.

И не дожидаясь, когда она кончит вошкаться со своими волосами, повалил ее на пол. Зверь, прыгавший в нем от радости, требовал себе выхода.

Он неожиданно полюбил внуков. Римма в Ташкенте вышла за своего Гуральника, Марк в Москве женился на русской, которая на свадьбе оказалась по отцу Гинзбург. Василий снова махнул рукой. Он уже смирился, что его казацкое семя упало на эту хлипкую, но живучую почву; сам же туда его и бросил. А когда внуки пошли, то и об этом думать перестал. И на себе их катал, и протез им свой показывал и гладить разрешал, и с медалью той, «За отвагу», поиграть. Марк привозил своих двоих из Москвы на лето, на фрукты; а Римкины двое, потом четверо, тут, под рукой всегда были. Прибежит: «Пап, можно моих к вам?» «Тащи». Недалеко жили.

После землетрясения их снесли и квартиру дали на Чилонзаре, ему как инвалиду — на первом этаже. Телевизор купили.

Только Сарка... Внешне всё в порядке, если чужим глазом и со стороны. И шить продолжала, хотя уже на зрение жалобы пошли, и что руки дрожат. Внуками занималась, шить учила, Шевченко наизусть и «Грае море зелене» им пела. И вообще, книгами увлеклась, читала их, его пыталась притянуть. А бывали такие дни, что вот встанет, начнет стряпать, а потом вдруг уйдет от плиты и звонит Римме: «Римма, приди, доготовь, не могу...» А сама в темноте запрется. Это еще до того, как диагноз ей поставили.

Или еще вот поехала на кладбище, на Боткинское, кого-то из подруг ее хоронили. Что уж там было или солнце ей напекло, но вот зашла в кладбищенскую церковь и всё, нет ее, потеряла. Римма звонит: где мама? Заказчицы с ума сходят... А Сарка в церкви стоит, плачет. И крестилась там. Римма ей так и сказала: «Мама, ты с ума сошла?» По-доброму, конечно.

А Василий промолчал. Он уже о диагнозе знал. Дети чуть позже узнали.

Это, кстати, ускорило всё. Там медицина, там спасут. Но главное, конечно, не Сарка и ее диагноз; это уже так, гарнир. Просто зачесалось всем. Марк заводилой был; он как физик туда рвался — зажимали его тут. И Лена его, которая по отцу Гинзбург, тоже старалась. Римму сагитировали: подумай о детях, там у них будет и то, и сё, а здесь чего?.. Так что Саркина опухоль в общую копилку пошла. Да и так ясно: что им тут, двум старикам, без детей-внуков? Под семьдесят уже обоим.

Сарка, кстати, не рвалась туда, на родину предков.

— Какая она мне родина? Тут моя родина, тут умру.

— Да, мама, и очень скоро, — вставляла Римма.

Язык у нее был такой же колючий, как у Сарки в молодости.

— Здесь тоже есть медицина, — говорила Сарка.

Тут уже раздавался смех Риммино второго мужа, врача-реаниматора... Разговоры были долгие, шумные и бессмысленные. Сарка повоевала немного и сдалась. Думала, Василий ее поддержит, скажет свое казачье «нет». Но Василий... он-то как раз был готов куда угодно. Куда угодно из этой страны, где до сих пор просыпался ночью под сырым и холодным от страха одеялом. Израиль? Да хоть Израиль, всё лучше. Да и из разговоров он ухватил, что Израиль — не конечная станция, в планах — Америка или Канада, это его еще больше устраивало, только виду не подал. Брал кого-то из внуков и шел на прогулку.

А Сарка по ночам молилась, стала теперь по ночам молиться. Иногда засыпал под это, иногда приходилось голову подушкой... Но это и через подушку проникало.

Они жили в Назарете уже второй год.

Что сказать? Питание было, конечно, первый сорт. Медицина. Сарке почти сразу сделали операцию, он ждал в больничном дворе, слушал вокруг чужую речь и пытался согреть ладони. Нет, удачно все прошло. Удачно...

Повозили их по стране, показывали то-сё. Стену Плача эту. К морю возили. Отметился в нем, поплавал.

И страх прежний из него ушел. Только без страха совсем тяжело стало. Привык, видать, с этим страхом жить, как с протезом. А страх ушел, пустота от него осталась. Такая пустота, что хоть головой о стену, каждая стена ему стеной плача стала. Только самого плача не было ведь; как когда-то ненависть, так теперь пустоту эту и слабость в себе держал. Протез, кстати, ему новый тут изготовили, удобный. Гопака плясать можно.

Сарка чувствовала, глядела ему иногда в глаза. Даже дети чувствовали, хотя все в своих проблемах были. Крепкий, здоровый еще, водой обливается, а глаза пустые. Точно жизнь из них кто-то через соломинку высосал.

Отметили им дети пятьдесят лет семейной жизни, наготовили разных всячин. Стали спрашивать за столом, как они познакомились, как любовь произошла. Сарка насочиняла им что-то, язык у нее всегда с фантазией был. А он молчал.

Одному подарку только порадовался, дерябу ему подарили. «Тр-тр...» Жизнь живее стала, только ненадолго; снова пустота, особенно ночами. Курит в плетеном кресле на веранде, из комнаты Сарка свою молитву плачет, деряба потыркивает. Открытка на стене — «Привет из Святой Земли».

Ну и вот. Еще одну экскурсию решили им сделать. Он не хотел, устал уже от экскурсий и от страны этой. Сарка вытянула: поедem, освежимся, все люди, как люди, и экскурсии, и иврит даже учат, одни мы, как в норе, заперлись... Обычная ее песня.

Поехали.

Марк за рулем, внуков парочка и они с Саркой. Дети трещат, недавний свой Пурим обсуждают. Прибыли в Иерусалим. Сарка побежала сразу в Храм Гроба Господня, а потом уже эта экскурсия...

В Яд ва-Шем их повезли. В музей Яд ва-Шем.

Название это ничего ему не говорило, а то сразу бы «нет». Посидел бы перед музеем на лавочке, воздухом подышал, пока бы они там по своему музею лазали. Но он не знал. А про что этот музей, его не предупредили.

Ладно. Что он, музей не видел? И про Холокост поглядит, любопытно даже стало. Злое такое любопытство разгорелось в нем, хотя сразу уйти надо было. Выйти и сесть на скамейку, а они пусть глядят на эти фотографии.

Только снова к нему этот страх вернулся, живой страх, он даже двигаться быстрее стал, дышать. Точно сила его какая гнала, с этой экскурсией, и заставляла с жадностью глядеть на каждую фотографию...

Пока, наконец, не увидел себя. Ну да, себя.

Он стоял, в немецкой форме, возле рва. Что творилось во рве, неважно. Снимок был любительский и увеличенный, но себя он узнал. Очень хорошо узнал. А потом к фотографии подошла Сарка, почти вплотную, и медленно прикрыла рот ладонью.

Кто-то спросил экскурсовода про нацистских преступников, оставшихся в живых. «Поиски продолжаются», — громко сказал экскурсовод. И что недавно одного из карателей нашли в Аргентине... или Бразилии... Василий уже не слушал. Он глядел на Сарку. А Сарка глядела на фотографию, боясь повернуть к нему окоченевшую шею.

Марк отвез их и притихших детей обратно; дети на полпути снова ожили и стали обсуждать Пурим. А они с Саркой молчали. Марк тоже почти ничего не говорил. Ругал себя, наверное, что повез стариков в такой музей. Жил он не в Назарете, а поблизости, в Афуле. В этой стране всё поблизости.

И наступила тьма. Сарка закончила свою молитву; он слышал, как она зашла в туалет, спустила воду, повозилась над раковиной.

Загасив сигарету, он поднялся с плетеного кресла и вернулся в комнату.

Сарка еще не спала, она сидела на кровати в белой ночной рубашке. Волосы ее были распущены.

Он подошел к ней и медленно поднял. Он сжимал ее, целовал ее щеки, лоб, губы, слабую шею, снова губы. Он вжимал ее в себя, гладил, а она молчала и задыхалась. Так продолжалось долго.

Пора. Он быстро сжал пальцы.

Потом он осторожно опустил ее на кровать. Подумав, поднял туда ее ноги в пушистых тапках. Теперь она вся лежала на кровати, тихая, неподвижная и безопасная.

Он сделал еще несколько шагов, достал приготовленное заранее и быстро проглотил, закашлявшись. Он хотел лечь рядом с Саркой, но, не дойдя до кровати, упал с шумом на пол.

Стало совсем тихо. Только деряба, очнувшись и поклевав немного корма, тыркнул пару раз. И тоже замолк.

Заир Асим

Место, уставшее быть временем

* * *

У кофе привкус прошлого, сгоревшего дотла.
У воды — настоящего, отсутствие вкуса.
Прекрасно дерево стола, родное на ощупь.
Неповторимые узоры среза.
Забвение и есть любовь?
Жизнь расплывается в груди,
как большое облако.
От невозможности стоять.
Вижу изнанку знания,
смотрю в его наготу,
в дикую жажду цветка,
в структуру мгновения.
Покорность просторнее воли,
сильнее силы, слаще страсти.

* * *

Когда достигаешь предельного одиночества,
не зависящего от людей,
от их близости, радости, обид,
вневременного отчуждения,
дистанции, у которой нет меры,
нет направления, нет возврата,
смотришь в окно — окно смотрит в тебя.
Как вдох — выдох.
Видишь себя снаружи,
словно покидая.

Кладбище

В детстве, когда приезжали на кладбище,
я смотрел на лицо папы
и воспринимал всё через его выражение.
Позже я стоял над могилой и думал,
что там происходит с телом.
Остались глаза, выпали волосы,
истлела одежда.
Теперь мне это известно.
Время уничтожает все символы.
От полумесяца остался клык.
Мужчина, забывший о смерти,
как путник потерявший дорогу.
Земля холма, где лежит бабушка,
похожа на её последнее лицо.
Прекрасен узор сухой,
потрескавшейся почвы.

* * *

Тело помнит страх смерти, страх жизни,
тавтологию воздуха, исступление глаголов действия.
Земля тела взрывает свой покой,
чтобы место, уставшее быть временем,
плодоносило, всеядно пылало, росло.
Блеск стекла, закругленный дыханием,
вес прозрачности выскальзывает из рук.
Зрение горит городом.
Я вижу это видение,
обступившее со всех сторон,
геометрический шум линий, цветов,
тепла, локтей, закрытых глаз.
Зачем движению русло, любви тело,
голосу речь, смерти рождение?
Скользящее увиливание от высоты присутствия,
в которую не верит падение.

* * *

Рад оставаться здесь,
в месте, откуда видно,
как всё уходит вдаль
шумом слепой воды.
Прохлада моя темна.
Вижу, как вдалеке
гонятся за водой
люди других людей.
Тихо поёт огонь.
Медленный, как часы.

Годы, слова, ничто.
Облако головы.
Быть на вершине дня
ветреной широтой.
Шепчет дождём листва
детский сон воробья.

* * *

О, облака, плывущие над
сегодняшним прошлым,
смотрю вам вслед,
чтоб видеть себя.
Вновь торжество лета,
лёгкий воздух и сад,
обновлённый и тот же,
радостная листва.
Здесь покинут голос.
Смотрю зрению вслед.
Вместе — бесконечность,
врозь — да или нет.

Виктор Чигир

Полуденный душ

Рассказ

1

Суетливо, как подожженный, сдирая с себя одежду, он швырял ее, незримо полыхающую, за спину, на диван, и диван потихоньку занимался, потрескивая и шипя, а он, воюя с непослушной молнией на джинсах, напряженно пялился в сторону ванной.

Дверь ванной была раскрыта настежь, там горел свет, и у стиралки раздевалась она. В отличие от него, делала она это спокойно, даже как-то нехотя, с кощунственным, особенно сейчас, хладнокровием, хотя всего лишь горсть минут назад жаловалась на всю улицу на жару и о душе упоминала, как о встрече с любимым. Потная беловатая кожа ее посверкивала, вспыхивая кое-где яркими бесформенными пятнами, как бы жиденькими солнечными зайчиками, кое-где просто искрилась, и создавалось впечатление, будто там отражается что-то.

Возясь со штаниной, мертвой хваткой вцепившейся в него, он силился разглядеть ее всю, целиком, как картину, где вместо благородного багета — простая дверная коробка. Но взгляд постоянно останавливался на чем-то одном, иногда совершенно незначительном и даже неинтересном сейчас, цеплялся за это, утопал в этом, и он словно терял власть над собой: грудь, линия бедра, ухо со сросшейся мочкой, попка, родинка у лопатки, острая коленка, прядь, приставшая к потному лбу, — все существовало как бы отдельно друг от друга, и все соперничало друг с другом за его внимание; от мысли-догадки, что именно ЗА ЕГО внимание, на плечи раз за разом обрушивалась волна такой сумасшедшей детской благодарности, что дух перехватывало.

А она все раздевалась — спокойно и торжественно. Движения ее уже казались движениями восточного заклинателя: она мягко, но уверенно, со знанием, данным природой, как опасную кобру, обрабатывала его неслышной мелодией своего тела, исходившей от нее волнами, подобно жару от печи, а он молча и готовно включался в эту древнейшую игру, до конца не понимая да и не желая понимать ее негласных правил или ломать голову над ее смыслом. Начата она далеко не нами, не на нас она и закончится, а значит, и ошибок быть не может, все учтено, а что вдруг не учтено, то неизбежно учтется — и сделается таким образом обязательным элементом этой игры.

Чигир Виктор Владимирович родился в 1988 году. По профессии — живописец. Участник нескольких Форумов молодых писателей России, стран СНГ и Зарубежья. Печатался в журналах «Урал», «Октябрь», «Дарьял» и др. Автор книги «Часы затмения» (2019). Живет во Владикавказе.

Дебютировал в «Дружбе народов» первой частью романа «Утоление жажды» (2019, № 2).

Вот как он это видел. Или, вернее, так ему хотелось это видеть, и он почти убедил себя, что так оно на самом деле и есть. И он даже не ухмыльнулся и не погрозил себе мысленно пальцем, как делал всякий раз, когда на него накатывало подобного рода умятование.

Наконец он стянул с себя последнее и торопливо бросил за спину. Противу ожиданий, это не принесло и толики облегчения. Наоборот — все вдруг по-хорошему ухудшилось, ставши тягостнее, томнее, невыносимее, как сама жизнь. Он задышал глубоко и часто, точно перед дракой, и сейчас же, опомнившись, изумился самому себе, своей наивности, но почему-то не стал вдаваться в это. Он как-то сразу и навсегда уяснил, что лучше и легче — не думать вовсе. Лучше и легче отогнать все лишнее и просто смаковать каждый миг, любоваться каждой гранью, каждым переливом чувств, достававшихся сейчас практически задарма. И он безо всякого, кажется, насилия над собой отмел это все, и ему действительно сделалось как-то по-новому — не легче и не лучше, увы, но очень близко к этому, ближе, чем было секундой до.

Диван позади уже полыхал вовсю. Он ощущал жгучие языки, жадно лизавшие спину, но почти не обращал на это внимания, и если бы она только повернула голову, то увидела бы черный сухощавый силуэт, напряженно застывший перед сплошной стеной огня. Какой-то частью себя он верил в этот образ истово, как дитя, убежденное в существовании подкроватного чудища, и, наверное поэтому, некоторое время стоял дурак дураком, ожидая, когда она все же повернется и увидит все сама. «Ведь это всё ты, ты, — твердил он ей молча. — На твоей это совести, только на твоей». Но она так и не повернулась. Тогда он, легко простивши ее за это, пошел, почти побежал к ней, пружинисто отталкиваясь от пола, и ламинат липко запотрескивал под ним, предупреждая ее о его приближении.

Внизу очень мешало: все там болталось грузно, смешно и нелепо, и было даже немного больно от какой-то непривычной стыдной тесноты, словно тот, кто проектировал его тело, допустил в свое время роковую ошибку, которая обнаружила себя лишь сейчас, в самый что ни на есть неподходящий момент. Но вот он переступил порог ванной, ощутивши разгоряченными ступнями холод кафеля, и тут же, как по мановению, забыл про тесноту. Вернее, понял, как понимал это каждый раз, со всеми другими женщинами, что так оно, наверное, и задумано, что теснота необходима, что она неотъемлемая часть и без нее было бы совсем не то и не так.

Сделавши последний суматошливый шаг, он потянулся растопыренными пальцами, грудью, животом, губами, всем-всем, что у него было, — соприкоснулся с нею, и не умом даже, а как бы одной только наэлектризованной до предела плотью ощутил всю силу ее ожидания. Она тоже ждала и тоже желала. Желание это было совершенно иной природы, нежели его, — более тонкое, более неуловимое, совсем нездешнее, не земное, лунное какое-то, или даже венерианское. И чувствовалась в этом желании робенькая девчачья доверчивость, вдвойне трогательная и нелепая оттого, что на самом деле вел игру далеко не он. И не может того быть, ни в этом варианте Вселенной, ни в каком другом, чтобы она не понимала этого так же ясно, как и он.

Потом тела их вдруг пропали. Остались одни губы, которыми они долго и вдумчиво целовались, обмениваясь чем-то, что не стоит облекать ни в мысли, ни в слова. Мир, казалось, сузился в пространство, помещавшееся меж двух ладоней, и там, в самой середине, будто сдвоенное зернышко, нежились они — сначала в виде зависших в гулкой пустоте губ, а после, мало-помалу обрастая плотью, — в виде себя самих, только не прежних, а улучшенных — помолодевших, покрасивевших, забывших прошлое, не подозревающих о существовании будущего, открытых всему и вся. Ладони, прятавшие их, разрастались одновременно с ними, и находиться внутри было неизъяснимо уютно, но вместе с тем им нет-нет да становилось малость не по себе от мысли, что их запросто могут лишить всего этого. Достаточно банального стука в дверь.

Не размыкаясь, они спешно полезли в ванну. Прodelать это оказалось задачей не из простых, но они, посмеиваясь, справились. Скрежетнула пластиковыми кольцами шторка — кто-то задвинул ее, они так и не поняли, кто: то ли он, то ли она, то ли некто третий, понятливый и тактичный, оставшийся по ту сторону матовой белой ткани. Некоторое время они продолжали целоваться, ненасытно ощупывая друг друга, где только руки дотянутся. Потом она не без усилия отстранилась. Он не понял — зачем, и даже вознамерился было спросить: в чем дело? Но она уже отвернулась, пустила воду из крана и стала колдовать над нею, добываясь нужной температуры. Он тем временем держал ее обеими руками за талию, чувствуя, как теснота внизу обостряется до такой степени, что все там начинает вибрировать от чудовищного напряжения. Это было и приятно и неприятно одновременно и требовало немедленных действий. Ему вдруг открылась какая-то великая тайна мироздания, но, одержимый совершенно иным, он посчитал ее пустяком и благополучно забыл.

Тут из лейки, закрепленной на стене, полилось. Вокруг напористо зашипело и точно подернулось ломким прозрачным бисером. Жар сгинул, пришла долгожданная прохлада. Оба в голос вздохнули, после чего ее лицо, полускрытое падающими струями, снова оказалось перед его лицом, и ему снова пришлось целоваться, ощущая своей грудью ее грудь, а животом — ее живот. Руки снова заощупывали все, до чего могли дотянуться, а внизу, где вибрировало, все вдруг само собой устроилось, и напряжение, мгновение назад изводившее его, принялось каким-то непонятным образом переходить из его плоти в ее плоть. Они охотно, как честные поделщики, распределяли все поровну и оба оставались довольными.

— Хочешь тут? — спросила она, едва оторвав от него губы.

— Хочу, — отозвался он.

Они распаленно завопились, пытаясь сделать так, чтобы удобство настигло обоим. В конце концов он притиснул ее, поддерживая за попку, к стене. Она в свою очередь прижалась щекой к его щеке, задышала прерывисто в самое ухо и все сдавливала и сдавливала его: сверху — руками, снизу — бедрами. Это так и подстегивало... Но как бы замечательно все ни выглядело, ничего, кроме бессмысленной возни, у него не выходило. Струи, падавшие сверху, были теперь на чьей-то другой стороне, не его. Прохлада прохладой, а от воды она стала чересчур скользкой, и он всерьез опасался, что она выскочит белым обмылком у него из ладоней и досадно, с последствиями, ушибется. А еще днище ванны оказалось слишком узким — совершенно некуда было по-человечески упереться, и держать ее в таком положении с каждой секундой делалось все неудобней. Потому он лишь топтался у порожка, не в силах продвинуться дальше, и материл себя почему зря. Тут вдобавок ко всему из глубин памяти всплыло хармсовское: «Что за ч-ч-чёрт!» — и он едва не расхохотался, еле сдержал себя.

Это мигом изменило все. Не оставляя попыток миновать треклятый порожек, он уже смотрел на ситуацию под совершенно иным углом — с легким, родом из одесских анекдотов, юморком. И он отнюдь не заговаривал себя таким замысловатым душеспасительным образом. Все у него там, внизу, было будь здоров, грех жаловаться. Просто именно вот так — не получалось. Оттого и сокрушаться было как-то не к лицу. Все возместится, обещал он себе. Рано или поздно — непременно.

— Ладно, — сказала она, будто сжалась. — Давай на диване продолжим. А сейчас — просто помоемся. Умгу?

Он кивнул и отпустил ее. Можно было, конечно, предложить еще как-нибудь, и все бы обязательно удалось. Но он не захотел брать на себя роль просящего или, того хуже, доказывающего что-то. Нет, уж лучше и впрямь на диване. Чистыми на чистом. И чтоб сквознячок из лоджии.

Она повернулась к нему спиной и, пошарив на полке, стала мылить мочалку. Он поглядел на это через ее плечо, после чего шепотом развернул лицом к себе и все забрал. Она не возражала, ей вроде даже стало любопытно, что он задумал. А он

всего-навсего принялся намыливать мочалку сам. Выходило так старательно, что ей, наверное, показалось, будто он собирается высечь огонь. И точно: она вдруг смешливо фыркнула, а он, как бы не услышав, все намыливал и намыливал, и весело ему ни капельки не было. Все одесское куда-то подевалось. И из Хармса ничего не всплывало.

В какой-то момент он поднял лицо и увидел, что глядит она не на его руки, как ожидалось, а ниже, туда, где все до сих пор пребывало в относительно боевом положении, на полувзводе, так сказать. Почувствовав его взгляд, она сейчас же перестала туда смотреть — покосилась сначала влево, потом подняла глаза до его груди, потом, помешкав, чуть выше, задержалась где-то в области губ, а поймав глазами его глаза, спросила с улыбкой:

— Ты вообще сможешь?

— Что? — не понял он.

— Помыться.

— Я как бы тебя собрался...

— А... — Кажется, ему удалось удивить ее; впрочем, длилось это какое-то мгновение. — Ну и? Сможешь?

Он двинул плечом.

— А что остается?

— Действительно... — Улыбка ее сделалась на четверть ватта ярче — совсем, считай, неощутимо, но он подметил. — Смотри тогда, — добавила она с шутливым предостережением, — не перетрудишься. Сбереги себя для попозже.

Он наигранно вздохнул.

— Тут не беречься, тут терпеть надо.

— О! — согласилась она. — Как и мне.

Эти слова опять пробудили невыносимое, на грани физической муки, напряжение внизу живота. Он издал долгий, неслышимый миру вопль и, чтобы отвлечься, принялся усердно натирать ей мочалкой грудь и плечи. Это только ухудшило дело: и десяти секунд не оттикало — он полез целоваться. Как с цепи сорвался. Но она и тут не возражала.

Он сильно давил, едва не жевал ее губы. Были моменты, ему казалось: еще немного, и он вывернет себе к чертям собачьим челюсть. Падавшие сверху струи вновь были на его стороне — добавляли остроты. Когда в легких вдруг кончился воздух, он порывисто отстранялся от нее и, как скульптор, оценивающе вглядывался в то, что получается. Губы ее уже налились спелым вишневым цветом и вроде даже припухли, по крайней мере, нижняя точно. Узенькие ручейки, сбегая по лицу, будто нарочно заворачивали к уголкам губ, задерживались там на какое-то неуловимое мгновение и спускались дальше. Всласть налюбовавшись, он жадно приникал к ней опять. И так продолжалось бы, наверное, очень долго, если бы она вдруг не сказала, прикрыв его рот пальцами:

— Ну все, все. Мой или я сама помоюсь.

Он без слов отшагнул и принялся натирать ее мочалкой, неспешно и тщательно, как самого себя. Плечи, груди, живот, бока. Кожа ее, местами спрятанная под мыльной пенкой, неравномерно розовела и тут же на глазах высветлялась, становясь белее прежнего. Она следила за его движениями внимательно, с каким-то подозрительным интересом. Время от времени поднимала глаза, всматривалась в лицо. Ей определенно было по душе, что он ее моет, но почему он это делает, она, конечно, не понимала. Вернее, понимала, но не до конца. И хорошо, потому что он и сам не все понимал.

Пришел черед рук. Он поднял ей правую и, стараясь не вызвать щекотки, намылил подмышку: сверху вниз и снизу вверх, раз и еще раз. Удивительно, но она даже не шелохнулась — как смотрела, так и продолжала. «Ну-ну», — зачем-то запоминая, подумал он и потянул руку к себе так, что ее ладонь оказалась у него на плече. По этой

руке сейчас же забарабанили жесткие струи и, разбиваясь насмерть, забрызгали во все углы, даже до глаз добрались. Он мотнул носом, сощурился и стал мылить ей плечо и далее вниз, понемногу подбираясь к запястью, — тоненькому, хрупенькому, как и полагается.

Она все глядела, но уже не с интересом, а как-то испытующе. Это вынуждало относиться к делу более чем всерьез. Впрочем, по-другому у него вряд ли получилось бы. Слишком далеко все зашло, слишком поважнело. Потому и воспринималось теперь еще одной проверкой. В чем конкретно она заключается, эта проверка, он не знал и разбираться не торопился. Но что это именно она, родимая, внеочередная, долгожданная, четырежды клятая, сомнений не возникало.

Аккуратно снявши невесомую руку со своего плеча, он повернул ее кверху ладонью и принялся намыливать там. Он старался действовать плавно, но с нажимом — раз за разом проводил мочалкой сверху вниз, от белых бугорочков в основании ладони к тонким ухоженным пальцам, и когда мочалка завершала движение и соскальзывала, раздавался влажный такой прищелк, сопровождавшийся брызгами, а пальцы дергались. Это не могло устраивать. Он отложил мыло на полку и освободившейся рукой взялся за ее ладонь снизу, с тыльной стороны. Попробовал мылить так и сразу обнаружил, что вот оно — решение, ни тебе брызг, ни шелканья. «Очень хорошо, — подумал он тогда. — Прямо замечательно. Всегда бы так». Между делом он даже смог порассматривать линии, орнаментировавшие ее ладонь. Обозначавшая жизнь оказалась надломлена в самом начале, а та, что отвечала за судьбу, как и у всех в ее возрасте, едва-едва вырисовывалась. Какое-то время он бестолково глядел на этот призрачный чирк, силясь выдавить из себя что-нибудь глубокомысленное. Потом, так ничего и не придумав, выпустил руку и мягко попросил:

— Дай другую.

Она послушно подняла левую, показав подмышку. Он потянулся за мылом, насвежо натер мочалку, и все повторилось точь-в-точь как с правой рукой. Только живет и без неумелостей. Теперь, когда было надо, она сама клала руку ему на плечо и так же, не дожидаясь подсказки, снимала ее и показывала раскрытую ладонь.

Он старался больше не поднимать глаз. Сейчас ей лучше было не видеть их вовсе. Что-то в них появилось, проступило из самого нутра. Что-то сугубо его, личное, оголенное до полной незащитности. И он не то чтобы боялся, что она разглядит это. Он не в шутку опасался, что, разглядевши, она не оценит увиденное по достоинству, сочтет какой-нибудь ерундовиной. А если копнуть еще глубже, до самого что ни на есть дна, то он был убежден в том, что ничегошеньки она не разглядит — и тем самым просто не хотел разочаровываться в ней. Вернее, в себе, в своем выборе относительно нее.

Закончивши мыть ей руки, он опустил на корточки и взялся за самое интересное. Мылить там нужно было осторожнее всего. Что он и проделывал, по-юношески бахвалясь перед самим собой: гляди, мол, чем ты занят, а ведь были времена, когда и сиськи не щупал, — мечтал только, исходя любовным соком. Впрочем, все это думалось не всерьез и мельком. А всерьез он лишь мылил, сосредоточенно выводя на нежной гладкой коже какую-то недоступную взору тайнопись, значения которой не понимал, но ясно ощущал за ней кошмарную головокружительную глубину, уходящую так далеко, в такую тьму микромира, что оторопь брала.

Он уже не мог остановиться, так поглотило его это занятие. Она, застыв, молчала и, наверное, просто смотрела на него сверху вниз. Шипела, надрываясь, лейка. Струи безостановочно лупили по шторке, по дну ванны, по кафельной стене, соприкоснувшись с кожей, собирались в мелкие ручейки и сбегали вниз, подхватывая по пути клочья пенки, а он все водил и водил туда-сюда мочалкой и ничего вокруг не замечал. Справа налево, плавный заворот и наискосок вверх к пупку. Затем строго вниз, но не до конца, на полпути чуть вбок и сразу же — в мягкий тесный просвет между бедерья.

Она вдруг подала голос:

— Ты же знаешь, там нельзя.

Он остановился, поднял глаза. Она пояснила:

— Там само очистится. У нас так устроено.

— Знаю, — отозвался он. — Я рядышком.

— И рядышком не надо. Мы там руками. Мочалкой царапнуть можешь.

Он моргнул.

— Хорошо, не буду. Ноги хотя бы можно?

— Ноги можно.

И он стал мылить ей ноги — одной рукой тер мочалкой, другой, якобы для удобства, придерживал сзади, хотя на самом деле просто пользовался случаем. Ему нравилось чувствовать подладонью податливую гладкую плоть со всеми ее выпуклостями и извивами. И вообще, если бы он вдруг этого не сделал, то потом бы сильно жалел. Что ни говори, а это его мужской долг. Как губы ее созданы для поцелуев, так ноги созданы для нежных прикосновений, поглаживаний и пощупываний. Впрочем, не только ноги. Грудь еще. И попка тоже. Кстати, где она там? Ага, на месте. Да какая мягкая, да какая призывная. Сама, считай, в руку просится.

— Алё! — сказала она со смешком. — Условились вроде потерпеть.

— Условились, да, — бормотнул он капризным тоном.

— И все равно продолжаешь?

— И все равно продолжаю.

Конечно, он притворялся. Она, скорее всего, понимала это прекрасно. Но вместе с тем ей было приятно обманываться, поэтому некоторое время она великодушно позволяла ему делать то, что он делал. Потом все же двинула бедром и сказала решительно:

— Ну нет. На диване. Здесь я совсем размякну.

Он поднял глаза.

— Думаешь?

— Уверена.

— Значит, диван?

— Умгу. Там нас ждет мно-о-ого обретений.

Он заинтересованно выгнул бровь.

— Откуда?

— Не скажу.

— Ну скажи.

— Не-а. Сам думай. А я — всё.

Она изящно крутнулась под струями, смывая остатки пены, сполоснула рукой там, где ему запретила, после чего показала глазами: дай, мол, пройти. Он встал и посторонился. Она осторожно, стараясь не задеть, протиснулась мимо в противоположный конец ванны и выскользнула за шторку. Он и пикнуть не успел. А когда опомнился, почувствовал себя натурально обобраным.

Оказывается, все это время, вдвоем с ней, в этом крохотном пространстве он был почти счастлив. А теперь все исчезло. Словно из груди что-то вынули. И пытаюсь хоть как-то, хоть на миг вернуться в то состояние почти счастья, он стал напряженно прислушиваться. Однако кругом шипело так акустично, что невозможно было разобрать, ушла она или все еще здесь, рядом. Похоже, ушла. Закуталась в полотенце — и прости-поощай.

Он расстроено поглядел под ноги. Вода, рябась и посверкивая, утягивалась в сливное отверстие. Вконец размокнувший лейкопластырь на мизинце держался на честном слове. Надо б сменить, вскользь подумал он. Затем выжал и бросил мочалку обратно на полку и принялся энергично, с каким-то даже ожесточением, натирать себя мылом. Заодно он пытался вспомнить, откуда она взяла это выражение. «Там нас

ждет много обретений». Что-то мучительно знакомое. Не нашенское точно. Западное. Английское, пожалуй... Грэм Грин? Пристли?.. Ч-черт!

Он так и не вспомнил, чьи это слова. Но пока гадал, пришел к мысли, что...

2

Ну все, хватит! — сказал я себе и убрал руки с нагретой клавиатуры. И так ясно, к какой мысли этот бедолага притопап. А если даже и нет — плевать. Не могу больше. Не могу, и все: выжат.

Голова тяжело гудела, шею ломило, изо рта разило, а прямо перед глазами, как дурное наваждение, мертво зависла беспорядочная россыпь букв. Какие-то из них висели ближе, какие-то дальше. Некоторые были черны как смоль, другие полупрозрачны, как вдовья вуаль. Кое-где они налезли друг на друга, перепутались и превратились в растрепанные черные кубла. Кое-где, наоборот, необъяснимо раздались в стороны, образовав места жалящей белой пустоты.

Белизны было много.

Где-то за буквами, в неуловимой дали, мерцал чистым полюсным светом широкий прямоугольник с размытыми границами, и так и шибал по глазам. Терпеть это мерцание не было никаких сил, но и деться от него не получалось. Сомкнешь веки — все равно светит. И буквы — четким таким силуэтом, как остаточное изображение. Собственно, это оно, наверное, и было. У кого-то от любования молниями выходит, а у меня, дурака, — от писанины. Во жизнь!

Я вдруг с изумлением понял, что при желании сумею сложить из этих чертовых букв слова, а из слов — предложения. И возможно, мне даже понравится результат, и я, как обычно, скажу себе с наигранным удивлением: ай да ты! Но сейчас я больше не мог. Тошнило меня от этого всего. Как поц, ей-богу! Нашел, на что тратить цветы своей селезенки.

Я накрепко закрыл лицо ладонями и некоторое время сидел так, с натугой дыша сквозь узенькие щели между пальцев. Белизна перед глазами понемногу тускнела, буквы стали терять четкость. Вскоре полегчало настолько, что я рискнул снова поглядеть на мир. Опустил руки, и первое, на чем сфокусировался, оказались две густые лужицы пота, тускло поблескивавшие на черном теле ноутбука. От ладоней остались. Трудовой пот, можно сказать. Смотреть на это дело было как-то тягостно, и я поспешил перевести взгляд на часы в правом нижнем углу дисплея. Лучше бы я этого не делал.

Пять семнадцать утра! Это что ж выходит? Раз, два, три... Почти шесть часов за работой. Без перекуров и чаевничаний. На голом энтузиазме. Ну и ну! Я скопился вправо и вынужден был нуинукнуть снова.

В окне вовсю светало. По-акварельному чистое небо молча обещало в точности повторить вчерашний день — знойный, душный, человеконенавистнический. Если так, то, может, мы с Иришкой и душ повторим? — мелькнуло в голове. Помилуемся всласть. После еще раз ее помою. Закреплю, тэк скэть, давешний опыт. Я лично обеими руками «за». И ногами тоже... Но это все ближе к обеду. А сейчас — давай-ка ты выключишь эту перегревшуюся бандуру, двинешь в комнату и поспишь хоть пару часиков. Устал ведь, как собака. Все затекло. И башка не меньше бандуры перегрелась. Вон — аж пульсирует.

В башке и впрямь пульсировало — слева, сразу за виском.

Скривившись, я поелозил на стуле. Вытянул ноги, шевельнул ступнями. Сделалось только хуже. Вернее, очевиднее. Да-а, — подумал я невесело. — Давненько так не засиживался. Со студенчества, считай, — покамест не дотумкал, насколько все же неблагоприятное это занятие — сидеть неподвижно часами и расставлять слова в определенном порядке. И сколько, интересно, накаталось?

Сошурившись, я посмотрел на счетчик и чуть не присвистнул. Три тысячи слов! Неслабо, брат сочинитель, далеко неслабо. А если совсем напрямки, то очень хорошо, на твердую четверочку. Ведь несмотря на то, что это чистой воды эротика и каждый второй абзац так и вопиет о редактуре, — получилась вещь. И глаз к строке липнет, и картинка в меру детальная. А главное, чувствуешь: основательно сбито. Прочно, как советский табурет, на котором и посидеть можно, и постоять, и поплясать, и орехи поколоть. И голову, если что, запросто им проломишь. А он как был табуретом, так табуретом и останется, еще внуки попользуются.

Вот какой текст я накатал. Несмотря на все «на».

Что же касается низкожанровости, так, по слухам, поглощение еды и коитус — наиболее сложные для описания темы. Ибо в первом случае читатель должен реально захотеть есть, а во втором — реально захотеть любиться. Даже не так. В первом случае он должен отложить чтение и побежать к холодильнику, во втором — позвонить партнеру или еще что в этом роде...

Получился у меня сей финт? Я крутнул колесиком вверх и пробежался придирчивыми глазами по самым острым местам. Гм, навряд ли. Но я хотя бы попробовал! — сказал я непонятно кому, точно оправдываясь. На высоту не вышел, да, но и в грязь лицом не ударил. Основательно, прочно — тоже уровень. И вообще, лучшее — враг хорошего...

Хотя кого ты пытаешься надуть? — спросил я себя, неожиданно разоткровенничавшись. Это зарисовка, за-ри-сов-ка. Никому такое не интересно — ни в отношении формы, ни в отношении содержания. Разве что будущим исследователям твоего творчества (Ха, забавный оборот!..) да ярым молодым поклонницам, которых у тебя нет и в ближайшее время, увы, не предвидится. И судьба у сего опуса одна — бесславно сгинуть в архиве: в выдвижном ящике под зеркалом — если у тебя хватит ума распечатать текст на бумаге, либо на флешке — если ума все же не хватит...

А если ты вдруг обнаглеешь настолько, чтобы отправить текст какому-нибудь знакомому редактору, появится в твоей жизни ряд таких вопросиков, которые тебе ну вот совсем ни к чему. И будет тебе не то чтобы неудобно. Будет тебе, брат сочинитель, стыдно. Ибо энтузиазм энтузиазмом, конечно, а многое из важного ты просто не учел. Ни силенок не хватило, ни запала.

Ну, например. Неясна природа их отношений. Что любовники — понятно. Но кто они друг другу вне интимных делишек? Муж с женой? Соседи? Однокашники, случайно сохранившие контакты? Откуда читателю понять, что он — то есть я — прикатил к ней аж из другого города? Как понять, что перед этим мы долго переписывались, а потом почти одновременно пришли к выводу: «так дальше нельзя»? И как это было замечательно — общаться полунамеками, подыскивать такие обороты, когда вроде бы и понятно, но все равно не в лоб, и это необходимо разгадать, как ребус, вычитать промежду строк. В зарисовку такое не всунешь, хоть тресни, и это ее большущий минус...

Или возраст. Ясно, что оба молодые, — не дети, разумеется, но далеко и не пожилые люди. А ведь это всё нюансы, и важные. Ему, к примеру, тридцать два, так же, как мне сейчас. Ей двадцать четыре, как и Иришке. И для меня чрезвычайно важна эта разница в восемь лет. А раз она важна мне, здесь, то должна быть важна и ему, там. Это же очевидно!..

Нет, нет, обязательно нужно вставить — и про возраст, и про то, как на него действуют мысли на сей счет. Пускай попоражается, погордится, почувствует непонятную ответственность перед ней. Всякое такое, вперемешку...

Я снова крутнул колесико, прикидывая, куда бы это втиснуть наиболее безболезненно. Ничего не нашел, даже цыкнул зубом с досады. Но это надо, сказал я себе, точно зарубку делал. Так же, как и про внешность...

Тут я окончательно пал духом.

Внешность... Ведь ни слова о том, какого цвета у нее волосы. Или какой они длины. Да что там волосы! Цвет ее глаз можешь назвать? Я покусал губу, вспоминая. Блин, а действительно! Вроде бы темно-карие. Хотя, может, и нет, не знаю. По крайней мере, точно не зеленоватые. Зеленоватые у меня, я б сразу заприметил схожесть. Вообще, если не помнишь, какого цвета у девушки глаза, значит, с высокой долей вероятности они у нее карие. Это аксиома. Но все равно некрасиво. Вчера же буквально смотрел прямо в них — не мог, что ли, запомнить?

И вот так у тебя везде, по всему тексту.

И про свой внешний вид почти ни словом не обмолвился. Добавил бы вон, что стрижешься под ноль по причине ранних залысин, — уже деталь, уже, считай, видно тебя. И, возможно, не пришлось бы тогда о возрасте распространяться. Одно исходит из другого, то в свою очередь тянет за собой третье. А у тебя? Эх!

Я решительно подвел указатель к значку сохранения, щелкнул по нему и двинул в противоположную сторону до значка «заккрыть». Файл под названием «Документ1» схлопнулся.

— И чтоб больше я тебя не видел, — несерьезно сказал я ему вдогонку, после чего полез в раздел «Пуск», намереваясь выключить ноутбук.

Он долго светил на меня голубым, с узорчиками, фоном, завершая работу, и я как никто понимал его — сам все никак не мог остановить шевеление творческих шестеренок под черепушкой.

Тут дисплей наконец погас, и мир потихоньку стал наваливаться на меня грубой осязаемой предметностью. Кажется, я только сейчас в полной мере осознал происходящее.

Я сидел за маленьким столом на кухне — голый, потный и умаявшийся так, что чувствовал себя избитым. Никакие любовные утехы не смогли бы довести меня до такого состояния. То, что перед глазами больше не висели буквы, бесконечно радовало. И слабая улыбка то и дело трогала губы при мысли, что писать сегодня больше не придется. Думать — сколько угодно! Думать — это легко. Это даже увлекательно. Но писать — увольте! Ибо страшнее муки не изобрести. Фурункулы, наверное, выдавливают с большим удовольствием, нежели я выдавливаю из себя слова. Но оставить их там, в себе, невысказанными, не упорядоченными на бумаге, — еще хуже. Там, внутри, они начинают потихоньку подгнивать, отравляют кровь и со временем напоминают о себе, да так, что жить не хочется. Ходишь потом придавленный и думаешь: по всем фронтам продул, лентяй, бездарь, неудачник, а ведь когда-то подавал надежды. Тьфу!

За ноутбуком, на том конце столешницы, выстроились в шеренгу три бутылки из-под минералки. Что характерно — с высоким содержанием магния. Там же, сбившись в отдельную кучку, виднелись баночки со всевозможной гомеопатической дрянью.

Несмотря на общее, далеко не радужное состояние, я в который раз поразился Иришкиной наивности. В уме не укладывалось, как баба с высшим образованием, знающая два — или даже три?.. — языка, может всерьез относиться к гомеопатии и ни в грош не ставить традиционную медицину. Антибиотиков, видите ли, в ее организме ни разу не было. Так и тянет ляпнуть с красноречивой улыбочкой: «Не было? Ну-ну!» Хотя ничего смешного в этом нет. До сих пор о прививках боюсь ее спросить — вдруг там действительно до того запущено. А дети? Неужели она и детей своих неродившихся тоже откажется прививать? Опасная женщина, что сказать... Впрочем, скорее всего, как и у остальных сторонников этого дела, у нее избирательный подход. Надо же все-таки хотя бы раз в полгода к стоматологу навеститься. Или в женскую консультацию какую-нибудь.

Я в последний раз глянул на ноутбук. Лужицы пота около клавиш совсем испарились, остались лишь волглые отпечатки. Хорошо, что догадался его захватить,

подумалось мельком. Как в воду глядел. А то бы и не написал ничего. Или написал, но уже дома. Получилось бы, наверное, не так. Лучше-хуже — не знаю, но точно не так, не на одном дыхании. Ведь всю ночь мне это спать не давало, точило аж с самого полудня. Собственно, чему ты радуешься? — спросил я себя. — Ни от чего ведь не избавился. Так и точит, иначе бы давно дрых без задних ног.

И хорошо, что не отпускает, решил я, крепко подумавши. Значит, получилось нечто, что трогает душу. Значит, настоящее получилось. Вот бы его еще до ума довести, станет вообще конфеткой...

С этой обнадеживающей мыслью я выбрался из-за стола и, пошлепывая по ламинату, поплелся в комнату.

Не-ет, думалось между тем. Все-таки строг ты к себе. Все-таки не так уж плохо получилось. Вон — и раскавыченные цитаты ухитрился впихнуть. Органично? Еще бы!.. Правда, не уверен, что средний читатель хармсовскую оценит. Это для тебя она очевидная — сразу смешно делается, а вот для какого-нибудь Ивана Кузнецова из-под Кемерово окажется пустым звуком. Еще и разозлится, что вынуждаешь его гуглить. А ведь она, эта цитатка, такая — хрен погуглишь, по-старинке придется выискивать. В библиотеку бегать или там учительнице по литературе набирать. Народ у нас от такого отвык, если вообще привыкал. Очень может быть, что просто не приучен. Словом, не станет никто возиться. Лучше лишний раз в инсту заглянет, полайкает сэндвичи — или что там сейчас в моде? — и все на этом.

Значит, решено. Фаулза оставляю, он там слишком прочно засел, а Хармса — долой. Чтоб не мозолил глаза бедному Ивану Кузнецову из-под Кемерово.

Я завернул в комнату и остановился у разложенного дивана. Голая Иришка, подтянув ноги, спала на боку. К уголку рта у нее набежала слюнка, рядом на подушке темнел подсохнувший след. Скомканная простыня закрывала только живот и бедра. Остальное было как на ладони — белое, гладкое, завлекающее, хоть сейчас нырять.

Я полувсерьез подумал о таком повороте и квели усмехнулся. Во-первых, она вряд ли оценит подобного рода проявление страсти, во-вторых — не вытяну. Часа через три — можно еще попробовать, а сейчас — нет. К таким перегрузкам и космонавтов не готовят.

Я забрался на диван и со всей возможной осторожностью устроился позади Иришки. Она тут же, не просыпаясь, зашевелилась, заотыскивала меня теплой попкой. Я обнял ее свободной рукой и прижал к себе. Успокоенная, она замерла и вскоре тихо засопела. Кажется, даже не заметила моего отсутствия. И хорошо.

Но еще лучше, еще замечательнее то, что у меня все-таки получилось. Да. Мне удалось вдохнуть жизнь в этих двоих. Я смог. В очередной раз. Хоть они и лишены многого, а все равно — живые, дышащие, чувствующие. И они счастливы. Благодаря мне они будут вечно наслаждаться близостью друг друга, и никто не сможет им помешать. Никто не навредит им, не остановит, не объяснит на пальцах, что на самом деле они — всего лишь буквы, графические символы, выстроенные в определенной последовательности. Нет, они будут вечно предаваться любви, вечно сходить друг по другу с ума, вечно будут молоды, радостны, беззаботны. И заключил их в эту волшебную живицу я. Я — их смертный бог, о котором они никогда и не задумаются даже.

Которого играючи переживут.

Иришкина кожа пахла чем-то горьковатым, напоминающим вкус полыни. Волосы же, напротив, были сладки и душисты, и хотелось зарыться в них лицом, как в букет свежесорванных цветов. Что я и сделал; дышать стало не очень-то, но засыпать — в самый раз. И я принялся терпеливо дожидаться, когда сон утянет меня к себе. А мысли все лезли и лезли, и конца им видно не было.

Сколько же всего я не учел. А ведь мог, мог ведь! И жизнь их оказалась бы более полной. И они задумались бы тогда, что не бывает так замечательно, что, возможно,

кто-то над ними все-таки есть. Тот, кто следит за ними как за любимыми детьми, кто бережет их и радуется вместе с ними...

Надо, надо было добавить. Рассказал бы о нем, как о себе. Это же проще некуда, и выдумывать ничего не нужно. Передал бы свои страхи, сомнения, все то дерьмецо, из которого я и состою, — и их маленькое счастье заиграло бы новыми красками, наполнилось бы новыми смыслами. И этот бедолага еще трепетнее стал бы ценить то, что ему дано...

А она? Почему у нее так мало личной жизни? Ведь легко можно было упомянуть ученика, с которым намечался онлайн-урок. У Иришки он случился вчера ближе к вечеру, и она сидела, голенькая, перед ноутбуком с выключенной вебкой и битый час разжевывала туповатому мальчишке с басовитым голосом, где он наделал ошибок в сочинении...

Или количество родинок. У нее же их полно, считать замучаешься. Неужели тот, моющий ее в душе, не мог обратить на это внимание? Я вот обратил. И потрогал. Ту, с горошину, которая у нее под ключицей. И она даже что-то такое сказала по этому поводу. Что-то про декольте и неудачное расположение...

Вообще много чего можно добавить из так называемого «мясца». Ведь у нее и раздражение от эпиляции имеется. В том самом месте. К твоему приезду, между прочим, готовилась. А ты? «Нежная да гладкая», и ничего больше из тебя не выдавилось. А ведь это пошлейший штамп навряд «крепчающего мороза», и в жизни «нежная да гладкая» встречается крайне редко. Но ты об этом, конечно, ни-ни. А почему? Что, она уже и не человек, по-твоему? Не может поболеть кожей? Брат сочинитель, тоже мне... Себе-то лейкопластырь на мизинец не забыл наклеить. И что самое смешное — наврал. А зачем — поди разберись...

И про щекотки наврал, ни с того ни с сего вспомнил я. Знал ведь, еще до душа, что не боится она их совершенно. А это ведь деталь, и более сильная, чем у тебя. Уже потому более сильная, что прямоком из жизни.

Как, например, та, про парк.

Я уже засыпал, поэтому позволил себе свободно думать об этом. Вернее, просто не смог остановиться: воля смякла.

Когда Иришке было шестнадцать, с ней случилась беда. Она возвращалась домой с вечерних занятий, и на полпути, в пустынном парке, ее нагнали двое. Кажется, это были ребята из параллельного класса. Впрочем, она до сих пор не уверена. Они схватили ее, обмотали голову куртками и стащили с тропинки. Там, в зарослях, их ждал еще один. Судя по голосу, какой-то взросляк-пэтэушник. Он приказал этим двум повалить ее и держать. Сам же устроился сверху и довольно быстро сделал все, что намеревался. После чего поднялся и, застегиваясь, сказал подельникам: «Принцип ясен? Дальше сами». Эти двое стали его упрашивать: останься, мол, помоги, — но он, не слушая, удалился. Тогда они перевернули ее на живот, сорвали с головы свои куртки и убежали.

Она рассказала мне это позавчера тихим, спокойным, страшным голосом. И какое-то время я просто молча плакал, а потом так же молча напился до невменяемости. Мне было безмерно стыдно, что я принадлежу к роду людскому. Когда же все более-менее улеглось, я пообещал себе не вспоминать об этом ни при каких обстоятельствах.

И вот вспомнил.

Н-не-е-ет, протянул я с натугой. Такое в рассказ не вставишь. Это как-то и не по-людски уже. Сильно, но — нет...

Собственно, о каком, к свиньям собачьим, рассказе тут речь? — возмущенно поинтересовался я, прекрасно понимая, что прикидываюсь, что всего лишь хочу свернуть куда-нибудь в сторону от того парка и той липкой гадости, которая приключилась с Иришкой. Когда это твоя жалкая зарисовочка, вопрошал я, рассказом

успела заделаться, у? Нетушки, давай-ка называть вещи своими именами и вообще довольствоваться малым. Дашь сегодня Иришке на прочитку — она поулыбается, чмокнет тебя в шнобель, вот и вся плата за труды. Большого не жди. Лучше вон — название тексту придумай. До сих пор ведь безымянный он у тебя.

И я принялся думать над названием, хотя был ближе ко сну, чем минутой ранее. Думалось тягостно, но все-таки думалось.

«Любовники»? М-м-м, слишком сально.

«За шторкой»? Без комментариев. Хотя-а-а-а... Если довести до ума, выйдет, пожалуй, стояще. Отложим.

Дальше, дальше! Противник уже дрогнул!

«Сказка о...» Н-ну пусть будет — «о наготe». «Сказка о наготe». А? Глубоко, согласен. Но из другой оперы, увы.

Так. Давай-ка от печки станцуем. Он ее моет, правильно? Правильно. Ей приятно? Приятно. И ему приятно. А кожа у нее нежная, гладкая, белая... Может, тогда — «Купание белой кобылицы»? По ассоциации с картиной... этого самого... Петрова-Водкина. Ха, да ты остряк, брат сочинитель! Но лучше кончай придуриваться. Не то все это, совсем не то. А надо, чтобы раз — и ни вправо, ни влево.

Может быть, «Душ»? — подумалось неуверенно.

Я покрутил этот вариант и так и сяк.

А что? Ёмко и сердито. И, кажется, в точку. Ведь душ — это центр, вокруг него все и вертится. Не будет душа, не будет и их. Зачем, спрашивается, им лезть в ванну, где из лейки не льет?

Значит, «Душ». По крайней мере, слово это оставляю. Может, позднее добавлю к нему какое-нибудь прилагательное — мелодичности для. А так — пускай. «Какой-то там душ». Неплохо. Не коротко и не длинно. Запоминается. «Читал "Какой-то там душ"?» — «Не-а». — «Ой, обязательно прочти! Это что-то!» — «Что, реально?» — «Ага!»

Я заулыбался сквозь дрему и вдруг вспомнил, как некоторое время назад обозвал себя смертным богом. Что ни говори, а это льстило. И то, что я как бы спал уже, позволяло мне быть легкомысленным и не осознавать этого.

Я стал представлять себя в этой роли — как я, стуча по клавиатуре, бескорыстно одариваю двух моих голубков прошлым и будущим, наполняя их мнимые жизни все большим и большим значением. А потом неожиданно подумал: а ведь, может статься, и меня в данный момент кто-то пишет, какой-нибудь над-автор, — стучит по клавише, а я тут изображаю из себя...

Я будто на стену налетел. Налетел — но не проснулся.

Интересная мысль, подумал я. Настолько интересная, что сразу возникает вопрос: сколько же тогда этот самый над-автор карябал зарисовочку про душ? Вряд ли у него получилось так же быстро, как у меня. Наверное, мучился с неделку, аппетит потерял, а мне велел сообщить, что, мол, за ночь все написалось. А что? Я б на его месте так и поступил — веса бы себе добавил. То бишь таланта...

Хороший мог бы получиться сюжет, подумал я.

Старый как мир, но — хороший, подумал я.

Главное, не забыть о нем по пробуждении, подумал я и наконец уснул.

Во сне вернулись буквы, зависшие в белой пустоте.

Евгений Сологуб

Когда разрушится хижина

Рассказ

Моей жене

1

...Это всегда был маяк. Потухающий свет, выгоревшая фотография, пугающе-мощный всплеск волн, пенящаяся глотка мрака. И всегда — высвеченное раззадоренным сигаретным огоньком усталое лицо смотрящего. И пробуждение казалось летящим окурком. Тревожное стремление вниз. Замкнутое существование внутри маяка. Внутри мысли о маяке.

Третью неделю Ева просыпалась от вездесущего моря, что проникало в телесную купель по всем каналам, обжигало солью, пеленало водорослями, она всплывала с самого морского дна, пытаясь удержаться посреди необъяснимо гнетущей пучины, судорожно хватая, точно счастье, точно меч духовный, плечо Марка и, чувствуя наконец плоть спасения, выныривала из океана-сна.

— Марк! Марк! Ма-а-а-а! — вопит она, проглатывая каменную слюну, сухие водоросли, кашляет, плачет. — Я чувство... чувствовала их. Я опять чувствовала его. Мне было страшно и одиноко, от ледящей воды перехватывало дыхание, но где-то внутри... Кит! Подо мной проплывал кит! Снова, в который раз... Подмигивающий пересвет маяка!

Марк всхрапнул и по-детски рыкнул. Он не слышал ее вопля — полнился гулками, скользящими от стены к стене тоннеля стальными шорохами и скрежетами гигантских жуков — навозников и носорогов? — которых он тут же давил с хрустящим треском своей чугунной ногой. Они все равно заполняли тоннель, неслись великанским закручивающимся потоком, нависая глянцевиной черной волной над ним. В отчаянии Марк прикрывал патлатую голову, выдирает из нее хрустящие пряди волос, чувствовал, как насекомые копошатся у него во рту, суетятся в слишком узком тоннеле глотки, и безжалостная боль полосует желудок, кишки, а там — и горечь, и вопль.

Безумными глазами в подсвеченных настольной лампой сумерках комнаты они смотрели друг на друга и не осознавали своего присутствия. Ева дрожала. Сапфировый крестик прилип к ее груди. Лямка ночной сорочки соскользнула с плеча.

— Что? Опять? — сонным, еще безвольным голосом спросил Марк. — Опять захлебывалась?

Евгений Сологуб родился в Петрозаводске, окончил филологический факультет Петрозаводского государственного университета. Живет в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 4.

— Ты же знаешь, я не умею плавать. Конечно я захлебывалась. Так и он во мне захлебывался.

— Пожалуйста, Ив. Не посреди ночи.

Ева выпорхнула из постели и скользнула сквозь мрачный блеск коридора на кухню, где с нарастающей жадой выпила два бокала воды. Потерянная, она вернулась в комнату. Марк сощурил глаза и зевнул. Ниточка слюны растянулась между двумя рядами его неровных зубов. Ева тряхнула головой и прошла к серой, еще не оклеенной и не окрашенной стене. Там в тихом сумрачном величии висели ее акварельные работы — по большей части зарисовки разных маяков: расплывающихся, полосатых и монотонных, пустых и мерцающих; с рассеянной тучей чаек, похожих на разлетающиеся осенние листья; при свете солнца, при буре; со штампом-смотрителем, с клубами водянистого дыма, что стелился по краям листа, сливался со стеной. Ева качала головой, тормошила стриженные русые волосы. Покачиваясь в дреме, Марк откинулся на спинку кровати, ждал ее возвращения.

— Хочешь съездить к маяку?

— Угу, — Ева не обернулась. — Сил больше нет, как хочется.

— Нам сейчас посреди ночи вскакивать и ехать?

— Время полпятого утра, Марк! В деревнях уже петухи кричат.

— Мы не в деревне, — Марк растекся в постели, отвернулся к стене. — Давай еще немного поспим.

— Поспи.

Марк громко засопел. Еву манила приятная, сытая теплота постели, но существование где-то там, за гранью мира, стального океана, его осенний холод, желание изведать всю водную пучину заполняли голову, засеивая тело семенами мурашек. Снова во рту эти горечь и соль. Она почти ничего не запомнила из уроков веры. И голос, пепельный и строгий, еще слышала — под сопение Марка доносились слова: *Имейте в себе соль и мир имейте между собой*.

Сон переборол Еву: под рассеянные взгляды маяков, от ночного сумрачного перелива нежности к посапывающему, скованному, растянутому во времени Марку она бухнулась на кровать, и, уткнувшись в его чуть влажную, горячую спину, уснула, вбирая соломенный дух тела.

Сквозь мутную толщу, сквозь страх смотрела: одинокий, пошарканный гарпунами кит, он все плыл, прорезая течение, стонал, не давая покоя. Звал и плакал, а Ева молчала в глубине тысяч комнат, под младенческий надрывный плач обретала себя...

2

На этот раз Марк сдержал обещание. Уже на следующие выходные Ева, обдуваемая кондиционером, сидела в машине — в сквозняке из сладко-лимонного аромата освежителя-елочки, запахов бензина и чего-то грибного. Она жевала пастилу и запивала ее царапающей нос газировкой.

Они взяли с собой палатку, запасы съестного, пару-тройку бутылок вина и легкое раздражение Марка. Оно, в свою очередь, притягивало работу — Марк погружался в водоворот телефонных разговоров и сдержанных споров о сроках, выплатах, бесконечных макетах, правках, слоганах.

— Как малые дети. Ничего без меня не могут! — взорвался Марк и, скорее, из красоты жеста, а не из-за необходимости, метнул кулаком в крышу машины.

— Ма-а-алые дети, — отстраненно протянула Ева, рассматривая растопыренные утиной лапой пальцы на руках. Голубой лак потрескался и местами сошел, отчего ногти показались ей засохшим илом, не видевшим прилива уже многие годы.

Они ехали к маяку Стирсудден у поселка Озерки. Будучи недействующим, он оставил в себе, то ли по привычке, то ли в качестве музейного экспоната, зрителя. Ева тут же сложила клишированный образ: с клочковатой лишайной бородой, с

трещинками глаз, затянутыми красной плевой бессонницы, притаившимися в мареве сизого дыма нескончаемой сигареты... Да, еще красная пухлая вязаная шапка, слегка набекрень, обязательно. В ней он всегда стоял у подножия маяка или на берегу, в самой воде, вскормленный непроницаемостью и равнодушием камней, а море трепыхалось, клокотало, набрасывалось на берег бешеным псом, брызгая ключьями пены. Попробуй, усьмири. А когда с неба осыпались иголки дождя, тогда смотритель надевал желтый дождевик из плотной прорезиненной ткани и резиновые сапоги с высоким голенищем. «Нет-нет! Он всегда в этих сапогах. Зачем другие?» — рассеял фантазию Марк и уже громче, совсем рядом, разгоряченным голосом:

— Будем останавливаться?

Ева не услышала, не захотела:

— Подожди-ка, это ведь около него дедушка Ленин останавливался в каком-то мохнатом году, да? — спросила.

— Не лучшая репутация для поселка и маяка, — буркнул Марк.

— Зануда. Тебя никто не заставлял. Не хочешь. Разворачивай машину и — обратно.

— Ева, успокойся.

— Нет! — вспыхнула, поперхнулась, откашлялась, засмеялась. — Лучше отвези меня в деревню. Оставь у какой-нибудь бабки-знахарки, а сам поезжай. Я погуляю-поброжу-поплачу и вернусь к тебе под крылышко.

— Хватит.

Он искоса посмотрел на нее, резко выкинул руку к дверце бардачка, достал из него купленный незадолго до отъезда компакт-диск. Марк сразу прибавил громкости. Из колонок вырвался гипнотизирующий поток фортепьянной музыки. За автомобилем по лесным тропкам и кронам деревьев прохаживался август с его прохладным, но еще согревающим солнцем, птицы бесчисленным эскортом сопровождали машину, летали наперегонки, возникали у самого лобового стекла, разрастающимся мутным пятном пролетали мимо. Ева вбирала фортепьянную поступь и еле слышно перекидывала на языке финские и шведские названия.

— Сейвя... стё... Сейвастё. Стир-суд-ден.

— Как же хорошо. Не передать. Стирает весь налет. Чувствую, как начинаю блестеть, да? Ив?

Марк кинул на отполированную торпеду коробку от компакт-диска. Из собственных мыслей Ева взглянула на обложку (*Wall-message. Vladimir Martynov*) и молча кивнула, продолжая нашептывать магические заклинания финско-шведских слов. Незнакомые иностранные сочетания букв заставляли угадывать за оградой звуков неведомого зверя-смысл. Ей виделась сова, ухающая в блаженстве снежного сна: сидя на черной ветке, мягкая и бархатная, она проворачивала голову вокруг шеи и утыкалась всполохами огненных глаз в самую душу. Марку нестерпимо хотелось погрузиться в музыкальный транс. Вслед за звучащими нотами его пальцы танцевали на руле. Изредка в экзальтированном забытии он откидывал голову на подголовник, вжимался в кресло, чтобы унять растиражированную музыкой дрожь. Его ладонь нашла голое колено. Ева вздрогнула. *Вся в мурашках. И ей нравится. Хорошо. И ей. Справимся. Позабылось. Мне легче. Я знаю, знаю. Во мне не было.* Патлатая каштановая голова и щетина, небрежно охватывающая лицо мелкими островками, грубые мутно-коричневые глаза переполнялись нежным блеском. Он смотрел на нее, застывшую в кресле: плененное веснушками лицо, строгий вид блекло-зеленых глаз и бывшие когда-то густыми волосы, стриженные месяц назад, отчего с широко распахнутыми глазами она походила на мальчика-сову. Марка это заводило. Не желание мальчика, конечно. Желание своей Евы. *И джинсовые шорты-комбинезон, эти смуглые пальчики, крестик на груди.* Он говорил: *моя!* все еще повторял: *моя!* удаляясь, теряя ее из вида; даже в машине, совсем рядом, она ускользала, растворялась, обращалась в акварель, висящую на стене в чужом пыльном доме, а он все повторял и повторял: *моя, моя, моя.*

Ева мельком глянула на него, прижалась лбом к стеклу — оно покрылось матовым пологом, — рассеялась словами:

— Когда мы уже приедем?

— Скоро должны...

...Отвернется и молчит. Ни слова не говорит. Поди узнай, что думает и не подготовила ли план-перехват, а может, вообще продумывает пути отступления. Все равно моя, никакая потеря не заберет.

— Твою ж мать!

Марк вдолбил педаль тормоза в пол. Ева с глухим стуком уткнулась в торпеду и громко закричала.

— Мааарк! Ка-а-зёл! Ты чё?!

— Нет, ты видела?!

Марк увел «Гольф» на обочину и выскочил из машины. Обезав ее, остановился у оврага, заросшего ивняком, подбоченясь, раскачивался, словно загипнотизированный лесной чащей. От трассы, через овраг, в лес уходила тропинка. Ева шипела, терла покрасневший ушибленный лоб. Она убавила громкость и тоже вышла из машины.

— Марк, ты больной!?

— Она бы нам сейчас весь бампер снесла! На такой-то скорости!

— Да кто?!

— Лиса выскочила прямо на дорогу. На трассу выбежала и идет себе. Важная такая.

— Это их лес. Почему бы им важными не походить? Поехали уже!

Ева вернулась в машину. Марк еще прохаживался вокруг, приходил в чувство.

...Лисы испугался. Путь она ему преградила. А может, и правда преградила? Повернуть, да и черт с ним, с этим маяком. Не драматизируй. Опрокинься назад. Вот так. Закрой глаза и послушай. Тишина. А когда ты слышала тишину? О тишине только мечтать. Плач один и моря хохот. Только легкие фортепьянные покачивания. Как на волнах. И берег. Скоро будем на берегу мыса. Сей-вяс-тё. Нужно было финский учить. Тогда казался растянутой соплей. Сейчас — тайной. Сейчас многое кажется тайной. Не разобрать. Не увидеть. Смотреть мешают. Не плачь, хороший мой, не плачь, мама с тобой, может, тебе больше нашего повезло, подумать, да, повезло, жизнь проживем, а не поймем, что мертвые, а ты — сразу, из купели в купель. Раньше надо было. Уже поздно. Явно. Одни маяки. Почему маяки? Как найти дорогу? Ха! Лисы он испугался. Переживает, бедняжка. За жизнь свою и мою — думает, не справлюсь. За свою, конечно, больше. Приедет, будет караулить, ходить, как бы я с морем не полезла обниматься. За какую больше, интересно? Лиса. Лиса. Слышит голоса. Плач один и моря хохот. Хорошо... Да что тебе еще? Что нужно?

— Ив, Ив! Выходи! Посмотри!

Ева открыла глаза. Подняла спинку кресла и, приставив ладонь козырьком к бровям, посмотрела на Марка. *А бордовый ему к лицу, вельвет хорошо сидит, и хлопок на штанах мягкий, не зря кроссовки носит, не снимая, поистерлись все.* Тот был уже не один. Он сидел на корточках и гладил грязно-рыжий меховой комок. Рядом стоял лысый мужчина в очках и выцветшей салатовой кепке, в камуфляжном комбинезоне, с пустой плетеной корзинкой в белесо-мраморной, даже фарфоровой, руке. Мужчина сладко улыбался, не показывая зубов, образуя из лица сеть морщин, и походил то ли на финна, то ли на эстонца.

— Маркуша, ты чего так кричишь? — натянуто улыбаясь и сдерживая злость, Ева вышла из машины. — И хватит этих англицизмов. Зови меня «Ева».

— Стравствуйте, Ева, — почти без акцента проговорил мужчина и снова беззубо улыбнулся. — Мэня зофут Эмиль. Эмиль Виркки.

Марк все так же тербил грязный комок. Лиса спокойно сидела у него на руках, игриво покусывая его пальцы.

— Смотри, какая здоровская!

Марк сиял увидевшим море ребенком. Ева присела рядом с ним и прикоснулась к жесткому лисьему меху. На чалой морде зверя белесой линией виднелся шрам в три сантиметра. Эмиль стоял и не убирал слащавой улыбки. В нем было что-то от ваты и умалишенного, не хватало телогрейки или больничного халата.

— Ма-а-рк. У тебя очен красивая жена. Я смущаюсь, когда вижу такую дефушку.

— Спасибо, Эмиль, но мы не женаты.

— Да. Мы не женаты, Эмиль, — с вызовом повторила Ева. — Вы эстонец?

— Дта. Не сложно догадаться, — снова улыбка. — Мы с Фрэдди ходили за грибами. А вообще, я приставлен к Стирсудден. Здесь недалеко. В километрах десяти.

— Получается, мы уже приехали, Ив. Разве не здорово? А то ничего и не понятно, куда, как.

— Так это лис! — взвизгнула Ева.

Марк опустил зверя на землю. Лис заходил под ногами, собирая запахи, подбежал к Еве, дрожа пышным муравчатым хвостом, он опустился на красные сандалии, моментально согревая стопы девушки. Поднял черно-бурую ушастую голову, зевнул, смыкая глаза в черные пунктиры, и тут же фыркнул, чихнул. Ева сжалась, ссутулилась, умиленно склонила голову к плечу и протянула:

— Какой теплый! Жарко ему, — она присела на корточки и провела ладонью по лоснящейся лисьей спине, между делом добавила: — Значит, мы к вам. Мы же тоже к маяку. У нас путешествие...

Эмиль ласково глядел на молодых людей. Кто-то буркнул, крикнул в лесу. Фрэдди вскочил и бросился в чащу. Ева вскрикнула: «Куда!? Он же...»

— Знаете что, — перебил ее Марк. — Запрыгивайте с Фрэдди в машину и поехали с нами. Мы вас подбросим, а вы нам дорогу покажете.

— С удовольствием, — согласился Эмиль и, свистнув Фрэдди, пошел прямо к машине.

Ева осталась без внимания. Она злобно посмотрела на Марка, прищулив глаза.

— Смотри-ка, даже уговаривать не пришлось. Вы, мужчины, все сговорчивы до ужаса. Только не с теми, с кем надо.

— Послушай, Ив, — Марк остановил ее за локоть. — Да, да, Эмиль, все правильно! Садитесь назад! Послушай, я вообще тебя не понимаю...

— Не мудрено.

— Ты хотела на маяк, мы почти у него, ты хотела смотрителя — вот, пожалуйста, — Марк указал на машину. — Уже сидит, дожидается, когда ты улыбнешься и перестанешь капризничать. Что тебе нужно?

— Я просто хочу приехать. Вина хочу. Ясно?

Ева вырвалась из твердого клеща и побежала к машине.

— Ясно.

Марк с минуту постоял, всматриваясь в чащу, в пюсово-желто-зелено-пшеничную зыбь, обласканную солнцем, как в морскую гладь. Лес заливал часть дороги тенью. Щебетали, гаркали птицы. Фрэдди выскочил из кустов, пронесся мимо и запрыгнул к Эмилю. Смотритель ухабисто захохотал. Марк посмотрел себе под ноги: около бурых затертых кроссовок лежала трухлявая коряга. Он поднял ее, что есть мочи, со всем накопившимся остервенением, бросил в лес, усмехнулся и вернулся за руль.

3

Когда они въезжали в опустевший поселок, под строгим наблюдением разноцветных домиков-карликов рыжее солнце спускалось на покой, насаживалось на колья елей вдалеке. В воздухе уже слышались комариные монотонные писклявозудящие гимны. Запахи псины и пота перебивали сладкий аромат автомобильной елочки. Эмиль ошибся, сказав, что до маяка километров десять. Все тридцать, если не больше. *Странное дело, подумала тогда Ева, человек прошел такое расстояние и даже не заметил, неужто боль в ногах ему об этом не напомнила?*

— А мы с Фрэдди на автобус сели. Я и не думал, что мы так далеко уедем, — протянул Эмиль.

— Вы, Эмиль, — обманщик, — с деланной серьезностью бросила Ева. — Людей первый раз видите, а уже обманываете. Ай-яй-яй.

— Исправлюсь, обязательно исправлюсь.

— Будьте так любезны.

Марк сосредоточенно следил за дорогой, на одном из домов выхватил взглядом проржавевшую адресную доску — бурую с черными буквами — «улица Млечная».

— Сейчас на перекрестке направо, Марк, — Эмиль уже был между двух кресел. — Ага, хорошо. Прямо. Прямо. Курс — на маяк.

— А скажите, Эмиль, мы там сможем где-нибудь растянуть палатку? Не помешаем вам?

— Боюсь, не получится.

— Почему? — Ева обернулась, надула губы.

— Там всюду камни, а до ближайшей полянки по берегу час ходьбы. Или вы хотите в дебрях лесных спрятаться?

— Жа-а-ль. Что же нам делать, Марк, любименький?

Ева легонько прикоснулась к Марку. Тот посмотрел в зеркало заднего вида, встретился взглядом с Эмилем, с его глубокой ледяной синевой глаз, настороженно посмотрел на Еву — она уже отвернулась к окну, знаком вопроса оставив руку на его плече.

Девушка старалась заглянуть в каждое мутно-серое окно. Домики, по большей части брусчатые и деревянные, слегка приклоненные к земле, покосившиеся, казалось, пританцовывали, но жизни в тех, что ближе к маяку — затертых, промасленных, стонущих серыми пыльными стеклами — не ощущалось.

— По-моему, все просто! Случайная встреча в неслучайном месте. Будете моими гостями. Приглашаю в свою скромную хижину.

— Правда? — Ева подпрыгнула и захлопала в ладоши. — Ночь внутри маяка! Крутя-а-к!

— Эмиль, мы вам, правда, не помешаем? — забеспокоился Марк.

— Я сказал один раз. И достаточно.

— Правда, Марк! Эмиль уже сказал. А вот и маяк!

Они подъехали к подножию маяка. Ева выскочила из машины и, запрокинув голову, всеми мыслями и всей внутренней энергией устремилась к самой его черной макушке, висящей угольным зрачком под небом. Сбоку была пристроена сизая деревянная хижина, и окна ее, обрамленные голубоватой рамой, в немом крике чернели внутри аметистовых сумерек. В метрах десяти шелестело море, глянцевиито дрожало, пенилось у берега; хмурым частоколом с востока сторожил каменистую пустынь лес.

Камни, камни, камни. На сорок дней здесь остаться, вымолиться, очиститься. Маяк-то больше на спичку похож. Серый от вечера, с черной обугленной головкой, перегорел, сгорел, как и мы. Прохладно.

— Он точно не работает?! — взбудоражила Ева тишину и снова, — Маркуша, достань, пожалуйста, мне свитер, замерзла!..

— Скорее, нет, чем да! — крикнул Эмиль, и голос его размножился, удлинился, слился с прибрежным шелестом.

— Как это? — Ева была уже рядом.

— Не знаю. Вот так.

— Пойдемте же скорее внутрь, — Ева заторопилась. — Хотя нет! Вы, мальчики, доставайте еду и вино, проходите в дом, а я еще похожу, помолчу вокруг этого красавца. Нашел свитер, Марк?

Ева утеплилась, обняла Марка, улыбнулась Эмилю и убежала за маяк.

— Резвая она у тебя, — заметил Эмиль и подмигнул Марку.

- Ее не поймешь. Она там не свалится никуда?
- Не свалится...
- Каждый раз новый выпад. Боюсь я...
- Жизнь с женщиной — это прыжки в бездну, которая всегда не там.
- Пожалуй, что так.
- Точно так, — Эмиль крикнул и панибратски похлопал Марка по спине.

Приятельский хлопок на секунду впрыснул в его душу необъяснимой ярости, которую он тут же подавил. Просто не любил необоснованные жесты. Они с Эмилем достали из багажника три набитых пакета и прошли к флигелю маяка. Марка тешила мысль, что между ним и Евой встал еще один человек, который не позволит им остаться наедине, когда не избежать яда памяти.

Мужчины вошли внутрь, в сумрачную переднюю, в которой Марк сразу вдохнул приятно будоражащие густые ароматы копченой рыбы, березовых веников, керосина. Под ногами в кучу были свалены несколько пар резиновых сапог, кроссовки, тяжелые походные ботинки. Эмиль зажег свет, и Марк увидел повешенные на стене сети, сачки и удочки-самоделки, спиннинги. Скинув обувь, прошли дальше: в гостиной с разбредшимися, как пасущиеся овцы, обогревателями у мутного неживого окна стоял стол. На столе — керосиновая лампа, обтёрханные блокноты и книги, выложенные двумя маленькими стопками. Потертые корешки и потрепанные обложки сливались с внутренностями комнаты. По сравнению с передней она казалась пустой. Эмиль прошел чуть дальше, пропал за кисеей, складывающейся в невнятный японский рисунок. Марк проследовал за ним. Там была кухня, в которой стояли пузатый гостиничный холодильник, кухонный облупленный шкаф-стенка с деревянными дверцами, электрическая плита на две конфорки, а по центру — сколоченный из подручных материалов журнальный столик с резной доской для игры в нарды. Эмиль перехватил удивленный взгляд Марка и бросил: «Иногда Фрэдди поможет, а так — сам с собой играю». Марк кивнул. Эмиль сложил пакеты под стол. Открыл холодильник. Из морозильной камеры достал покрывшуюся инеем дымящуюся бутылку ликера Jagermeister.

- Давай по глотку.
- Для эстонца ты слишком открыт.
- А для русского ты слишком зажат, — губы Эмиля растеклись в мутной улыбке, показав ряд серо-желтых зубов.
- Тогда давай.

Эмиль выудил две граненые рюмки на ножке и наполнил их густой, тягучей нефтяной жидкостью. Выпили.

- Вкусно.
 - Не то слово.
 - А где Фрэдди?
 - Где-то гуляет. Он дома не часто сидит. Может, с твоей резвой женщиной. Давно вы с ней?
 - Года четыре, наверное.
 - Наверное?
 - Сейчас время остановилось, оцепенело.
 - Вот как? Почему?
 - Я еще не выпил столько, чтобы откровенничать. Хочешь определенности, спроси у Евы, — Марк поморщился, опустил глаза в пол. — А у тебя? Есть кто-нибудь?
 - Есть. Она в Таллине. Мы вместе не живем. Она здесь не может.
 - В хижине у моря?
 - Здесь другое.
 - Что же?
 - И я не столько выпил, чтобы откровенничать.
- Марк улыбнулся. Протянул рюмку. Снова выпили.

— Значит, вы расстались?

— Скорее, перестали быть друг другу обещанием.

Эмиль отвечал сухо, но строгости в голосе не было — лишь отрешенная многозначительность.

— Ну что? — холод ликера разжег костер в желудке, и теплая кровь побежала по венам отчаянно быстро. Марк хлопнул в ладоши, и ему показалось, что от рук поднялся клуб пыли. — Надо бы сварганить что-нибудь!

— Хорошая идея.

4

Маяк Стирсудден по приказу адмирала великого князя Константина Николаевича построили в 1872 году на Сейвястовском мысу. Мелей у берега было предостаточно, и до появления маяка здесь тонуло бесконечное множество судов. Одни только русские потеряли десятки за каких-то два месяца. Поэтому великий князь взял все в свои руки и заявил, что маяку надобно быть. Из Ревеля вызвали специальную бригаду эстляндских рабочих, они-то и занимались постройкой. Бригада трудилась целый год. Тщательно выстраивали фундамент и аккуратно-осторожно поднимались ближе к небу. Первым смотрителем был Отто Вильгельм фон Люде. У Эмиля оказалась даже его фотография. Хмурый мужчина с кустистыми бровями, без усов, с бородой-ширмой от самых висков, он походил на президента Линкольна. (Сходство было колоссальным, поэтому, когда Эмиль подвел молодых людей к фотопортрету, Ева, покрасневшая и еще больше раззадорившаяся от вина и еды, визгливо крикнула: «Это же Линкольн!» — и взалхб рассмеялась.) Он управлял маяком до начала двадцатого века, последовали и другие: зятья, дяди, в общем, родственнички. Последним, до второй Мировой войны, смотрителем стал дед Эмиля, в честь которого его и назвали — Эмиль Виркки. Он был вылитой копией нынешнего смотрителя (его фотография висела рядом с Отто Вильгельмом) — только несколько одутловатей, и под носом застыла жирная гусеница рыжеватых усов. Во время войны бомбы порядочно искушали маяк.

Они освободили стол от книг. Ужинали в гостинной под историю смотрителя. Эмиль рассказывал сдержанно, уставившись в бокал и раскатывая по его стенкам бордово-бархатное вино. Он иногда замолкал, точно что-то вспоминая, потом спохватывался, подливал и продолжал. Истории было мало. Он сам ее плохо помнил. Поэтому клочками выложил информацию и с лукавым огоньком на дне глаз обратился к Еве:

— А ты, значит, Ева, — художник.

— Так и есть, — Ева ответила с набитым ртом, от чего кусочки рагу полетели прямо на стол. — Ой, извините.

Марк поморщился и отвернулся от нее.

— А мой портрет сможете написать?

— Хотите себя здесь оставить? Нарисованным будете наблюдать?

— Да, хочу.

Эмиль ковырял вилкой зеленые оливки.

— Боюсь, что у меня не получится.

— Мало практики?

— Маловато, — серьезно ответила Ева и посмотрела на Эмиля. Он поднял глаза от тарелки. — И дело не только в практике.

— Хотя бы эскиз, шарж, набросок. Не знаю уж, как это у вас называется.

— Это уже будет несерьезно. Рядом с такими атмосферными фотопортретами — лишь набросок?

— Ой, бросьте вы! Вся наша жизнь, и та — набросок. Ничего страшного не будет.

Марк повернул голову и, удивленный, обратился в слух. Эмиль встал из-за стола и вышел из кухни. По ногам прошелся легкий ночной холодок. В кухню вбежал

Фрэдди, потоптался под столом, получил копченую куриную голень, в один присест проглотил мясо и улегся в комнате у камина. Смотритель вернулся. Задымил сигаретой.

— Ой, а можно мне тоже? — начала выпрашивать Ева. Марк строго посмотрел на нее. — Одну сигаретку, ну...

— Курите, пожалуйста.

Ева закурила, держа сигарету между средним и безымянным пальцами.

— Интересно вы сигарету держите. Сразу Фрейндлих напомнили. Помните, у Тарковского в «Сталкере»?

— Помним, — тихо сказал Марк.

— Ну что? Накидаешь набросок, свободная художница?

— А камин разожжешь, тогда и набросок будет.

— Его последний раз жена разжигала, лет пять назад, — отнекивался Эмиль.

— Как же вы греетесь? От плиты? — Ева склонила голову на бок, выуживая правду. — Больно тепло у вас.

— А обогреватели для чего? — Эмиль улыбнулся.

— Вот я ворона, — Ева смахнула крошки, вино капнуло на джинсы, застонала. — Ну вот, и здесь.

— Возьми, — Марк протянул девушке салфетку.

— А если и не разжигали, то настало наше время в любом случае. Пусть потрещит, постреляет дерево, и тени походят, — не отставала Ева.

— Пожалуйста.

Эмиль пригласительным жестом указал в сторону камина. Ева наступила под столом на голые, сведенные вместе стопы Марка. Он молча встал и прошел к камину.

— Керосин — сбоку, а дрова — внутри, — подсказал Эмиль.

— Вот странные вы люди — смотрители. Камин не разжигают, а дрова зачем-то лежат.

— Ждал вашего приезда, может быть.

— Или приезда жены? — кольнула Ева.

— А вы смелая девушка, — Эмиль пробежался глазами по ее волосам, лицу: глазам, губам, теряющемуся подбородку.

— Почему вы расстались с женой?

— Она не может здесь находиться.

— Она еще жива?

— Почти.

— Что значит почти?

— А что значат все эти вопросы?

— А то и значат, что мы с Марком тоже едва живы! Хочу разобраться, что приводит к пропасти?

— Ив! — Марк вскочил и ринулся к захмелевшей девушке. — Поставь бокал! Хватит пить!

— Нет, не хватит! Я ведь просила не пихать в меня свое «Ив»! — Ева сверкнула зеленью глаз. — Любимый, тебя ведь просто попросили развести огонь. Создай нам уют. Поэзию. Не все же циферки, макеты, слоганы. Я поговорить хочу.

— Ты сейчас наговоришь.

Снова вспышка, молниеносный укор.

— Делай, что хочешь, — отмахнулся Марк.

Он взял свой бокал и ушел к камину. Через минуту огонь трещал и кряхтел, озаряя оранжевым блеском потерянное лицо Марка.

Ева вдавила окурки в консервную банку и хитро поглядела на смотрителя.

— Вы не ответили на вопрос, Эмиль. Что случилось с вашей женой?

— Она не переносит одинокой и голой местности. Не может жить со мной. Поэтому мы решили, что так будет лучше.

— И даже такой прекрасный маяк не переносит? И моря вокруг?

— Ева, что вы хотите от меня?

— Хочу разобраться, я же сказала.

— С собой?

— Почему же с собой?

— А почему бы и нет? Мне Марк так и не ответил, сколько вы уже вместе? — Эмиль наклонился ближе к девушке.

— Вечность. Беспроглядную, плюшевую вечность, — отмахнулась Ева.

— А дети?

Марк обернулся в ожидании ответа — глаза покраснели, заслезились от дыма.

— Нет, нет, дорогой смотритель, — Ева расплзлась по стулу, вытянула смуглые ноги перед собой, потянулась. — Наш ребеночек в пропасти и бултыхается — забытый. Марк его там оставил, а мне вместо ребеночка, пожалуйста, краски.

Ева сложила ладони рупором, притворяясь эхом, гулко протянула:

— Иногда и я с ним в пропасти. Зову-у-у, кричу-у-у, плачу-у-у! — тут же резко выпрямилась, пожала плечами, горьким голосом добавила: — Нет ответа. Совсем. Что он может сказать, да? Выброшенное не воротишь. Пропать.

— Ева! — тихо позвал Марк, как будто сквозь мешковину тумана, и еще раз, чуть слышно: — Ева, прекрати, Бога ради!

— Не-а, не прекращу, не прекращу.

— Эмиль, давайте спать, — умолял Марк, но и здесь наткнулся на стену — Эмиль молчал.

— Ева, пропасть — выдумки. Выдумки людей, которые возомнили, что могут быть счастливы друг с другом, а после — когда разочаровываются, — прикрывают свою наготу и страх байками о пропасти и промахе, — Эмиль поднялся из-за стола, присел на подоконник, закурил, высвечивая огоньком свое усталое лицо. — Вы, наверное, видели... Там на берегу, с северной стороны маяка, есть девять могил. Кресты окосели, пообломались. Странно, что маяк почти с землей сравняли, а могилы остались нетронутыми. Не суть! Это могилы девяти шведских моряков, Ева. В девятнадцатом году. Двадцатого века. На mine, недалеко от берега, подорвался шведский военный корабль. Команду удалось спасти. Правда, не всю. Последние девять матросов, которых дед с другими моряками выловил, были мертвы. Их-то со всеми почестями и похоронили. А бабушка, ее звали Лидия, ухаживала за могилами до самой Зимней войны. Она бережно укладывала цветы, подметала и выравнивала кресты. Уж не знаю, во имя чего. Когда мне отец рассказывал об этом, я не понимал. Почему? Почему она не оставляла могилы в покое? Почему видела в этом свой долг? Я и сейчас до конца не понимаю. До сих пор! Верите, нет? Мне уже сорок, а я не могу понять, казалось бы, вполне объяснимое поведение долга. Говорят, самоотречение — лучшая возможность. Когда лишают такой возможности, тогда, знаешь...

— А вы знаете, что я ваш маяк во сне вижу уже почти месяц? Теперь я четко понимаю. Вы даже точно так же курите, высвечивая лицо в темноте. Только у вас в моем сне почему-то усы. Как у деда...

Ева осеклась.

— Моей жене дед тоже снился, когда она оставалась. Когда она еще оставалась.

— А я и есть ваша жена.

— Вряд ли.

— Почему?

— Слишком молоды.

— Бросьте! Вам что, жалко? Мои сны меня привели к вам обратно.

— Если вам так хочется, пожалуйста.

— Спасибо, — Ева вскочила и выразила благодарность в показательном па. — Давайте выпьем еще вина. Вы знаете, вы стояли весь несчастный у такого затянутого

временем окна, и мне захотелось самой вас написать. Только именно в таком положении вполоборота, с оранжевым огоньком сигареты.

— Значит, напишете?

— Напишу. Только в следующий раз.

— Нет. Сейчас.

— Да куда торопиться? Или вы завтра прогоните нас?

— Завтра все будет по-другому.

Эмиль прошел в угол кухни и поднял потертый гляцевитый рычаг.

— Что вы сделали?

— Включил маяк.

— Вы же сказали, он не работает.

— Вы сами подумайте, как же без маяка?

Ева выбежала в переднюю, опустила ноги в сандалии и толкнула мягкую, обитую ватой дверь. Ослабевший день загрызла ночь. Ева пропрыгала по насыпной дорожке к машине и достала из багажника свои инструменты: мольберт, краски, кисти. Она чувствовала в себе внезапно возникшее родство с Эмилем, легкость бессознательной исповеди, песню отпущения: из отчаяния, греха, рассыпанного дробью, что сковало тело, распускались пионы. Так она видела, об этом и ребенок плакал. В предстоящей работе она ощутила проблеск некоего искупления, которое ей посылают. Она подняла голову, изумленная силой света, исходящего от маяка. Мощные белоснежные копыта лучей пронзали мрак, разрывали и потрошили всю нависшую над морем суматошную тьму, обнажая простую и легкую прелесть морской воды, ее серебристые блики — тысячи мелких рыбешек на растянутом черно-металлическом полотне. Ощущение возбуждающего вдохновенного потока поднимало ее над землей, она смотрела в пучину моря и вспоминала дитя, свои сны, вспоминала вечно одинокого кита, из чрева моря вызывающего.

Тяжело дыша, спотыкаясь, она ринулась в дом. Чтобы кистью высвободить Эмиля из заточения его внутреннего маяка, исповедаться красками, цветом, солью.

...Ни я, ни Марк. Никто не виноват, что мы так далеки. Мы должны пожалеть друг друга и упиться собственным одиночеством. Мы поставили себя в рамки, и, точно на памятных фотографиях, сделали подпись, обрекая себя на вечное одиночество этим «вместе». Дитя мое, дитя, прости.

Ева вбежала в переднюю, сбросила сандалии и уже прошла в комнату, но вернулась. Около двери, рядом с удочками лежал желтый прямоугольный конверт. Она подошла ближе, вперила глазами в напечатанные буквы. *Что-то на эстонском.* Письмо месячной давности. Она взяла его, осмотрела. Ни следа вскрытия.

— Эмиль, Эмиль! — Ева ворвалась в гостиную. Она стремительно прошла мимо сопящего Марка. Рядом, положив морду на его истлевшие, оборванные голени, лежал Фрэдди. Угли пульсировали рыжим жаром, переливались, точно десятки лисих глаз. Своих шагов она не слышала, стараясь проглотить ком в горле, вопила: — Эмиль! У вас там письмо! Письмо! Эмиль! — и голос пропал.

Она сбросила кисти на стул и подошла к Эмилю. Он все также устало смотрел в тусклое окно. Ева трясла конвертом у его лица и срывающимся голосом, сама не понимая, отчего она так нервничает, в полутрансе пыталась достучаться до зрителя. *Письмо! Письмо!*

— Я знаю, Ева. Я видел.

— Вы его даже не читали.

— В этом нет необходимости. Я узнал все гораздо раньше чертова письма. Понимаешь, Ева, — зритель дотронулся до ее подбородка и заглянул в глаза. — Она ведь никогда не любила Фрэдди. Всегда говорила, совсем ополоумел, совсем ополоумел... Не хотим мы жертвовать. Сопровствляемся. Жадничаем собой.

— Эмиль, у вас совсем нет акцента, я только сейчас поняла...

— Подожди, подожди, — он не отпускал ее подбородка. — Фрэдди не любила и

маяк не любила. Ей всюду здесь призраки мерещились. Но ведь то ее страхи, я не мог ничего с этим поделать.

— Откуда письмо?!

— Из лечебницы.

— Почему не прочтете?

— Моя жена умерла. Я знаю. И ты это знаешь. Мне незачем читать. Незачем о смерти писать. Посмотри в окно. Видишь, с ней вместе еще девять моряков, так храбро принявших смерть из-за нелепой случайной мины. Может, и дитя твое там...

— Я не понимаю, — Ева чувствовала, как немеет все тело и в горле встает крик — огромным костяным кулаком разрывает глотку.

— Тише, тише.

Кухня поплыла, и сквозь тусклое стекло Ева пожирала глазами скачущий свет маяка.

— Помнишь, ты спросила меня, вот тут, больше месяца назад, откуда рождается пропасть?

— Сегодня, сегодня! Не больше часа назад!

Эмиль обнял ее.

— Тише, девочка, тише. Теперь я тебе отвечу. Пропать рождает несогласованная с земной любовью необходимость. Нельзя раскидываться необходимостью. Нельзя без жертвы.

— Я знаю, знаю! Я же и Марку говорила, а он...

— ...Но и это демагогия. Тебе нужно одно, а им другое. С этим ничего не поделать. Ты не можешь без света, а они могут. Ты сама пришла ко мне. Знала, куда идешь.

— Не понимаю...

— Теперь твое время, Ева. Необходимость маяка. Соль. Свет во тьме. Твоя единственная необходимость.

Ева обернулась. Глянула поверх плеча смотрителя на свернувшегося младенцем, точно усохшего, Марка — оборванная вельветовая рубашка, холщовые брюки, свечной огарок лица с потухшей гарью глаз. Подошла к нему. Подняла валявшийся у ног измазанный в саже бушлат, накрыла Марка, испугавшись оплывшего, проржавевшего щетиной лица. От пепла в камине еще веяло жаром, и ветер хныкал в трубе.

— Теперь здесь другой смотритель, Ева. Пиши меня, и пойдем.

Ева прошла к столу. Разложила мольберт, достала акварельные краски и, смочив кисточку остатками вина, сделала пару волнительных, размашистых мазков.

Она закончила портрет на рассвете, когда солнце персиковой кляксой расплывалось над берегом Балтийского моря.

5

Марк, осипший и продрогший, потихоньку просыпался, вываливался в реальность. Сквозь пустую комнату сна в его голове кто-то колотил по мощной дубовой двери. Из кухни доносилось шуршание. Весь скрюченный, изломанный, мятый он еле-еле поднялся, кутаясь в бушлат с косматым воротником, страдая от судороги в конечностях, доковылял до передней, и, споткнувшись о кучу обуви, открыл дверь.

На пороге стоял двадцатилетний парень в плащ-палатке землистого цвета, накинутой на блекло-зеленую форму МЧС. Он шмыгал красным мясистым носом, а нижняя губа его — тучная и посиневшая — обиженно выпирала. Спасатель кричал, но слова разлетались по ветру:

— Марк Евгеньевич! Команда сверху — закругляться! Больше не располагаем временем на поиски. И отец ваш сказал, хватит. Месяц — это край! Простите! Таков приказ! Теперь только добровольцы. Есть сайты.

Марк Евгеньевич посмотрел на молодого спасателя. Улыбнулся и глупым приятельским жестом похлопал его по спине.

— Я вас понял! — прокричал он. — Вы заходите! Чаю попьем!

— Марк Евгеньевич, не могу. Служба. Простите.

Из-за двери высунулась чалая лисья морда.

— Ух ты! Вы уже и лису успели приручить, — молодой человек присел на корточки и поманил животное к себе.

— Это лис.

— Как зовут?

— Вулф.

— Вулф! Вулф! — с гавкающей детской задорностью позвал парень.

Вулф попятился и скрылся за дверью.

— Боится. Смешной, — спасатель снова расплылся в улыбке, но точно о чем-то вспомнив, тут же выпрямил губы. — Мне надо идти. Вы простите. Мне очень жаль.

Он протянул руку. Марк Евгеньевич почувствовал влажный холод ладони, крепкое рукопожатие. Тот еще раз бросил, точно отмахиваясь: «Мне очень жаль», — и скрылся за дверью.

Смотритель захлопнул дверь и вернулся в гостиную. Он присел у камина. Колодцем выложил сухие дрова, облил рядом стоящим керосином. Огонь отсветами заиграл по стенам комнаты. С хрустом в коленях он поднялся и вошел в кухню. Залил в жестяной чайник родниковой воды из алюминиевой канистры, поставил на электрическую плиту. Заглянул в пачку с чаем.

— На один раз хватит, — проговорил он вслух. — А там привезут. Или сам съезжу.

Вулф уже свернулся калачиком рядом и блаженно спал, поскуливая и дергая задними лапами. Видимо, гнался за кем-то. Марк прошел мимо лиса к почетной стене, где с фотопортретов наблюдали за его передвижениями бывшие смотрители маяка Стирсудден: вылитый шестнадцатый президент США Линкольн — Отто Вильгельм фон Люде, с жирными усами-гусеницей Эмиль Виркки и выписанный акварельными красками, гладко выбритый, тоскующий синей глубиной глаз, внук его — Эмиль Виркки Второй: он вполоборота стоял у окна, за которым виднелся ярко-алый свет, и смотрел глазами узнавшего. Марк еще какое-то время прождал у портрета и вернулся на кухню.

Смотритель высыпал остатки листьев и травы в глиняный приплюснутый чайник для заваривания. Плеснул в него холодной воды. Залил кипятком.

Вулф заскулил во сне. Смотритель оставил чайник на столе, встал напротив окна. Сквозь тусклое стекло он различил слабый свет утра. Деревья вдалеке трепал ветер. Сизые ватно-равнинные тучи говорили о дожде, но он все не начинался.

На грязном подоконнике лежала покаянная временем и человеческими руками книга. Из бумажной расщелины тонких волнистых листов выглядывала серебряная цепочка. Смотритель раскрыл книгу на закладке. Повесив серебряный сапфировый крестик на шею, он прочитал: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище; только бы нам и одетыми не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью».

Смотритель обреченно кивнул. Вернулся в гостиную. Подкинул поленьев в пылающий багряно-оранжевый жар. Погладил Вулфа. Лег рядом, обхватив ноги дрожащими руками. Прошептал: «А что теперь делать мне, Ив?»

Лев Усыскин

Фруктовый салат

Рассказ

«Меч дождя в его руках...»

Б.Гребенщиков

1

Меч дождя... Все скроет дождь... Усталый офисный город летним вечером клонится к асфальту отяжелевшей своей головой. Фальшивый гранит новопостроенных фасадов принимает на себя косые капли — и тут же отправляет их куда-то вниз, в крашенные зеленым жестяные водостоки.

Дождь лишь ненадолго обостряет цвета — словно бы силясь напомнить о том, что бывают трава и море, сине-коричневая даль леса и нехоженные поля цветущего дельфиниума, невесомый фиолетовый призрак иван-чая, порхающий над июльским лугом, и венозная кровь осенних кленовых аллей...

Ненадолго... и вскоре воздух забирает влагу обратно — и возвращается прежняя смазанность усталой данью невесть кем наложенным приличиям и сдержанности чувств. И глаз успокаивается в своей давешней скуке.

Вот солнце ушло, и такой странный свет в этот час: словно бы лишенный источника, словно бы висит в застывшем воздухе сам собою — однако и его достаточно вполне, если бы только были люди.

Но нет нигде людей. Хотя не так, не так — вот появляются они, двое, мужчина и женщина, выпячиваются на улицу растрепанными грешниками, делают тут же первый вдох, вбирая многократно пережеванный моторами воздух — сразу за тем, как уступили их рукам двери — тяжелые, нечеловечески высокие, сооруженные по моде прошлых эпох, ведомые бесшумными доводчиками, предусмотрительно смазанными густой черно-серой пастой.

Нехотя, словно бы по недосмотру, самовластные офисные недра извергают живые человеческие тела наружу: туда, где выложенные кирпичиками керамической плитки тротуары, обрамляющие асфальт проездов, где стриженные деревца в квадратных огороженных островках почвы, где припаркованы автомобили сплошной, лишенной прорех чредой, и где маленькие рупоры петуний свисают из уродливых коричневых кашпо.

Усыскин Лев Борисович родился в Ленинграде в 1965 году. Окончил Московский физико-технический институт (1988). Печатался в журналах «Знамя», «Новый мир», «Октябрь» и др. Автор нескольких книг прозы, живет в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 7.

2

...Качает чуть удивленно головой:

— Вот те на... какие лужи намело...

Некрупный подвижный мужчина лет сорока с начинающейся лысиной волнообразным движением спины поправляет пиджак, совмещая плечики и вытягивая к запястью отступившие в сторону локтя рукава сорочки — стараясь делать это незаметно, улыбается — но даже улыбка теперь не в силах скрыть накопленной за день усталости:

— Кажется, разминулись с дождем... ну вот и слава богу...

Говорит он и улыбается своей спутнице — узкобедрой девушке в офисном пиджачке унисекс, черноволосой, с пышной челочкой и узкими китайскими глазками в беличий разлет.

— Зато дышится... свежо...

Она улыбается в ответ, чуть склонив голову на бок. Еще улыбается. Говорит что-то.

— Спешите сейчас куда-нибудь? Меня Леонидом зовут, если что... Леонид, Лёня...

Мотает головой.

— Евгения...

— То есть — Женя?

— Ну, Женя, да... когда — Женя, когда — Евгения... зависит от...

Смеется в голос. Он тоже смеется — с ней заодно:

— Вы, Женя... Если не спешите... давайте где-нибудь кофе выпьем, что ли...

И уже теперь глядит ей в глаза с обыкновенной для такого момента вкрадчивостью:

— ...тут наверняка полно... всяких уютных мест...

Девушка же кивает согласно, утоляя мужское упование.

И вот идут прочь.

Идут прочь.

— Скажите... (мужчина на миг задумывается) Женечка... а вы на эту конференцию... с Сашей Копыловым пришли, как я понял?... (смотрит испытующе) работаете с ним вместе, так?

Девушка в ответ лишь неопределенно кивает, улыбаясь:

— Ну, как бы да... конечно... можно и так сказать...

Чуть-чуть растягивает гласные на концах предложений — это, впрочем, известно, это такое девчачье-молодежное теперь... почти у всех... говорок... И словно бы смущена слегка вопросом. Не хочет, как видно... эту тему... не хочет — ну так и не надо!..

Мужчина кивает размашисто:

— Ну хорошо... (Подымает голову, недолго смотрит на небо.) Но, согласитесь, мы все же правильно сделали... что сбежали оттуда... правда ведь?... (Вновь глядит прямо на девушку.) Там в программе еще два доклада... таких тягучих... а потом итоги подводить будут... минут сорок... затем, правда, фуршет — ну да и черт с ним...

Девушка кивает, соглашаясь молча.

— ...пошло все к бесу... а здесь вон какой день чудесный... согласны, Женя?... можно дышать, во всяком случае... не как там...

Помогая обойти лужу, берет девушку за руку — и уже не отпускает потом, да и она не против, по всей видимости, не вырывается.

Идут дальше. Девушка поводит бедрами, проскакивая между лужами, отставляет в сторону ножку... она словно бы оттаяла теперь после многочасового оцепенения... бойкая... но руки при этом не отдергивает...

— Мы — далеко?

Леонид мотает головой:

— Нет... сейчас...

И верно — вот какая-то вывеска, тут как тут. Заходят. Столики, барная стойка, хрустальный грот перевернутых бокалов и маскарад разноцветных бутылок.

— Здесь хорошо?

Женя кивает, Женечке здесь нравится.

— Кофе? Или что-то покрепче?

Улыбается.

— Я — да.

Заказывают что-то. Какую-то пасту с вываренными и скользкими морскими гадами, какую-то еще чепуху. Леониду коньяк — лакированной томной волной колышущийся в нижней трети бокала. Девушке — коктейли: один, другой, чуть позже еще и бокал совиного. Болтают.

— ...нет... циклоп — это мифическое существо... а не динозавр... в Древней Греции, да...

Много теперь смеются. Но для того и алкоголь...

— Вот, знаешь, а я люблю июль, — Леонид, говоря, обнимает бокал ладонью. — Именно июль. А ты?

Девушка пожимает плечиками. Она теперь сама, как бокал, — плотно сбитый и покатым тюльпаний бутон.

— Не знаю даже... наверное, да... но я вообще люблю лето... хотя осень еще больше люблю, если честно...

Понимающе кивает, соглашается.

— В июле все как-то понарошку... ненастоящее...

— Понарошку?

— Ну да... неважправдашнее...

— И люди? — девушка заглядывает ему в глаза, слегка наклонившись над столом. — Люди... сейчас... по-твоему, тоже не всамделишные?

Леонид лишь слегка качает головой в ответ.

— Люди — нет. Или да. Вот ты, например... ты и важправдашняя, и неважправдашняя...

Его очередь заглядывать в глаза, искушая, наклонять голову, прятать улыбку в складках век.

— Так все же: я «да» или я «нет»?

— Что?

— Ну, я на самом деле или неважделишная?

Он пожимает плечами.

— Ты — девушка...

— И что же?

— Как что? Девушки, они... они... для радости... они приносят радость...

— Всегда?

— Ну, да. Всегда. Пока не вырастают. И становятся матерями семейств. И тогда всё. Глоток коньяка. Глоток совиного в ответ.

— А ты женат?

Маленькая пауза — надо собраться, выстроить фразу, просчитать вероятность того и сего...

— Ну, как бы да... увы... но не особо крепко...

— Это как? (Смеется.)

— Ну, так... никто мою свободу... не ограничивает... уже давно...

Кивнула, да. Словно бы понимает, не требуя подробностей. Хотя — что она понимает? Что она может понимать вообще?

— А ты?
— Я? Я — холостая!
И опять залилась мелким смехом.

Потом болтают еще. Старательно уходя от темы — вернее, то приближаясь к ней, то вдруг отваливая в сторону поспешной параболой, едва ли не в последний момент — перед тем, как высказать то, что обоих волнует. Так надо.

Наконец решили что-то. Или не решили — просто надоело сидеть. Леонид расплатился, поднялся прежде своей дамы, помог ей выйти.

На улице уже задумало смеркаться — прежние четкие линии теперь тонули, расплываясь, зажглись кое-где фонари.

— Хорошо как...
— Обожаю, когда вот так выходишь... сытый, пьяный... на воздух... а тут вечер...
— Ага, ага... я тоже...

Отошли в сторону. Повернулись друг к другу. Леонид берет ее за обе руки.

— Ну а тебе в самом деле... надо теперь домой, да?.. обязательно... или не обязательно?

Глядит на нее. Глядит на него. Медленно вертит головой из стороны в сторону. Мужчина медленно перехватывает ее руки, медленно держит теперь за локоть.

— М-м?

И тут же прилипают друг к другу в жаждущем, ненасытном поцелуе.

3

Подвернувшийся первым отельчик. Плечистая дама на ресепшен — всегдашнее отсутствующее выражение, лицо вдруг оживает ненадолго:

— Двухместный? Да, имеется.

Берет у Леонида паспорт, переписывает с него, потом бегло листает и, добравшись до страницы со штампом регистрации (а может и до штампа семейного положения, как знать), подымает на миг глаза.

Все ей ясно про них. Обыкновенное дело.

Даром ли на этом месте.

Не первый год.

Повидала всякого.

Ну да ладно.

— Возьмите карточку. Просунуть магнитной полосой вовнутрь. Тогда откроется. На третьем этаже. Вон лифт. Завтрак с восьми утра. Но можете заказать в номер. Или ужин из ресторана.

В полумраке коридора утопают в неглубоких нишах нумерованные двери. Латунный набалдашник электронного замка: совал в узкую щель и так, и сяк — все же пришлось помучиться. Но с третьего раза — открылось. Надо было вставить и тут же вынуть, оказывается — и только тогда сработает!

Вошли, шелкнули выключателем — безрезультатно. Ага, и тут тоже надо карточку эту дурацкую засунуть в щелку — тогда зажжется. Так мир, похоже, теперь устроен — весь — *электричество течет, лишь когда в щелку всунута правильная карточка.*

Осматриваются.

Временный дом, временный приют, временная крыша над головой с двумя мигающими пожарными датчиками. Евростандартный рай в шалаше — не придерешься.

Широкая застланная кровать посредине — будто неясный алтарь под бирюзовым в косую линейку покрывалом. Леонид садится на ее край, вновь берет девушку за руки, выжидательно смотрит на нее снизу вверх.

— Подожди. Давай, не будем спешить. Давай закажем шампанское.

Леонид кивает. Девушка высвобождается, подходит к спящему на столике телефону и, покрутив в руках лежащие рядом с аппаратом рекламные картонки, набирает номер.

— ... да... брют... нас двое... нет, только фрукты... ну да, пусть фруктовый салат, хорошо...

Вешает трубку.

— Сейчас принесут.

Садится рядом. Леонид снимает пиджак, аккуратно сложив его, откидывает в сторону, придвигается к девушке.

— Слушай...

— Да-да...

— Я вот что давно хочу тебя спросить...

— Ага... спрашивай...

— Не обидишься?

— Спрашивай, да...

Он проглатывает слюну.

— Слушай, вот твоя внешность... такие восточные глаза... это...

— ...корейские!

Девушка засмеялась.

— У меня мама — корейка... Всегда почему-то спрашивают...

— А отец?

Пожимает плечами, равнодушно как-то.

— Не знаю. Может — тоже. А может — и нет. (Улыбается, утопив тему.) Ты доволен ответом?

Кивает.

— Ну хорошо. Тогда я, да... теперь моя очередь... задать вопрос...

— Ну.

— Только честно...

— Хорошо.

— Честно-честно.

— Ну хорошо. Я же сказал...

— Вот. Сознайся...

— Ну?

— Ты часто так?..

— Так что?

— Ну, снимаешь девушку... едва знакомую совсем... знакомишься и ведешь... в гостиницу...

Леонид усмехнулся.

— Редко. Если откровенно — случалось. Но редко. Очень редко. А что?

Девушка берет его за руку.

— Послушай...

— Да.

— Тебя ведь не смутит...

— Что?

— ...если я скажу, что коллекционирую мужчин?

Леонид вздымает брови удивленными горбиками.

— Это как? Как коллекционируешь? В постели?..

— Ну, вообще... не только в постели... просто люблю... вот вы такие разные все...

— Внешне?

— И внешне, и вообще... вроде бы одно и то же — привел девушку, секс, ресторан — но если следить за мелочами...

— И тебе интересно?

— Ну да... очень... очень интересно... вот куда ты носки положишь... или, там, как возьмешь бокал и что скажешь при этом... мне говорили, что это мужское свойство... а не женское... но я не знаю... правда ведь?

— А секс?

— Секс как раз меньше. Меньше разницы. Ну, то есть во время секса... как сказать... я в основном поглощена собой... в своих ощущениях...

— И что, тебе все равно?

— Ну нет, конечно... не все равно... все по-разному тоже... но это не идет в сравнение... правда!

Леонид смеется — пусть даже несколько наигранно.

— Ну, это забавно, да...

— Ты ведь не обиделся?

— Нет, конечно!

Уже секунду спустя они вырастают в долгие, подвижные, ищущие объятия.

...прерываются стуком в дверь. Нескладный официант принес шампанское, бокалы, фруктовый салат. Хочет открыть бутылку, но Евгения его останавливает:

— Не надо... спасибо... мы сами... на стол поставьте... да, и поднос тоже...

Он уходит.

Леонид порывается было продолжить, но девушка отстраняет его, встает и, шагнув к столу, оборачивается:

— Ты знаешь... давай так...

Леонид смотрит на нее с недоумением.

— Что?

— Давай так... я все это возьму с собой... и уйду в ванную... и все приготовлю там... и себя... и тогда приду к тебе... как верная слуга... Санчопанса... поиграем...

Леонид едва заметно пожимает плечами.

— Ты не против? Просто я люблю, когда так... не сразу... окольным путем... А ты пока разденься и жди меня... с нетерпением... на кровати...

Наклоняет голову, шутливо наморщив лобик.

— Идет?

— Хорошо.

Она снимает, наконец, свой офисный пиджачок, небрежно кладет его на кресло — только что изрядно мешавший рукам Леонида, вот он теперь упокоен безвредной, мертвой тряпкой, словно бы не виноватый ни в чем. Затем девушка берет блестящий, как зеркало, фигурный подносик с бутылкой и двумя бокалами, скрывается за дверью ванной.

На какое-то время Леониду делается скучно — он обводит медленным взором номер, силясь обнаружить что-либо примечательное, — но тщетно, все как всегда: коричневые портьеры на окне, скошенный профиль подвешенного под потолок кондиционера, не нужный никому телевизор Samsung... Встает, несколько мгновений думает, не последовать ли за девушкой, вломившись в ванную, застать ее там врасплох и...

Но все же не посмел...

...решив послушаться,

и принялся раздеваться.

Потом он лежал на постели голый, лежал, как ему казалось, очень долго, почти вечность — слышал, как за дверью включилась и, позже, выключилась шелестящая вода, как что-то передвинули с легким стуком, потом прошло еще сколько-то времени и, наконец, раздался хлопок открываемого шампанского — предвестником окончания этой томительной пытки. Леонид перевернулся на бок, вытянулся и подпер голову локтем — словно бы старинный, обветренный и омытый дождями каменный Будда

где-то в джунглях Юго-Восточной Азии (он вроде помнил что-то такое... когда-то по телевизору).

...И он, конечно же, не видел, не мог видеть, как девушка, освободившись в ванной от своей ноши, разделась неспеша, шагнула в душевую кабинку, включив воду, с наслаждением встала под струи и довольно тщательно вымылась — с любопытством разглядывая, словно бы соскучившись в разлуке, собственное голое тело: то покрытые пунцовым лаком ноготочки на пальчиках ног, то пытаясь заглянуть себе под мышку, то, наклонившись и трогая рукой средних размеров родинку над пупком слева — словно бы желая убедиться, что та на месте.

Наконец, сполна насладившись лаской искусственного дождя, она покинула кабинку, тщательно вытерлась, затем повязала полотенце вокруг бедер — наподобие юбки. Настоящую же юбку она осторожно сняла с никелированного крючка и, пошарив в маленьком, почти незаметном, запираемом тонкой пластмассовой молнией кармашке, достала оттуда что-то, какую-то ампулку. Достала, после чего принялась открывать шампанское — не слишком умело, так, что пробка выстрелила во всю силу запертого в бутылке звука — окатив раковину пеноизвержением.

Разлила по бокалам, в один из них опустошила ампулку. И тут же спрятала ее назад, в кармашек, не забыв, конечно, закрыть молнию — ч-чи-ик — аккуратненько так.

— Пам-пам-па-пам...

Вошла... Поставила поднос на край кровати... неустойчиво... на мягком... после чего опустилась на колени и взяла оба бокала в руки.

— Ну как? Истомился в ожидании?

Леонид спускает с кровати ноги, берет свой бокал.

— Ну, давай, за нашу встречу! Я очень рад, что мы познакомились! Ты замечательная!

Дзызынь...

— Давай, выпьем первый бокал до дна... так положено... ну, чтобы у нас с тобой получилось, как надо...

Потом стремительно убирает все — пустые бокалы, бутылку, поднос — ставит все куда-то на столик. Возвращается и, по пути освободившись от полотенца (Леонид лишь на миг успел зацепить взглядом черную пушистую пленительную полоску), вновь садится на колени перед мужчиной.

...Склонившись, он зарывается ноздрями в густую, пахнущую свежим тополиным листом шевелюру, одновременно чувствует, как девушка гладит его колени ласковыми ладонями — медленно, едва касаясь.

— У тебя ноги... такие волосатые... прелесть!.. ты, как дикий зверек... обожаю...

Откинув голову назад, она смотрит теперь ему в глаза — преданно и зорко — и мужчина считывает этот взгляд послушно, выпивает его, как давешнее шампанское, по самое донышко, и в ответ подымает ее за плечи осторожно — а затем целует в упругий и призывно-бархатистый низ живота.

И тут вдруг она вырывается, и, отстранившись, заваливается на кровать, как ныряют в воду — заставляя мужчину обернуться, последовать за собой, и вот уже они лежат вместе, слившись губами и дав свободу рукам.

— У тебя есть резинка?

— Угу.

Леонид вытаскивает из-под подушки приготовленный заранее серебристый квадратик, надрыгает его зубами и, подготовив себя к следующему шагу, вновь приникает к девушке. Теперь она принимает его в себя и, плотно обхватив бедрами, вступает в танец, то повинуюсь, то перехватывая ненадолго в нем власть — закрыв глаза и отвечая сперва короткими кошачьими стонами, затем, распаяясь, протяжным

волнообразным подвыванием и, наконец, добравшись до кульминации и выгнувшись вдруг дугой, наполняет комнату громким горловым клёкотом — словно бы удушенная, словно бы вода, теснимая давлением, прорвалась, наконец, через прихотливые запоры и тут же иссякла.

Потом они разъединяются, благостно-опустошенные, и, успокоив дыхание, молча глядят друг другу в глаза.

— Тебе... понравилось?..

— Очень... хорошо получилось, да... так неожиданно... ты правда, нежный... нежный трогательный любовник...

Протягивает руку и гладит мужчине переносицу.

— А тебе?

Леонид осторожно хватает зубами ее пальчики, касается их языком, затем отпускает.

— И мне... ты тоже очень неожиданная такая, да, страстная... и я старался...

— Будем еще?.. ведь мы куда не спешим...

— Никуда.

Евгения садится в постели.

— Хочешь, я еще шампанского налью?.. А ты отдохни чуть-чуть, можешь даже поспать капельку, если хочешь... потом тебя разбуду... я не уйду куда...

Соскакивает с кровати. Леонид провожает взглядом ее спину с выраженной позвоночной впадиной, рюмкой сходящуюся в узкую талию и вновь расходящуюся вишенкой круглой «накачанной» попке — и это последнее, что он видит более или менее отчетливо, прежде, чем сознание заволочло по обыкновению неустойчивыми сонными видениями.

Несколько минут спустя он уже крепко спал. Одевшаяся Евгения нарочно залезла вновь на кровать, перевернула мужчину на спину, подняла его левую руку, взяв за запястье, и тут же отпустила. Рука безжизненно упала на одеяло. Тогда она села верхом, наклонилась вперед, коснувшись губами его груди в верхней ее части и несколько мгновений недвижно вдыхала запах, закрыв глаза. И затем вдруг принялась покрывать эту волосатую, начинающую уже сесть грудь бисерной вязью лихорадочных поцелуев — опускаясь все ниже, ниже, пока не добралась до паха. Тогда она оторвала губы, поднялась, резво и весело соскочила с кровати и, найдя глазами пиджак Леонида, принялась шарить во внутренних карманах. Вот она достала узкое портмоне, открыла, извлекла оттуда несколько банкнот и банковскую карточку. Банкноты вернула назад, карточку положила на стол. Вынула дамский кнопочный телефон, набрала номер.

— Алё, Пашка?.. Пашечка, да, это я... да... ну все в порядке, пиши... что-что — номера пиши... что же еще... Мастеркард... Райффайзенбанк... Леонид Бобков... да, через «кей»... и два «о»... 5427 7200 0499 2019... да, все верно... годен до 06/21... что... ага, сейчас посмотрю... (переворачивает карточку) там 659... да, 659 вот... хорошо?.. ну вот так... нет, сейчас прямо к тебе... лечу уже, да... Пашечка мой... где?.. нет, он спит... без задних ног — я ему лошадиную дозу... в шампанское... не, не помрет, но спать будет долго... что?.. не, не трахались, не трахались, что ты... я даже не раздевалась... только поцеловались раз, и все... да, один раз всего... да вообще, не интересный совсем мужик, что ты... не привлекательный никак, такой офисный сморчок... так что можешь не волноваться... приеду — все расскажу... я же, кроме тебя, ни с кем, ни-ни, ты же знаешь...

Через пять минут она была уже на улице. Уснувший город встретил кошачьей, трущейся у ног беззвучной лаской — девушка шла вперед, улыбаясь время от времени, — ей было действительно хорошо. Хорошо, несмотря на колючую ночную прохладу и легкий дискомфорт в здоровом, приятно потревоженном молодом теле.

Анна Варданян

Рассказы

Мезальянс

Павлик Морозович Тупорыло женился на Веронике Умновой по нужде. Павлик плохо помнил чудное мгновенье, но остроносая, воздушная Вероника сверкнула очками и, помахивая нотариально заверенной, завизированной в ЖЭКе и военкомате медицинской справкой о потере девичьей чести в неравной борьбе, вселилась в дом Тупорыло вместе с котом и картонным чемоданом. Вдогонку прикатали перетянутые бельевой веревкой стопки книг, оставив глубокий след на и без того скудном жизненном пространстве Павла. Неуклюжий и особо ничем не обремененный по жизни Павлик почувствовал вдруг острую нужду в Веронике, ее умеренной теплоте, угловатой остроте плеч и нервно искрящихся то ли от избытка ума, то ли от недостатка ласки глазах. С котом Павлик разобрался сухо и по-мужски: сразу уступил ему насиженное место в кресле и ведущую роль на пути к холодильнику, оставив за собой право грязно ругаться и морально подавлять бедное животное. Стопки книг устроились по углам, время от времени заменяя Павлику предметы мебели, в частности — подпорки для пятой точки и подставки для бутылок с водкой. Тут было важно не упустить момент и раскидать все по местам хоть на вздох раньше прихода жены.

Вероника преподавала философию, была умна, а потому интеллектуальным мезальянсом не тяготилась, грубую силу Павлика считала подарком небес, а его неспособность обтесать хоть одну мысль силой разума — издержками профессии и пола, иронично называя скудоумие мужа «милым кличкизмом». Тупорыло языка жены обычно не понимал, хмуро поигрывал бровями, а потом пускал в ход собственный язык и единственный крепкий аргумент. Вероника трепетала и сдавалась. Найдя таки с женой общий язык, несколько опустошенный и уставший от мышечных усилий, Павлик семенил на кухню и задирали крышки от кастрюль и сковородок. «Есть ложь! — гремел на весь дом Павел Тупорыло. — Ворона полосатая!» — добавлял он с неподдельной нежностью. Вероника вздрагивала нутром и плелась на кухню, чтоб наложить полную тарелку харчей во благо тела сталева Павла. Со временем Вера научилась примирять свой отягощенный знаниями ум с безыскусной природой мужа.

«Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?» — напевала Вероника, едва угадав направление шагов Павлика. «Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная...»

Анна Варданян родилась в 1974 году в Ереване. Была автором и ведущей передач на радио и телевидении, креативным директором на «Радио Джаз Ереван». Пишет небольшие рассказы и переводит на русский язык армянских авторов.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2018, № 6.

«Есть ложь!!!» — грохотал Павел с кухни.

«Вот вам приятель — Гость, — думала иной раз Умнова. — Вот вам приятель — ...»
«Лоооожь!!!» — проносился ударной волной по всей квартире голос Павлика. Так и жили душа в душу сталевар Павел Тупорыло и кандидат философских наук Вероника Умнова.

А потом Павлика выдвинули. Завод, область, край и вся сталеварческая общественность подобрали Павлу партию, быстро возложили на него груз ответственности и большие перспективы. Выписанный из столицы гений пиара и творец имиджа Иван Соломонович Пукер мигом превратил грубого, неотесанного и, чего греха таить, туповатого кандидата от сталеваров в брутального мачо, соль земли и мечту домохозяйки, облачил в костюмчик и приставил к нему референта с блокнотом и грудью. Словарный запас Павла Тупорыло обогатился словами «электорат», «доминанта» и фразой «Ой-ой-ой какие мы нежные!» Уезжая обратно в столицу, чародей и кудесник Пукер похлопал Павлика по плечу, поправил тому галстук и сказал напутственно: «Ты, главное, не особо заговаривайся... ты — молчи! Сделай лицо! Сделай лицо, говорю!!! Так, сделал лицо и молчи. И, главное, помни: сила сталевара — в плавках!»

Впечатлительный Тупорыло нашептал слова Пукера как заклинание, пустил скупую мужскую слезу и пошел покорять вершины и приватизировать перспективы. Дела Павла и партии быстро пошли в гору.

«Сила сталевара — в плавках!» — кричал Павлик с трибуны оратора. «Гы-гы-гыыыыы», — доносилось гулкое одобрение рабочей общественности. Незамужние женщины от тридцати быстро сбились в группу «Павловы ягодки», собирались по вечерам на территории Дома культуры, плели макраме и лепили фигурки Павлика из полимерной глины.

Ироничная Вероника хранила философское молчание и томно помешивала щи. Кот, почуяв неладное, сбежал из дома и сколотил семью размером с небольшой отряд. В доме запахло референтом. Вероника встрепенулась, когда аккуратные стопочки ее книг под стройный перегуд фотоаппаратов и прессы перекочевали с фронта семейных действий в библиотеку Детского дома № 37. «Ой-ой-ой какие мы нежные!» — бросила в лицо расстроенной Веронике референт с блокнотом и грудью и побежала фотографироваться и строить будущее с брутальным мачо, солью земли и мечтой домохозяйки.

— Мезальянс, Верунчик! — виновато развел руками Павлик, выставя за порог картонный чемодан.

На этом, пожалуй, можно поставить точку в этой банальной истории, потому что мезальянс как революция — никогда не знаешь, кто окажется сверху!

О сердце

У Семёна Семёныча не было сердца. Вероятно, это случилось с ним не сразу. Акушер и по совместительству главный фельдшер местной тюрьмы перевернул новоиспеченное создание с левого бока на правый, потом — с правого на левый, шлепнул по попе, раздвинул ножки, всмотрелся в пуговку посередине и сказал:

— Главное, шоб жизнь не сложилась в кукиш!

До поры до времени именно так оно и было. Нельзя сказать, что жизнь складывалась в Судьбу, но и беспорядочной кучей фактов биографии она не была. Жизнь Семёна Семёныча была проста, прозрачна и хорошо систематизирована: гольфики, шортики, печенье с молоком и лепка из пластилина — в детстве, экзаменационные тесты, волнующий подол, первый костюм — в юности и пубертатный период — строго вовремя. Кстати, впоследствии некоторые специалисты, в частности—

гештальт-уфолог из столицы и эндокринолог районной поликлиники, настаивали на том, что изменения с сердцем Семён Семёныча произошли именно в период активного полового созревания, однако фактических доказательств ни у того, ни у другого не было. Очевидными внешними признаками созревания Семён Семёныча были лишь внезапно опечалившийся взгляд и несмелые усы. Чуть позже, волосы с головы Семён Семёныча массово мигрировали в неизвестном направлении, и к тридцати годам он превратился в заурядного, слегка округлого, лысого бухгалтера. Режим, осаночка, зубы по утрам и вечерам, пятнадцать неглубоких приседаний в день и короткие пробежки вокруг стола в гостиной. Семён Семёныч очень радовал маму.

Размеренная жизнь, тотальная забота матери и любовь к спорту сделали свое дело — у Семён Семёныча было отменное здоровье. В один из промозглых осенних дней наш многоопытный бухгалтер непредумышленно промок, продрог, отчаялся и оттого — слег. Экстренно подоспевший районный терапевт пощупал Семёну Семёнычу лоб, поставил градусник, осмотрел горло, посчитал пульс... снова посчитал, приник головой к груди больного, приложил фонендоскоп к сердцу, к спине и, на всякий случай, к горлу и написал заключение: у больного жар и острый тонзиллит, сердце не прослушивается, вместо сердцебиения — шелест. С этого дня спокойной жизни Семён Семёныча пришел конец. Больного срочно госпитализировали, созвали консилиум, просмотрели вдоль, поперек и насквозь: рентгеновским лучом, лупой и соколиным глазом. Вердикт экспертов был неумолим: у пациента отсутствует сердце. Вместо сердца в груди Семён Семёныча нежно шелестела бабочка. Со всей страны в уездный город Н слетелись медики, ученые, генетики, биологи, знахари и всяческие СМИ. В срочном порядке в город прибыл ведущий лепидоптеролог страны. Долгое и детальное изучение снимков грудной клетки исследуемого особого результата не дало — специалист так и не смог определить вид поселившейся в груди Семён Семёныча бабочки. Было решено провести развернутый эксперимент и попытаться выманить насекомое из пациента. Сначала его на несколько дней посадили в пахучий цветник под гигантским сачком, потом долго поливали приторной цветочной пылью и мазали нектаром, но все безрезультатно. Пробовали даже поиграть на хрустальной свирели яркие веселые мелодии — ведь никто не знал, как именно бабочка относится к музыке. А вдруг ей понравится мелодия, и она вылетит? Но — нет! Бабочка шелестела крыльями, но покидать грудную клетку Семён Семёныча не собиралась. В минуты особо настойчивых и агрессивных опытов бабочка стихала, и тогда дыхание Семён Семёныча было едва различимо. Ведущий лепидоптеролог страны явно приуныл и опустил руки. «Дай Бог, чтоб это была лимонница. Они дольше живут», — сказал напоследок маг энтомологии и уехал восвояси. Через некоторое время в одном из авторитетных изданий появился научный труд о Семёне Семёныче, где его недуг был обозначен термином «бабочное сердце». В обычной жизни Семён Семёныч старался избегать этой формулировки — неподготовленные граждане не всегда связывали бабочное сердце с прекрасным представителем отряда чешуекрылых, чаще думали, что оно связано с какой-нибудь бабой или, боже упаси, с ночной бабочкой!

Вскоре интерес к Семёну Семёнычу несколько приутих — в соседнем городе появился человек, который разговаривал с огурцами, а по весне зеленел и покрывался пупырышками. Медики, ученые, генетики, биологи, знахари и всяческие СМИ в спешном порядке покинули уездный город Н.

Постепенно жизнь Семён Семёныча вернулась в привычную колею: раннее пробуждение, водные процедуры, стакан кефира для лучшего пищеварения, поездка на работу — три остановки на трамвае и две с половиной минуты пешком, рутинная работа и вечерняя прогулка до дома — к маме и к ужину, мимо парка и городской библиотеки. После ужина и просмотра вечерних новостей Семён Семёныч с особой тщательностью умывался, облачался во все свежее, проверял папочку с документами на предмет целостности и сохранности и только после этого ложился спать. Бабочное

сердце Семён Семёныча могло отказать в любую минуту. Ведь известно, что бабочки долго не живут. Вы знаете бабочку, которая прожила бы больше года?

Однако по прошествии полутора лет после феноменального открытия Семён Семёныч успокоился и несколько расслабился — время шло, а бабочка продолжала тихо шелестеть и щекотать душу крыльями.

Однажды ласковым летним вечером, когда Семён Семёныч шел по обыкновению мимо парка и городской библиотеки домой — к маме и к ужину, с ним случилась стихийная, восторженная влюбленность... Она выпорхнула из дверей библиотеки или сошла с трамвая, или вышла из ворот городского парка... кто знает? Семён Семёныч сразу узнал ее по тому, как чудесно вдруг засверкали лица, как звонко вдруг запели птицы и взметнулись вверх тысячи бабочек где-то внутри. Он посмотрел ей вслед, чтоб убедиться, что затылок и лопатки у нее столь же прекрасны, как прозрачные виски и хрупкие ключицы, — Семён Семёныч умел замечать самое важное! Но прежде чем глаза догнали ее, сердце Семёна Семёныча подступило к горлу — бабочка вылетела и растворилась где-то между солнечными лучами и вечерним небом.

Семён Семёныч пришел домой, лег на диван и закрыл глаза.

Писатель

Я — писатель. Правда, сейчас любой проходимец называет себя писателем. Развелось, как аллергиков по весне. Что касается меня, то я — писатель. Я пишу каждое утро, с 08:00 до 10:00 и час после обеда. Я с детства мечтал стать писателем. Когда мое стихотворение «Чапаев и Курдистан» напечатали в газете «Клятва скаута», весь класс переживал зависть и уныние, а бабушка повлажнела лицом и напекла мне сдобных булочек с изюмом и цукатами. Я был уверен, что стану писателем. В семнадцать лет я написал драму в трех актах «Авось?», и ее поставили в драмкружке при самостоятельном театре консервного завода. Успех был оглушительный! А после того, как два моих рассказа — «Смерть ублюдка» и «Хормейстер нападает» — напечатали в журнале «Знамя и выпел», я окончательно стал писателем. Сейчас я пишу роман. Это будет грандиозно! Выпью кофе и сяду писать. Кофе я варю особенный: две чайные ложки свежемолотого кофе, обжаренного до золотистого блеска, щепотка кардамона, корица на кончике ножа и разве что намек на сахар, буквально — чуточку. Заливаю все талой водой и томлю на медленном огне до появления кучерявой пенки. Резко снимаю с огня, даю подумать секунду и снова ставлю на плиту. Повторяю два раза и заливаю ароматный напиток в стеклянный стакан с удобной ручкой. У хорошего кофейного стакана непременно должна быть удобная ручка, иначе палец может застрять... или что-то другое приключится и испортит все удовольствие. А я ведь писатель, мне важны нюансы.

Роман: *Занималась багряная заря. На пылающем горизонте появились силуэты всадников. Их было трое: мужчина, женщина и существо, с ног до головы укутанное в черное покрывало.*

— *Стойте!* — сказал мужчина, резко остановившись. — *Дальше поедут лишь двое!*

«Багряная заря»... Хорошо, хорошо! Сочно, ярко! И эта интрига: «Дальше поедут лишь двое!» Завязка должна быть сильной, это вам любой писатель скажет. А я — писатель. Потому что я всю жизнь пишу. А та мерзкая сволочь, которая давеча обозвала меня бездарем и графоманом — говнюк и ничтожная личность! Критик-недоучка! Словоблуд!!!

Кстати, о блюде... В романе непременно должно быть море страсти и немного блюда. Сказать по правде, главную героиню я решил списать с соседки по лестничной

площадке. Какая женщина! Фемина! Русалка! Поголовье ее поклонников уже не сосчитать, счет идет на центнеры. Центнер тут, центнер там. Откровенно говоря, полюбоваться на ее корму ходит вся городская богема. Но мне-то что? Я в чужую жизнь не лезу. Я не сплетник, я — писатель. Продолжу, пожалуй... Вот только заготовку на обед заложу и сяду за роман. К обеду, думаю, замариновать куриную грудку в масле с травами и приправами. За несколько минут до готовки добавлю немного апельсиновой цедры для аромата. Быстро обжарю до румяной корочки, потом положу в огнеупорную форму, залью чуть-чуть сливками и доведу до ума в жарочном шкафу. К курице подам молодой картофель с укропом и зеленый салат: крупно нарежу свежий шпинат, добавлю зеленого лука, кинзы и разной зелени, залью постным маслом, накрошу туда козьего сыра, посыплю черным перцем, а в конце — добавлю горсточку обжаренных на сухой сковородке тыквенных семечек. Я ведь писатель, для меня любая мелочь важна!

Роман: *Женщина резко спешила и упала на колени.*

— *Ты не можешь так поступить! Умоляю, пощади!* — кричала женщина заламывая руки. — *Возьми мои украшения, обрей мне голову ржавым мачете, зови меня тупой коровой, но не тронь существо в покрывале! Ты же знаешь, что ОНО для меня значит!*

— *Встань с колен, тупая корова,* — грустно молвил мужчина, доставая клинок из ножен.

Через секунду он занес руку и всадил меч себе в живот. Алая кровь мгновенно оросила преданного коня.

Так-так... Кровь на первой странице, это беспронизытный ход! И эта интрига — «*Ты же знаешь, что ОНО для меня значит!*» Что же там под покрывалом? Надо подумать. Впрочем, сейчас мне некогда. Уже десять часов. Пора на работу. В свободное от писательства время я занимаюсь ремонтом санитарно-технического оборудования при жилищном комитете. Работа вовсе не отвлекает от придумывания сюжетов, да и, честно говоря, ее не так уж и много: то бачок где-то починить, то трубу какую-нибудь заменить. У старушки из третьего дома вечно смеситель барахлит. А я и рад помочь. Я же — писатель, я должен быть внимателен к людям.

Игорь Касько

ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ

В ритме неотложки

* * *

Где будущее райскими садами
цвело вдали, а мёд счастливых лет
во рту горчил проросшими словами —
там нас с тобою нет.

Где небо васильковыми глазами
смотрело на летящий вдаль табун,
и мамы нас крестили образами,
вымаливая добрую судьбу,

там нет сейчас ни нас, ни мам — лишь небо
пугает степь синюшной кожей век.
И жизнь — патриархальное плацебо...
И смерть — лишь яд, что выпил человек...

* * *

Бездонное небо настолько бездонно,
что кажется чёрным, а звёзды — лишь отсвет
его антрацитовый адовой бездны.
Оно бесконечно, безмерно, бездомно.
Оно в одиночестве мечется, бьётся
мальком бессловесным.

И Бог втихаря назначает поэта
другим рассказать, в том числе, и про это.
А также о том, что в мирской суете
мы все в одиночестве плаваем чёрном,
мечтаем о странном, порой, неочёмном
и жизни, порой, проживаем не те.

Касько Игорь Степанович — поэт, переводчик, прозаик. Родился в 1972 году в городе Дубно (Украина). Окончил военное училище. Автор нескольких книг стихов и прозы, в том числе «Многоточия надежды...» (2014) и «Сорок четыре одиночества» (2016). Один из организаторов литературной группы «Кавказская ссылка». Живет в Ставрополе.

* * *

Выпивший дважды лете́йской воды,
станет живым и любимым станет.
В небе летают две диких звезды.
Им всё равно, что предвестьем беды
кличут их страстный танец.

Звёзды — не люди, их свет негасим.
Но холодны их красивые пальцы.
Мы здесь чуть-чуть поживём, повисим:
две-три любви и сотню зим.
Звёзды ж — немеркнущие скитальцы.

Хочешь не хочешь, а в третий раз
влаги лете́йской испить придётся.
Слышишь, летит за тобой спецназ
и шестикрылый небесный ас
целится в твоё солнце?

* * *

Летаешь в ритме неотложки
по ложным вызовам и целям.
Во рту — кислинка от морошки,
в душе — горчинка от дуэли.

И вдруг становится не важным
всё то, что радовало тело.
И самолётиком бумажным
душа на небо улетела.

А ты остался здесь и понял,
что рифмы к смерти не бывает.
Лежишь и смотришь удивлённо,
как в чёрном небе точкой тает
бумажный белый самолёт.

* * *

Мы одной с тобою крови —
тёплой и густой.
Время братской нелюбови
стало на постой
в нашем старом добром мире.

Хоть бы не навек!

Умер в сердце лирик-шмирик...

Слышишь, человек,
мы одной с тобою крови?!
Помнишь, брат, меня?

Наши жёны — завтра вдовы,
если не понять,
что война — гнилое дело,
гнусная парша,
что сожрёт сначала тело,
а потом душа
будет корчиться от боли.

Брат, пора пришла
время братской нелюбови,
к чёрту, отменить!
Мы одной с тобою крови...
Значит, будем жить!

Игорь Павлюк

Из честных букв лепить стихи

С украинского. Перевод Игоря Касько

* * *

Куриль табак.
О ветре думать всеуе...
И сердцу не отказывать в вине.
Из честных букв лепить стихи, рисуя
Слепые сны на вымокшем окне.

Рукой держать коленку юной Музы,
Второй — пускать по речке корабли...
Ни пилигримом, ни бездомным Крузо
Здесь, на уставшем шарике Земли,
Которая не кажется счастливой —
Давно не слышен звонкий её смех —
Под каплями космического ливня,
Во власти злой орбиты, как в тюрьме.

Павлюк Игорь Зиновьевич — украинский поэт, прозаик, переводчик, научный работник. Родился в Волынской области (Украина). В 1992 году окончил Львовский университет им. Ивана Франко. Ведущий научный сотрудник Института литературы им. Тараса Шевченко. Автор более 30 книг стихов и прозы. Лауреат премии английского ПЕН-клуба, Народной Шевченковской премии (Железный Мамай) и многих других. Переводы книг и стихов Павлюка вышли в России, США, Англии и др. странах. Живет в Киеве.

От нас, людей, болидов и болота,
И прошлого, и будущего, и...

Опавших звёзд поблёкла позолота,
И поседали волосы мои.

Решаю сам — что смог бы, что не смог
Я в мире этом изменить... и в том...

Мой дым — как снег...
И в человеке — Бог,
А в Боге... чёр...ный цвет, и я, потом,
Рисую... и пишу, судьбе назло:
И имена, и руки... и года,
Что мне творили радость и тепло,
И боль, и стих...
И то, что навсегда.

* * *

На душе ни гордости, ни боли.
Тихо-тихо.
Мир
И благодать.
Словно в детстве,
Я иду по полю —
И навстречу мамы не видеть.

А её, знать,
Бог не отпускает.
Вечный свет.
Потусторонний сон.
Между нами — птиц небесных стая.

Звёзды — словно рамы для икон.
Может, чудо приключится с нами,
Хоть не здесь, пусть за чертою, там...
Я увижу в старости и маму,
И Христа...

* * *

Я достал до дна — и оттолкнулся...
Кислорода — ровно до челна,
На котором «та ещё!..» Маруся
Налила червлёного вина.

Мы плывём, не думаем о смерти.
Я сильнее и чище стал стократ.
С ощущеньем тишины и тверди,
Разговоров бабочек и трав.

Меж крестом и звоном сердце встанет,
А душа домой, вдруг, заспешит,
Где её никто не оставит
И не будет вечностью страшить.

Где водою голос не затушат,
И огонь в крови не заискрит...

Впрочем, не хочу я даже слушать
О финале жизни... Жив пиит...

* * *

Дожди глухие.
Ночь.
Я задыха...
Я задыхаюсь...
Вечности так много.
Я слышу сатанинское «хаха»
Из преисподней...
Сердце жаждет Бога.

Глотаю небо каплями.
Молюсь.
Мой стих летит
Из сердца прямо к Богу.
Тревожат душу те, кого люблю.
И закаляет колкая дорога.

Замёрзшим светом космос плачет в кровь.
Как человек.
Но кто ж его согреет?
В ночном дожде лишь ворона перо —
Звездой чёрной над Софией реет.

Под утро я купаюсь на реке,
Что стала выше от дождя как будто.

И белое перо в моей руке...
Откуда?

Дружба на вырост

Николай Шульгин

Сто лопат

Рассказы маленького татарина

Перед жизнью и крыльцом

Я маленький мальчик. Татарин.

Я не знаю, что такое татарин. Папа мне сказал:

— Наиль, запомни, ты татарин... Мы все татары... Я татарин, твоя мама татарин, твоя брат и сестра татарин, и даже тетя Роза, которая приходит в воскресенье за селедкой, тоже татарин... а особенно татарин твой дедушка Малик...

Дедушку я не любил. Не то чтобы не любил. Я его боялся...

Дедушка был маленький, как его имя, и у него был только один глаз. Еще у него были лошадь и повозка. По воскресеньям он ездил по городу и кричал: «Шара-бара!!! Шара-бара!!!»

Это значило, что он собирает старые вещи. Дети крали из дома любые вещи родителей, какие попадались под руку, и тащили к нему в повозку. Дедушка внимательно смотрел на них строгим глазом и в зависимости от того, что решал глаз, выдавал детям из деревянного ящичка, на котором сидел, сладкую тянучку или шарик на резинке.

Если вещь была очень хорошая или новая, дедушка давал и тянучку, и шарик.

Где он брал эти тянучки и шарики?! Никто не знал. В магазинах их не продавали.

Друзья мне завидовали.

— Ты, наверное, гад, каждый день тянучки ешь? — говорили они.

— Нет, — отвечал я правду. — Дедушка дает мне только подзатыльники.

Мне не верили и завидовали. Почему-то это было приятно.

Дедушка приходил к нам один раз в неделю по субботам и первым делом давал мне и брату по подзатыльнику.

— Сын, — спрашивал он у отца, — когда ты в последний раз порол детей?

— Вчера!.. Вчера, после обеда, как раз порол... — быстро отвечала мама. — Два раза. Один раз под виноградом, чтобы не ели зеленый, а другой раз в курятнике, чтобы...

— Врешь, невестка! — не верил дед. — Как можно пороть под виноградом или в курятнике? Там как следует не размахнешься... Бог сказал: «Если детей своих не бьешь, значит, их не любишь!»

— Это он вам сам сказал? — уточняла мама.

Николай Шульгин — сценарист, руководитель молодежного музыкального театра «Миррорс». Родился в Ленинградской области в 1954 году. Автор семи книг рассказов и повестей. Живет в Бишкеке. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— Не дерзи, женщина! — отрезал дед. — Я тебе дал хорошего мужа, потому что порол его каждую субботу! И не потому, что он ел зеленый виноград, а потому что так положено!.. Чтобы помнил правила!..

— Какие правила?

— Какие надо!

— Плов остынет, — говорил отец. — Пошли в дом. После обеда выпорем обоих. Поможешь, отец?

— А как же! — отвечал дедушка и молился.

Молиться — это значит закрыть глаза, поднять голову вверх, быстро-быстро пошевелить губами, провести руками по лицу, как будто моешься, и сказать: «Омин».

— Омин! — говорил дедушка. — Обед, татары...

— Омин! — говорили мы и проводили руками по лицу.

Дедушка ел много. Я думаю, чтобы не готовить дома и в животе на больше жизни хватило еды. От этого сразу, когда кончался плов, он засыпал прямо за столом. Мама делала: «Тс-с-с-с!» — и отправляла нас со старшим братом делать уроки.

Дедушка просыпался через пятнадцать минут.

— Сын! — кричал он. — Чем пороть будем — ремнем или хворостиной?

— Ремнем, — отвечал папа. — Только в следующий раз. Мы тебя не дождались... Я посадил их за уроки.

— Ладно, — говорил дедушка. — Уроки еще хуже. Проводи меня.

И уходил...

Просто жизнь

— Наиль, — сказал мне отец, — твой старший брат старше тебя на три года. Не успеешь оглянуться — женился. Поэтому, по совету дедушки, я решил начать строить ему дом возле большой дороги. Я буду строить его две недели вместе с твоей мамой и с твоим старшим братом, у которого всегда рука в штанах, потому что он стремительно превращается в мужчину... Твоя старшая сестра будет варить нам плов. Спать мы будем очень мало и под открытым небом... Спасибо, что мой папа Малик согласился взять тебя на эти две недели к себе...

— Ты говоришь, как дедушка, — заплакал я.

— Правильно, — ответил отец. — Потому что я его сын. Когда ты вырастешь, ты будешь говорить точно так же.

— И у меня будет один глаз, и я буду кричать «шара-бара» по воскресеньям?

— Это если повезет... Запомни, Наиль, — ты татарин... Мы все татары... Я татарин, твоя мама татарин, твой брат и сестра татарин, и даже тетя Роза, которая приходит в воскресенье за селедкой, тоже татарин... А особенно татарин твой дедушка Малик, который согласился за две недели сделать из тебя настоящего татарского мужчину!..

— Я не буду держать руку в штанах. Девчонки в классе будут смеяться...

— Сейчас каникулы. Никаких классов нет. Не говори глупостей. Вопрос решен!..

Утром сестра повела меня к дедушке.

«Интересно, — думал я, — он будет меня пороть ремнем или хворостиной? Или по выбору?.. Если по выбору — что лучше?..»

Меня ни разу в жизни не порол, и я затруднялся с ответом. Вот придем мы, думал я, к деду, и он спросит: «Ну что, маленький татарин, ремнем или хворостиной?» Что ответить?..

«Надо было самому попробовать ударить себя ремнем и хворостиной», — подумал я последнюю мысль, потому что мы уже пришли.

Я ни разу не был у дедушки. Мы с сестрой стояли возле больших деревянных ворот, в них была вырезана маленькая дверка, которая была закрыта. За воротами лаяли собаки. На слух две... Или три...

— Кто? Кто? Кто? — гавкали из-за ворот собаки.

— Я привела Наилу, принесла его вещи и еду на две недели! — прокричала сестра сквозь собак.

— Оставь все на улице и уходи! — слышалось из-за ворот.

— Не уходи, — сказал я.

— Будь женщиной, не плачь, — сказала сестра, положила вещи на землю и ушла.

Я решил последовать совету сестры: засунул руку в штаны, приготовился к самому худшему и стал ждать.

«Все-таки лучше ремнем, — думал я. — Хоть это, наверное, и больней, но зато полосы будут широкие и я смогу сказать, что это от горчичников... Конечно, пацаны на канале спросят: "А чего такие тонкие горчичники?.." Я тогда скажу, что это китайские специальные горчичники, которые привезла тетя Роза в подарок на 1 мая. Все знают, что тетя Роза ездит в Китай и что-то оттуда привозит в мешках...»

Прошло много времени. Я не умею считать время, когда каникулы. Когда учеба, то время считается уроками и переменами, а когда каникулы, то часами. Но часов у меня не было.

— Ну что, долго ждал? — услышал я за спиной. И кто-то повернул меня кругом за плечи. Это был дедушка.

— Долго, — честно ответил я.

— А откуда ты знаешь, что долго?

— Время шло...

— Дурак. Времени нет. Время придумали часовщики, чтобы деньги у дураков собирать. На кой нам черт знать, сколько сейчас времени, если при нынешней власти перерывы в магазинах отменили, а водку продают круглые сутки?

— Не знаю...

— Не знаешь, потому что дурак. Я тебя буду учить, и ты будешь не дурак, а хитрый татарский мальчик.

— Дедушка Малик, а можно ты меня будешь учить не хворостиной, а ремнем?

— Не называй меня «дедушка Малик». Это по-русски. Зови меня по-татарски — бабай. Я тебя буду учить и хворостиной, и ремнем... У вас в школе сколько предметов?

Я «помолился» губами и ответил:

— Пять.

— Значит, надо еще три придумать... кроме ремня и хворостины... — в свою очередь «помолился» дедушка и заглянул в узел, который оставила сестра, не тем глазом. Вместе с «не тем глазом» в мешок залез нос.

— Сыр, мясо, хлеб, картошка, макароны, крупа и масло. Мало. На нас двоих на две недели не хватит. Ты много ешь?

— Сколько мама дает.

— Это хорошо. А черешню любишь?

— Очень.

— Это еще лучше. А селедку?

— Не очень.

— Это плохо.

Дед повел меня куда-то вдоль забора и привел к неприметной доске, которую отодвинул и ловко пролез через дырку. Я пролез еще ловчее. Пока дед прилаживал и маскировал доску, я спросил:

— Дед, а зачем мы ходим не через ворота?

— Когда на нас нападут киргизы, узбеки или русские, — они полезут через ворота, и тогда мы нападём на них сзади.

— А если ворота вообще убрать?

— Дурак! А как мы будем выводить быков? И вообще... Если ворот не будет, они найдут доску.

— Кто найдет, дед, быки?..

— Не зови меня «дед», зови «бабай»! Еще раз повторять не буду!

Дедушка справился с доской и сказал трем большим и маленьким собакам, которые ждали приказа, в какой момент им начинать меня есть:

— Это мой внук Наиль. Он такой же татарин, как и все мы, но маленький. Поэтому его можно пускать всюду, кроме лошади, и принимать из его рук пищу, если ему удастся ее здесь найти. Питаться самим Наилем нельзя. Точка.

— Есть... — разочарованно, но вместе с тем учтиво, гавкнули собаки и пошли охранять лошадь.

— Бабай, — спросил я по-татарски, — а почему нельзя подходить к лошади?

— Она может подумать, что твои зеленые руки — это трава, и откусит их.

— Это просто цыпки... Мама зеленкой намазала.

— Напрасно деньги тратила на аптеку. Надо было выпороть, и все бы прошло само.

У дедушки был большой дом и большой двор с разными строениями. Оттого что строений, больших и маленьких, было много и между ними росли деревья, закрывая небо и окрестности, определить размеры дедовых владений с первого взгляда я не смог.

Дед громыхнул ключами, которые он носил на шее на кожаном ремешке, и открыл дверь большого дома. Мы сразу оказались в кухне.

— Смотри, Наиль, это холодильник, — сказал дедушка. — Он младше меня всего на один год, но выглядит значительно моложе. Спроси меня, почему?

— Почему? — спросил я.

— Потому что я за ним ухаживаю лучше, чем твоя мама за мной.

— «ЗИЛ», — прочитал я на двери холодильника, и чтобы поддержать разговор, спросил: — А что такое «ЗИЛ», бабай?

— Это оно так называется.

— А что означает «ЗИЛ»?

— Я думаю, что оно означает какое-то русское слово. У русских много ненужных слов. Их необязательно запоминать.

— А на нашем холодильнике написано «Бош».

— Вот видишь. Какой уважаемый татарин придумает такое дурацкое слово «Бош»?..

Дед осторожно открыл «ЗИЛ» и стал аккуратно перекладывать продукты из мешка, который прислали вместе со мной, в холодильную камеру.

— Смотри, — сказал он, когда закончил, — какой хороший холодильник. В нем еще осталось много места... В следующий раз скажи маме...

— Хорошо, бабай, — сказал я.

К холодильнику подошел старый, одноглазый, как дедушка, кот и тоскливо заглянул внутрь.

— Кот, — сказал я.

— Да, — сказал дедушка.

— Как его звать?

— Кот и звать...

— А имя...

— Зачем ему имя — он не холодильник... Если хочешь, зови его «ЗИЛ».

— А как ты его зовешь, бабай?

— Кс-кс-кс... — ответил дед.

Кот удивился и оживился одновременно. В его единственном глазу мелькнула надежда и он сделал робкий шаг к продуктам.

— Кот хочет есть, — сказал я.

— Да, — сказал дедушка.

— Бабай, а чем ты кормишь кота?

— Дверью, — ответил дед и закрыл холодильник.

— Это как?

— Когда он хочет есть, я открываю дверь, и он идет искать пищу. На улице полно всякой пищи для котов.

Дед открыл дверь на улицу и вытолкнул кота.

— А какая на улице пища для котов?

— Мыши, птицы... Воробьи... Много всякого...

— А дома ты его не кормишь?

— Зачем, если с улицы он приходит сытый?..

— Бабай, а почему у него, как у тебя, один глаз?

— Какой-то сволочь, наверное, стрельнул в него из ружья... Пойдем, я покажу тебе дом.

Дед водил меня по дому и говорил, открывая дверь за дверью:

— Вот комната... Вот комната... Вот комната... Вот комната... Вот комната...

Все комнаты были совершенно пустые.

— А вот комната с диваном. Я вот так ложусь и сплю.

Дед лег и закрыл глаза.

— Наиль, позови кота. Пусть у меня на животе полежит.

Я немножко поплутал по дому, нашел выход и крикнул на улицу:

— ЗИЛ! ЗИЛ! Тебя бабай зовет!

Откуда-то выскочил кот и шмыгнул мимо меня в дом. Когда я нашел комнату с диваном, все уже спали. Дед снизу, а кот сверху.

Я вышел из дому и сел на крыльцо скучать. Возле меня сели собаки и тоже стали скучать. Из самого большого сарая высунулась большая лошадиная голова. Она оглядела двор, увидела, что деда во дворе нет, и тоже скрылась скучать, как и мы, только в сарае.

Без деда жизнь в его мире замирала. Никто ничего не делал.

Я сходил к сараю, откуда снова высунулась лошадиная голова, и потрогал ее шершавые губы.

«Как может быть такая большая голова?» — подумал я и пошел скучать к собакам. Собаки спали на крыльце, куда падала тень от большого ореха. Я выбрал собаку покрупнее и почище, положил на нее голову, подумал, что мне совершенно не хочется спать, и тут же заснул.

— Вставай, Наиль, — сразу же сказал дед. — Ты можешь проспаться жизнь.

— Я только лег...

— Это тебе так кажется. Ты спишь уже пятнадцать минут... Сейчас мы будем кормить скотину.

— Дверью?

— Нет... Скотина — это не кот...

— ЗИЛ, — поправил я.

— Ну, ЗИЛ, — согласился дедушка.

Мы кормили лошадь овсом, а собак и цыплят — вареным овсом.

— Наиль, — спросил дед, — ты до сколько умеешь считать?

— До миллиона.

— Хорошо. Сосчитай цыплят.

— Двадцать девять, — сказал я.

— Хорошо. Цыплята — это хороший бизнес.

— Бабай, а что такое бизнес?

— Не знаю, — сказал дед. — Пойдем ужинать. Солнце садится.

Дед повел меня почему-то не домой к холодильнику, а вдоль длинного забора к воротам. Возле ворот, закрывая их больше чем наполовину и не давая открываться, лежала огромная спеленная черешня с кучей полуспелых ягод.

— Наиль, — сказал дед, — мне для тебя ничего не жалко — ешь до отвала!

— Мама запрещает мне есть недоспелую вишню. Она говорит, что может быть понос.

— Твоя мать русская и ничего не понимает в татарской черешне. От татарской черешни не может быть русского поноса.

Дед выбрал ягоду покрасней и съел.

— Если хочешь, можешь, конечно, идти спать сразу... Без ужина... — сказал он... Мы ели черешню очень долго. Черешня, даже зеленая, вкуснее всяких сыров и лепешек.

«Пусть дед порет, — думал я, — зато дает черешни столько, сколько хочешь... Это уравнивает», — вспомнил я какое-то школьное слово.

Наевшись черешни до отвала, мы сели на крыльцо поикать. ЗИЛ и собаки легли в ногах.

Крыльцо

— Бабай, — икнул я, — зачем ты спилил недоспевшую черешню?

— Потому что она была на роге у яка, которого я вырастил для бизнеса. Только не спрашивай у меня, что такое бизнес, — икнул в ответ дед.

— А почему на роге у яка черешня?

— Потому что, когда узбеки выводят яка из двора на убой, они надевают ему на голову мешок и к каждой ноге привязывают цепь. Четыре узбека на цепях, а один тянет за веревку. Я в это время прячу собак, чтобы они не напугали яка. Позавчера одна собака спряталась и гавкнула в неподходящий момент. Як от страха мотнул головой и вырвал эту черешню с корнем. Вытащить рог из черешни мы не смогли, поэтому спилили черешню, и як ушел на бойню с полдеревом, — длинно икнул дед.

— Они принесли потом тебе полчерешни назад?

— Зачем?

— Дрова же...

— Молодец, — разочарованно икнул дед. — А я как-то не подумал...

Вырванная яком черешня освободила кусочек звездного неба, и мы смотрели на мерцающие звезды. Звезды переменили настроение деда.

— Помолимся, — сказал он.

Мы пошевелили губами, сказали: «Омин», — и умылись сухими ладошками.

— Бабай, как ты думаешь, где Бог?

— На небе, конечно, балда.

— А как он слышит, если мы молимся так тихо?

— Этого я не знаю.

— Я смерти боюсь...

— Зачем? После смерти мы пойдем в рай.

— А что такое рай?

— Бог сказал — сюрприз.

— Даже не намекнул?

— Зачем?... Я, правда, слышал, что все получают там всё, что хотят... Я вот старый, наверное, скоро умру... И получу...

— А что бы ты хотел получить в раю, бабай?..

— Второй глаз... Чтобы шоферские права вернули...

Я посмотрел на кусочек видного неба и попытался представить Бога. Бог был похож на деда. У него был тоже один глаз, только посередине лба, и он удил людей на удочку...

— Ай-ай-ай! — сказал дед. — Наиль, ты спишь, а я уже помолился и забыл тебя выпороть. Склероз. Завтра два раза должен буду. Ты напомни мне.

— Хорошо...

Просто жизнь

Писать стало хотеться сильнее, чем спать. Я пробирался по стенам, сто раз ошибаясь дверями, и пописал в угол какой-то комнаты. «Жарко, — решил я, — все высохнет, и дед одним глазом не заметит. А если заметит, подумает на кота. Не подумает же он на меня...»

— Пук! — послышалось с улицы. Как выстрел. Я был умный татарский мальчик и понял, что на нас нападают киргизы, узбеки или русские.

Надо разбудить дедушку, подумал я, и воспользоваться той доской, о которой пока еще никто не знает.

От страха я нашел комнату дедушки мгновенно. Телевизор передавал голых теток. Они меня не интересовали. Я выбежал во двор. Мне было страшно. Мне казалось — покажись сейчас бабай, и все пройдет...

— Стоять! — услышал я голос бабая. — Тихо!

Мои глаза пригладелись, и я увидел, что дед лежит на земле и метит в кого-то ружьем.

— Наиль, ползи тихо! — услышал я.

Я тихо подполз к лежащему дедушке, который единственным глазом целился из ружья куда-то в темноту.

— Видишь кота? — прошептал он.

— Вижу, — прошептал я. — А где они?

— Кто?

— Русские, узбеки и киргизы...

— Спят. Какая тебе разница... пусть сами охраняют своих цыплят.

— Давай прогоним кота!

— Тихо, дурак, он завтра снова придет, его надо застрелить. Правильно?

— Правильно, бабай, а почему ты держишь ружье не в ту сторону, где кот?

— Не учи меня стрелять котов, сопляк!

— Вон кот, на заборе.

— Точно... — сказал дед, развернулся и пульнул. Кот взвизгнул и убежал.

— В жопу попал... Похромает и все пройдет.

— Ну и что?

— Завтра снова придет, сволочь. Иди спать.

— А ты?

— Я не буду. Если я усну, — из ста цыплят у меня не останется ничего.

— Я буду не спать с тобой! — сказал я и приткнулся на кошму.

— Молоде... — услышал я от дедушки все буквы, кроме последней «ц». Так вкусно мне не спалось никогда...

«Это все фигня, — снилось мне, — что у моего старшего брата рука в штанах, зато я воин».

Мне снился дед на коне. Он стрелял куда-то в темноту из ружья и кричал: «Где вы? Выходите? Я вам дам цыплят!.. Их у меня много в ружье!..»

— Вставай! — разбудил меня дед, — у нас беда! Пришел твой друг ЗИЛ. Он где-то лазил, и ему прострелили жопу дробью... есть же сволочи...

— Настоящий татарин должен отомстить, бабай? — смело спросил я.

— Да, но сначала настоящий татарин должен родить сына, посадить черешню, построить дом... и даже сарай... начнем прямо сейчас... Незачем тянуть.

— Бабай, а как родить сына?

— Я потом расскажу...

— Когда?

— Когда писька дорастет до пупа.

Я померил, получалось очень долго...

— Тогда начнем с дерева, — сказал дед. — Тем более что мы потеряли черешню. Иди в сарай и принеси лопату. Там на улице растет ничья черешня. Мы ее выкопаем. Посадим. И она будет «чья».

— Бабай, черешня уже надоела...

— А ты что, видел на улице бесплатный персик?

— Нет...

Я пошел в большой сарай за лопатой. Ключом, который из кучи других безошибочно вытащил мой дед, я открыл дверь и взглянул в темноту.

В сарае стояли рядами (я потом посчитал) сто лопат, сто кирок, сто грабель и еще чего-то по сто, чему я не знал названия. Я взял крайнюю лопату и вышел во двор.

— Бабай, — сказал я. — Над тобой кто-то пошутил и занес потихоньку в сарай всего по сто...

— Нет таких дураков, — сказал дед, — чтобы они отдавали вещи... Это я сам купил...

— Зачем тебе столько лопат?

— Дурак! А если война?..

Я не знал, что такое война, и учтиво промолчал.

— Железные лопаты могут лежать сколько угодно. Это тебе не черешня. Кушать хочешь?

— Нет, — ответил я, вспомнив про черешню. — Хочу копать.

— Люблю трудолюбивых... а нетрудолюбивых не люблю...

— Мама сказала — Бог любит всех...

— Он что, шофер первого класса?

— Кто?

— Бог.

— Не знаю.

— Ну вот. Не знаешь, а открываешь рот для мух. Ты что — тупой?..

Я обиделся и замолчал. Дед тоже замолчал. Мне показалось, что он пожалел, что назвал меня тупым.

— Это хорошо, Наиль, что ты глупый мальчик, — немного погодя, сказал дед.

— Почему?

— Потому что твоя культурная мама не заставит тебя таскаться с позорной скрипкой в музыкальную школу, и ты будешь героическим шофером первого класса, как твой дед.

— Я хотел спросить — почему я глупый?

— Ты хочешь сказать, что ты умнее меня?

— Нет.

— Вот, а я же шофер...

— Как Бог?

— Почти... Но о Боге днем не говори.

— А когда?

— Только вечером на крыльце...

— Хорошо...

Крыльцо

— Бабай!.. Ты спишь?.. — разбудил я деда, который храпел, сидя на крыльце между двумя большими теплыми собаками.

— Конечно, нет... Это я так думаю... Настоящий татарин не может лечь спать, пока он не помолился. Помолимся.

Мы закрыли глаза. Пошевелили губами и умылись сухими руками.

— Бабай!

— Да...

— Я вчера во сне Бога видел...

— Откуда ты узнал, что это Бог?

— Он на небе был...

— Может, это космонавт... На нем был скафандр?

— А что такое скафандр?

— Ну, это такое на голове... Непонятное...

— Кажется, было что-то на голове...

— Значит космонавт!

— Космонавт — это Гагарин?

- Что такое — «гагарин»?
- Нам учительница говорила, что космонавт — это Гагарин...
- Запомни, маленький татарин, твоя учительница глупа, как все женщины, слова «гагарин» нет... скажи еще, ЗИЛ... Космонавт — это шофер ракеты.
- Шофер первого класса?
- Нет... я думаю, даже высшего... или даже очень... пошли спать...
- Я думаю, такие шоферы ракет видят Бога...
- Запомни, маленький татарин, — все шоферы видят Бога! Кстати, мы уже молились или тебя пороть?
- Молились, но если ты хочешь, то давай пороть...
- Кого?..
- Из нас двоих, наверное, только меня...
- После молитвы нельзя пороть. После молитвы надо спать.
- А цыплята?..
- Не бойся... Твой меткий бабай убил вчера чужого кота. Отбой...

Жизнь

- Наиль, вставай, уже утро! Пора завтракать. Ты не помнишь, мы вчера ели чего-нибудь или нет?..
- Кажется, «или нет»...
- Тогда мы сейчас поедим... Ты до сколько умеешь считать?
- До миллиона.
- Подойдет. Сходи в сарай и посчитай, сколько там бочек, которые пахнут селедкой.
- В сарае, за лопатами, кирками и всем тем, чего у деда было по сто штук, стояли пять огромных бочек. От них чем-то противно пахло...
- Пять, бабай... А можно, я их не буду нюхать?
- Надо было лучше купить двести лопат... На войне лопаты нужнее, чем гнилая рыба. Как ты думаешь, Наиль, что делать с селедкой? Эту селедку уже не едят ни собаки, ни тетя Роза.
- Выкинуть?..
- Дурак. Ты что, русский, что ли? Вещи выкидывать...
- Русские на канале пьют пиво возле желтой бочки... — сказал я все, что знал про русских.
- Ты превращаешься в настоящего татарина благодаря моему воспитанию. А это я тебя еще не порол... В тебе просыпается ум...
- Почему?
- Потому что пивом торгует хромой Рашид. Я ему продам всю селедку. Он будет продавать ее русским. Им еще сильнее будет хотеться пива от этой противной селедки, и он будет получать от них еще деньги. Понял, почему?
- Понял, — сказал я, хотя меня интересовало не то, как хромой Рашид будет обманывать русских, а почему дед не начинает меня пороть, и значит ли это, что порки «накапливаются», и он когда-нибудь выпорот меня за все дни, или, как в футболе, те пропущенные порки, будут «заиграны» и как бы не будут считаться...
- Весь день мы катали с дедом огромные бочки на канал к Рашиду.
- Когда Рашид открыл бочки, он сказал:
- Татары! Эти бочки надо сбросить с моста, потому что русские, которые приходят пить пиво, не такие сильные желудком, как тетя Роза... Они могут умереть от этой рыбы, и тогда их родственники перестанут со мной разговаривать.
- Мы сбросили бочки с моста. Канал проглотил их и довольно заурчал волной.
- Бабай, — сказал я, — канал понравилась твоя селедка.
- Ему не понравилось, — ответил за деда Рашид, — просто он из вежливости. Этот канал татары копали...

— А учительница говорила, что солдаты...
— Правильно... а татары торговали рядом пивом и пирожками. Поэтому солдаты не умерли с голоду... а то, если бы умерли, кто бы копал, по-твоему?..
— Татары?..
— Наиль! Когда разговаривают старшие, нужно молчать и слушать мудрости! — прервал меня дед.
— Я понимаю, бабай, — сказал Рашид, — сегодня у тебя горе, пропала селедка, которую не ест даже тетя Роза, поэтому я даю тебе бесплатно ведро пива.
— Теперь понял, Наиль, что такое настоящая татарская дружба?
— Да, бабай...
Дома дед спросил:
— Наиль, ты умеешь писать?
— Да, и считать до миллиона...
— Не перебивай... У меня нет ничего по миллиону, чтобы считать. Пиши: «Список друзей, чтобы они выпили пиво». Написал?
— Написал.
— Пиши: «киргизы с Глиняной улицы — Бектур, Марат, Курмангазы, Маркенгелен...»
— Такого имени не бывает, бабай...
— Бывает — это Маркс, Энгельс и Ленин...
— Они придут все трое?..
— Нет.... Один будет пить за всех троих... Не перебивай... Пиши: «узбеки с Кривого переулка... Махмуд, Махамед, Мухаммед и его брат Махмуддин...» Записал?..
— Записал. Это тоже один человек?..
— Не перебивай... Пиши... Русские...
— С какой улицы?
— Со всех... Анатолий, Толик, Толян и его шурин...
— Шурин — это Шурик?..
— Нет. Шурин — это человек без дна... Одного ведра нам не хватит, Наиль...
Как думаешь, Рашид не обменяет остатки черешни на еще одно ведро?
Вечером пришли друзья бабая. Они пили, ели, пели песни и вспоминали, как они были молодыми шоферами и катали девушек в коротких платьях на больших машинах...
Я уснул на собаке, а проснулся на кровати деда. Дед ел сыр.
— Бабай, уже другой день или этот? — спросил я.
— Этот, — ответил дед. — Ты хочешь сыра или приключений?
Мне очень хотелось сыра.
— Приключений... — сказал я.
— Очередным твоим приключением будет отсутствие сыра в твоём брюхе три дня.
«Ошибся», — подумал я.
— Нет, ты не ошибся, — сказал дед. — Потому что ты будешь добывать пищу, как все.
— Бабай, — сказал я, — я не могу добывать пищу. Я маленький.
— Тогда ешь черешень, — сказал дед.
Я пошел есть черешню. Она уже не казалась такой вкусной...
«Фигня осталось», — думал я. — Дерево я уже посадил. Построю быстренько дом и спрошу у деда, как рожать сына. Скажет ведь, наверное. Прямо уж тайна...»

Крыльцо

— Бабай, когда еще раз нападут узбеки, киргизы и русские?
— А когда они напали?
— Сегодня... Я целый час мыл посуду... Война — это плохо.
— Война — это плохо, — повторил дед. — Но лопаты надо куда-то девать...

— Мама говорит, — не надо волноваться: Бог все устроит...
 — Ой... — сказал дед. — Бог!.. Мы же еще не молились сегодня.
 Мы пошептали, умылись и сказали: «Омин».
 — Ты, наверное, думаешь, Наиль, что твой бабай старый дурак и поэтому забыл тебя сегодня выпороть?
 — Нет. Меня надо выпороть уже пять раз, и мне страшно думать о том, что когда-нибудь ты меня выпорешь пять раз подряд...
 — И правильно... Маленькие должны уважать старших. Так Бог сказал.
 — «Он сам вам об этом сказал?» — спросил я словами мамы.
 — Сам, — сказал бабай. — Он сегодня с нами пил пиво...
 — А почему я его не видел?
 — Потому что у тебя еще не выросли глаза.
 Я попытался сделать глаза больше. Но уже была ночь, и они сами по себе уменьшались и уменьшались...

Просто жизнь

— Наиль, ты, когда последний раз считал цыплят?
 — Никогда... Они куда-то ушли, бабай...
 — Улетели в жаркие страны? Мне кажется, — сказал дед, — что они ушли в брюхо к твоему другу ЗИЛу...
 — Этого не может быть... Они ему, как братья, — вспомнил я где-то слышанную фразу.
 — А почему он тогда не просит есть и не приходит домой? И еще он нассал в доме.
 — Бабай, ЗИЛа жалко — ему кто-то застрелил задницу... И потом, раз нет цыплят — останется лишний корм для лошади.
 — Молодец, Наиль. Ты становишься настоящим татаринном.
 Я вытащил пияску и стал подтягивать ее к пупу, чтобы померить.
 — Нет, — сказал дед, — я в смысле, что научиваешься хитрить... Кто стучал в ворота, пока я чистил лошадь?
 — Приходила тетя Роза. Она сказала, что где-то в конце канала узбеки выловили пять бочек с селедкой. Сказала, если ты хочешь, то можно сделать неплохой бизнес. Они просят по барану за бочку...
 — Я не знаю, Наиль, что такое бизнес. Но по барану за бочку — это выгодно. Надо подумать...
 — Сказала, зайдет завтра. И один баран ей...
 — Этот баран будешь ты.
 — Почему?!.
 — Потому что у нас нет баранов. У нас лошадь... Иди — мой посуду и ведра. Скоро ночь...
 — И еще она сказала, что папа просил, чтобы я пожил у тебя до конца лета...
 — И что ты решил?
 — Я подумаю...
 — Я тоже...

Крыльцо

— Бабай, — спросил я, — ты как-то говорил... а почему шоферы могут видеть Бога?
 — Все могут видеть Бога. Зачем спрашиваешь?..
 — Хочу у него чего-то спросить...
 — Спроси у меня. Может, я знаю.
 — Я у тебя стесняюсь...
 — Ну, как хочешь... Спроси у Самого. Помолимся...

Мы пошептали, «умылись» и сказали: «Омин».

— Сорок восемь, — сказал я.

— Сорок девять... или даже пятьдесят. Меня не обманешь...

Просто жизнь

— Бабай, скоро придет сестра и заберет меня назад.

— Ну и что?

— Тебе тяжело жить одному... Когда я уйду, кто будет мыть для тебя посуду?

— Когда ты уйдешь, будет почти осень... киргизы приведут яков...

— Я видел на улице бабку в галошах... Если у тебя рука иногда бывает в штанах, может, ты возьмешь ее к себе жить? Она будет мыть посуду...

— Честно говоря, только отцу не говори, она мне тоже нравится.

— Тогда я сейчас позову ее?

— Стой! Наиль, ты еще маленький и не понимаешь некоторых вещей...

Мы помолчали.

— Бабай, расскажи мне вещи, которые я не понимаю. Или надо ждать?.. Я мерил вчера... Писька еще не доросла до пупа.

— Это тут ни при чем... Я не могу взять бабку, которая не татарка. И потом, она зубами с пяток мозоли счищает...

Я попробовал дотянуться зубами до своей пятки.

— Дурак, — сказал дедушка. — Вот ты ее совсем не знаешь, а уже пытаешься подражать ее глупости. Вот тебе подзатыльник для воспитания.

— Бабай, а как она до пятки зубами достает? Как это? Гибкая такая, что ли?

— Зачем... Вот, смотри.

Дед вытер руку о штаны, залез себе в рот и достал зубы...

— Ух ты!

— Это еще не «ух ты», — сказал Бабай. — Вот — «ух ты»...

Он скинул с правой ноги резиновый галош и почесал себе зубами пятку.

— Вот это — «ух ты!» Но я так не делаю. Это бабка...

Дед вытер зубы о штаны и вернул на место.

Мы помолчали.

— Жалко, что не татарка, — сказал я.

— Жалко... — сказал дед.

Крыльцо

— Бабай, мне кажется, что крыльцо становится меньше, а жизнь короче...

— Ты вырос за лето, маленький татарин... и чуть-чуть поумнел...

— Завтра я уйду?..

— Завтра ты уйдешь...

— Тогда давай помолимся?

— Старший должен призывать к молитве, а не ты. Давай помолимся.

Мы помолились.

— Скажи, бабай, когда мы «умываем лицо» — это чтобы чисто было. Когда говорим: «Омин» — значит, конец. А зачем губами шевелить?..

— А ты что, просто так шевелишь? Надо не просто шевелить, а тихо просить себе чего-нибудь у Бога.

— Я не знал... Все лето просто так шевелил. Мог бы много выпросить...

— Не бойся, я за тебя просил...

— А что ты просил?..

— Я просил: Бог, дай Наилью то, чего у него нет, и отбери лишнее.

— Хочешь, я скажу тебе, что я хотел попросить у Бога?..

— Нет...

- Почему?
- Ты сначала попроси... Нельзя стоять между человеком и Богом...

Просто жизнь

Утром дед, собаки и откуда-то взявшийся хромой ЗИЛ, которого не было месяц, вышли на крыльцо. Лошадь высунула голову из сарая и задумчиво прослезилась одним глазом. Дед сказал речь:

— Наиль, ты прожил со мной целое лето... Я научил тебя всему, что я знаю. Ты не держишь правую руку в штанах, но ты уже почти стал настоящим татаринном. Иди и живи дальше...

— Бабай, — спросил я, — а чем отличается «настоящий татарин» от «просто настоящего человека»?

— Ничем... Не перебивай... Сегодня ты вернешься домой. Вот в этом мешке еда на две недели. Всё... Иди...

— Бабай, а зачем еда? — спросил я.

— Когда ты пришел ко мне с едой, я не спрашивал тебя, зачем еда, которую принесла твоя сестра. Еда, чтобы есть.

— Тогда я пошел.

— Стой... Ты, это... Не говори отцу, что я тебя ни разу не порол... И что его ни разу не порол... Он думает, что я его порол, только он забыл.

— Хорошо...

Дед подошел к воротам и загремел ключами.

— Бабай, а можно я выйду через доску?

Я безошибочно нашел нужную доску, или она меня нашла. Вылезать было немного сложнее, чем в первый раз влезать.

В нос ударил запах созревшей акации. Она, наверное, тоже выросла и стала настоящей татаркой...

Эпилог

С тех пор прошло много лет. Бабай, как и обещал, умер, и я почти забыл его лицо... Но когда я чувствую запах спелой акации, я вынимаю руку из штанов и прикладываю ее к сердцу, потому что оно колет... Я не знаю, почему...

На лобовом стекле моей машины с внутренней стороны привязана маленькая иконка, которую мне дала мама. Теперь я знаю, почему шоферы всегда видят Бога...

Я смотрю на Бога и шевелю губами фразу, которую так и не сказал деду: «Боженька! Дай, пожалуйста, дедушке и ЗИЛу еще по одному глазу!..»

Стекло машины мутнеет от влаги, и дорога становится не видна. Я включаю щетки, но ничего не меняется...

Автомобильные щетки не могут стереть влагу с моих глаз...

Анатолий Королёв

Боттега/моя мастерская

*Небольшое предисловие мастера к написанному его студенткой
небольшому роману размером с рассказ*

1

В 2019 году конкурс в литературный институт установил рекорд двадцатилетия — 10 человек на место! Пишу курсивом: *десять человек на одно место* — речь идет о бюджетных местах, а сумма, которую приходится платить желающим учиться на платном, подскочила до заоблачных высот. Такого ажиотажа, по словам моих старших коллег, не было со времен Советского Союза, но! Но, друзья, ни для кого не секрет, что сегодня профессия писателя практически не кормит автора, редкая птица долетит до середины Днепра, издатель платит сущие гроши, мне, например, издатель выдает гонорар книжками — и это норма, оставим в стороне горстку людей, которые могут достойно прожить на гонорары, среди моих друзей таких, увы, нет... В чем же причина ажиотажа?

И надо ж такому случиться: именно я и мой коллега Саша Михайлов попали под раздачу судьбы: как раз мы прошлым летом набирали первый курс, и девятый вал рукописей накрыл нас с головой.

Я фактически переехал жить в институт: везти рукописи абитуриентов домой? — да вы смеетесь... Саша забирал свою половину в рюкзак и ехал на дачу, у меня тоже — скажу осторожно — есть нечто в виде дачного домика за сто километров от Москвы, но ехать туда? Абсурд! Одним словом, весь июль я приезжал в безлюдный вуз утром, располагался в пустующем кабинете ректора, обедал в ресторане «Иерусалим» на крыше синагоги любавичских хасидов, что в десяти минутах от КПП института на Большой Бронной (рекомендую!) и читал, читал, читал горы зашифрованных текстов. Допоздна!

Так вот. У меня есть своя версия причин ажиотажа.

Практически никто из желающих поступить в литературный институт вовсе не собирается стать писателем!

Небольшой экскурс в историю...

Я пришел в литинститут 13 лет назад, в 2005 году. Меня пригласил на кафедру мастерства тогдашний ректор Сергей Есин. В тот далекий год вуз не был столь прочно

Королёв Анатолий Васильевич — писатель, педагог Литературного института им. Максима Горького, почетный профессор Пермского университета, доцент кафедры литературного мастерства, руководитель творческой мастерской прозы.

Предыдущая публикация в «ДН» — роман «Хохот» (2018, № 1).

устроен и упакован, как сегодня... очень-очень скромное жалование плюс минимальный социальный пакет на фоне памяти о рухнувшей синекуре Союза писателей СССР. Получите матпомощь для написания романа, вот тут распишитесь, а шапочку пошить из кролика не желаете?

Короче, набираю свою первую мастерскую.

Разбираю тексты, которые пришли на конкурс.

Не без удивления мне становится ясно, что 60% абитуриентов пишут фэнтези! *Джосан вскочила на коня и поскакала к звездолету.* Бог мой, но я давно не читаю такого рода стряпню, моя любовь к подобным выдумкам кончилась еще в школе, а последняя книга фэнтези, которую я держал в руках, был, кажется, роман Урсулы ле Гуин «Левая рука тьмы»... Как оценивать талант человека, который пишет то, что вызывает у меня оторопь? Вчитываюсь... Схватка между троллями в самом разгаре. По безымянной реке плывут горящие пятна огня. Из джунглей выходит прекрасная полуобнаженная девушка со следами от ударов мечом на белой коже. Левый мост захвачен жестокими бульдунгами, правый — коварными труллами... Девушка, пошатываясь от боли, идет к берегу. Ну и ну! На берегу мускулистый голубоглазый юноша конопатит лодку, чтобы переплыть реку в пятнах плавучих огней. Качок невозмутимо макает широкую кисть в котелок со смолой, смола капает на песок... — читаю, явственно вижу, как смола капает на песок черной дробью, он проводит кистью по борту лодки, смола пузырится от близкого жара... вижу, да, пузырится, ага! абитуриент умеет разглядеть в грезах фэнтези прочность бытия. Ставлю плюс.

Друзья, через четыре года набираю новую мастерскую прозы — ни одного фэнтези! Мейнстрим — мягкая эротика... Особенно изумила меня рукопись одной талантливой девушки из заполярного Мурманска, воздержусь от цитат (я ее принял, конечно); посмотрите, сказал я ей — при первой встрече — на эти портреты на нашей кафедре, не правда ли, от чтения ваших виршей скривились, как от оскомины, лица Гоголя и Герцена, а какая гримаса на физиономии Толстого?

Набираю третью мастерскую — ни следа от фэнтези и эротики, мейнстрим — политическая сатира!

Скажите, почему в определенный момент волна аналогичных предпочтений накрывает столь необъятный ландшафт, как Россия? Ведь тексты схожего умонастроения — фэнтези, эротика, сатира — кружат концентрическими кругами и на Урале, и в Сибири, и даже из Сахалина прилетает нечто, похожее на круженье молодой души из Москвы и Санкт-Петербурга... Признаюсь, у меня нет ответа на этот вопрос.

В 2019 году лейтмотивом присланных текстов стал *страх* перед властью интернета и *оборона* от атаки социальной сети, на страничках стартующих литераторов иррациональная бездна социальной сети порождает опасных монстров, гадких андроидов и цепких химер, но вот парадокс, правильно поставив флажок тревоги, ни один из абитуриентов не смог написать сильный текст на свою же сильную тему и получил низкие баллы. В ходе творческого состязания вперед вырвались тексты, написанные в более привычном ключе, не столь актуальные в понимании времени, более старомодные, но с большей художественной выразительностью и моральной чувствительностью.

И еще.

Обычно масса текстов в прежние годы делилась так: 50% — ни рыба ни мясо, 30% — полная чепуха и только 15-20% — сильных, ярких, зрелых, нешколярских работ. В 2019 году середина внезапно пропала! 90% — полная ерунда и 10% — первоклассные работы; именно между ними и шла основная борьба, в лидеры вышли те, кто набрал максимальные очки 95—100 (!) баллов за творческую работу и 85—90 баллов за творческий этюд.

Объяснить столь резкую поляризацию сил я снова не в силах. Единственная версия: слабые стали безнадежно слабы, а сильные уже вне конкуренции.

В день написания творческого этюда очередь молодых людей к КПП института протянулась аж от Макдональдса вниз по Большой Бронной на 500 метров! Я в легком шоке шел на экзамен вдоль потока молодых людей и видел массу прекрасных лиц, какая-то девушка истово перекрестилась на солнце. Денек был солнечный, легкий, перистый.

Кто последний в литературу?

Так была подписана одна из картинок в интернете.

Снимки этой очереди заполнили Фейсбук и Инстаграм...

Несколько массмедиа даже провели с микрофоном блицопрос среди пестрой толпы идущих на ристалище.

Вот один ключевой момент.

Вопрос: зачем вы поступаете в литературный?

Ответ: Я решила стать дизайнером моды и думаю, что в литературном смогу набрать нужную креативность...

Притормозим дружный смех.

Именно этим — *креативностью мастерской* — я озабочен все последние годы, я отменил установку: каждый непременно будет писателем. Почему? За тринадцать лет через мою мастерскую прошло примерно тридцать пять замечательных молодых людей. Но! За все эти годы ни один из моих выпускников не издал свою книгу (изданные в соавторстве и за свой счет не в счет), единственная профессиональная книга, изданная приличным тиражом и в приличном издательстве — это книга Татьяны Жестковой «Путеводитель по московским кладбищам» с трогательной дарственной надписью: дорогому мастеру от признательной ученицы...

Короче, осталось ее только выбить на мраморе: эпитафия готова.

Особенно получилась глава о Даниловском кладбище, все покойники как живые...

Практически никто из моих учеников не смог, а чаще всего просто не захотел стать писателем, большинству это совершенно неинтересно, не в масть и не в кайф. Вот несколько примеров.

Настя Галкина после лита окончила курсы у кинорежиссера Меньшова и ушла в кино, сделала изумительной силы короткометражку по заказу патриархии об учениках мужской православной гимназии в Казани, — шедевр о силе соблазнов. Тимур Татаринцев сочиняет электронную музыку в духе минималиста Кейджа. Лена Станиславская и Саша Горелая ушли в мир журнальной моды и рекламного бизнеса. Мария Дятлова занимается антиквариатом. Я могу путаться в деталях, какая-то моя информация, возможно, устарела, но в главном прав — все они *осознанно* вне литературы и практически не пишут. Кристина Бова живет в Тога, преподает русский язык в Южной Корее (для чего выучила корейский!), Виталий Гуданович и Роман Третьяк ушли в сторону интернет-технологий, понять, конкретно чем они увлечены, мне не под силу: это электронные игры, новые it-технологии, попытки создать свою нишу в мире социальных сетей.

С таким же пылом в юности в уральской провинции я и мои друзья по университету искали новые литературные формы, издавали рукописный журнал, сочиняли стихи и обожали слова, ритмы, боготворили буквы.

В свою первую пятилетку на кафедре я исходил из жарких задач собственной юности, я отдавал все силы своим ученикам, я простодушно верил: все или почти все станут писателями, все свяжут свою судьбу так или иначе с литературой... Мы жили душа в душу, много часов проводили вместе за стенами вуза, я даже научился играть в боулинг, чтобы лучше понимать молодых людей, которые моложе меня на 30, 40, а вот уже и на 50 лет! И только один-единственный Николай Васильев из Череповца,

покатавшись между двумя столицами с гитарой (он стал поэтом), вволю побродяжничаив, соотнес себя с литературой и сейчас служит в «Литературной России» — но он все-таки корреспондент, а не романист!

В чем основная беда моих выпускников, не ставших писателями? В чем вообще главная проблема молодых литераторов?

В общих чертах проблема выглядит так: оказывается, талант не имеет никакого значения, на старте все замечательно талантливо, все одарены от Бога, все прекрасны, как кусты цветущих роз. У каждого по два глаза и две руки, никаких третьих глаз и рук им абсолютно не требуется.

Однако таланта в нашем призвании мало, ты должен проявить творческую волю! А вот с этим у всех проблемы, ты должен смочь транслировать свою харизму вдоль времени и превратить ее в узнаваемый имидж. Но они почти ни черта не пишут, я в их годы в провинциальной Перми пыхтел, как буксир на Каме, и клубился в небе облаком букв. Ты должен стать мощной сосной на горе, гористым гребнем на горизонте, и только тогда в тебя ударит молния — в кусты роз грозы не бьют.

Но оказалось, этого тоже мало — ты можешь писать от зари до зари, что там одинокая сосна — ты уже роща корабельных сосен на горизонте бытия! А ни-чер-та... Оказывается, главный и решающий фактор в нашем деле — это судьба. Судьба, таинственный феномен, понять до конца его природу я решительно не в силах, но если судьба на тебя не идет — все напрасно. Что значит — не получилось? Должно получаться! Почему? Не знаю, но если ты написал роман, он должен быть издан, если сочинил музыку — она должна быть исполнена, если написал сценарий — он должен быть снят в кино, а телесериал должен быть поставлен на TV. Кстати — только поймите меня правильно, я не рисуюсь, я принужден это сказать, — у меня, когда я переехал в Москву, все получалось: из десяти дел железно выходило семь, сейчас — едва два-три, что тоже неплохо. Карманы были щедро набиты козырными картами. Счастливчик! Моя самая первая книга, издательский дебют в 1984 году, была издана стотысячным тиражом. И я заработал огромные деньги по тем временам. Мой первый же сценарий получил премию на всесоюзном конкурсе. Недавно я из чистого куража написал заявку на телесериал — пожалуйста, смотрите 16 серий на НТВ под названием «Беглец»...

Еще раз прошу извинить за примеры «из себя».

Выхода нет, творческий человек живет на иждивении судьбы.

«Ловко», — сказал мне как-то Андрей Битов в ответ.

Мы не имеем обычной судьбы, какую имеет любой человек, твоя судьба покоится в твоём произведении и отлучается от тебя, как только ты поставил последнюю точку. Все! Баста! Ты слепил из сырой первозданной глины чуть уродливый шар и бросил его к ногам, на песок; он, шлепнув, скатился на кромку прибора — что дальше? А дальше шар катится единственно вверх, как Кастальский ручей, что течет только вверх по склону Парнаса; сначала шар из глины становится шаром из бронзы, затем это уже шар из серебра — все выше и выше по гребню судьбы, и вот он уже из чистого золота — закатился в лунку бильярда на вершине Олимпа.

Книга издана.

Сценарий снят.

Пьеса поставлена в театре на Малой Бронной.

Я к этому движению вверх не имею никакого прямого отношения, только косвенное. Мое имя всего лишь выжжено тавром на шкуре золотого руна. Стакан чая с подстаканником упал с края стола в купе от болтанки поезда на стыках моста за вечерним окном, тебе ни за что его не поймать — что запросто исполняет судьба, ловит стакан с чаем у самого пола и ставит перед тобой обратно на стол, глянь, ни капли не выплеснулось, ложка в центре слегка прижала дольку лимона... пей, небожитель.

2

Чем же я был озабочен минувшей весной, выпуская свою третью *боттегу* (мастерская средневекового мастера на итальянском)? А вот чем...

Мой пятикурсник прозаик Святослав Грабовский (живет в Осло) ставил свою пьесу «Коробка конфет» — сам ставил! — на сцене в подвальчике Дома Булгакова, а его замечательная молодая супруга Натали, студентка школы-студии МХАТ, художник по костюмам, тем временем размышляла над курсовой работой по рассказу Чехова «Цветы запоздалые», и я — писатель — по их общей просьбе помогал в том, какие костюмы (!) надо подобрать для героев рассказа, и рад, что мои рекомендации по поводу контраста искусственных цветов и живых им пригодились. Другая моя студентка, уже заочница, Юлия Антипенко вступила в творческое наследство — получила в свое распоряжение издательство «Весёлые картинки» (созданное ее матерью), и мы уже не раз обсуждали с ней стратегию развития журнала и его бумажных птенцов на новом этапе, выстраивание бренда! Примерно тем же приобщением мастера к своему делу озабочена и пианистка Ирина Уэйкем (выпускница ЦМШ при московской консерватории и Королевской Академии Музыки в Лондоне, выступала в Карнеги-холл), автор коротких рассказов и создатель литературного клуба «Рассвет XXI век», где поставила в том числе мое письмо о двух снах о Пушкине, и сейчас я думаю над новым эпизодом для ее иммерсионного шоу.

Так что парадоксальный ответ абитуриента из очереди на экзамен — «хочу поступить в литературный, чтобы создать модный прикол» — это именно к нам!

Но рано ставить точку...

Луиза Ушакова, бросившая институт на втором курсе, нашла меня месяц назад, она ушла в перформанс, танцует на сцене в шоу у танцовщика Мигеля, сказала, что именно из моих лекций по технике написания рассказов черпает энергию для развития танцев и хочет развернуть меня к сочинению либретто для балета!

А завтра у меня встреча со старостой семинара Никой Арникой, она никакой не прозаик, она драматург, пишет пьесы, рулит отделом драматургии на популярном и стильном сайте *Luterratura*, цель нашей встречи — ее новая пьеса о судьбе легендарного любимца великой Екатерины актера Сандунова, и я должен соответствовать и этому запросу чужой театральной планиды.

Но есть исключения.

Совершенно ошеломила меня Полин Ригель (тоже заочница моей мастерской), минувшим летом вчерашняя первокурсница, в 20 лет, издала в АСТ свою первую книжку «Синие косточки съеденного яблока» (тираж 2000 экз.). Дебютная книжка меня совершенно поразила блеском ума и чарами силы — поверьте, это шедевр, написанный в неведомом прежде в русской литературе жанре посланий.

Сегодня, когда погибла цивилизация Гуттенберга и бумагу отменили экраны, когда Титаник литературы пошел ко дну со всей иерархией этажей и труб, когда исчезла прежняя среда существования писателя и всех его институций, когда исчез сам феномен *внятности* нашего ремесла, новичку приходится придумывать не тексты, а смыслы, не романы, а критерии. Не позавидуешь.

Вот он, золотой пестрый мусор и счастье моей сегодняшней жизни.

3

На недавней встрече с Еленой Шубиной («Редакция Елены Шубиной»; АСТ) в нашем вузе, куда ее пригласил мой коллега и крестный моей литературной судьбы Сергей Чупринин, между нами чиркнул искрами точильного ножа один короткий диалог.

Рассказывая об удачах книжного рынка, Елена рассказывала о наиболее успешных авторах, тиражи которых вполне приемлемы для издательства из-за успеха у читающей публики, среди имен были названы г-н Евгений Водолазкин и г-жа Гузель Яхина, мельком был упомянут давний лидер продаж Борис Акунин, кто еще? Кажется, еще г-жа Дина Рубина и г-н Дмитрий Глуховский.

Несомненно, эти авторы — самые именитые, и тиражи их вполне заслужены, но — пусть в меня бросят камень, — я не читаю книг для того, чтобы убить время, вообще не читаю беллетристику, даже умную. Я любитель симфонической музыки, партер Большого зала консерватории на симфонии Малера — вот мой верный читатель, едва-едва пара сотен человек — потому я совершенно не известен широкой публике и абсолютно не переживаю по этому поводу. Но — внимание! — как мастер я принципиально против равнения духа на прибыль издателя, хотя буду рад, если шедевры типа «Чайки по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха, или «1984» Джорджа Оруэлла, или «Парфюмера» Зюскинда или «Мастера и Маргариты» Булгакова будут раскупаться, как горячие пирожки в морозный денек. И все же любой ориентир на стоимость в моей мастерской практически под запретом: стоит только пылкому юноше подумать о прибыли — пиши пропало. Читай «Портрет» Гоголя или «Мартин Иден» Джека Лондона. Литературный институт создан по образцу пушкинского лицея, мы заточены на идеализм и на чистоту нравственного чувства. За деньгами — не к нам! В Москве полным-полно заманчивых мест, где клиенту за щедрую плату гарантируют успех на издательском рынке.

Я вынужден говорить об этом вскользь, тема денежной бездны слишком сложна; короче, если вещь укушена феноменом продажи, музу тошнит от отвращения, и вечность отхаркивается от творца, как гильотина от жертвы.

Мои ученики разделяют этот принцип.

Короткий вопрос: что читаешь? И приоритеты расставлены! Они не знают никого из перечисленных выше именитых лиц, да и меня толком начинают читать едва ли на третьем курсе. Их кумиры внезапны: Гамсун! Кафка! Платонов! Венечка Ерофеев! Чак Паланик! Толстой! Уайльд! письма Чехова... — и прочее симфоническое чтение.

Но как выживать бессребреннику?

Вернемся к репликам, которыми мы обменялись с Еленой Шубиной.

Есть ли в вашей редакции место для книг эстетического риска?

Что значит: книги эстетического риска? — спросила она.

Ну, например, такие, какие пишу я. Мне в голову не придет предлагать АСТ то, что я пишу. Хотя я благодарен вам за попытку однажды издать подряд сразу четыре моих романа. Роман «Человек-язык» даже отправился на оформление к художнику, но АСТ сменило хозяина.

На мой взгляд, (ответила Лена), написать бестселлер гораздо более сложная задача, чем книгу арт-хауса.

И продолжила.

Решает судьбу книги не издатель и не читатель, а время.

И она привела пример судьбы романа «Великий Гэтсби».

(Излагаю своими словами...)

Шедевр Фицджеральда практически провалился в год выхода, в 1925 году. Роман о золотой эпохе после Первой мировой войны никого не увлек. А вот когда над землей покати́лась уже Вторая мировая война, и жизнь нескольких поколений была разбита вдребезги, аура красоты и прочности быта была вдруг востребована сотней сердец, и роман стал бестселлером: люди захотели собрать осколки в прежнее целое, отменить смерть.

И вот тут я с ней соглашусь.

Бестселлер обладает большим набором ключей к сердцу читателя, чем книга прорыва. «Улисс» Джойса я сам читаю с мучительным наслаждением, которое растянулось уже на целую вечность, и до сих пор сей несомненный шедевр мной не дочитан. Почему? В нем слишком много Джойса! И почти нет местечка для моей жизни. Шедевр должен обладать магией вдоха, а не силою выдоха. Только в пещере романной мглы рождается феномен чтения, войти в водопад невозможно...

Кроме того, моя установка на отрицание чтения и книги как формы досуга все-таки уязвима. Адам был создан из глины сюжета — это такая же истина, как и слова Ортеги-и-Гассета о том, что манок сюжета бесчестен.

Единственное правило — не задумать бы сначала барыш.

Помню снайперский выстрел Сергея Чуприна по поводу моего романа «Stop, коса!». Анатолий Васильевич, ай-ай-ай, вы прошли мимо успеха. Бестселлер должен иметь пласт вне сюжетного знания, да-да, высмеяв в книжке идею иммортализма о вечной жизни через заморозку трупов для будущего оживления, вы не стали подробно описывать сам механизм заморозки и прочие прелести слияния льда и тела. Это просчет. Мол, скучно! А зря, книжку с дотошным описанием научных проблем консервации мертвецов для будущего воскрешения читатели бы рвали из рук. Публике желательно получить от автора только то, что ей никогда не пригодится.

Чуприн прав на все сто, но, ей-ей, если бы отмотать время назад, я бы все-таки, наверное, поленился стать богатым и не воспользовался бы верным рецептом успеха, сам не знаю почему, но уклонился. Так порой, зная выигрышный номер рулетки, почему-то мерзнешь у стола в казино на ветерке судьбы с фишкой в руке. Ставки приняты. Мимо!

Успех бестселлера всегда внезапен.

Его выпекает только лишь сокрытая тайна будущего, а не опыт прошлого.

Но чей это успех по высшему счету?

Это успех издателя и меньше всего — триумф литературы.

Одним словом, если обнажить проблему *чтиво/литература/досуг/бытие* до житейского донышка, то получается, что установка на высоту и эстетическое новаторство в моей мастерской, общая вузовская ориентация на максимализм русской классики, которая брезговала корыстью, вольно или невольно, но обрекает моих учеников на нищету? Продать рукопись, издать книгу, обрести резонанс в среде, где нет эха, стать профессиональным писателем у них шансов нет — или почти нет.

Но ты призван, значит, счастливо смирись.

Вот он, великий парадокс наших русских претензий к человеку — немыслимый, например, на Западе: ты можешь быть хорошим или плохим врачом, таксистом, юристом, мужем, политиком, писателем, вором, самоубийцей, бизнесменом и прочее, прочее, но должен быть — кровь из носа — нравственно гениален...

4

Лет десять назад я предложил одному «толстому» журналу рубрику *карт-блани*, суть идеи проста: то, что вдруг-однажды-внезапно ваш постоянный автор, прозу которого вы публикуете, а идеи разделяете, может предложить к публикации новое имя, и тогда вы, уважаемый «толстяк», непременно должны дать местечко этому тексту в журнале под гарантии его — вашего автора — собственного имени.

Что ж, идея сработала, несколько моих коллег по литературе дали дорогу новичкам. Но постепенно идея заглохла.

На протяжении всех лет работы творческой мастерской я пытаюсь (практически безуспешно) проталкивать/пристраивать/рекомендовать произведения учеников в журналы и издательства. Недавно сделал новую попытку, выбрал предельно короткие рассказы, без зауми, с сюжетной начинкой, стильные, яркие, но, увы, увы, все десять текстов получили от ворот поворот.

Мои птенцы чаще всего пишут прозу без расчета на публикацию, им не очень интересно печататься, книга желательна, да, но париться не станут: напечатают — хорошо, не напечатают — ну и ладно. К третьему курсу большинство студентов окончательно мысленно уходит из литературы как своего личного будущего.

И только про один-единственный рассказ мне было сказано: *тут что-то есть*.

Эти слова были сказаны главным редактором «ДН» Сергеем Надеевым о рассказе Анны Ушмаевой «Выжить без зеркала». С радостью мастера предлагаю читателям этот замечательный текст.

Два слова про автора.

Анна Ушмаева в 2019 году с блеском окончила Литературный институт, у нее красный диплом, она одна из самых ярких учениц моего последнего семинара (2014—2019), пыталась поступить в аспирантуру, пока не вышло, сейчас работает ответственным секретарем в редакции звукового журнала «Диалог» Всероссийского общества слепых. Без комментариев! Сама она родом из провинции, но в Москве была как рыба в воде, здесь ей многое удается легко и красиво, у нас за пять лет был только один конфликт — вуз с моей подачи предложил ей солидный грант на издание первой книги, и что же? — она не загорелась редчайшим шансом, не удосужилась даже написать биографию... М-да, у летающих рыб свои облака. Но... но обратной стороной ее исключительности стала душевная ранимость, повышенная чувствительность к плотности жизни и, как результат, — проблемы с равновесием души. Нравы нашей психиатрии за годы капитализма остались вполне советскими. Вот об этом Анна и написала в своем пронзительном тексте; по сумме эмоций это почти что роман, только размером с рассказ, здесь все основано на личном опыте, на суггестии пережитого ужаса. Читая, я не раз вспоминал знаменитый фильм «Пролетая над гнездом кукушки» по роману Кена Кизи. Там героем поединка человека с клеткой стал МакМёрфи — герой Джека Николсона. Здесь — Анна. Почему вспоминал? Читайте! Ответ перед вами.

Анна Ушмаева

Выжить без зеркала

Триптих

1. Левша

Я найду тебя, падалы! И в мерзкую ночь
Я прицелюсь в глазёнки — и вышибу прочь!
Две большие дыры! Упоительный тир!
Твою подлую душу отправлю в сортир!
Ты увидишь красиво одетых людей,
Увлечённо кружащихся в вальсе костей
Над погостом приюта «Послушных Детей»!

— Это что? — Она даже не подняла взгляда на девушку.

— Вы, о чем? — Аня осмотрела себя обнаженную, насколько это было возможно без зеркала. Ничего особенного не нашла. Подтянутое девичье тело, плоский живот. Немолодая совсем женщина занималась оформлением бумаг.

— Дурочку из меня не делай, — она, также не поднимая головы, нахально ткнула ручкой Аню в предплечье, где на тонком венке оставались от вчерашнего забора крови на анализы следы уколов.

— Вы думаете, я наркоманка?

Аня чуть сжала губки, перевела взгляд на медсестру. Она наконец посмотрела на новоприбывшую. Аня успокоилась.

Взгляд чуть вбок и улыбка — свысока.

— Что кокетничаешь? Сережки все свои снимай, кольца, из носа дрянь вот эту тоже вынь.

Аня вынула из носа сережку, септум. И только сейчас почувствовала, что она полностью обнажена, что на руке у нее следы от уколов, паспорт — в цепких руках хамоватой медсестры, и в толстом совдеповском журнале появляются какие-то записи. От открытой двери в коридор ее отделяет шаткая, почти картонная перегородка. За ней перешептывания и шелест санитарской формы.

Они ждут Аню.

Медсестра тяжело поднялась, но, встав и выпрямившись, пошла плавно, с элегантностью баржи. В руках у Ани появился застиранный фланелевый халат в цветочек. Он пах мерзко, но пришлось одеться. Показывать характер здесь нельзя.

Убедившись, что тело девушки прикрыто, баржа сделала маневр кистью, подзывая одного из санитаров.

— Пожитки эти вниз спустите.

— Подождите, там телефон, там планшет, мне ведь нужно маме сообщить, — голос Ани дрогнул. В рюкзаке были все ее вещи. Она обменяла их на выцветший халат. Двое других санитаров образовали конвой и повели девушку вглубь по коридору. Ее никто не держал, но на молодых лбах читалась полная готовность.

Привели в палату, уложили на кровать. Аня пыталась прикинуть, сколько здесь мест. Количество стремилось к бесконечности.

Подошел врач, он выглядел адекватно, надо было суметь с ним поговорить. Она привстала на кровати.

Грубый толчок: «Лежи».

— Анна Сергеевна, — врачу передали папку с документами, видимо там было и направление, характеристика, анамнез. Он пробежал глазами по одной из бумажек. — Значит, опасна для социума.

Санитары исчезли, на их месте стояла медсестра отделения. Иссохшая старушка. Ей, скорее всего, не было еще пятидесяти, но она выглядела мучительно плохо, словно сама себя поедала изнутри.

— Пока капельницу поставьте, — врач обратился к ней. — Пять, шесть. Лучше — больше. Ирины Витальевны до понедельника не будет все равно. Я ею заниматься не буду, я не ее лечащий врач. Поэтому пусть. Отдыхает.

Аня силилась встать, но холеный молодой мужчина, «не ее лечащий врач», предупредил попытку:

— Всё с Ириной Витальевной. Экстренную помощь мы вам окажем. Дальнейшее лечение зависит от нее.

Так Аня познакомилась с первым врачом отделения. На фоне других женщин и девушек в советских халатах, на фоне измученных ночными сменами санитаров он сиял жемчугом. Идеальная, ухоженная щетина. Белоснежные рукава. Ни единого пятнышка. Он не касался ничего, что могло бы его испачкать. И он, конечно, ничего не решал и ничего не значил. Фактически, до понедельника, пока не вернется Ирина Витальевна, в отделении не будет хозяина. Пациенты могли бы устроить революцию.

Но даже без хозяйки третье отделение хранило жуткий чад страха.

Руку Ани примотали бинтом к железным прутьям кровати, чтобы игла не вылетела во сне. С каждой каплей, стекающей по пластиковой трубке, Аню сильнее прижимало к больничным простыням с серой печатью клиники.

— Анечка, милая, соберись. Нужно понять, как ты здесь оказалась.

Еще вчера никто не мог предположить такого развития событий. Аня проснулась поздно, солнце полностью залило почти не смятую после сна постель. Первые заходящие к Ане лучи обычно будили ее: весной и летом никогда не заводился будильник. Но сегодня свет не потревожил девочку.

Проснулась в блузке, юбка лежала в кровати у ног, внизу туфли, не сняла в прихожей.

— Да, детка, — обратилась Аня сама к себе, — ты давно так не напивалась.

Аня точно знала, что вчера не пила.

И ужин себе не готовила — специально зашла ближе к вечеру в вегетарианское кафе у дома. Это абсолютно точно. Но в правой руке нож — желтая пластмассовая рукоятка. Такими ножами не шутят.

Аня левша. С другой стороны на кровати — ноутбук, открытый вордовский документ. Мелькнул значок батарейки — нужно срочно поставить на зарядку несохраненный документ может пропасть.

По первым выловленным словам было понятно, это посмертные указания. Экран мелькнул еще раз и выключился.

— Слишком сюрреалистично, дорогуша, — пробормотала Аня, измеряя шагами комнату в поисках зарядки.

На восстановление файла нужно время.

— Можешь потратить эти минуты на самоуспокоение, но это очевидно. Кто-то пытался тебя убить изнутри.

Аня ужаснулась, это были первые искренние ее слова самой себе.

Надо было ехать в больницу, она чудом осталась жива. И сейчас ей нужна помощь.

В кабинете сидела Она.

— Вызывайте санитаров, Марина, — уверенно кивнула Она медсестре. Та отвлеклась от бумажек и взялась за трубку древнего стационарного телефона.

— У нее ведь Потешная по прописке, Ирина Витальевна?

— Вызывайте на Матросскую.

— Это куда вы с понедельника?

Снова потерялось. Как дошли до санитаров?

— У вас, Анна, с сессией что-ли проблемы? К госам не подготовились?

— Я всегда на отлично все сдавала, я ведь говорю вам, что-то страшное произошло, я проснулась — в постели нож.

— Всегда на отлично, а в этот раз не готовы? Что произошло-то, откуда ножу взяться в кровати?

Аню снова и снова заставляли врасплах, прижимали к выкрашенной стене кабинета все сильнее и сильнее.

— Татуировки на руках, пирсинг. Лысая голова. Любите быть в центре внимания? Внешность у вас вызывающая.

Голос подала медсестра:

— Может, диплом не написала?

Медсестру пригвоздили не менее жестко.

— Диплом не написала еще? — спросила Ирина Витальевна.

Аня наконец догадалась. Они думали, ей нужен академический отпуск. Они думали, она строит из себя дурочку. Аня, которая пришла сюда, в царство регистратуры и белых халатов, признаться в своей слабости, обнажить провод. Провод оголен.

Она заплакала.

— Я проснулась, а в правой руке нож! Я записку писала предсмертную, я умирать собиралась вчера. А умирать я не хочу.

— Не хотите, значит. И диплом готов.

— Готов, — Аня не сдержалась и всхлипнула.

— Вызывайте санитаров, Марина.

Медсестра запечатывала документы в конверт. Аня засыпала с каждой каплей, исчезавшей в стеклянной трубке, ведущей к привязанной к кровати руке.

Проснулась Аня в понедельник. Уже в другой палате, здесь было всего пять кроватей, не железных, советских, а таких, какие ставят в операционных. На каждой кто-то сидел, каждая в халате в цветочек, они куда-то собирались.

Лицо опухло, Аня хотела посмотреть на себя в зеркало, но, оглядевшись, ничего не нашла.

— Ой, сама встала, спящая красавица, — веселая тетка нежно толкнула Аню справа. — Прямо к завтраку.

В столовой — столы. За каждым сидело по пять человек, Аня проследовала за старшими соседками по палате. Женщины в фланелевых халатах дробили ложками холодные сосиски.

Веселая тетка с шутливой суровостью снова толкнула Аню:

— Сосиску бери, сейчас какая-нибудь неадекватная заберет, без завтрака останешься.

— Я вегетарианка.

— В смысле, мясо не ешь? — тетка явно была удивлена. — Вчера уплетала за обе щеки.

— Еще бы, вчера котлетосы были — огонь.

Аня вздрогнула. Это был голос умирающего человека. Абсолютно точно, это последние слова еще живого, но совсем недолго, человека.

Ее звали Настасья. Она была единственной, кому разрешали держать у себя расческу. Расческу для длинных, до пояса, черных, переливающихся на свету густых волос. Расческу. В отделении, где еда была холодная, где есть разрешали только тупыми алюминиевыми ложками, где разрешали душ раз в неделю и следили за тобой, пока ты моешься, где не было ни одного зеркала. Ей позволили хранить в прикроватной тумбочке расческу для своих шелковистых волос.

Сейчас они были стянуты в хвост.

— Котлетосы — огонь. А макароны. Это ужас. Могли бы и с пюрехой. Макароны — это же авокадо для бедных.

Настасья была высокой и очень крепкой. Тело амазонки, если бы им не завладела всепоглощающая апатичная слабость. Сколько она уже здесь? Она быстро поедала содержимое тарелки, закатав рукава. На запястье начиналась глубокая, проложенная лезвием дорожка и уходила дальше по предплечью.

Судя по шраму, ране было недель семь-восемь. Судя по тому, что она была жива, ее доставили в больницу сразу же после нанесения.

После завтрака Аня приостановилась у входа в палату:

— Настасья!

Умирающая смотрела на Аню умоляюще, только о чем?

— Ты уже сколько здесь?

— Не помню. Месяца два, может.

Сил оставалось ровно столько, чтобы дойти до кровати. Покачивало и жутко хотелось есть. В палату, двери в которую никогда не закрывались, заглянула медсестра. Та самая, которая радушно капельницей встретила Аню:

— В порядок себя приведите. Сейчас осмотр будет.

Гром веселой тетки с ласковой грубостью укладывал Аню:

— Поспи! Девочка, засыпай, когда Ирина Витальевна придет, мы тебя разбудим.

Гром веселой тетки будил:

— Вставай, спящая красавица! Завтрак проспшишь.

Какой завтрак. Должен же был быть осмотр. Какой завтрак, он ведь был только что!

Тетка предугадала ход мыслей, толкавших в Аниной голове.

— Ирина Витальевна сказала тебя не будить. Сказала, недельку тут полежишь, восстановишься, прокапают тебя и выйдешь.

Слава богу! Все стало понятно.

— Мне также говорили. Уже восьмую недельку прокапывают, — Настасья расчесывала свои длинные волосы. — Ты спрашивала вчера, сколько я здесь. Я вот посчитала, восемь недель завтра будет.

Аня села на кровать к Настасье:

— Надо сообщить моему брату. Родители у меня из глубинки, их в Москве нет, да и не помогут ничем. Здесь брат, с ним надо связаться.

— Не надо. Тебя не спасут. Все, что они знают о тебе, они используют. Думаешь, ты на дне сейчас? — Настасья схватила и крепко сжала руку Ани, которой та опиралась о кровать, Аня пошатнулась.

— А я уже на дне.

Весь завтрак Аня ждала возможности снова поговорить с Настасьей. Халаты в цветочек, алюминиевые ложки, сосиски. Измученная амазонка поплелась чистить зубы. Аня за ней.

— А зубы чистить тоже без зеркала?

Настасья сплюнула в начищенную раковину стусток зубной пасты.

— Хочешь выжить? Будешь выживать без зеркала, придется забыть отражение. Выживать придется одной, надо забыть братьев, сватьев и всех остальных. Моя сестра приезжала сюда первые дни. Говорила подожди, скоро домой поедем, только убедятся врачи, что можно тебя без надзора оставлять, что ты здорова. А сама с каждым днем убеждалась только, что я больна.

— Это она ее убедила?

— Нет, это она сделала из меня больную. А теперь давай считать твои дни. Сегодня четвертый.

Аня выскочила из палаты. В коридоре дежурные за массивным столом. На столе тонна бумаг и телефон. Когда ее привели сюда в пятницу, четыре дня назад, она видела, кто-то в фланелевом халате говорил по телефону, ей разрешили сесть на табуретку сбоку и набрать номер. Значит, могут разрешить и Ане.

Из-за стола поднялась сухая самопоедающаяся старушка:

— Вернись в палату. У тебя нет разрешения на прогулку по коридору.

— Мне нужно позвонить!

— Разрешение на звонки дает только Ирина Витальевна.

— Позовите ее!

Аня снова лежала на кровати, руку зафиксировали, чтобы с капельницей не было проблем.

В старушке не было злости, старушка только самоуничтожалась, и сил ни на какие другие эмоции не было. Она попыталась не быть грубой.

— Ирина Витальевна будет только на следующей неделе. Ты телефон-то помнишь? Она придет, даст разрешение, а я не могу, я не врач.

Надо вспомнить номер телефона брата. Номер, который Аня набирала всего раз в жизни, чтобы записать.

Можно и не вспоминать — через неделю ее и так выпустят. Уже даже меньше, до пятницы осталось всего ничего. Точно выпустят, ее ведь не за что здесь держать. Прокапают и выпустят, а номер буду вспоминать не из-за необходимости. А чтобы чем-нибудь себя занять. Не все же спать.

В коридоре звон. Приглушенный голос старушки: «Алё. Сейчас буду». Поднялась на своих ногах-костылях. Открыла дверь столовой, нырнула туда. Это не баржа, она сухая, не тонет, но и не плывет.

Столовая — проходная комната в здании клиники, чуть дальше кабинеты: врач, главврач, психолог.

Главврач. Ирина Витальевна. Стук в дверь. Тишина. Снова: тук-тук.

— Секунду... Войдите.

Ирина Витальевна сидела, слегка развалившись...

2. Ирина Витальевна

Ирина Витальевна сидела в кресле, позволив себе развалиться ровно настолько, насколько она при этом не теряла грации женщины, обладающей властью. Настоящей, а не властью гардеробщицы, хватающейся за любую возможность ее продемонстрировать.

Ирина! Ирина была хороша, немного до сорока, но пока еще не. Крепкие мускулистые икры, выше — облегающая черная юбка. Белый локон спустился на плечо из прически.

Она знала, что редкий мужчина осмелится к ней подойти, хотя многим и хотелось. Знала, потому что годами строила этот образ ядовитого аленького цветочка.

Насчет Ани она не ошиблась. Одна из тех, кто ничего из себя не представляет, из тех, кто никогда не был лучше хоть кого-нибудь, хоть в чем-то.

Но такие всегда отличались.

И, если честно, едва ли уместно так обобщать. Аня была вторым таким человеком из тех, что встречала Ирина. Хотя уже девятнадцатый год шли ее поиски, начавшиеся сразу после смерти первого.

Лет двадцать назад никто не узнал бы в Иришке, пухленькой девочке с дефектом речи — проблемы со свистящими — этого рокового комиссара, разлегшегося в кресле белой кожи. Девочка в тени своего брата близнеца.

Такого же пухленького. Помидорка.

Начальная школа. Он — лучший. Так никто не читает, никому так не дается таблица умножения. У него феноменальная память. Школьные олимпиады, конкурсы рассказов, праздники чести. Всюду он.

Иришка выбивается из сил, чтобы не выглядеть глупо рядом с ним, Иришка учится на пятерки, Иришка добивается участия в олимпиадах, даже выходит на призовой уровень, конференция, публикация в сборнике, доклад по этнографии евреев. Иришка наконец может встать рядом с братом.

Только он на карусели это все вертел. Сбегает из дома. Бунтарь. От него ждали золотой медали, а он получил тройку в аттестат и свалил после девятого класса.

Он просто однажды за столом, во время ужина, попросил никого не уходить и выслушать его решение, с которым домашние должны посчитаться. Он сказал, что дальше он будет заниматься музыкой.

Иришка ликовала. Лучшая ученица школы. Сейчас ее братца, урода, сбросят со скалы...

3. Теперь — правша...

Аня перестала соблюдать осторожность. Она знала, плакать было нельзя. За слезы тебя отправляют в палату, которую здесь называют карантин. Та, куда отправляют новоприбывших. Там, где бесконечное число кроватей стоит одна за другой, и ни на секунду тебя не оставляют одну. У этой палаты даже номера нет, и каждый, кто туда попадает, перестает существовать. В этой палате нет ни одного «я», нет ни одного «ты», там нет даже пресловутого «мы». Каждый боялся даже думать, способность мыслить терялась, останавливалась, сознание забивали глухими ударами загнанного от ужаса сердца. Человеку необходима интимность, чтобы просто быть человеком. Внимание! Очень важная банальность: без кислорода ты все еще можешь быть человеком. Задыхающимся, жалким, посиневшим человеком. А без возможности остаться наедине с собой — нет. После этой палаты миры антиутопий, где за тобой непрерывно и неумолимо следит какой-нибудь большой родственник, ощущаются

совсем иначе. Они уже не вызывают в тебе возмущения или чувства несправедливости. Просто холодят тело. А ты не двигаешься до тех пор, пока боль не отпустит, только чувствуешь, как постепенно немеют конечности, снизу вверх, и все равно не шевелишься. Поэтому все так боялись снова попасть в карантин. Но сейчас Аня была не в том положении, чтобы бояться. Ее оставили одну, но не дали возможности оставаться наедине с самой собой. Они даже закрыли дверь. Это единственная палата, в которой закрывалась дверь. Аня стучалась и плакала столько, сколько хотела. Иссохшая медсестра начинала сходить с ума от жалости и даже позволила себе заговорить с ней в очередной раз, открывая дверь, чтобы проводить в столовую.

— Что же ты психуешь! Ты разве не понимаешь, что это тебя воспитывают! Для твоего же блага. Как успокоишься, так и придут к тебе, наверное, и в палату обычную вернут. С тобой же по-человечески хотят!

Эти правила действительно работали. Но не в этой палате. С Аней играли в другую игру, куда сложнее и изощреннее. Не потому, что правила «для всех» были слишком простые. Просто Ане достался жребий участвовать в другой игре. Вот почему эта палата. Она ведь была обычных размеров, там должно было стоять пять кроватей. Но их не было. Поле подготовили специально для нее.

Вот почему она знала, что нельзя останавливаться и позволяла себе плакать, когда хотелось. У нее был сильный соперник, сохранять свободу в одиночной камере становилось все сложнее. На седьмой день она сломалась. Галоперидола вкололи столько, что она просто не смогла полностью проснуться. Ирине Витальевне доложили в срочном порядке: у Шестаковой спокойно, не кричит, на медсестер реагирует вяло.

Как она была притягательно величественна. Царица Ирина. Она соизволила показаться своей подданной. Она села на ее кровать, она была готова даже протянуть ей руку.

Аня открыла глаза. Перед ней сидела та самая, что отравила ее сюда. Вот почему это имя казалось знакомым, это имя на бейджике участкового врача психоневрологического диспансера под номером семь. Этот пазл сошелся только сейчас. Аня приподнялась на кровати: игра становилась понятна.

— Кажется, неделя уже прошла, — заявила она. — Более того, я не понимаю, почему мне нельзя связаться с родственниками и, самое важное, почему мой лечащий врач ни разу меня не посетил. Лекарства мне дают вообще на законных основаниях?

Такой длинной и связной речи никто не мог ожидать от Ани. Ни Ирина Витальевна, ни она сама. Препараты не позволяли этого чисто физически.

Ирина Витальевна поняла, что ошиблась, поспешила. Пришла смириться над уничтоженным зверем, а он еще не был побежден, только устал, и более того, был силен настолько, что позволил себе отдохнуть. И уходить было поздно, надо было срочно менять тактику, и плана Б не было.

— Рано пока.

Ирина Витальевна вышла. Еще величественнее, чем зашла. Слабость Ани оказалась мощным тактическим ходом, но не сделала ее сильнее. Она снова заплакала, и в этот раз ее никто не слышал.

Ане разрешили звонок. Номер телефона принесли на бумажке помойного вида, заранее осведомившись, кому она собирается позвонить. Теперь ее брат знал, что сестренку нужно вытаскивать, и она была уверена, что у него все получится. Она никогда не сомневалась в его способностях решать проблемы. То, что она выйдет, Аня была уверена: ее снова впечатлил этот голос. Даже не дрогнул, не замешкался, услышав, что сестру положили в психушку. «Не переживай, — говорит, — всё уладим, котенок!» Но вот уверенности в том, что под руку с братом из здания больницы выйдет именно она, у Ани не было. Она сейчас не была уверена и в том, кто она есть. Даже окна были спрятаны за занавесками — ни единого шанса на отражение.

Пока Аня ждала ответа, слушая гудки, по коридору вели новенькую. Ее выдавали растерянный взгляд и халатик. Ее тело еще его не приняло, она чувствовала себя в нем голой. Иссохшаяся остановила одного из санитаров:

- Ох, еще привели к нам.
- Ага, художница какая-то, прямо из мастерской забирали.
- А, ну эти творческие личности все сумасшедшие. Ничего, вылечим.

За обедом Аня села за стол ближе к Настасье:

- Мне такой сон приснился. Хочешь, я расскажу?
- Рассказывай, — и снова уткнулась в тарелку.

Аня нашептывала Настасье слова, слова складывались в картинку, Аня танцевала ими, била в бубен, призывая дождь. Аня шептала быстро, красиво, смело и уже начинало пахнуть предчувствием свежести, воздух спирало все сильнее, становилось душно, шепот — дождь. Хлынуло.

— Ирина Витальевна! Настасья ручку попросила и кроссворды, на столе у меня увидела. Ну я дала, ей ведь можно, — докладывала Иссохшаяся.

- Вообще, это запрещено, конечно. Как там Шестакова?
- Все тихо, проверить?
- Не стоит, завтра зайду посмотреть.

Настасья мелким почерком — боялась, что не хватит места — записывала Анину историю под названием «Сон» на полях газеты с кроссвордами.

Игра продолжалась. Ирина Витальевна чувствовала себя все могущественнее. Аня молчала и смотрела на нее смиренно.

- Меня скоро выпишут?

Ирина Витальевна сияла благотельно:

— Анечка, мы уже разговаривали об этом с твоим братом. Пока тебе нужна госпитализация, ты ведь чувствуешь, что ты еще нездорова.

Аня кивала:

- Да.

Аня продолжала рассказывать «сны» Настасье. Настасья запоминала каждое слово, скрупулезно записывала все на полях, буквы едва можно было разобрать, и тем красивее становился орнамент кроссвордной феерии. Ирина Витальевна возвращалась к себе в кабинет. Доставала из тумбочки фотографию, где они с братом, в красной рамочке. Блестящий близнец меркнул с каждым днем, и Ирина Витальевна плакала от счастья.

На сорок первый день к Ане в палату вошла Ирина Витальевна. Намного раньше, чем обычно, еще не завтракали.

— После обеда придет твой брат, подпишете все бумаги и получишь выписку. В течение трех дней нужно будет встать на учет к психиатру. Первое время так.

И вышла. Царица Ирина. Кого теперь качали на руках? Серая масса, красные рамочки. Великолепный близнец, твоя сестра скинула твою фотографию со стены почета, и она уже даже не горит в огне. Она тлеет.

P.S.

Только Аня не узнала и вряд ли узнает, что на следующий день после того, как за обедом она вместо продолжения истории шепнула: «Это точка, конец, меня выписывают», Настасью нашли мертвой в кровати. Всего одно ранение исписанным стержнем ручки точно в артерию, без зеркала. И кипа исписанных по полям кроссвордов...

Владимир Медведев

В зоне, куда пускают только своих

Роман Владимира Медведева «Заххок»¹ вышел в лозаннском издательстве «Noir sur Blanc» в переводе на французский язык (переводчица Эмма Лавин). Мы публикуем беседу писателя Владимира Медведева и Надежды Сикорской, главного редактора «Нашей газеты» (Женева; <https://nashagazeta.ch>), которая откликнулась на это литературное союытие.

Надежда Сикорская: Владимир, поколение выходцев из СССР, пережившее его распад, — особое, поскольку жизни этих людей четко делятся на «до» и «после». Не секрет, что и сегодня, 30 лет спустя, многие обвиняют подписантов соглашения в Беловежской пуще. Не всем жителям бывших союзных республик полученная государственная независимость принесла личную свободу и экономическое благополучие. Зато многим пришлось пережить гражданскую войну. Как бы вы позиционировали Таджикистан, богатый и древней историей, и полезными ископаемыми?

Владимир Медведев: Когда мы говорим о Таджикистане, надо помнить, что он до сих пор страдает от посттравматического синдрома. Страна пережила гражданскую войну, самую кровавую из всех, что вспыхнули в постсоветском пространстве после распада Союза.

Точное количество погибших, преимущественно мирных жителей, подсчитать невозможно. Оценки аналитиков разнятся более чем вдвое — от шестидесяти до ста пятидесяти тысяч убитых. Это число может быть увеличено за счет пропавших без вести. Возможно, часть из них убита. Долгое время после окончания военных действий тела мужчин, женщин и детей находили в одиночных и массовых захоронениях в каменных расщелинах, в горных реках, в земле, в канализационных люках... Другие бежали. Куда глаза глядят. В Афганистан, Узбекистан, Киргизию, Россию...

Не буду перечислять такие очевидные последствия выхода из Союза и гражданской войны как разруха, разрыв хозяйственных связей и тому подобного, что разом погрузило простых людей в бедность и многих заставило искать заработки на чужбине.

Для старшего поколения шок, вызванный гражданской войной, наложился на потрясение, которое испытало большинство таджиков при распаде СССР. Попробуйте представить себя на месте этих людей, которые проголосовали за сохранение Союза, из которого вскоре Ельцин с поделниками втихомолку увели славянские республики, разрушив систему. Таджики ощутили, что их предали, вытолкнули из сообщества, лишили причастности к огромной державе и бросили на отшибе на произвол судьбы. Представьте их горечь, обиду, растерянность...

¹ Журнальный вариант романа «Заххок» был опубликован в «ДН» (2015, №№ 3—4).

Однако есть и более болезненное и глубокое чувство, которое переживают не только люди пожилые, но и молодежь. Культуролог Гулрухсор Мамурова называет его «дефицитом величия». Мне это наблюдение представляется настолько важным, что приведу несколько кратких выдержек из одной ее статьи. Она пишет: «Таджики — это народ, который должен был вновь открывать себя, осознавать обретаемую историю, испытывает дефицит величия, имея на то историческое право... Дефицит величия, вызывающий чувство ущербности, ложное или истинное ощущение комплекса неполноценности, существует открыто в сознании или скрытно в подсознании и у взрослых, и у молодежи в Таджикистане». (Здесь неудачен оборот «испытывает дефицит величия, имея на то историческое право». В действительности речь о том, что Таджикистан своей древней историей, культурой, мудрецами и поэтами заслужил историческое право на величие.)

В идеологии официальных властей современный Таджикистан предстает в качестве наследника древнего государства Саманидов. При этом он не рвет символическую связь с советским прошлым, которое его азиатские соседи, за исключением Киргизии, объявляют «коммунистическим игом» и периодом «советской колонизации». Однако величия прошлого, древнего и советского, недостаточно, чтобы ликвидировать дефицит.

Хочу надеяться, что Таджикистан справится с этим комплексом, как и со всеми своими бедами и болезнями.

Н.С.: Когда вы переехали из Таджикистана в Москву и почему приняли такое решение?

В.М.: В Москву мы с женой переехали ровно тридцать лет назад после «черного февраля» 1990 года — трагических массовых беспорядков в Душанбе, организованных клановыми и криминальными авторитетами. То, что бесчинства стали только первой ласточкой, понимал, думаю, каждый человек в Таджикистане. Наша дочь была тогда подростком, а девочке не место в местах, где в любую минуту могут начаться погромы, беспорядки, грабежи... Так оно и случилось. Два года спустя вспыхнула гражданская война. К этому времени Таджикистан покинуло около трехсот тысяч его «некоренных» жителей — славян, татар, кавказцев, евреев, немцев, чувашей, корейцев... Всех не перечесать. Уезжали узбеки, которым было куда уехать. Немало уехало и таджиков.

Но вот что замечательно — Душанбе стал беспрецедентным примером мужества и самоорганизации его жителей. В начале беспорядков глава республики Кахар Махкамов выступил по телевидению с обращением к горожанам: «Мы не можем вас защитить. Обороняйтесь чем только можете». Надо отдать должное его мужеству — не каждый правитель способен на такое признание. Промолчи он, люди, вернее всего, продолжали бы надеяться на защиту властей. Узнав, что никто не поможет, душанбинцы взяли собственную судьбу в свои руки. В каждом дворе многоквартирных домов, в каждом квартале домов частных мужчины объединялись в отряды самообороны, чтобы защитить свои семьи. Вместе с «некоренными» (вынужден вновь прибегнуть за неимением лучшего к этому дискриминационному термину), чаще всего выходили на дежурства и горожане-таджики. Во многом, это было противостояние города и деревни, поскольку организаторы беспорядков подвозили в Душанбе все новых и новых бойцов из ближних и дальних кишлаков. Волну насилия остановили танки, которые центральная власть перебросила из Белоруссии по воздуху.

Душанбинские отряды самообороны 1990-го — привет из прошлого людям Брайтона 2020-го, которые сплотились, чтобы дать отпор погромщикам.

Н.С.: Бывшие республики — самые «новые» из бывших колоний, но отношения между ними и «колонизатором» развиваются не совсем традиционно. В Индии, например, благодарят англичан за чай, а каждый цивилизованный тунисец или марокканец прекрасно владеет французским и гордится этим. Русский же язык стремительно сдал позиции, хотя Пушкин и Толстой ни в чем не виноваты. Чем вы это объясняете: отторжением из-за отождествления языка с политическим режимом или, как сказал в интервью мне Константин

Косачев, недалёковидностью российской политики? <https://nashagazeta.ch/news/peoples/17301>

В.М.: Думаю, Константин Косачев прав. Он лишь выразился очень мягко. Долгое время российские власти проявляли полное безразличие к распространению русского языка в окружающем мире. Некогда в Таджикистане трудно было найти человека, не способного хоть как-то объясняться по-русски. Не знали ни слова, наверное, только женщины в дальних, глухих кишлаках, хотя и они в детстве ходили в школу, где учили русскому. Сегодня уровень знания русского языка, который записан в Конституцию страны как язык межнационального общения, падает не только в дальних регионах, но и в столице. Особенно среди молодежи. Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов рассказывает: «Идешь на рынок, видишь — молодые ребята, лет двадцати, начинаешь с ними разговаривать, а они по-русски не говорят. Не знают даже цифры. Не могут ответить, сколько что стоит...»

Не знаю точно, когда российская сторона наконец спохватилась. Когда начались попытки исправить положение. Десять лет назад, когда я был в Таджикистане, какая-то работа уже шла. Однако наверстывать упущенное — дело, насколько понимаю, дорогое и долгое.

Н.С.: В течение 70 с лишним лет нам рассказывали, как советская власть способствовала развитию «провинций». Но читая ваш роман, порой забываешь, что действие происходит в 1990-е годы, а не во времена Чингисхана, настолько многое из описываемого кажется диким. Восток, который, как каждый знает, дело тонкое, предстает чудовищно грубым, по средневековому жестоким

В.М.: Во время войны, тем более гражданской, чудовищно груб и жесток не только Восток, но и любая часть света. За примерами средневековой жестокости, которыми изобилует двадцатый век, далеко ходить не надо. Таджикистан — не исключение, а подтверждение правила. Если бы я рассказывал о событиях мирного времени, колорит был бы совсем иным.

Н.С.: Как женщина, я не могу не обратить внимание на гендерную проблему. Нагляднее пространств рассуждений о «положении женщин» одна ваша фраза — о том, что за городскую невесту большой калинг (или приданое) не запросят. И все становится ясно. Неужели это до сих пор так, и в 21-м веке существуют принудительные браки и все, что им сопутствует?

В.М.: В двадцать первом веке происходят вещи и поужаснее. Например, торговля человеческими органами, для которой людей отлавливают и убивают, как диких зверей или скот. Или, например, рабство. По оценкам Walk Free, сегодня в мире насчитывается около сорока миллионов рабов. Так что принудительные браки — не самое страшное из зол.

Думаю, вернее называть их браками по сговору родителей. Всегда ли они плохи? Это зависит от того, готовы ли родители шадить чувства детей. Плохо, если разлучают с любимым или женят на нелюбимой. А если молодые никого себе сами не присмотрели, то задача найти спутника жизни немало для них облегчается. К тому же, взрослые учитывают то, чего молодость не понимает из-за буйства гормонов и отсутствия жизненного опыта.

Иное дело, если родители выбирают исключительно из корысти. Это отвратительно.

Н.С.: Я очень оценила ваш рассказ от нескольких лиц, словно действие снималось на несколько камер. Удивительно удались вам интонации, разные стили, языковые особенности. Вы как-то специально работали над этим или естественным образом «пришло»?

В.М.: Не могу вспомнить, как и почему стал рассказывать от имени нескольких действующих лиц. Объяснений, зачем это вообще необходимо, у меня нет. Так что такое построение, по-видимому, действительно возникло само собой.

Говорят, в бесформенном куске мрамора уже скрыто будущее изваяние, надо только сколоть лишнее. Нередко у меня возникало ощущение, что где-то в небытии «Заххок» уж существует в завершённом виде, и необходимо лишь извлечь его. По мере того, как роман продвигался вперед, отдельные изолированные образы или эпизоды в разных его частях внезапно начинали перекликаться, словно бы объединялись перекрестными ссылками... Ничего подобного я, когда писал их, не задумывал.

Например, в начале романа есть эпизод, в котором Тыква ловит сбежавшего раненого змея — это как бы предвестие его будущей победы над Заххоком, хотя, когда я сочинял эту сцену, у меня даже отдаленной мысли не было, что именно этот парнишка уничтожит тирана. Точно так же, я не предполагал, что череп, который выкопал Андрей в первых строках романа, — это предвестник манипуляций с отрубленной головой Зухуршо в последних главах. Я еще знать не знал, что голова будет отрублена. Зачем мне вообще понадобилась эта находка? Да ни за чем. Более того, эпизод отдает дурным вкусом, стремлением к дешевому эффекту. Но обойтись без черепа я почему-то никак не мог. Словно без него осталась бы хоть и малая, но пустота в образной структуре романа. Словно эта структура сложилась еще до того, как роман был написан.

Рассказываю это к тому, что к многоголосью повествования я все же задним числом приспособил объяснение. И даже не одно, а несколько. Расскажу об одном из них. Каждый из рассказчиков представляет какую-либо одну стратегию взаимоотношений с властью. От безропотного, нерассуждающего повиновения до яростного сопротивления и отказа подчиняться даже ценой своей жизни. Я, как мог, постарался исследовать эти стратегии изнутри. Наверное, именно поэтому я не включил Зухуршо в число рассказчиков — он носитель власти, то есть объект, а не субъект. Объект должен быть безгласен. Однако, вернее всего, эти рассуждения просто рационализация.

Что же до естественности интонаций, то они возникали сами собой. Я не пытался влезть в шкуру рассказчика, почувствовать себя персонажем. Они, казалось, говорили самостоятельно, насильно заставить их «разговориться» не удавалось. Необходимо было настраиваться на некую волну, чтобы спонтанно возникала речь. Некоторые эпизоды «Заххока» я не писал, а диктовал на магнитофон, бродя по лесам и лугам. Однажды я заметил, что бессознательно диктую голосом и интонациями персонажа, от имени которого веду речь. Значит, все-таки влезаю в шкуру человека, который существует только в моем воображении, и он вещает моим голосом, как мертвец в «Расемоне» Куросавы вещает устами старухи-шаманки.

Н.С.: Бурное развитие событий в романе оставляет место для интересных и глубоких размышлений о глобальных вопросах, в частности, о сути власти и ее отношений с подчиненными. Можно ли, например, объяснить, живучесть некоторых правителей страхом того, что «после падения взбалмошного деспота начнется смута, схватка за его место, которое может занять человек, еще более жестокий и неуправляемый»? То есть люди предпочитают «знакового дьявола» и больше всего боятся перемен?

В.М.: Я не случайно выбрал место действия — маленькое горное ущелье, почти изолированное от внешнего мира. Это ситуация, в которой «власть» и «подвластные» вступают в прямое общение. В большом сложившемся государстве они обитают чуть ли не в разных мирах. В царстве полевого командира жизнь ограничена малым пространством. Царь и смерд живут в соседних домах и каждый день встречаются лицом к лицу. Именно это прямое, непосредственное столкновение с «властителями», с обнаженным, ничем не прикрытым властным насилием вынуждает действующих лиц романа постоянно делать выбор — подчиниться или противостоять принуждению... И только узость пространства дает возможность деревенскому пареньку устранить взбалмошного тирана.

Если же расширить границы горного ущелья до размеров страны, даже небольшой, то я не вижу, каким образом подчиненные способны повлиять на живучесть правителей.

Независимо от того, боятся ли они перемен или жаждут их. Живучесть правителей зависит от очень богатых и очень сильных. Именно они используют ярость и недовольство масс, которые чаще всего сами же раздувают. Без них ярость народная, полагаю, бессильна. Во всяком случае, по-иному в истории еще не бывало.

Н.С.: И еще одна цитата: «Главное искусство власти — управлять не действиями, а желаниями подвластных, чтобы желания в свою очередь управляли их действиями». Заметим, это рассуждение не бывшего райкомовского работника, а эшона Ваххоба, представителя духовенства. Думаете ли вы, что некоторые современные светские лидеры на постсоветском пространстве используют духовенство именно для «управления желаниями» людей?

В.М.: Полагаю, в Средней Азии дело обстоит несколько сложнее. Светские власти имеют возможность сотрудничать только с «официальным» духовенством, исповедующим «традиционный» ислам. Однако это лишь вершина айсберга. Существуют по крайней мере еще два направления, повлиять на которые власть не в силах. Это ваххабиты, одна из целей которых разрушение светского государства. О влиянии на них и речи нет, с ними даже диалог невозможен. Суфийские же шейхи способны сами оказывать влияние на людей власти. В том числе и тайное. Махдуми Санги Кулула, один из столпов суфийского тариката Накшбандия, — яркий тому пример. В 1968 году на его похороны собрались десятки тысяч его последователей со всей Средней Азии. Среди них было множество партийных и советских чиновников, бывших его мюридами. Говорят, что впоследствии пять тысяч из них было исключено из коммунистической партии. Чтобы понять степень влияния ишана на своих последователей, достаточно вспомнить знаменитое изречение: «Мюрид в руках своего шейха да уподобится трупу в руках обмывальщика».

Полагаю, что в наши дни география влияния суфийских шейхов на последователей остается по-прежнему огромной, если не увеличивается.

Н.С.: Многие политологи и социологи отмечают, что в наше время к власти пришли троечники, причем не только на постсоветском пространстве. Вы назвали свой роман «Заххок», по имени несправедливого тирана и угнетателя, образом которого пользуется кровавый и примитивный Зухуршо, чтобы «не просто нагонять страх на людей, а вызывать у них запредельный, мистический ужас». Неужели в нашей части света невозможна власть, не держащаяся на страхе?

В.М.: Зухуршо — именно из тех троечников, о которых вы говорите. Я долго не мог решить, кто он таков. На чем основана его власть? Одно время он был у меня похож на страшную обезьяну-людоеда. Затем меня привлекало уподобление Зухуршо свинье, но в конце концов я решил, что свинья недостаточно страшна. А что если он звероящер? Тираннозавр. Мне казалось важным вывести его не человеком, а Чужим, который, тем не менее, говорит по-человечески и с виду выглядит, как человек. И только я, автор, буду знать, что это нелюдь.

Заманчиво и эффектно. Но никак не совпадало с моими представлениями о сущности власти. В конце концов я остановился на том, что Зухуршо — самый обычный человечешко, которого сжигает неутолимая страсть к власти. Более того, это неудачник, которого мимолетные вздорные желания то и дело отвлекают от главной цели. Однако для того, чтобы сегодня стать правителем, харизма не нужна. Власть сама по себе дает силу — как трактор дает силу трактористу. Нет нужды быть могучим, как древний богатырь. Главное — уметь управлять трактором, машиной власти, и вовремя залезть в кабину. А дальше все происходит само собой. Следи лишь за тем, чтоб тебя не выкинули из кабины. Функцию трактора в романе выполняют боевики во главе с Давроном...

В то время, в начале девяностых годов, государственная власть утеряла силу, влияние и контроль над тем, что происходило в былой сфере ее влияния. Рассеялся окружающий ее ореол всемогущества. Социологи именуют это явление красивым выражением «десакрализация власти». Так вот, изображая Заххока, бывший

партаппаратчик Зухуршо сознательно или бессознательно пытается «сакрализировать» свой образ. Обличье царя-злодея подходит для этой цели как нельзя лучше, да и змея сама по себе — очень мощный и многозначный символ, все значения которого лежат в области сакрального.

Зухуршо говорит: «Они разучились любить власть. Пусть теперь учатся бояться. Пусть священный трепет чувствуют...» Но до уровня священного ему очень и очень далеко. Крестьяне исподтишка насмеяются над нелепой клоунадой правителя. Скрытая насмешка — одна из форм пассивного крестьянского сопротивления. Вместе с тем, хотя мужики и не ощущают священного трепета, страх они испытывают, и притом немалый.

По моему убеждению, любая власть неразрывно связана со страхом. Различаются лишь его формы. Власть либо напрямую угрожает человеку, требуя повиновения, либо обеспечивает его базовую потребность — безопасность — и требует того же. С первым случаем все ясно. Во втором страх вызывает возможность лишиться защиты власти и остаться наедине со страшным миром насилия, голода, стихийных бедствий и прочих ужасов. Так что власть без страха невозможна ни в одной из частей света.

Н.С.: По моим наблюдениям, россияне мало интересуются Таджикистаном и таджиками, если только речь не идет о гастарбайтерах. Думаю, справедливым будет и обратное утверждение. Можно ли сделать что-то для пробуждения взаимного интереса? И нужно ли?

В.М.: Таджикистан интересовал и продолжает интересоваться исключительно тех русских, которые прожили много лет или родились там. Сейчас они вспоминают об этих краях как о потерянном рае. Русские и таджики неплохо уживались вместе. Таджики вообще в большинстве своем хорошие соседи, это у них в культуре. И друзья они хорошие. Так что нередко русские и таджики дружили. Те, кто работали вместе, соседи, люди одних интересов — шахматисты или, скажем, охотники... Но при этом каждый из народов разделяла как бы стеклянная перегородка. Сложная и многоуровневая система таджикской частной жизни оставалась закрытой для русского человека. Внутри впускали только своих, а своим можно было только родиться. Друзья сходились лишь на некоей ничейной культурной территории, на границе между двумя культурами, где для каждой стороны было достаточно самых общих, поверхностных представлений о традициях, этикете, национальных особенностях другого.

Но вот что примечательно. Несмотря на общение «через стекло», русские — даже те, кто ни слова не знали по-таджикски, — немало переняли от таджиков. Зачастую таджикская «аура» едва уловима, но она всегда присутствует. В манере общаться, в оценках людей, в правилах этикета...

А что до всех остальных, то российскую публику никогда особо не интересовала Средняя Азия. Да и весь Восток в целом. Ориентальный запал русской литературы был истрачен на Кавказ. Когда в начале позапрошлого, девятнадцатого, века романтизму потребовались Восток и романтический герой, Кавказ дал и то, и другое.

Поэтому, вероятно, когда после окончания кавказских войн началось завоевание Средней Азии, русская литература почти не обратила внимания на эти события и эти места. Во второй половине девятнадцатого века было написано немало ярких книг — исторические исследования и мемуары о военных действиях в Средней Азии, очерки быта и нравов среднеазиатских народов, этнографические заметки и прочее в этом же роде. Но не появился ни один «среднеазиатский» роман. Да и значительных повестей или рассказов не могу припомнить. Возможно, причина в том, что разлив романтизма пошел на спад, наступали времена критического реализма. Россия обратилась к исследованию самой себя. Насущные проблемы, за решение которых взялась литература, были настолько острыми и неотложными, что тут уж стало не до далеких и чуждых окраин империи.

Таджикистан вызывал некоторый интерес у образованной России только в

советское время — в короткий период тридцатых годов прошлого века. Тогда горный край посетили писательские бригады из Москвы и Ленинграда, в которые входили весьма известные в то время писатели: Борис Лапин, Захар Хацревин, Сергей Бородин, Николай Тихонов, Владимир Луговской, Леонид Соловьев, Борис Пильняк, Виктор Шкловский... Пара книг о Таджикистане — «Человек меняет кожу» Бруно Ясенского и «Ниссо» Павла Лукницкого — стали бестселлерами. На тогдашний лад, конечно... Сегодня русский читатель вряд ли помнит даже имена их авторов. Исключение, разве что, Леонид Соловьев с его повестью о Ходже Насреддине. Литература — скоропортящийся продукт.

Вспышка интереса к Таджикистану была вызвана тем, что в те годы советская власть начала обустривать горную страну руками русских строителей, инженеров, врачей, ученых, учителей... Бок о бок с ними трудились татары, евреи, армяне, украинцы, белорусы и сами таджики — всех, опять же, не перечесать, но русские были основным костяком.

Прежде, чем строить электростанции, заводы, больницы, школы, проводить каналы, необходимо было прежде всего победить малярию, от которой люди мерли как мухи. Малярия была искоренена самоотверженным трудом русских врачей. Точно так же была уничтожена проказа, от которой страдало множество людей, особенно в Бадахшане и на Дарвазе. Исчезли оспа, чума, холера, снизилась детская смертность. Население Таджикистана начало расти в геометрической прогрессии. Затем были построены заводы, фабрики, проложены дороги, протянуты оросительные каналы... Не стану продолжать, перечислять можно до бесконечности. На месте небольшого пыльного кишлака вырос прекрасный город, столица, а в ней были созданы драматические театры, филармония, киностудия «Таджикфильм», своя Академия наук с таджикскими учеными европейского уровня. И самое главное: были подготовлены национальные кадры во всех областях и сферах промышленности, сельского хозяйства, культуры, образования и науки. Покидая Таджикистан, русские могли гордиться тем, что оставляют после себя.

Но кто сейчас об этом вспоминает в России? Помнят ли в Таджикистане? Даже «среднеазиатские» романы, написанные в нынешнем столетии, появились на свет по причине чисто случайной и внешней, — их авторы родом из Азии (исключение составляет лишь Евгений Чижов). И все же стоит их перечислить. Прежде всего, разумеется, это орнаментальные описи Тимура Зульф리카рова, «Хуррабад» Андрея Волоса, «Ташкентский роман» Сухбата Афлатуни, «Перевод с подстрочника» Евгения Чижова...

Вряд ли интерес к далекому Таджикистану возрастет в обозримом будущем, несмотря даже на то, что около миллиона таджиков живут и трудятся в России. И столь же маловероятен встречный интерес таджиков к России. Оба народа живут в слишком сложных условиях и готовятся к еще большим испытаниям, чтобы проявлять любопытство к тому, что напрямую не связано с выживанием.

Н.С.: При желании можно по-разному истолковать любую книгу — скандал вокруг романа «Зулейха открывает глаза» <https://nashagazeta.ch/news/culture/zuleyha-ne-zakryvay-glaza> недавний пример тому, что многочисленные премии не ограждают от «гнева народного». Как вы оцениваете реакции на ваш роман и были ли попытки обвинить вас в разжигании межнациональной ненависти? <https://nashagazeta.ch/news/culture/zuleyha-ne-zakryvay-glaza>

В.М.: Есть читатели — я рад, что их мало, — которым «Заххок» активно не нравится. Это естественно. Книга не может, подобно стильной безразмерной одежде, подходить всем подряд: людям с разным умом, различными темпераментами, неодинаковым культурным багажом, противоположными убеждениями и прочим в этом роде. Так что о романе говорилось разное... Однако никто даже не заикался о межнациональной ненависти. В моей книге русские и таджики смотрят на многое

по-разному, чаще всего из-за культурных различий не понимают друг друга, но я старался не вставать ни на одну из сторон. К тем и другим я испытываю глубокую симпатию и сочувствие и, надеюсь, сумел выразить это в романе.

Меня очень волновало, как оценят книгу таджикские читатели. Не сочтут ли они, что я неверно понял или исказил таджикский характер, выдумал многое от себя и так далее. Я был уверен, что не погрешил против истины, но все-таки... Последнее слово было за ними.

Возможно, найдутся таджикские читатели, которых роман возмутит, и они сочтут агрессией и даже культурным империализмом вторжение чужака в интимное пространство национальной жизни. И тогда малейшая неточность, любая неверная нота послужат доказательством того, что я не имел права соваться на чужую территорию.

С гордостью могу сказать, что отзывы, которые мне известны, оказались более чем положительными. Приведу мнение одного таджикского читателя из опубликованной на сайте «Проза.ру» рецензии на мой роман: «Невероятно, что нетаджик так смог рассказать о таджиках. Так прочувствовать весь пласт отношений между таджиками, отношений между мужчиной и женщиной в Таджикистане, отношений таджиков к нижнему миру (быта) и миру, недоступному для понимания непосвященных. Проникнуть туда, куда не только чужих, но и своих-то не всегда пускают. И, главное, увидеть те мелкие штришки, нюансы и последствия, казалось бы, незаметные, но такие важные в обычной жизни таджиков».

Думаю, это лучший ответ на вопрос о разжигании межнациональной розни.

Н.С.: Переведен ли ваш роман на таджикский язык или есть хотя бы такое намерение?

В.М.: Вряд ли «Заххок» когда-нибудь переведут на таджикский язык. Роман никак не гармонирует с официальной мифологией, а также со стилем, в котором требуется писать о событиях того времени. Да и массового читателя для него, думаю, не наскребешь. Таджики — народ романтический, для большинства из них потребна литература совсем иного рода.

Чтоб было понятно, что имею в виду, сошлюсь на замечательного театрального педагога Бориса Владимировича Бибикова, воспитавшего плеяду блистательных актеров театра и кино. Его воспитанниками были звезды советского и российского кинематографа Нонна Мордюкова, Руфина Нифонтова, Майя Булгакова, Вячеслав Тихонов, Надежда Румянцева, Светлана Дружинина, Леонид Куравлёв, Софико Чиаурели, Екатерина Савинова... В начале тридцатых годов прошлого века он принял участие в уникальном культурном проекте: при ГИТИСе были созданы национальные студии, многие из которых стали впоследствии ядром национальных театров. Нам с женой посчастливилось записывать воспоминания Бориса Владимировича, когда он в конце жизни потерял зрение. Мне запомнилось одно из его высказываний, немало объясняющее в таджикском национальном характере: «Жизнь и театр в представлении таджиков не смыкались. Жизнь казалась им процессом весьма заурядным, сцена — достойной сугубо романтических, возвышенных сюжетов и переживаний». Студийцы-таджики на занятиях не любили разыгрывать бытовые сценки, им хотелось играть царей, красавиц, мудрецов, героев... Полагаю, что таково же представление многих авторов и среднего читателя о том, какой должны быть литература.

Немаловажно и то, что один из персонажей «Заххока» — Сангак Сафаров, народный герой. О нем теперь не упоминают в официальных речах, в официальной прессе и медиа. Будто его и не было. Напоминание о Сангаке в романе придется совсем нестати.

Есть и другие причины, но они не столь важны.

Н.С.: Есть ли категория читателей, которой в первую очередь адресован ваш роман?

В.М.: Я никогда о том не задумывался, но, пожалуй, есть. Это люди с умом, сердцем, широким кругозором, со стремлением узнавать новое и понимать окружающий мир.

Наталья Рапопорт

Набережная исцелимых

Хроника венецианского карантина

В начале февраля 2020 года мы с мужем приехали в Венецию на полтора месяца. Этот срок представлялся тогда астрономическим, но оказался каплей в море, ибо в результате мы провели четыре с половиной месяца в венецианском карантине. Я писала эти записки по ходу вынужденных «карантинных каникул». Эпизоды нашей личной жизни, описанные ниже, неотделимы от событий мировой коронавирусной катастрофы.

1. Из Вены в Венецию через Альпы

Когда пятого февраля мы ехали на поезде из Вены в Венецию, самой большой неприятностью еще казался бушевавший за окном буран, скрывавший невиданной красоты горные пейзажи. Они появлялись в просветах между тучами на какие-то доли секунды, чтобы дать нам понять, зрелище какого масштаба мы теряем на этом семичасовом пути. Это было очередным проявлением нашего еврейского счастья. Мы ехали в Венецию на встречу с дочерью Викторией, которую пригласила преподавать полуторамесячный курс фото-офорта Международная школа графики, с трехнедельной выставкой ее собственных работ.

Справедливости ради надо сказать, что точно на границе между Италией и Австрией вдруг засияло солнце, словно Италия закрыла свою границу для австрийского бурана. Вскоре, наоборот, Вена закрывает свою границу для Венеции. Но об этом позже. Сейчас мне хочется вспомнить первые беззаботные венецианские дни, когда город, не пустой, как в дни карантина, но еще не затопленный нахлынувшей на предстоявший карнавал толпой, являл нам свои невиданные красоты, поделиться Венецией, которая за четыре с половиной месяца стала для меня родным домом, несмотря на тяжелейшие испытания, выпавшие там на нашу долю.

Наталья Рапопорт — почетный профессор университета штата Юта, работает в области химиотерапии рака. Ее повесть «Память — это тоже медицина» была опубликована в журнале «Юность» в 1988 году с предисловием Евгения Евтушенко. Автор книг на русском языке: «То ли быль, то ли небыль»; «Личное дело»; «Автограф» и «Ex Epistolis» (совместно с Марком Копелевым). Печаталась в журналах: «Знамя», «Иностранная литература», «Человек». В 2020 году в издательстве World Scientific Publishing на английском языке вышла ее книга «Stalin and Medicine. Untold Stories» («Сталин и Медицина. Нерассказанные истории»).

В «ДН» печатается впервые.

2. Квартирный вопрос

Сначала несколько слов о наших венецианских квартирах. За четыре с половиной месяца мы сменили три.

Первая была в районе Каннареджо, на набережной Мизерикордия. По совершенной случайности квартира оказалась в трех минутах ходьбы от Викиной Международной школы графики. Диковинное место. Напротив арки через канал Мизерикордия перекинут куда-то не ведущий мостик, упирающийся в глухую стену. Между нашим домом и соседним обнаружилась небольшая щель — широкоплечему человеку, кажется, в ней не развернуться. И вдруг Вика замечает, что из щели выходит человек с супермаркетной сумкой, нагруженной всякой снедью. Сбегала проверить, и действительно: в щели спрятался маленький домашний супермаркет! А серьезный супермаркет оказался минутах в десяти ходьбы, но поди догадайся: на готическом фасаде дивной красоты надпись: «ТЕАТР»!

Сама квартира — сплошной реверанс ренессансу. Интерьер, от которого Вика, вошедшая туда первой, просто застыла на пороге. В прихожей — помутневшее зеркало в ренессансной раме. Рядом с ним мавр венецианский держит лампу-торшер. И мебель соответствующая. Вика получила таким образом прививку перед предстоящим ей переездом в палаццо Дандоло Паолуччи, в комнату, предоставленную пригласившей ее Школой графики.

В переулке, ведущем к большому супермаркету, мы постоянно встречали одних и тех же «односельчан». Меня пригласил довольно пожилой итальянец с лицом, состоявшим из наплывающих друг на друга мешочков, как рисуют гномов. Он приветствовал меня длинной итальянской тирадой. На мое вежливое «нон каписко итальяно» — в ужасе, возможно, и неподдельном, всплеснул руками, схватился за голову, возвел глаза к небу и разразился еще более длинной тирадой, в которой я уловила только одно знакомое слово — «синьора», но перевела ее, думаю, верно: «Уму непостижимо! Синьора, дожившая до таких лет, не понимает по-итальянски!!!» С тех пор «гном» неизменно приветствовал меня длинными итальянскими речами, а я вежливо кланялась и на всякий случай говорила: «Грация милле», хотя не поручусь, что он меня не материл.

Теперь можете себе представить мой шок, когда после Викиного переселения в предоставленное Школой палаццо мы переехали из нашего ренессансного рая во вторую по счету венецианскую квартиру, недалеко от остановки Рива ди Биазо в районе Санта-Кроче.

Если вы страдаете, как и я, топографическим кретинизмом, жить в районе Санта-Кроче я вам не рекомендую. Мой первый самостоятельный поход из дома к остановке вапоретто¹ Рива ди Биазо был близок к полному фиаско. Я моталась по проулкам и подворотням, как крыса в лабиринте. Минут через пятьдесят меня каким-то чудом вынесло на Большой канал в нужном месте, но беда была в том, что даже под угрозой расстрела я не могла бы восстановить свой маршрут. Возвращение домой было еще более драматичным. Пришлось взывать к Виктории, единственной в нашей семье прекрасно ориентирующейся по карте и на местности. Вика облила меня презрением, посоветовала посыпать дорогу хлебными крошками, чтобы маркировать путь, но все-таки нарисовала для меня на бумажке подробную схему. Со схемой в зубах я проделала этот путь четыре раза подряд туда и обратно, с каждой итерацией сокращая время на размышления у очередного поворота. И — запомнила.

¹ Водный маршрутный трамвай, главный вид общественного транспорта в островной части Венеции.

Квартира наша находилась на берегу небольшого канала Сан-Зан-Дегола; ко входу вел ряд колонн. Она стояла дороже, чем предыдущая, поскольку пришлась на дни карнавала и к тому же имела небольшой и совершенно ненужный по погоде садик. Состояла квартира из одной комнаты, совмещавшей в себе без каких-либо перегородок кухню, гостиную и спальню; для туалета, правда, имелась отдельная выгородка.

Гарсоньерка была забронирована только до 29 февраля, потому что после открытия Викиной выставки мы с Володей планировали поехать на какое-то время в Рим. Викина болезнь (о ней позже) и начавшийся венецианский карантин нарушили наши планы, и нам надо было срочно искать третью по счету квартиру. Мне так осточертели поездки на вапоретто к Вике и обратно, что я стала подыскивать жилье по соседству с палаццо Дандоло, куда она переехала. И тут мне неожиданно повезло. Буквально в пяти минутах ходьбы от палаццо обнаружилась доступная по цене квартира с «ванной, гостиной, фонтаном и садом», с двумя спальнями, отдельной кухней, современным сортиром и потрясающим видом из окна, в двух шагах от остановки вапоретто Сан-Тома. После гарсоньерки — немыслимая роскошь и удача! Хозяин, Лоренцо (как впоследствии выяснилось, профессор средневековой литературы) — малоконтактный и вечно спешащий синьор, живущий в Тревизо, — встретил нас на остановке Сан-Тома, поднял наши чемоданы по узкой и крутой каменной лестнице, впустил в квартиру, отдал ключ и, не успев мы оглянуться, исчез, сообщив на прощанье, что остановка вапоретто Сан-Тома с завтрашнего дня закрывается на два месяца на реконструкцию. А как же мы будем передвигаться по городу?! — Пешком. Ближайшая остановка вапоретто примерно в двадцати минутах ходьбы, да его еще надо ждать, да еще и ехать на нем — за это время вы можете дойти отсюда пешком почти до любой точки города. — А если экстренный случай? Такси можно вызвать? — Вызвать можно, но такси сюда не подходит. До стоянки надо будет идти.

Назавтра пристань Сан-Тома действительно огородили глухим забором, перекрыв выход к Большому каналу. Ближайшая пристань Сан-Сильвестро оказалась в двадцати минутах ходьбы, через два мостика со ступеньками. Все это скоро отзовется нам мрачной мелодией, спасибо, что не похоронным маршем.

В этой квартире мы прожили три с половиной месяца, и я сто раз поздравила себя с находкой. У нас была отдельная, только нам принадлежавшая лестничная клетка, что в период эпидемии коронавируса — большое преимущество. Узкая каменная лестница вела от входа на крохотную площадку с двумя расположенными визави квартирами, на расстоянии около метра одна от другой. Другая квартира сначала пустовала: снявшие ее жильцы вовремя сбежали из Венеции. Потом в нее переехала Вика из своего палаццо. На золотой табличке у нашей двери было выгравировано «Канова», у Викиной — «Тьеполо». Вика называла меня «синьора Канова», я ее — «синьора Тьеполо».

3. Праздник на воде. Восьмое февраля

Главное событие февраля в Венеции — карнавал. Я мечтала побывать на венецианском карнавале всю сознательную жизнь и ждала его с нетерпением. Карнавал традиционно открывается двухдневным праздником на воде — парадом ярко разукрашенных лодок и гондол, проходящих по Большому каналу в канал Каннареджо. В этом году праздник на воде пришелся на субботу и воскресенье восьмого и девятого февраля. Мы жили тогда еще на набережной Мизерикордия, и набережная канала Каннареджо была от нас в двух шагах. Жалко было упускать единственную возможность увидеть такое красочное зрелище. Путь, порядок входа и время праздника были регламентированы и широко опубликованы. Предлагавшаяся дорога вела через

бывшее еврейское гетто к трем пунктам входа, открывавшимся в шесть часов вечера. Однако уже с раннего утра по нашей набережной тянулись в том направлении толпы молодежи с бутылками и кошельками, набитыми всякой снедью. Когда мы, законопослушные граждане, в длинной очереди себе подобных достигли часам к семи набережной Каннареджо, там было не продохнуть. Густая толпа не оставляла даже микрона просвета и, продолжая нарастать, оттирала и прижимала нас к стоявшим вдоль канала домам. Гремела музыка, витал густой аромат марихуаны, и кроме спин ничего не было видно. Прямо похороны Сталина. С великим трудом мы стали прокладывать себе путь назад, навстречу все прибывавшей толпе, и кое-как вырвались на простор гетто. Домой вернулись не солоно хлебавши, разочарованные, но довольные, что нас не раздавило, без тени мысли о коронавирусе. Слово это еще не стало самым главным в заголовках газет и передачах всех имеющихся на сегодняшний день в мире средств массовой информации, в разговорах дома и по телефону. Это случится через две недели.

4. Всегда быть в маске...

Вспоминая сейчас, в опустевшей Венеции, ту страшную толчею на набережной Каннареджо, я холодею. Там были в основном туристы и местная зеленая молодежь: более солидная публика на такие акции не ходит. Среди туристов в Венеции, как, возможно, и во всей Италии, и во всей Европе, и во всем мире, в это время года преобладали китайцы. Пренебрегая политкорректностью, объясняю, что «китайцы» в данном контексте — понятие собирательное. А в чем, собственно, дело? У Данелии в свое время *вырезали* из «Мимино» чудесный эпизод (потом, правда, вернули): в гостинице «Россия» на лифте поднимаются вместе Кикабидзе, Мкртчян и японские туристы. И один японец говорит другому, глядя на Мкртчяна и Кикабидзе: «До чего же все эти русские на одно лицо»! Это я к тому, что собирательное понятие «китайцы» использую по необходимости, к расизму это никакого отношения не имеет, о чем решительно заявляю.

Сейчас трудно представить, что в толпе на набережной Каннареджо не было зараженных, и невозможно сказать, скольких соседей по толпе они оплодотворили своим коронавирусом и сколько «оплодотворенных» потом развезли этот вирус по своим местам обитания. В свете того, что мы знаем сегодня, остается только удивляться, что парад гондол восьмого и девятого февраля не имел для Венеции более пагубных последствий, чем те, свидетелями которых мы вскоре стали. Между этими двумя временными точками — парадом гондол и закрытием Венеции на ключ итальянскими властями — расположился Карнавал. Давайте отложим на время разговор о грустном, и я расскажу вам о карнавале.

Сначала немного истории. Венецианский карнавал уходит корнями в Римские сатурналии — праздники урожая, когда рабовладельцы и рабы пировали за одним столом. Традиция эта возродилась в Венеции в Средние века, и уже в 1094 году название «венецианский карнавал» появилось в официальном документе за подписью венецианского дожа.

Основной атрибут карнавала — маски. Венецианская республика была очень богата, а имеющий хлеб хочет зрелищ, предоставляя плодородную почву для всевозможных пороков — адюльтера, проституции, азартных игр, всяческих других правонарушений. Все это желательно было скрывать от семьи и общества, и этой цели как нельзя лучше служили маски.

В средневековые венецианцы имели право носить маски круглый год. Сначала это были «бауты», целиком закрывавшие лицо, с резкими чертами и острым, выступающим вперед подбородком, позволявшим есть и пить, не снимая маски. Скрываться под такой маской было удобно судьям, выносившим суровые приговоры, — они могли не опасаться мести со стороны родственников или дружков осужденных, поскольку

никто не знал их истинного лица. С другой стороны, скрывать свой облик было в равной степени удобно злонамеренным людям, нарушителям морали и закона.

Благодаря маскам в Венеции процветали сексуальные излишества и всяческие преступления. Церковь несколько раз безуспешно пыталась запретить круглогодичное ношение масок. В конце концов удалось свести разрешенный срок к полугоду, с первого дня после Рождества до так называемого «жирного вторника» — последнего дня перед сорокадневным Великим постом, заканчивающимся Пасхой.

Самой распространенной маской, скрывавшей сословие и пол, долго оставалась баута. К тому же она, благодаря своей форме, до неузнаваемости изменяла голос человека. В такой маске было очень удобно безнаказанно посещать игорные дома и бордели. Ею пользовались высокопоставленные особы, любившие анонимно ходить «в народ», ее предпочитал и Казанова — одна из разновидностей бауты так и называется «Bauta Casanova».

С годами маски становились все разнообразнее и красочнее. В середине XV века изготовители масок объединились в гильдию масочных мастеров.

Масок — несметное количество, от искусных и дорогих до ширпотреба. Кроме бауты к маскам «на каждый день» относятся: вольто — маска с классической формой человеческого лица; моретто («немая служанка») — маска из черного бархата, со штырьком, зажимавшимся между зубами (молчащих дам в таких масках предпочитал Казанова). И нельзя не упомянуть маску «доктора чумы». У нее длинный нос, похожий на огромный клюв. Туда помещались специальные целебные травы и благовония: считалось, что они препятствуют заражению доктора чумой; доктор ходил в черном плаще, со специальной палкой, которой поднимал одежду и покровы больных, чтобы не касаться их руками. Наконец, довольно широко были распространены маски кота — гатто и нягго; последняя была популярна у гомосексуалистов и, по существу, являлась их эмблемой.

С маской кота связана забавная легенда. Однажды старый бедный китаец приехал в Венецию со старым котом — своим единственным достоянием. Венецию тогда мучили грызуны, мыши и крысы, разносившие всякую заразу, включая чуму. Китаец со своим котом пришел во дворец дожа, где кот переловил всех мышей. Дож был счастлив и щедро одарил старого китайца. Тот оставил своего кота в подарок дожу, а сам, богатый и счастливый, вернулся домой. Его завистливый сосед удивился глупости дожа, щедро одарившего старого китайца за такую малость, как старый кот, накопил роскошных шелков, поехал в Венецию и преподнес их дожу. Дож был в восторге. Он просто не знал, чем бы взамен одарить гостя, и в конце концов преподнес ему самое драгоценное, что у него было: старого кота. Так кот вернулся в Китай.

А мы вернемся к маскам. Отдельная категория — маски комедии дель арте — бродячих уличных театров эпохи итальянского Возрождения. Здесь знакомые толпе персонажи: Арлекин, Бригелла, Панталоне, Пьеро, красавица-Коломбина — неперменные участники уличных представлений, привычная фабула которых оживлялась импровизациями на местные темы и сплетни (этот трюк гениально использовал Зиновий Гердт в «Необыкновенном концерте»).

В XVIII веке Венецианский карнавал приобрел большую известность и популярность в Европе. На него даже тайком приезжали искавшие приключений члены царствующих фамилий. Под маской все было дозволено: аристократы становились шутами, слуги — графами, короли — бедняками, а дамы высшего света — куртизанками. Все было легко, весело и просто. Во время карнавала маски носили даже монахи и монахини, и многое себе при этом позволяли. Ватикан смотрел сквозь пальцы, потому что Венеция приносила большие доходы церковной казне.

Венецианский карнавал прекратил свое существование в конце восемнадцатого века — его отменил захвативший Италию Наполеон, и возродили его только в 1980 году с коммерческими целями: чтобы привлечь туристов в Венецию в непопулярное зимнее время. Затея удалась: в крохотную Венецию с пятьюдесятью пятью тысячами жителей в феврале ежегодно съезжается полмиллиона туристов.

Я уже сознаясь, что мечтала о Венецианском карнавале всю жизнь. И вот — свершилось.

Сначала в витринах магазинов и лавочек, да и около них появились красочно одетые манекены. Оказалось, что в этих магазинах можно купить или взять напрокат костюм для карнавала. В шикарные дорогие костюмы — парчу, бархат, драгоценные украшения — обычно были одеты люди пожилые. Молодежь довольствовалась плащами и масками, которыми торговали по доступным ценам сотни лавочек около площади Сан-Марко и по всему городу.

Вскоре костюмированные персонажи были уже на каждом шагу, и душа моя пела. Я давно не испытывала такого подъема и ощущения праздника жизни. За это, наверное, и пришла позже расплата.

Безоблачное счастье продолжалось до воскресенья двадцать третьего февраля. В этот день были внезапно отменены два заключительных дня карнавала и его торжественное закрытие. Ласкавшее слух слово «карнавал» сменилось зловещими словами «эпидемия» и «карантин».

5. Начало итальянского ада

Считается, что итальянский ад начался всего с двух человек — с китайской пары, сбежавшей от объявленного в Ухани карантина. 23 января они прилетели в Милан, откуда поехали поездом в Верону (регион Венето) и Парму (регион Эмилия-Романья), а 28 января — в Рим. На следующий день у обоих начался кашель, потом у мужа поднялась высокая температура; их госпитализировали в больницу Национального института инфекционных болезней, где тест подтвердил коронавирус. Италия мгновенно прервала контакты с Китаем, запретив полеты в обе стороны. Но было, видимо, поздно.

Через неделю, 6 февраля, в Риме заболел вернувшийся из Ухани итальянец, и число зараженных выросло до трех. Все трое выздоровели.

Тем временем 14 февраля в небольшом городе в Ломбардии заболел 38-летний мужчина, встречавшийся с другом, вернувшимся из Китая. 16-го его госпитализировали с затрудненным дыханием, но в том провинциальном госпитале никто не понял, с чем они имеют дело, пациента не изолировали от прямых контактов с медперсоналом. Медперсонал-то и разнес вирус по другим пациентам госпиталя и по всему городу. Происходило это сначала медленно из-за длительного инкубационного периода. Через пять дней, 21 февраля, в Ломбардии было зарегистрировано всего шестнадцать случаев, но на следующий день их было уже шестьдесят.

Как можно было ожидать, инфекция приехала и в Венето, где 22 февраля была зарегистрирована первая в Италии смерть от коронавируса.

Я делаю эти записки 2 апреля, через полтора месяца после первых случаев заболевания в Ломбардии и Венето. На сегодняшний день в Италии заболело больше ста пятнадцати тысяч человек, четырнадцать тысяч из них умерло от вирусной пневмонии. К Ломбардии и Венето присоединилась третья область северной Италии, Эмилия-Романья, куда тоже заезжала первая заболевшая китайская пара.

Интересно, как чувствуют они себя сейчас, эти спасенные в Италии молодые люди, прилетевшие сюда развлекаться из Ухани? Думают ли они о десятках тысяч итальянцев, которым подписали смертный приговор?¹

Я представила вам задник сцены, на которой разворачивались нетривиальные события нашей собственной жизни. Теперь мне будет легче заняться авансценой.

¹ Оказалось, что думают. Недавно они перевели в Римский госпиталь, который спас им жизнь, сорок тысяч долларов. По доллару с небольшим за каждую унесенную итальянским коронавирусом жизнь.

6. Конец февраля — начало марта в Международной школе графики. Мы застреваем в Венеции

Дни конца февраля стоили нам такого физического, психологического и нервного напряжения, что карнавал как-то сразу отошел в прошлое, которому он, собственно, и принадлежит.

Напомню, что Вика должна была давать уроки фото-офорта в Международной школе графики, а с 28 февраля по 20 марта у нее планировалась там персональная выставка. Мы с Володиёй воспользовались ослепительной возможностью пожить в Венеции рядом с Викой: бывает, что мы ее не видим годами.

По устройству и архитектуре Международная школа графики — типично венецианское пространство: подворотня (по-итальянски «сотопортего») ведет из узкого переулка, через двор, к узенькому проезжему каналу — аппендиксу Большого. В здании над подворотней находится галерея, слева и справа от нее — конференц-зал, библиотека и учебные комнаты. Во дворе, украшенном небольшим садиком, построены просторные рабочие помещения.

В одном из них Вика получила стол для работы. Другие столы, на некотором расстоянии от Викиного, были предоставлены «студентам» Школы, заплатившим за пользование мастерской и обучение. Среди них были люди разных возрастов и художественных направлений, от совсем юных, вроде нью-йоркской модели, удостоенной недавно фотографии в журнале «Вог», до богатой американской старушки Марджори, постоянно проживавшей где-то на юге Италии. Вика как приглашенный преподаватель ничего не платила — напротив, Школа платила ей правом бесплатного проживания в предоставленном ею помещении.

Словно в романах Агаты Кристи, вскоре после нашего приезда у людей, связанных со Школой, наступила полоса грустных, опасных и даже трагических событий. Началось с Элизабет, известного бостонского графика, которую Вика сменила на посту приглашенного преподавателя. Элизабет планировала после окончания срока своей работы поехать по Италии (у нас, кстати, был такой же план). Она составила маршрут будущей поездки, купила билеты, зарезервировала гостиницы, и к ней прилетел из Бостона муж. Но накануне отъезда из Венеции они получили известие, что в Бостоне скоростно скончалась сестра мужа. И вместо поездки по Италии они в тот же день улетели в Бостон. Тогда еще никто не думал о ковиде-19, и самолеты еще летали.

Наше блаженное неведение длилось недолго. Вскоре старушка Марджори, понимавшая по-итальянски, принесла в Школу известие, что в соседней с Венето провинции Ломбардии началась страшная эпидемия нового вируса, привезенного из Китая, и Ломбардию оцепили войска, чтобы предотвратить его распространение по Италии. Но, видимо, опоздали: вирус уже пришел в Венето, в соседний с Венецией городок Во, где тоже началась страшная эпидемия и кто-то даже умер. У Марджори не было сомнения, что Венецию скоро закроют, как Ломбардию, поэтому она уезжает — немедленно, прямо сейчас.

После бегства Марджори в Викином зале кроме нее остались трое: пожилая южнокорейская абстракционистка Сонг, постоянно живущая в Австралии; юная студентка из Рима и уже упомянутая американская модель.

Сонг была невероятно общительная и страшно разговорчивая. В первый же Викин день в Школе она изложила ей всю историю своей шестидесятипятилетней жизни в Южной Корее и Австралии. В течение дня Сонг постоянно пыталась напоить всех чаем, разлитым в сомнительного вида чашки и вскипяченном в чайнике времен, возможно, Тициана, вымазанном всеми видами красок и шлаков. Молодежь от Сонг

отбрыкивалась и исчезала, а Вика стеснялась отказаться, хотя и горько жаловалась на свою судьбу.

А потом Сонг заболела.

Если помните, в субботу 8 февраля мы собирались пойти на парад гондол и забежали за Викторией в мастерскую. В зале были только она и Сонг. Вежливая Сонг, как всегда, встала поздороваться с нами за руку. Я позвала ее пойти с нами на парад, но она сказала, что плохо себя чувствует, и осталась в Школе.

На следующий день у Сонг начался ужасный кашель. Вика говорила, что она кашляет так, словно пытается выкашлять легкие, и жаловалась, что Сонг продолжает ходить в Школу, здороваются за руку, кашляет, не прикрываясь, и поит всех чаем, не отделив своей чашки. Я попыталась — разумеется, безрезультатно — уговорить Вика переждать и не ходить в Школу, пока Сонг не выздоровеет, но единственное, на чем мы сошлись, — Вика принесла в Школу и спрятала свою отдельную чашку. Еще несколько дней Сонг продолжала ходить, потом у нее поднялась высокая температура, и она исчезла, а через несколько дней появилась последний раз — забрать свои вещи. Сказала, что улетает домой по заранее запланированному маршруту, через Барселону, где у нее предусмотрена остановка в испанской графической мастерской (не от Сонг ли пошла барселонская эпидемия?). Сонг улетела, и мы вздохнули с облегчением. Уму непостижимо, но о коронавирусе мы тогда не думали, несмотря на предупреждение Марджори. Мы были безнадежно слепы. Вирус далеко, в Китае. Далеко, в Южной Корее. Не так далеко, как Китай, но все-таки и не близко, в Ломбардии. Довольно близко, но не в самой Венеции — в городке Во. Даже то, что Сонг — южная кореянка и, возможно, летела из Австралии через Южную Корею, где у нее куча родственников, нас в тот момент не насторожило. Все ждали карнавала.

Карнавал вскоре начался, и на узких Венецианских улицах, в переулках и щелях стало не протолкнуться. Встречные дышали вам прямо в лицо, догонявшие — в затылок. Вика по-прежнему вылетала из дому ни свет ни заря, чтобы фотографировать, но жаловалась, что город, как видно, вообще перестал спать: даже около шести утра, во тьме, на улицах полно народа, и многие уже в костюмах. Выпив свой кофе с булочкой, она неслась в мастерскую, где у нее теперь осталось всего двое соседей — студентка из Рима и американская модель, — и оставалась там до ночи.

Тем временем карнавал катился своим чередом. Я составила график, и каждый день с утра мы с Володей ходили в какую-нибудь церковь или музей, а во второй половине дня ехали на вапоретто на площадь Сан-Марко наслаждаться карнавалом, чтобы хлебнуть и от этого праздника жизни.

К двадцатым числам февраля обе остававшиеся в мастерской девочки заболели. «Сонг все-таки всех перезаразила», — сообщила Вика. У римлянки поднялась температура и распухли железки на шее; она уехала к себе в Рим и с тех пор больше не появлялась, хотя вещи ее остались в мастерской (впрочем, связь с Римом вскоре прервалась). А у американской девочки появились типичные аденовирусные симптомы — температура, кашель, заложенный нос и сопли (последнее для ковида-19 как будто не характерно). Как раз в это время ее пригласили участвовать в каком-то нью-йоркском шоу, оплатив ей полет и гостиницу, и она, больная, улетела на несколько дней в Нью-Йорк. Но вскоре вернулась, все еще в сильном кашле и насморке. Я удивлялась, пока не углядела у дверей Школы красивого итальянского юношу, поджидавшего нашу модель. На ее месте я тоже вернулась бы к нему из Нью-Йорка, пусть и в соплях.

А в жизни людей, связанных со Школой, продолжали происходить драматические события. У директрисы галереи, где должна была состояться Викина выставка, внезапно умерла в Лондоне тетя, и ей необходимо было срочно лететь на похороны. Официальное открытие выставки было назначено на 28 февраля, развеска, соответственно, должна была состояться за день до открытия, но в связи со своими

обстоятельствами директриса решила развесить Викины гравюры до отъезда; это было сделано в воскресенье 23 февраля, благодаря чему мы успели увидеть их на стене галереи и даже сфотографировать.

Однако тем же воскресным вечером, как гром среди ясного неба, в Венеции объявили первый коронавирусный карантин. Закрыли все школы, университет, запретили собрания и мероприятия, связанные со скоплением народа; ресторанам и бизнесам еще разрешалось работать, но только до шести часов вечера. Поезда из Венеции тогда еще ходили, но число их резко сократили, и они проскакивали без остановок особо зараженные городки. Этот первый карантин был объявлен сначала только на одну неделю, до первого марта.

На следующее утро после развески картин галерею с Викиной выставкой администрация Школы заперла на ключ, но все еще надеялась на ее открытие; вернисаж, назначенный на 3 марта, теоретически мог еще состояться. Однако первого марта карантин в Венеции продлили до восьмого, а в ночь с 7-го на 8-е правительственным декретом Ломбардию и Венето полностью изолировали, заперев на месте шестнадцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч шестьсот тридцать шесть человек, не считая нас троих. Запретили празднования свадеб и скопления скорбящих на похоронах. Передвижение разрешалось только по острой необходимости, подтвержденной справкой из префектуры. Карантин в трех городах провинции Венето — Венеции, Падуе и Тревизо продлили до 3-го апреля. А на следующий день, декретом от 9 марта, его распространили на всю Италию.

Так мы застряли в Венеции.

7. Дом Казановы

В тот воскресный вечер 23 февраля, когда в Венеции объявили о карантине, мы собирались в гости к Кате Марголис. Катя, прекрасный акварелист и незаурядный эссеист, для интеллигентной русскоязычной публики — символ Венеции, чуть ли не наравне с крылатым львом.

Мы провели у Кати чудесный вечер. Она пошла нас немного проводить, и тут меня ждал невероятный сюрприз! Тридцать лет назад, в 1990-м году, в Италии были опубликованы под одной обложкой воспоминания моего папы (журнальный вариант из «Дружбы народов»¹) и моя повесть «Память — это тоже медицина» из «Юности». Книга *Il Complotto dei Camici Bianchi* («Заговор белых халатов», издатель Лука Джантили) была небольшого формата, но с предисловием Риты Монтальчини, единственной в Италии женщины — нобелевского лауреата по физиологии и медицине. Издатель пригласил меня в Италию для презентации книги. По его просьбе я привезла ему неопубликованные тогда лагерные рассказы Юлия Даниэля и написала к ним предисловие. В награду Лука устроил первую в моей жизни поездку в Венецию, и я провела несколько дней в пустовавшей квартире его друга. Я вышла из поезда Милан — Венеция вечером, поднялась на мост Скальци — и почти в голос заревела. Это был шок от увиденной красоты. Я плакала о том, что мои родители этого никогда не видели и уже не увидят.

А папа ведь был так близок! В Венеции в 1966 году был Международный конгресс патологов, и папа был избран председателем Конгресса. Оргкомитет все ему оплачивал: дорогу, проживание, плюс гонорар за доклад. Но советская власть «не успела» оформить ему паспорт... Человек, заменивший папу, не занял его председательского места. Перед пустовавшим папиным креслом стоял красный флажок с серпом и молотом: папе потом передали фотографию. Произошло это вскоре после большого

¹ См. «Дружба народов», 1988, № 4.

наводнения в Венеции, и папа попросил перевести деньги, которые ему причитались, городу в помощь для ликвидации последствий наводнения. У него в архиве хранилось благодарственное письмо, по-моему, от тогдашнего мэра. Вспоминая все это, я стояла на мосту и ревела. Потом непостижимым для себя образом отыскала в Венеции дом и квартиру, где мне предстояло провести три дня. Я запомнила, что из моей квартиры до дома напротив, казалось, можно было дотянуться рукой из окна, и на этом доме была табличка, что здесь то ли родился, то ли жил Казанова.

Потом я не раз бывала в Венеции, искала тот дом, но никогда не могла найти. И стала уже думать, что все это мне приснилось. Но вот мы шли с Катей Марголис, и что-то екнуло в груди. В узких переулках, по которым мы проходили, возникло ощущение дежавю. Я затормозила и рассказала Кате эту историю. Так вот же он! — сказала Катя и указала на угловой дом с табличкой! Это было... не могу я вам передать, что это было! Встреча с самой собой, какой я была тридцать с лишним лет назад. Хорошая, радостная встреча.

А на следующий день после нашего визита к Кате Марголис у нас тяжело заболела Вика. Какой злой рок занес в Венецию из Австралии южнокорейянку Сонг Чо?!

8. «За каждый светлый день иль сладкое мгновенье слезами и тоской заплатишь ты судьбе». Конец февраля — начало марта

События моей жизни неоднократно подтверждали вынесенные в заголовок строчки Лермонтова. В нашей венецианской жизни ключевые даты были связаны с личными катастрофами — Викиными болезнями: от них шел у нас отсчет времени. В конце нашего венецианского карантина на этом поприще отличился и Володя.

В понедельник утром, 24 февраля горло у Вики заболело и распухло так, что она не могла ни глотать, ни говорить. Слегка поднялась температура. Состояние ее было ужасное, и на следующее утро, не дозвонившись нам, Вика отправилась пешком из палаццо Дандоло на пьяццале Рома в «скорую помощь», которую высмотрела по интернету. Дорога шла мимо нашей гарсоньерки, и она позвонила в дверь, но я не открыла — думала, что это мусорщики, а мусора у меня не было... В своем жутком состоянии Вика шла в «скорую» пешком, одна. Не могу себе простить.

Пьяццале Рома — ужасное место, с сутолокой огромных рейсовых автобусов и автомобилей, о существовании которых совершенно забываешь, живя в Венеции. «Скорая» находилась в самом конце длинного, невыразительного и даже уродливого здания — а может, мы просто в Венеции отвыкли от такой архитектуры. Над запертой дверью — небольшой, почти незаметный красный крест. Вика постучала, и в двери открылось маленькое окошко, как для кошки. Узнав, что у Вики болит только горло, ее впустили в небольшую комнату, где измерили температуру, выписали на три дня антибиотик, сообщили на всякий случай два номера телефона экстренной помощи и отправили домой, приказав сидеть в изоляции и звонить по указанным телефонам только в том случае, если температура поднимется выше тридцати восьми и пяти. В диагнозе написали: вирусное заболевание. Теста никакого не сделали — таких возможностей у них, видимо, тогда не было.

Пару дней горло у Вики полыхало огнем и болело ужасно; потом полегчало, но заболела голова — очень сильно, до тошноты. Через два дня головная боль прошла, но начался кашель — сухой, нечастый, редкими приступами. Потом и он прекратился, и через неделю Вика, измученная и слабая, была в относительном порядке.

Что это было? По симптомам как будто всё сходится на неосложненном течении коронавирусной инфекции. Без теста ответить на этот вопрос невозможно. Для нас

важнее было, что эта страшная неделя осталась позади, но мне предстоит опять писать о грустном.

В начале марта Вика была еще очень слаба после болезни. На вапоретто она принципиально не ездила, всюду ходила пешком, а пеший путь в мастерскую был длинным, через множество мелких мостиков и большой мост Скальци у железнодорожного вокзала. Впрочем, работать в мастерской все равно было уже запрещено. Я знала, что без работы Вика начнет сходить с ума, поэтому съездила в мастерскую (ключи у Вики были) и привезла ей плату, над которой она работала, и необходимые инструменты. Заодно сфотографировала афишу ее выставки с надписью «Closed» (закрыто).

Вика оборудовала себе рабочее место в большом зале дворца Дандоло, и жизнь понемногу вошла в свою колею.

Дворцов Дандоло в Венеции три. Это была богатая аристократическая семья; потомки ее разъехались по разным палаццо, построенным в основном в конце четырнадцатого века. Самый богатый и красивый дворец Дандоло, около площади Сан-Марко, был куплен и модернизирован в конце девятнадцатого века известным архитектором Даниэли; сейчас там дорогая гостиница «Даниэли». Викин дворец, палаццо Дандоло Паолуччи, гораздо скромнее. Я попыталась найти в интернете какую-нибудь информацию о носителях фамилии Паолуччи и обнаружила двух: известного итальянского футболиста, ныне форварда канадской футбольной команды, и знаменитого искусствоведа Антонио Паолуччи, бывшего директора галереи Уффици, автора многих книг; в Венеции есть улица его имени. Но если бы один из этих Паолуччи приобрел дворец Дандоло в двадцатом или двадцать первом веке, я бы ни секунды не сомневалась, что это — футболист: откуда в наши времена такие деньги у искусствоведа?!

Кстати, о деньгах. Первые два этажа дворца Дандоло Паолуччи, как и Международная школа графики, принадлежат Матильде Дольчетти, пожилой даме аристократической внешности, художнице-акварелистке. Третий этаж — кондоминиум с квартирами. Я сначала думала, что Матильда получила дворец по наследству, от своей семьи или семьи мужа, и продала третий этаж. Оказалось, все не так. Матильда с семьей и деньгами приехала в Венецию из Вены и купила уже описанную «подворотню», где основала Международную школу графики, и два нижних этажа палаццо Дандоло.

На самом нижнем этаже квартира самой Матильды. На первом (в России мы называли бы его вторым) — огромный дворцовый зал с окнами, выходящими на Большой канал, и громадная дворцовая кухня. Слева от зала — квартиры и комнаты, которые Матильда сдает студентам и приглашенным преподавателям Школы, замыкая таким образом круг талантливо построенного семейного бизнеса. Директорствует там темпераментный и взбалмошный Лоренцо, сын Матильды (не путать с хозяином нашей квартиры). «Школьники» и «резиденты», с одной стороны, платят хозяевам Школы за обучение и право пользования мастерской, с другой, тем же хозяевам — за комнату или квартиру в палаццо. Только тем, кого Школа сама пригласила, жилье в палаццо предоставляется бесплатно.

Вика жила в комнате «для слуг», куда надо было подниматься по узкой деревянной винтовой лестнице без перил и где не было даже интернета. Там можно было только спать. Но это — малая беда. Настоящая беда разразилась 11 марта, и речь о ней впереди.

9. Пришла беда — отворяй ворота. Середина — конец марта

Из памяти полностью ускользнули дни начала марта. Пытаюсь восстановить события по фотографиям этого периода, понимаю, что осваивала новую территорию, ходила в два супермаркета и по пути, конечно, фотографировала.

Из ближнего супермаркета я тащила соки и другие тяжелые продукты, из дальнего — булки, чуть более съедобные, чем в ближнем. В венецианских супермаркетах продают ужасно невкусный хлеб, довольствоваться которым — удел туристов. Итальянцы ранним утром покупают свежий хлеб в специальных булочных. Это ритуал, как и у французов. Такую булочную с вкуснейшим хлебом разнообразной выпечки, яблочным штруделем и другими деликатесами я случайно обнаружила в трех минутах от нашего дома. Часам к десяти, а то и раньше, всё это обычно раскупают. С этой находкой мы почувствовали себя заправскими венецианками. Хозяйка булочной знала нас с Викой по именам и временами давала хлеб в кредит: нас приняли «в стаю»!

После того как Италию 9 марта полностью закрыли, будущее наше стало темно. Мы пребывали в подвешенном состоянии и, конечно, сильно нервничали. По первоначальному плану мы должны были улетать в Штаты 27 марта из Флоренции, но добраться до Флоренции, даже если бы самолеты в Америку оттуда и летали, не было никакой возможности. На самом деле все рейсы отменили, но мы об этом еще не знали. Информация о полетах была рваная, ненадежная и непрерывно менялась: сегодня еще летал, а завтра уже не летал самолет в Лондон; сегодня еще летал самолет в Амстердам, но и его могли в любой момент отменить — и действительно отменили. Мы метались, но все еще надеялись на отъезд, а поскольку потенциально он мог случиться в любой момент, нужно было срочно снять и упаковать Викину выставку, которая все еще висела в запертой галерее.

Школа графики к этому времени терпела из-за карантина полное финансовое фиаско. Нынешние студенты разбежались, будущие — даже записанные на далекий осенний семестр — поголовно прислали отказы; квартиры и комнаты в палаццо стояли пустыми. Дохода никакого не было, а содержание Дворца стоит огромных денег (обогрев одного только второго этажа с парадным залом — девятьсот евро в месяц). Сотрудников Школы хозяевам пришлось уволить.

Упаковка гравюр — дело специальное, требует опыта, мастерства и физических усилий. Викины гравюры обычно большие, размером с хорошую картину маслом. Прошло едва десять дней с тех пор, как она встала на ноги после тяжелой болезни. Я понимала, что одной ей будет очень трудно справиться с упаковкой шестнадцати больших гравюр, и, поскольку профессионально ей никто помочь не мог, предложила свою непрофессиональную помощь. Но надо знать Вику с ее гипертрофированной независимостью. Все жизненные тяготы она выносит исключительно на своих плечах, не прибегая к помощи даже очень близких ей людей. Особенно когда речь идет о физических нагрузках. Худая и хрупкая, она совершает действия, какие мне были не под силу ни в каком возрасте. Помощь принимает только тогда, когда сама о ней просит. Вот и сейчас она довольно резко отказалась от моего предложения: помощь чайников ей не нужна.

В ее отказе был, возможно, еще один нюанс. Мы с Володей в то время передвигались преимущественно на вапоретто, а Вика, как я уже говорила, с самого начала венецианской жизни ходила только пешком. Я была этому рада, потому что с усилением эпидемии ездить на вапоретто становилось все опаснее: маски и перчатки были поначалу необязательны, в дефиците, дорогие, и их мало кто носил.

Вапоретто устроены так: основную площадь занимает просторный закрытый салон, и имеются три небольших открытых пространства: на носу, на корме и в середине, около капитанской рубки — для входа и выхода. В обычной жизни места на открытом воздухе дефицитны и малодоступны. Но с исчезновением туристов вапоретто ходили почти пустые, и я обычно занимала самое козырное место — на носу. Володя

же предпочитает замкнутые пространства и всегда усаживался в салоне, что меня сильно тревожило, особенно если кроме него там был кто-то еще.

В тот день мы стали свидетелями очень неприятного эпизода. Этого человека я видела часто: он производил впечатление бездомного и проводил дни, разъезжая на вапоретто по Большому каналу. Когда мы вошли, в салоне было двое: этот условно «бездомный», сидевший в предпоследнем ряду, и еще один человек — высокий, хорошо одетый джентльмен лет сорока. Мне показалось, что с «бездомным» что-то неладно: он был какого-то синюшного цвета и тяжело дышал, поэтому я железной рукой выволокла Володю на корму. Однако приближалась наша остановка, а к выходу надо было опять пройти через весь салон. Мы уже почти подошли к цели, когда у «бездомного» начался приступ удушливого кашля. К счастью, мы были от него довольно далеко, и он кашлял нам в спину. Володя попытался было оглянуться, но я пулей вытолкнула его на воздух. Высокий джентльмен тоже выскочил из салона и что-то взволнованно сказал девушке, командовавшей причаливанием и отчаливанием, второму члену экипажа. Вапоретто причалил к нашей остановке, мы вышли, и девушка помчалась в салон (без маски). Вылетела оттуда бегом и что-то сказала капитану. Тот выскочил из рубки и тоже понесся в салон (и тоже без маски). Оттуда он вернулся бегом обратно в рубку, схватил какую-то большую трубку — телефон или радио — и стал куда-то звонить. Мы с Володей в это время стояли на берегу и наблюдали за происходящим. Честно сказать, у меня дрожали ноги. Капитан, видимо, получил какие-то инструкции, кивнул трубке, и минут через пять они отчалили.

В тот вечер Вика забежала к нам за сумкой на колесиках, и я рассказала ей об эпизоде на вапоретто. На нее он тоже произвел сильное впечатление, и она на меня прикрикнула: «Куда вас носит! Сидите дома!» Думаю, что в конфликтной ситуации по поводу нашего участия в снятии ее выставки это обстоятельство тоже сыграло роль. Я все еще продолжала безнадежные попытки ее переубедить, когда она уже спускалась по нашей каменной лестнице, в конце которой чума-Аннушка уже разлила подсолнечное масло. Перед двумя нижними ступеньками лестница делает крутой поворот. Вика обернулась, чтобы в последний раз послать меня подальше...

Бывают моменты, когда до полного безумия хочется вернуться в предыдущее мгновение, чтобы перечеркнуть следующее, в котором гремит по ступенькам сумка на колесиках, прихваченная Викой для завтрашней упаковки гравюр, а сама Вика сидит на каменном полу с искаженным болью лицом и слезами в глазах, стонет, стонет и трет, трет правый голеностопный сустав, а он распухает на глазах.

Ужас, который меня охватил, невозможно передать никакими словами. Что это?! Перелом?! Мы оказались в капкане. Катера «скорой помощи» (ambulanza), как предупреждал нас хозяин, подойти сюда не могут. Да и работают они сейчас исключительно на коронавирус, так что, если бы даже и пришвартовались где-нибудь неподалеку и пришли за Викторой с носилками, на этих носилках со стопроцентной вероятностью только что несли в тот же госпиталь коронавирусного больного... Эту перспективу мы отмели сразу.

В принципе, до госпиталя можно было бы доехать на вапоретто, но ближайшая работавшая остановка — Сан-Сильвестро — находилась в двадцати минутах ходьбы здоровыми ногами через два мостика с многочисленными ступеньками. Это полностью исключалось.

Минут через пятнадцать Вике удалось встать на здоровую ногу. Мое предложение подняться с нашей помощью обратно к нам и остаться у нас на ночь она отвергла сразу и только попросила помочь ей добраться до ее палатки. Каким-то чудом мы вторым дотасовались до цели. На этаж с дворцовым залом нас поднял лифт. Из зала в Викину спальню «для слуг» вела, как известно, узкая деревянная винтовая лестница без перил. Мыслимо ли это?! Для такого человека, как Вика, оказывается, мыслимо. Сжав зубы, стеной, она эту лесенку преодолела, но сустав страшно распух и начал наливаться разными цветами. Нужна была срочная консультация ортопеда. Кто-то меня надоумил бросить клич на Фейсбуке. Мгновенно откликнулся наш близкий приятель, популярный

лас-вегасский хирург-ортопед Владимир Шварцман, живущий ныне в Юте, в Парк-Сити. Он предложил посмотреть Викину ногу живьем по скайпу, но Вика была уже в постели и от предложения категорически отказалась. Фотографирование травмы отложили до утра.

Нет ничего более рвущего душу, чем запоздалые угрызения. Я ела себя поедом: зачем я так настойчиво предлагала Вике помощь с упаковкой офортов? Она бы попробовала завтра сделать это сама, поняла, что одной ей не справиться, и попросила бы нас помочь (как в конце концов и произошло). А теперь у нее, вероятно, перелом, который у нас нет возможности лечить... Ночью у меня началась тяжелая паническая атака. Только очень ясная мысль, что, если я сейчас отдам концы, погибнут беспомощный восьмидесятивосьмилетний Володя и ставшая беспомощной Вика, заставила меня справиться с паникой.

Утром мы застали Вику уже внизу, в зале. Я сделала несколько фотографий травмированного сустава, похожих на кадры из фильма ужасов Альфреда Хичкока, и отправила Шварцману. Шварцман сказал, что без рентгена сказать наверняка нельзя, но, скорее всего, это перелом такой-то кости и нам надо срочно ехать в больницу, делать рентген и в случае необходимости накладывать гипс; на ногу наступать нельзя ни в коем разе. И уж во всяком случае, нужна установленная профессионально лангета.

Ничего из его указаний мы в наших условиях выполнить, понятно, не могли. Надо было искать выход из положения, не выходя из палатки.

Вторым на мой вопль о помощи откликнулся доктор Саша Чачко. В незапамятные времена мы с ним встречались у Даниэлей, он оказывал помощь Юлию; с тех пор прошло лет тридцать, и вот Саша нашел меня на фейсбуке. Он взглянул на фотографии и повторил почти слово в слово то, что уже написал Шварцман.

Я очень благодарна Владимиру Шварцману и Саше Чачко за искреннее желание помочь. Отлично понимаю, что специалисту-ортопеду трудно взять в толк, что в двадцать первом веке, в цивилизованной стране, мы не можем сделать рентгеновский снимок. Да и как можно не наступать на травмированную ногу? Походы в уборную, к примеру, никто не отменял.

Первый свет в конце туннеля появился на третий день. Мой друг Саша Кабанов связал меня со своей приятельницей Раисой Персидской, чья дочь Настя — хирург в ортопедическом отделении американского госпиталя. «Правильно ли я поняла, что вы хотите, чтобы я без рентгеновского снимка лечила через океан травмированный голеностоп?!» — изумилась ошеломленная Настя. «Да, именно на это мы и надеемся».

Я отправила Насте фотографии и получила от нее первое обнадеживающее письмо и конкретные указания. Поскольку Вика может все-таки опираться на травмированную ногу, это вряд ли перелом — скорее, сильное растяжение или разрыв связок. В любом случае надо делать следующее (стандартное — лед, эластичная повязка, поднятая нога). А в конце — самое важное: ссылки на сайты с картинками нескольких вариантов необходимой лангеты. Я принялась искать такую в местных аптеках. Той порой Вика взяла дело в свои руки: они у нее, в отличие от моих, растут из правильного места. Из выпрошенной мною в супермаркете картонной коробки мигом соорудила себе временную лангету, и жизнь ее сразу заиграла более светлыми красками: стопа была зафиксирована, и походы в туалет или на кухню больше не требовали нечеловеческих усилий.

А на следующий день я купила ей прекрасную пластиковую лангету заводского изготовления.

Через две недели после травмы Вика стала понемногу выползать на улицу. Сейчас, в середине апреля, спустя полтора месяца, она много, с наслаждением и смыслом гуляет по пустому городу — в настоящее время ее сдерживают не травмированная нога, а ограничивающие наши передвижения карабины. Хочется верить, что в обоих случаях — и с ногой, и с коронавирусом — все худшее позади.

По фейсбуку нам еще долго продолжали поступать разнообразные невыполнимые советы.

(Окончание читайте в 12-м номере)

«Поэт всегда немного “с краю” жизни»

Основатели «Ташкентской поэтической школы» Санджар ЯНЫШЕВ, Вадим МУРАТХАНОВ и Евгений АБДУЛЛАЕВ отвечают на вопросы новосибирского литератора и журналиста Юрия ТАТАРЕНКО

Собеседники Юрия Татаренко — практически ровесники, выпускники Ташкентского госуниверситета. Санджар Янышев (1972 г.р.) окончил филфак, Евгений Абдуллаев (1971 г.р.) — философский факультет, а Вадим Муратханов (1974 г.р.) — факультет зарубежной филологии. Все трое пишут поэзию и прозу, отмечены премиями. А вот местожительство у всех разное: Евгений остался в Ташкенте, Санджар переехал в Москву, Вадим — в Подмоскowie. Дружат по-прежнему крепко. Индивидуальности при этом не теряют. Беседуют в таком составе не впервые, но время подкидывает новые темы для обсуждения — интересно узнать их мнение о событиях в мире и в литературе, проследить, в чем продолжает совпадать их мироощущение, а где и почему их точки зрения разнятся.

— Ощущаете ли такую субстанцию, как «предстихи»? Из чего она состоит?

Евгений Абдуллаев: Из приступа немоты и косноязычия.

Санджар Янышев: Если это энергия, накопленная временем и языком, то — да, ощущаю.

Вадим Муратханов: То, что происходит с человеком в обыденной жизни, как правило, может быть нарисовано с помощью стандартного, «ученического» набора красок. Когда я попадаю в пространство, где этих красок очевидно недостаточно для отображения того, что происходит со мной, краски приходится смешивать — путем сочетания не связанных шаблонами слов. Палитра, где смешиваются эти краски, наверное, и может быть названа «предстихами».

— Что помогает вам «домолчаться до стихов»?

В.М.: Само молчание помогает. Никогда не пишу, если не ощущаю потребности в этом. Желательно еще и чужими стихами себя в паузах не перекармливать. Так бывает у повара, который надышится на кухне ароматами еды — и аппетит потеряет, как будто уже наелся.

Е.А.: Ничего. Проза — пишется, стихи — случаются.

С.Я.: У меня нет единой кнопки, включающей вдохновение, но есть музыка и природа.

Татаренко Юрий Анатольевич — поэт, прозаик, драматург, журналист. Родился в 1973 году в Новосибирске. Закончил Новосибирское театральное училище. Автор девяти книг стихов. Публиковался в журналах «Арион», «Литературная учеба», «Нева», «Новая юность», «Плавучий мост», «Сибирские огни» и др. Лауреат всероссийских премий. Живет в Новосибирске.

— Когда стихи написаны, что происходит сразу после этого?

В.М.: Сразу по написании — облегчение и чувство выполненного долга. Вскоре после этого, как правило, возвращается неудовлетворенность и продолжается работа над написанным, которая иногда растягивается на годы.

С.Я.: Знакомство с ними (смеется). На самом деле — как с любым текстом: шлифовка, настаивание в кармашке времени.

Е.А.: «Займемся обедом, займемся нарядами...»

— С чем связано отсутствие новых архетипов в поэзии со времен Дяди Стпы?

В.М.: С тем, что человек в глубине своей не сильно изменился со времен Гомера.

Е.А.: Не знаю. Архетипы и дяди стёпы возникают в поле массовой поэзии. А я живу в другом.

С.Я.: Ну, подобных Дяде Стёпе «архетипов» я могу назвать много. Например, Кукутис (персонаж Мартинайтиса). Или — в русской поэзии — Гражданин Поэт (кажется, Быков его родитель?).

— Что относите к системе табу в литературе и искусстве в целом?

В.М.: Понятие табу относится не к искусству, а к обществу, в котором оно существует. Творить и табуировать одновременно невозможно, так что пусть каждый занимается своим делом.

Е.А.: В литературе есть только одно, универсальное, табу — на бездарность. Остальные — у каждого свои.

С.Я.: Нет никаких табу. Есть вкусовая осечка; что-то несвоевременное и несвоеместное (мне нравится определение грязи: нечто, лежащее не на своем месте).

— Давно ли ваш читательский интерес переходил в читательский восторг?

В.М.: В последний раз — когда перечитывал стихи Рильке в переводах Пастернака.

С.Я.: Недавно, когда переводил Фроста (жизнь в деревне очень к этому располагает). В очередной раз убедился, что лучший способ понять стихи другого — это перевести их на свой язык.

— Что в приоритете: проза или поэзия, книги или журналы, бумага или «цифра»?

В.М.: Все перечисленное — только форма бытования текста. Первично слово, а одежда для него — вопрос техники.

Е.А.: Поэзия. Проза способна удивлять — мастерством, точностью; вызывать восторг — только стихи. А бумага, «цифра», где, как — уже вторично. Хотя карандашом для бровей на туалетной бумаге.

С.Я.: В приоритете — кинематограф. И люди, которых читать куда интересней, нежели буквы.

— Было такое: познакомились с автором и захотелось прочесть все его тексты?

С.Я.: Наверняка.

В.М.: Такое бывало, но почти все прочитанные полные собрания сочинений оставляли в той или иной мере осадок разочарования. Человеку, даже великому, свойственно ошибаться и порой говорить лишнее.

Е.А.: Скорее, наоборот... Но, в целом, это бывает очень разное: человек и его тексты.

— Недавно прочел у молодого сибирского поэта новое стихотворение, завершающееся знаменитой ахматовской рифмой «умру — на ветру». Когда я обратил его внимание на это, он ответил: «Ничего страшного!» А вы как считаете?

С.Я.: Ничего страшного.

В.М.: Я, скорее, соглашусь с молодым сибирским поэтом. В стихах чаще всего дело не в рифме, если только это не рифма типа «ботинок-полуботинок». Да и рифмы, на мой взгляд, в отличие от стихов, знаменитыми не бывают. Они бывают банальными, затертыми — или пригодными к употреблению. Заболоцкий, например, предостерегал от выпренных, изысканных рифм, тянущих одеяло на себя.

Е.А.: По одной рифме судить сложно... Даже по «розам» и «морозам». Главное, как это работает в стихотворении. А так — почти все рифмы уже кем-то потисканы и исцелованы.

— Необходимые «составляющие» поэта — любовь к языку, чувство прекрасного, наблюдательность, отзывчивость. А что еще?

С.Я.: Чувство юмора, самоирония.

В.М.: Мне безразлично, из чего состоит поэт. Значение имеет только то, что он пишет. А уж из чего это выросло — не мое дело.

Е.А.: Не знаю. Не уверен даже, что они есть, эти «необходимые составляющие». Кроме сильного и властного таланта, разумеется.

— Как пережили самоизоляцию?

В.М.: Самоизоляцию пережил неплохо — во многом потому, что весь последний год и так работал дистанционно, редко покидая город, где живу.

Е.А.: Пока еще не пережил — в Ташкенте новый виток карантина... Ощущение жалости к людям. Больным, здоровым. Которые по роду работы не могут «на удалёнке», которые доедают и допивают остатки.

С.Я.: Прекрасно: деревня, лес, любимые люди. Не самоизоляция, а самопогружение.

...Но мне повезло.

— В людях поселился страх заболеть коронавирусом. А какая зараза страшнее — вирусы наживы, равнодушия, бездарности?

С.Я.: Выученная беспомощность.

Е.А.: Бездарность, к счастью, не заразна и не смертельна. Это даже нормальное состояние нормального человека. Скорее, талант, его проявление — результат каких-то чрезвычайных обстоятельств, мобилизации, внутренней или внешней.

— Верите ли, что в Москве появится станция метро «Аннинская» — в память о великольном критике?

Е.А.: Если так будет переименована станция, названная в честь великольного садиста Войкова, то было бы неплохо.

— Идеальное стихохранилище — Интернет или библиотека?

Е.А.: Память.

С.Я.: Стихи должны быть в обороте — как деньги. И время от времени переживать деноминацию.

В.М.: Идеального стихохранилища не бывает, к сожалению или к счастью. Когда мы с женой пятнадцать лет назад въехали в новую квартиру, то обнаружили много книг полувековой давности, оставшихся от прежних хозяев. Чтобы освободить место для нашей библиотеки, я повез эти книги в библиотеку городскую. Там приняли процентов десять из привезенного — исключительно классику. А интернет-сайты тоже умирают, если их не поддерживать. Вот вам и естественный отбор, который берет на себя само время. Вполне ли он справедлив, судить не берусь. Да и не может их быть, идеальных критериев отбора, если мы сами не идеальны. И если «Бог сохраняет всё», то нам вообще не о чем волноваться.

— Где проще выживать поэту — в мегаполисе или келье?

В.М.: Человеку — в мегаполисе, поэту — в келье. Тут важна правильная пропорция, которая в каждом случае индивидуальна.

Е.А.: Материально — в мегаполисе, идеально — в келье.

С.Я.: У каждого поэта — своя клета.

— Что можете простить талантливым коллегам: пьянство, лень, невежество, эгоизм?

В.М.: Всё могу простить, тем более что и сам небезгрешен.

Е.А.: Всё. Да, тяжело, но стараюсь.

С.Я.: Даже, как выяснилось, глупость. И вообще — я не бог, чтоб не прощать.

— Насколько сильно ваше чувство азарта?

Е.А.: Смотря какого. Творческого... Наверное. Исследовательского... И любовного, который, и лежит в основе этих двух (а в чистом виде не слишком интересен).

С.Я.: Фиг знает. Не измерял.

В.М.: Считаю себя человеком азартным. Поэтому стараюсь обходить стороной казино и тотализаторы. Поэтому же люблю спорт — с удовольствием играю в футбол и настольный теннис. Вообще, азарт — это одно из проявлений целеустремленности. Иногда без него трудно довести что-либо до конца.

— Приведите пример своего спонтанного поступка.

Е.А.: Приход в литературу.

В.М.: Когда мне было пять, я на трехколесном велосипеде подъехал к дворовому псу Тузику и неожиданно для себя и к ужасу взрослых поцеловал его в мохнатую щеку. Тузик отличался суровым нравом, и обычно я побаивался его, но тогда все обошлось. Зато когда я в другой раз прицелился в него из игрушечного автомата, Тузик укусил меня за руку. То есть он в обоих случаях все правильно понял.

С.Я.: Ну, получил как-то аванс, рванул в Одессу... Хотел выпить вина, выпил водки. Увидел сон — написал рассказ. Вру, всё еще пишу.

— Лауреаты первой премии «Лицей» получили по 1,2 млн. руб. Не многовато ли для делающих первые шаги в литературе?

Е.А.: Многовато не в смысле «первых шагов» (это как раз на здоровье), а в отношении к той полуннице, на которую они будут как литераторы обречены в дальнейшем. Микроскопические гонорары (если вообще выплачиваются), мизерные роялти...

— Почему писателям-профессионалам не платят стипендию 30 000 в месяц?

В.М.: Видимо, потому, что профессионал сам должен зарабатывать себе на хлеб. Почему писательская профессия плохо кормит — другой вопрос. Но если писатель ничего не должен государству, то и оно ему ничем не обязано.

Е.А.: О том, что вместо жирных премий лучше платить стипендии, я писал еще лет восемь назад в «Знамени»...

— Совсем недавно Госпремия вручена критику Валентину Курбатову. Как думаете, всколыхнет ли эта награда интерес к его творчеству?

Е.А.: Премия, даже «гос» — вещь с коротким пробегом; чтобы всколыхнулся интерес — этого недостаточно.

— Как мне кажется, поэт всегда перфекционист. Это изнуляет?

В.М.: Да, изнуляет. Но и вознаграждает в некоторых случаях.

Е.А.: Гораздо больше изнуляет глядеть потом на свои ляпы...

С.Я.: Не вижу прямой корреляции: перфекционистом может быть и врач-инфекционист.

— На театре говорят: на актера нельзя научить — можно научиться! А на писателя научить можно? Мастер-классов и семинаров для этого достаточно?

В.М.: Обучение — всегда процесс обоюдный. Один учит — другой учится. Но учиться чему-то, не имея к тому таланта, — все равно что выкидывать время на ветер. Жизнь и без того коротка.

Е.А.: Писатель, в принципе, учится сам. Но мастер-классы и курсы — вещь лишняя. Кашу маслом...

— Прилепин считает, что Водолазкин достоин Нобеля. А вы так о ком сказали бы?

Е.А.: Я не знаю, кто и какой премии достоин... Когда коллеги получали какие-то премии — радовался и поздравлял. Но чтобы в голове была какая-то премиальная «табель о рангах»...

— Какого памятника не хватает Москве?

С.Я.— Альфреду Шнитке. Ролану Быкову (в роли Бармалея или Кота Базилио).

Е.А.: Не люблю памятники. Не в том смысле, что хотелось бы их снести, как этим... Пусть стоят. Но памятники — не моя песня.

— Поэтов крайне мало в телевизоре. Если бы вы могли выбирать, кому бы дали интервью из этой троицы — Дудь, Собчак, Познер? Почему?

Е.А.: Разницы особой нет, если заинтересуются. Правда, кто такой Дудь — не знаю, сейчас загуглю...

В.М.: Интерес к современной поэзии, требующей от читателя ответных усилий и некоторой доли сотворчества, столь низок сейчас, что я дал бы интервью любому из трех ведущих. Тем более что вопросы у них наверняка были бы разные.

С.Я.: Поэта должен интервьюировать другой поэт. Это в идеале. Ну, или Татьяна Толстая.

— В этом году юбилей Бродского. Как ощущается воздействие его поэтики?

В.М.: Поэтика Бродского, как сильная инъекция, вошла в кровь русской поэзии и растворилась в ней. Не пропала, а именно растворилась.

С.Я.: Судя по недавнему обострению, когда из каждого утюга звучало «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку...» (в связи с т.н. «самоизоляцией»), Бродский уже вошел в обиход, как спички или холодильник.

Е.А.: Воздух, которым больше нельзя дышать.

— Графоман — кто говорит: «Пишу не хуже других!» А для вас это кто? Чем опасно сообщество графоманов?

Е.А.: Оно опасно только для самих графоманов: духом неверной самооценки, ложной значимости, порождаемой обоюдонахваливанием.

В.М.: Для меня графоман — тот, кто лепит скульптуры из сырого теста. Это род помешательства, и графоман, в конечном счете, вредит в основном самому себе и своим близким: он тратит драгоценное время на фикцию. Настоящему писателю графоман не опасен — они существуют в разных измерениях, несмотря на внешнее сходство занятий.

С.Я.: Тот, кто «чем случайней, тем вернее». Ничем не опасно, даже полезно. «Наивная» оптика иногда обнажает в языке скрытые пласты. Чего не расслышал прекрасный и остроумный Ходасевич, автор статьи «Ниже нуля».

— Почему поэты, пишущие бездонные стихи, сами нередко если не на дне жизни, то на ее обочине?

В.М.: Наверное, потому, что на дне и на обочине трафик меньше. Сподручней писать, если никто под руку не толкает, локтями не работает. Вообще, это всегда вопрос выбора, вполне или не вполне осознанного. Помочь такому поэту можно, а вот жалеть или осуждать его точно не стоит.

Е.А.: Поэт всегда немного «с краю» жизни. Жизнь внутри него всегда в некотором разладе с той, которая вне.

— В известной строчке Заболоцкого «Душа обязана трудиться» на какое слово ставите ударение?

В.М.: На все три слова, как это часто бывает в поэзии.

С.Я.: На «ша»! Сколько можно мучить проходной для гениального автора стишок?

Е.А.: Я не любитель дидактизма в стихах, особенно в его советско-лирическом изводе, даже у лучших поэтов. «Не спи, не спи, художник...» «Душа обязана трудиться...» Отстаньте, товарищи.

— Умение грамотно излагать свои мысли необходимо только для высокой культуры спора — согласны?

Е.А.: Да, наверное, если бы я действительно умел грамотно излагать свои мысли — я бы не стал писать стихи.

— Русский язык стремительно меняется — в него активно приходят заимствования, смайлики, новые грамматические конструкции. К чему это может привести?

В.М.: К стиранию его границ с другими языками. В конечном счете, это отражение глобализации, которая происходит и в других сферах. Этот процесс вряд ли можно существенно замедлить или ускорить.

С.Я.: К тому же, к чему обычно приводит нормальное развитие литературы: к удовольствию одних и неудовольствию других.

Е.А.: Язык живет, дышит, меняется. Главное, чтобы изменения «снизу» (бытовизмы, соцсетизмы...) были уравновешены изменениями «сверху» — обновлением языка в литературе, философии, науке.

— Писатели идут в политику — скажет ли им спасибо русская литература?

Е.А.: Да, конечно. Главное, чтобы обратно оттуда не возвращались.

В.М.: Не вижу, признаться, массового исхода писателей в политику. Но даже если идут, то не затем, чтобы поднять литературу. Так что особых причин для благодарности вроде как нет.

— Вопрос о неоднородности культурного зрительского сообщества. В театрах и филармониях аншлаги — в отличие от выставочных залов и мест, где проводятся литвечера. Как приобщить к поэзии театралов?

В.М.: Поэзия живет прежде всего в тексте, а не на сцене, так что в глазах театрала она будет неизбежно проигрывать действу, в какую бы театрализованную форму мы ни облекли поэтическое чтение. И по-настоящему «услышать» стихотворение можно только в тексте. Поэзия требует читателя, а не зрителя, и этот читатель может вырасти не только из театрала.

Е.А.: Я не уверен, что их надо как-то приобщать. Ну есть же люди, у которых никогда не было настоящей любви. Секс был, увлечения какие-то... а любви не было. И как их «приобщать» к ней? То же — и с поэзией.

С.Я.: Ну, наверно, предельно театрализовать поэтические тексты. Хотя удачных примеров очень мало. Поскольку актеры — последние люди, которые слышат и понимают стихи.

— **Приведите пример удачной экранизации. Я бы прежде всего назвал военные истории: «Звезда», «В августе 44-го». А вы?**

В.М.: Если вспоминать военные сюжеты — «Судьба человека».

С.Я.: «Анна Каренина» (2012, реж. Джо Райт). «Хождение по мукам» (1977, реж. Василий Ордынский). «Жестокий романс» (1984, реж. Эльдар Рязанов. Тут яркий, на мой вкус, пример сценарного мастерства: вся первая серия картины выросла из небольшого разговора Кнурова с Вожеватовым). «Несколько дней из жизни И.И.Обломова» (1979, реж. Никита Михалков). «Золотой телёнок» (1968, реж. Михаил Швейцер). «Открытая книга» (1977, реж. Виктор Титов). «Жизнь Клима Самгина» (1988, реж. Виктор Титов). «Мой друг Иван Лапшин» (1984, реж. Алексей Герман. Беспрецедентный случай, когда фильм как произведение искусства получился выше, значительней первоисточника). «Приключения Буратино» (1975, реж. Леонид Нечаев). В общем, много.

Е.А.: Мне кажется, чем экранизация удачнее — как самостоятельное художественное целое, тем она дальше от своего первоисточника. Удачные ли экранизации «Солярис» или «Сталкер»? «Кровавый трон» Куросавы?

— **Как живется, когда не пишется?**

В.М.: Хорошо живется, не жалуюсь. Читаю книги, слушаю музыку, гуляю по городу. Возможно, потому, что веду жизнь, скорее, профессионального редактора, чем профессионального писателя. Мне есть чем заняться, и я никогда не пишу, если не ощущаю острую потребность в этом.

С.Я.: Нервно.

Е.А.: Существует.

— **Современный человек станет абсолютно беспомощен в быту, как только отключат электричество. Вам не страшно думать о такой перспективе?**

В.М.: Нет, не страшно. Если отключают свет, я гуляю, читаю, иногда пишу, а потом пораньше ложусь спать. И, как правило, высыпаюсь, без телевизора и компьютера.

Е.А.: Страшновато думать только о перспективе одной беспомощности — старческой...

С.Я.: Не страшно. Все мои мультики — со мной.

— **Представьте: летят в самолете прозаик, поэт, драматург, переводчик, критик. А на всех только два парашюта. Кому бы их выдали?**

В.М.: Тому из них, кто летать не умеет.

С.Я.: Старику Якову Кипершмату (персонаж из «Новой книги обращений» С.Янышева. — *Ю.Т.*).

Е.А.: Два — даже много. Потому что в современной литературе, как правило, прозаик, критик и т.д. — один и тот же человек.

— **Какие события рифмуются в вашей жизни?**

В.М.: Все события рифмуются так или иначе. Считаю все происходящее в моей жизни закономерным, взаимосвязанным и неслучайным. Просто рифмы в ней бывают точные и неточные.

Е.А.: Наверное, все. Только рифмы всё какие-то диссонансные...

С.Я.: Моя жизнь — сплошной верлибр. Ничто ни с чем не рифмуется, всё всегда происходит впервые.

— **Если бы встретили сейчас себя молодого, что сказали бы, от чего отговорили бы?**

В.М.: Когда мне было шестнадцать, я несколько раз играл в лотерею «Спортпрогноз», советский аналог тотализатора. Однажды я угадал 10 из 13 результатов спортивных матчей. Вот и подсказал бы сейчас себе, шестнадцатилетнему, куда крестики ставить, чтоб «Волгу» выиграть. Во время перестройки машина в семье была бы не лишней. Мне в тот раз внутренний голос правильные ходы подсказывал, но я в конце недослышал.

Е.А.: Не знаю. Наверное, посоветовал бы раньше прийти в церковь.

С.Я.: Сказал бы: «Не бери Вовкину цапку из его шкафчика, тебе уже завтра станет стыдно — и перед ним, и перед мамой».

— **Как бы вы охарактеризовали особенности феномена ТППШ?**

В.М.: Если можно говорить о феномене «Ташкентской школы», то он состоял в том, что учителя в ней одновременно были и учениками, в зависимости от момента и необходимости. Мне кажется, мы многое дали друг другу. И вместе с тем помогли быть услышанными другим русскоязычным поэтам Узбекистана, которым на рубеже 90-х и нулевых, в доинтернетную эпоху, негде было толком о себе заявить.

Е.А.: Чем больше думал и писал о нем, тем меньше что-то понимал. Мне кажется, мы его уже все трое переросли, но он еще долго будет брнчать за нами — как «ахматовские сироты» за Найманом, Рейном и Бобышевым, «московское время» за Гандлевским, Кенжеевым и Цветковым.

С.Я.: Да какой феномен? Три друга решили придумать литературную группу, манифест и всё, что следует. Вначале было интересно. Но дружим до сих пор, на том спасибо.

— **Какую роль сыграла «Школа» в становлении вас как автора и узбекской современной литературы?**

С.Я.: «Школа» — никакой. Поскольку своим манифестом мы встраивали себя именно в русскую (и мировую) литературу. А «узбеками» мы были всегда. Точнее — полукровками, что куда интересней. Литературными метисами (или мулатами — кому как нравится). «В сем христианнейшем из миров поэт — тайный узбек».

В.М.: Автору — особенно начинающему, еще не взрастившему в себе внутреннего редактора — необходим вдумчивый и честный читатель в качестве зеркала. Мы, участники объединения, были друг для друга такими зеркалами. И если стали кем-то в литературе, то близость друзей и единомышленников сыграла в этом свою роль. Говорить о влиянии школы на узбекскую современную литературу едва ли есть смысл: мы в те годы мало пересекались с узбекскоязычными прозаиками и поэтами, это была некая параллельная нам реальность. Более тесные контакты с ними и взаимные переводы появились уже позднее.

Е.А.: Мы как-то заново, все трое, открыли для себя Ташкент. Место жизни стало литературным материалом. И произошло это, когда для двоих, вначале Санджара, потом Вадима, Ташкент перестал быть местом жизни, проживания. Сегодня, как мне кажется, я уже где-то «переболел» ташкентской темой, она для меня отодвинулась... Хотя, конечно, не исчезла.

— **В чем особенности бытования русской литературы за пределами России?**

С.Я.: В обособленности и консервации. Несмотря на интернет. Это я про Узбекистан говорю. В Казахстане, например, всё иначе.

В.М.: Особенность в том, что она, несмотря на всепроникающий интернет, во многом изолирована и от влияния российской литературы, и от литературы «титulyных» народов своих стран. Она опирается преимущественно на русскую классику и советскую традицию, игнорируя современный литпроцесс, равно как и существующую

бок о бок с ней иноязычную культуру. Отдельным авторам, впрочем, удается переступить через обе эти границы — и благодаря этому создавать тексты, значимые для русской литературы в целом.

Е.А.: Ну, этих «запределов» очень много, они разные. Постсоветские страны — одно, Европа и США — другое. Общее то, что она будет съезживаться, уменьшаться. Сейчас она держится на представителях последнего позднесоветского поколения. Но они постепенно стареют и уходят.

— Сохранился ли институт перевода узбекской поэзии и прозы на русский?

С.Я.: Нет, конечно. Мы с друзьями это делаем время от времени — и на голом энтузиазме.

Е.А.: Да нет, оплыл и растаял еще в девяностые. Сегодня это дело одиночек. Вадима и Санджара. Здесь, в Ташкенте — Саодат Камилова. Я иногда что-то... Осмысленного заказа — со стороны государства, со стороны самой литературы — на это нет.

В.М.: Институт перевода, существовавший в советское время, по сути, утрачен. Сейчас контакты между разноязычными авторами налаживаются в основном силами самих авторов, на уровне личных связей. Есть в этом не только минусы, но и плюсы: не поставленные на поток переводы делаются штучно и заинтересованно, без шаблонов и усреднения, коими страдала советская практика перевода.

— Актуальна ли сегодня строчка Киплинга: «Запад есть Запад, Восток есть Восток»? Как перекликаются восточные и западные мироощущения и системы ценностей, как это отражается в художественной литературе России и Узбекистана?

С.Я.: Актуальна. И нынешние миграционные процессы, когда, словно бы в пик Киплингу, Восток «наползает» на Запад, — эти процессы только усиливают ее актуальность.

В.М.: Перекликаются, и иногда довольно причудливо. Скажем, верлибры Ферганской школы поэзии образца 90-х как раз и отмечены сочетанием восточных реалий с западным поэтическим методом, в обход русской литературной традиции. Что касается авторов Ташкентской школы, то здесь восточный отчасти менталитет авторов накладывался как раз на традицию русского стиха. Со временем эти различия заметно стерлись, как и манифестированные когда-то очертания школ.

После распада Союза возврат к корням и поиск национальной идентичности занимает деятелей культуры как в России, так и в бывших союзных республиках намного больше, чем поиск точек соприкосновения между Востоком и Западом. Все пограничное и промежуточное часто проваливается в щель между ними. В России ситуация изменится, возможно, тогда, когда страна осознает, что она Азия ничуть не в меньшей степени, чем Европа.

Е.А.: Вопрос — на отдельную диссертацию. Ответу только по Киплингу (отражениями пусть литературоведы занимаются). «Запад есть Запад, Восток есть Восток... А мы — между ними струящийся ток».

Большая «дружбинская» радость этого тревожного и горького коронавирусного лета — выход новой книги нашей коллеги Галины Климовой. Поздравляем и желаем со-чувствующих читателей!

Дмитрий Артис

Скрипка Страдивари

Галина Климова. Сказуемое несовершенного вида: Избранные стихотворения // Ставрополь: Ставролит, 2020. — 164 с.; илл. — Серия «На Кавказе».

Антонио Страдивари, будучи учеником знаменитого Амати, каждое утро бегал к мяснику за кишками трехмесячного ягненка, из которых делал струны для своих скрипок. И в этом же секрет звучания музыкальных инструментов, сделанных в мастерской Амати.

Но когда Страдивари стал известным и на скрипках появилось клеймо с его именем, на просьбы открыть секрет их звучания Страдивари отшучивался, дескать, добавляю в лак пыльцу насекомых вместе с пылью, которую собираю на полу своей мастерской. Современные исследователи с пристрастием изучали лак Страдивари, но не нашли никаких отличий от того лака, каким в то время покрывали обычную мебель. Теперь можно с уверенностью сказать, что скрипки Страдивари изучены полностью, разобраны до деталей, рассмотрены под микроскопом, просвечены всеми возможными рентгенами, однако секрет их звучания до сих пор не раскрыт — сие тайна, покрытая мраком.

Думаю, что так же не смогу раскрыть секрета звучания стихов Галины Климовой из книги «Сказуемое несовершенного вида», если начну разбирать их на тысячу составляющих, говорить об инструментарии, корнях, технике и прочих литературоведческих изысках. Но ведь можно пойти другим путем: отказаться от сальеризма, то есть разбора того, из чего сделаны стихи, и попробовать рассказать, какую музыку слышу, когда их читаю.

Первая часть: «Опыт райского сада»

Несмотря на упоминание в стихотворении «Страдивари» Кристофа Виллибальда Глюка — немецкого композитора, реформатора итальянской оперы и лирической трагедии XVIII века — по внутреннему настроению стихотворение, скорее, моцартовское, обманчиво легкое, игровое. Хотя драматическая составляющая, композиция и общий строй, где ни одна строка не довлеет над другими и все единицы текста подчинены сверхзадаче автора, безусловно, близка к реформам Глюка, ратующего за уверенность каждой ноты и за единство (в его случае) музыкального произведения. По большому счету на этой моцартовской обманчивости строится вся поэтика

Галины Климовой. Вроде рамки, обусловленные понятием «классицизм», выставлены жестко, почти как в строгих стихотворных формах, но автор чувствует себя в них, как рыба в воде, настолько свободно, что кажется, будто эти правила писались специально под нее.

Где-то скрипка моя обо мне плачет,
где-то тоненько меня *матушкой* зовёт...
(...)
что играючи страдала
и страдаючи спасёт.

Так трагедийный зачин стихотворения, по сути, материнский плач, пройдя через все сюжетные перипетии, разрешается пасторальными, полными обнадеживающего благоденствия, строками.

Характерная для этой части линия: материнство как основа бытия всех женщин — неподъемная тяжесть (мать Каина) и легкая ноша (мать Авеля) — одновременно. У лирической героини схожие черты (характера, лица, судьбы) с праматерью Евой, через которую даются переживания автора как невидимого и неназываемого главного персонажа книги.

До Авеля это было, до Авеля.
Ни я, ни Адам не знали: что такое детство.

Неразрывная связь на уровне физического родства (пуповина) со всеми «поэтами, младенцами и героями». Интонационно автор приближается к древнегреческим гимнам. Если радость, то высокая, если горе, то его непереносимое стоическое преодоление — долготерпение. Притом персонажи, сюжеты, к которым апеллирует автор, позаимствованы в основном из мифологии, а также из святых писаний. Поэтому можно сделать вывод, что источником вдохновения послужили все-таки тексты и музыка псалмов.

Вторая часть: «Улица Климова»

Самая музыкальная часть книги.

На общем фоне балладных песнопений, граничащих то с былинным сказом, то с куртуазными шансонетками эпохи средневековья, можно услышать вальс Вивальди и шопеновский марш, бой курантов и кадрили в алтаре, «концерт по заявкам» дворовой шантрапы и тропари с псалмами.

По объему небольшие (относительно) стихотворные тексты с хорошим эпическим замахом, в которых говорится о прошлом. При чтении возникает целостная картинка народной жизни последних пятидесяти-семидесяти лет, впрочем, как и жизни главных героев, о которых ведется повествование. Герои пребывают в гармонии с собой, но держатся немного отдельно от внешнего мира — над ним, за счет этого они предстают перед глазами читателя былинными персонажами, вокруг которых образуется сама жизнь. Здесь речь не только о Климовой — как о лирической героине, и, соответственно, о Климове — ее муже. Сама эпоха предстает в образе лучшей ткачихи страны, отплясывающей кадрили в алтаре (стихотворение «Храму Тихвинской Богоматери в Ногинске»). Вокруг ткачихи так же возникает жизнь. И как страшно от того, что у неё одно имя с Богородицей — Маша, Мария.

— Вжарь, товарищ Маша,
зажигай до гроба,
наша пролетарская напролёт любовь!
(...)

— Богородица Мария,
не страшусь гореть в огне!
Не спасай, не надрывайся,
не кручинься обо мне!

Стихотворение перекликается с поэмой Александра Блока «Двенадцать», вернее, не то что перекликается, а дополняет ее важной составляющей: если у Блока главный герой поэмы — Иисус Христос, но у Климовой главный герой стихотворения (все-таки ближе к маленькой поэме) — Дева Мария.

Нельзя обойти вниманием стихотворение «Две вдовы», которое начинается с трагической ноты: мать и дочь — неприглядные, нелепые вдовицы — идут по берегу реки, вдоль высокой воды.

Моя мама и я — мы две горьких вдовы,
неприглядных, нелепых вдовицы.

Но к финалу стихотворение разворачивается на все сто восемьдесят, ощущение трагедии уходит и возникает пастораль, где две женщины угадывают в плеске воды плывущих к ним мужей, которые будто оживают в этом библейского масштаба разливе реки, похожей на египетский Нил. Нет боли о потере кормильцев. Но есть женское переживание (страх) за своих мужей: как бы не утонули, не переборщили с ребячеством. Нависающая над стихотворением туча оборачивается светлым облаком.

Третья часть: «В отряде равнокрылых»

Нетрудно догадаться, что эти стихи посвящены «пишущей братии», среди которой Галина Климова прожила большую часть жизни. Впрямую названо только одно имя — поэта и переводчика Александра Ревича. Остальные персонажи прячутся под масками разноголосых птиц, будто на страницах Климовой разыгрывается «Свадьба соек» Александра Басилая по мотивам произведений Важи Пшавелы. Воробьи, сороки, галки, орлы... Стихи: то залиvistые, яркие, такие, что ноги сами в пляс идут, то грустные, выбивающие слезу. Слышен гитарный перебор Галича, хрипы трофейного аккордеона и страстное: *бесаме, бесаме мучо...* Заканчивается эта часть игровой перепиской Сальвадора Дали с Галой, где опять звучит скрипка и звучит она «немного нервно»:

Я поймала кузнечика,
сломавшего твоё детство.
Он был скрипачом, —
вот почему ни слуха у тебя, ни духа.
Музыка, впрочем, тут ни при чём.

Четвертая часть: «Колокольня света»

Приняв эстафету, скрипка становится главным солирующим инструментом. В самом начале ее пытались заглушить «тамтамы и калебасы», но она отстояла право на лидирующее место в оркестре Галины Климовой. Теперь скрипке подвластен полный спектр настроений: от слома и надрыва до радости и успокоения.

От надрыва фольги — ветерок липкий,
живая музыка почти не подглядывала в ноты,
но жестосердые так и цепляли скрипки
и смычками тянули:
кто ты?

Хрестоматийная тема «поэт и поэзия» медленно и уверенно трансформируется и как бы раздваивается: «редактор и поэт» («Чернорабочие родной литературы») и «место женщины в литературе/поэзии» (цикл стихов «Сочинительницы»), где в строках, посвященных Татьяне Бек, об этом сказано так:

где ты никому не мать, не жена,
а только — баба, поэт,
только — крупный поздний ребёнок.

«Женскую» тему можно разглядеть и в стихотворении «Блаженная Ксения Петербургская» о святой, которая после смерти мужа, облачившись в его одежды, приняла на себя подвиг юродства: «лишиться мужа страшней, чем рассудка/и мнимым безумием тихо сиять»... Разрешением темы звучат строки из других стихотворений:

Я буду, как Байрон,
учить перед смертью армянский...

Или:

Кто помнит Мэри Додж, её «Серебряные коньки»?

Хотя, может, только я увидел в стихах Климовой решение вопроса о месте женщины в поэзии, а вот сама автор оставляет его без ответа?

Пятая, заключительная, часть: «В своём роде»

За скрипку не бралась долго,
потому что — еврейка.
Всё. Шабаш!

На мой взгляд, самая сильная часть книги. Где-то на заднем плане как фон звучит песня из фольклора восточноевропейских евреев «Тум-балалайка». Автор отказывается от всевозможных инструментовок и аранжировок — чистый мотив в своем первозданном виде. Ясный, как благодать. Отброшены в сторону птичьи маски. Настоящие лица и только настоящие лица. На первом плане текст — автобиографические новеллы в стихах. Христианские темы даны пунктиром, как легкие ненавязчивые метафоры. Они не забивают собой текст, не заглушают «Тум-балалайку». Хороший юмор, без цинизма, но не лишенный самоиронии. Основная линия этой части — приятие себя как цельной личности, плоть от плоти рода своего. Начинает работать название книги — «Сказуемое несовершенного вида», открываются его новые и новые планы, один из которых можно интерпретировать как: «рассказы несовершенного человека».

Только невеждам кажется: возьмешь в руки скрипку Страдивари и сразу же начнешь играть волшебную музыку. В действительности одной скрипки мало. Нужно еще что-то. А что именно — пусть останется тайной Страдивари. И пусть Галина Климова так же хранит секреты своего мастерства.

Борис Кутенков

Поэт в центре зала

Имя Любви Колесник, относительно недавно появившись в литературном пространстве (публикуется она с 1991 года, самая ранняя ее публикация, доступная в Сети, состоялась на «Вавилоне» в 2002 году, но всерьез о поэте заговорили в 2016—2017 годах), довольно быстро стало его неотъемлемой частью. Публичный имидж (без него сейчас никуда), в который входит образ современной «сильной женщины» (временами, как гласит песня, плачущей у окна); активная позиция, подразумевающая некоторую деревенскую бесцеремонность и многословие, порой избыточное комментирование в соцсетях; но и — непременный экстравертный задор, привносимый в ровное течение литературной жизни. Осознанно ли, неосознанно — Колесник создает образ поэта как включенного в коллективный дух времени (с общностью, когда речь не идет о сплочении вокруг общего противника, в литпроцессе плоховато, и чем далее, тем более). И, как ни крути, к этому не остаешься равнодушным: по сути, перефразируя слова Цветаевой о Маяковском, она пришла со своим «я, Любовь Колесник»¹ (только вместо «жёлтой кофты в глазах» — фото на фоне деревенских пейзажей и

залихватская открытость). Бытование «в центре зала» — в каком-то смысле ключевая метафора этого положения, пароль, который дает нам Колесник в первом же стихотворении книги. И зал откликается. (Кстати, этот мотив «людского потока, идущего на нерест», «пролетания над потоком», ощущения большого братства и включенности в ритм жизни возникает в книге не единожды.

А редкие, но тихие признания вроде: «Прошу тебя, подумай обо мне, / Пока я в этом всё не растворилась», — входят в такой контраст с самопозиционированием автора, что на этом контрасте по-новому начинаешь воспринимать личность, стоящую за стихами). В любом случае — перед нами поэтическая зрелость с внятным осознанием задач, социальных и эстетических («к сорока проснёшься / сам с собой и трезв / издаёшь сдаёшься / попадаешь в срез» — словно бы об этом говорится в одном из стихотворений книги), но все-таки и с азартом неопита. Отсюда этот задор вторжения в поэтическое пространство, отсюда — стремление попробовать на прочность все его шаблоны и потайные дверцы. Колесник органична в этом стремлении, а нам интересно наблюдать за его результатами.

Любовь Колесник. Музыка и мазут: Стихотворения. — М.: СПб: «Т8 Издательские Технологии» / «Пальмира», 2020. — 128 с. — Серия «Пальмира — поэзия».

¹ Марина Цветаева. «Эпос и лирика современной России»: «У Маяковского же имя было бы всегда, не было *бы*, а всегда и было. И было, можно сказать, раньше, чем он сам. Ему потом пришлось догонять. С Маяковским произошло так. Этот юноша ощущал в себе силу, какую — не знал, он раскрыл рот и сказал: «Я!» Его спросили: «Кто — я?» Он ответил: «Я: Владимир Маяковский». — «А Владимир Маяковский — кто?» — «Я!» И больше, пока, ничего. А дальше, потом, — всё. Так и пошло: «Владимир Маяковский, тот, кто: я». Смеялись, но «Я» в ушах, но жёлтая кофта в глазах — оставались. (Иные, увы, по сей день ничего другого в нем не увидели и не услышали, но не забыл никто.)» Цит. по: <http://tsvetaeva.lit-info.ru/tsvetaeva/proza/epos-i-lirika.htm>

Впрочем, было бы глупо писать в этой рецензии подобие знаменитого «Как сделана «Шинель»» или даже социологического исследования Абрама Рейблата «Как Пушкин вышел в гении» — то есть объяснять успех поэта исключительно умелым имиджмейкерством и/или тягой понравиться тому или иному типу читателей. Иначе бы не появлялись места столь дивной закликательной силы — лирические темноты, особенно прекрасные на фоне постапостмодернистической ясности, к которой в целом тяготеет эта поэтика. Тут уже не до рационализируемого:

бабка шептала
я видела белизну
мелких песчинок ссыпающихся в часах
встань говори со мной не покидай одну
церкву оставь утонувшую
смерть и страх

Колесник удалось создать глубоко индивидуальную стилистику, в которой сочетается несочетаемое: деконструкция советских клише (вспомним вызывающее название ее предыдущего сборника: «Мир. Труд. Май») и хлесткое их переосмысление на разговорный манер — «труд, идущий к маю»; создать индивидуальный цитатный фонд, легко и свободно ложащийся в разговорную речь и способный стать частью нашего словаря. И оказывается, что секрет в простом — всего-то в том, чтобы не возникали препоны перед говорением. «Медным тазом — легко и привычно — / нас с тобой накрывает беда» — если даже проигнорировать расхожее употребление фразеологизма (сразу вспомнилось юморное: «завод по производству медных тазов накрылся собственной продукцией»), оттенок острашения привносит именно это «легко и привычно». Автор «Музыки и мазута» задействует арсенал наивной патриотической лирики с ее краткой дистанцией до читательского сердца: «привычное» в ее лирике способно вызывать химическую реакцию в колбе глубокой ассоциативной лирики и этим отстраиваться от графоманской поэзии. Да, парадоксальность в том, что можно говорить именно так — «привычно»: назвать пыль — «обыденной», оком — «невзрачным»; назвать вещи своими именами, попутно привнеся оттенок то альтернативной истории, то жутковатой

метафизики, ничем расчетливым не подкрепляемой — и точно далекой от какого-то намеренно выстраиваемого имиджа:

Будут в темноте светиться
испокон веков
целлулоидные лица
передовиков.

В современной поэзии Колесник — одна из тех, кто сумел воспринять эстетическое наследие Бориса Рыжого — его заземляющий пафос прямого высказывания, аранжированный символической абстракцией, — и написать поверх свое, узнаваемое послание. Дистанцируясь и от обывательного письма условных «феминисток», О.Васякиной и Е.Симоновой, и от того же Бориса Рыжого с его вызывающей подчеркнутостью реминисцентного слоя (у Колесник интертекстуальная работа все же распространяется в основном на фразеологизмы, прочее растворено в крови стиха), поэт так или иначе вбирает то, что есть в каждом из них. От первой и второй — внимание к неприглядной повседневности аля «Россия, 2010-е» (все это может и должно ломать стереотипы о «художественности», «искусстве», как это, например, неизбежно происходит при восприятии стихов Бориса Слуцкого); от третьего — его умение одухотворить земное и заставить заиграть мощной симфонической музыкой то, что до этого поэзией не было. (К слову, следы Рыжого не так уж редки в рецензируемой книге. Здесь можно встретить эксплицитные отсылки к нему или, как сказал бы Юрий Казарин, «чистейшее вещество поэзии»: скажем, «белый пар, летящий к небесам» — разве не та самая «музыка», особенно прекрасная на контрасте с «мазутом», уравнивающая грубоватую, земную стилистику книги? Есть и более явные аллюзии: «Глядя в белое и голубое, / Продолжайте движенье вперед» явным образом откликается на уже хрестоматийное «Еще неделя света и покоя, / И ты уйдешь, вся в белом, в голубое». Да и «Татуировка Ходасевича» — не отклик ли на его «профиль Слуцкого наколот / на седеющей груди»? В том же стихотворении Колесник говорит о набитой ее лирической героиней наколке «Елабуга-41», но ничего, кроме броского и эффектного хода, за этим не видится — стихи «Музыки и мазута» предельно

далеки от цветаевской импульсивности, будучи родственны разве что уверенной интонацией и прямой высказывания, для генеалогического сопоставления этого мало). Если Рыжего можно назвать певцом уральской промзоны, то Колесник вполне заслуженно претендует на роль его последователя, описывая иллюзии советской реальности и заводскую сегодняшнюю Россию¹. В самом деле, кто еще в современной поэзии рисует жизнь как пройденный рутинный путь от усталости до усталости, от трубы заводского цеха до возвращения к домашней рутине — но через непереносимое преодоление усталости, через свет и метафизическую, даже симфоническую, одухотворенность происходящего?

И только песня, песня, песня
унылой зимней мошкаррой
летит безвес(т)ная по весьям
и образует рой.

Несчитанные, без причины,
без окончаний и начал,
мы все её звучаньем мчимы,
попугаево гачным ключам.

Отраву пей, забудь отраву,
трудись, рождая дур от дур.
Иди пинать свою балладу
о злую поросль арматур.

¹ Мария Бушуева, впрочем, видит богатую генеалогию поэзии Колесник — от пролетарской поэзии до соцарта: «Колесник направляет любителя поэзии и к Николаю Тихонову, и к “рабочей поэзии” 20–30-х годов XX века, в частности, к объединению “Кузница” (“трава, как металлическая стружка” или “жизнь идёт по дороге до проходной”), но идёт дальше, выражая эмоцию через “производственную образность”. Но от “Кузницы” она возвращает читателя в Серебряный век и, соединяя, казалось бы, несоединимое, создает нечто своё — на стыке острой современности и обращения к прошлому — не только к поэтическому (тогда появляются аллюзии из Пушкина и Цветаевой), но и к историческому. На смену блоковской Незнакомке, превратившейся, как в делириозном кошмаре, не в одну, а в нескольких ужасных тёток (“незнакомые жулятся тётки, страусиным кивают пером”) является Ленин и “шлёт нас в никуда помятым гипсовым картузом”. Здесь можно различить отзвуки соцарта...» // Бушуева М. Цельнометаллическая, устойчивая, прямая. — НГ Exlibris, 29.03.2018.

Через преодоление вечного «человек человеку волк» (в одном из стихотворений поэт переосмысляет эту идиому при помощи образа Павлика Морозова, отсылая к сюжету предательства) и через последовательное прощание с иллюзиями звучит эта песня, в которой неразделимы «злая поросль арматур» и рождаемая ею симфоническая музыка. Обрубание иллюзорности злым — но не озлобленным — жестом прямого высказывания возникает здесь не единожды: этот лирический герой не будет с рубцовской благодетельностью «гнать велосипед» «в глухих лугах», но скажет с жесткой реалистичностью: «Выйду вон на станции Змеиной — / Не шуршит в полях велосипед». (Точно так же симптоматична строка «не Итаку, а город Старицу крою шагом» — в этом чудится и противостояние всяческого рода экзотизмам, и ахматовское стремление «быть с моим народом»). В стихотворении «На запястье часики “Заря”» поэт беспощадно изображает картину позднесоветского золотого сна, империи, идущей к закату.

Мне живо вспомнился эпизод из фильма «Груз—200», где подвыпившая старуха радуется телевизионным танцам представителей разных народов под «Малиновку», пока в соседней комнате творится чудовищное. И эпизод с трупом афганца, который, как мы помним, в фильме насильник бросает жертве в постель, — не может не встать в памяти):

На бумажках множилось нули,
видики картинками манили.
Погранца Володьку привезли
и в закрытом гробе хоронили.

Пел Тальков про Чистые пруды,
а мафон зажёвывал и щёлкал.
Бабл-гам со вкусом ерунды,
сахаром поставленная чёлка.

В итоге каждый может найти здесь что-то близкое — книга трудно поддается анализу с точки зрения целевой аудитории, захватывая, кажется, самые различные читательские слои и делая поэтику Колесник, как сказали бы герои «От двух до пяти» Чуковского, «всехней». Филологу вольно покопаться в наследии советской поэзии и осмыслить роль фразеологизма у Колесник. Важная черта этого поэта — нежелание произносить слова вне их индивидуального переосмысления: «я —

служащая (кому?)», избегая любого рода общих мест. Наивный читатель (что, как показывает опыт, легко сочетается с профессиональным статусом) может сказать что-то вроде «это про меня», похвалить за «узнаваемость» — все это есть в лирике Колесник, но было бы обидно воспринимать это *только* с точки зрения жизненной правды, настолько заметно *отстранение* хотя бы в узнаваемом депрессивном фоне русской провинции, где «кивают мертвецы» и видящему их «смертееется совсем». (Собираемому образу такого читателя — видящего в стихах лишь неприглядную биографическую реальность, укоряющего поэта за недостаток «позитива», за «не те» сюжеты, — типичного посетителя региональной литстудии, — посвящено одно из стихотворений книги. Впрочем, его заключительный призыв: «Чтобы читатель, преодолев зевоту, / понял — поэзия нас подняла с колен» — может восприниматься неоднозначно, и как призыв автора к самому себе).

Несмотря на то и дело вырывающиеся оголенно личные признания («я не жалею, я ележиву», «одна в потоке, лучшая в Москве»), этому поэту чужд я-центризм: такие откровения не обладают печатью резкой индивидуализации, но и назвать их совсем общими мы не можем. Не участвуя в спорах о лирическом субъекте, Колесник сумела отыскать

уникальную интонацию, в которой авторское отстранение от рассказа не мешает прожитости, а дистанция, напоминающая об онегинском рассказчике, становится частью большого нарратива о современной «заводской» России — все той же энциклопедии русской жизни. Последовательно примеряя роли то летописца, то проводника по этому новому подобию дантовского ада, герои которого рассчитаны «на работу за хлеб и радение за идею», Колесник осознает его с разных фотографических ракурсов-то наблюдая «тропку с проходной», то фиксируя «одно недолгое объятие» перед новым кругом. То идентифицируясь с приметам этого ада (до приписывания себе примет заводской трубы — «цельнометаллическая, прямая»), то подыскивая для такой идентификации технократические основания: «Господи, зачем ты сделал, чтобы/ вместо сердца у меня дыра/ чёрная, горелая, сквозная,/ пустотою тёмная, была») и едва ли не создавая в этом новую версию метареализма. Но результат и в том, и в другом случае — безоговорочное читательское доверие.

Я собираю лом своей судьбы:
на месте сердца абразивный камень,
в спечовке тело, в голове кредит,
свобода в частокле обрешётки.
И асинхронный двигатель гудит
усталой медью раненых обмоток.

Ольга Девш

В зиме папу видно

Я бы и в выходных данных книги указала Алену Чурбанову как соавтора, а не только сноской от звездочки возле названий рассказов «Бэби-бум», «Бумеранги», «Что доконало Сару», «Машина времени». И не потому, что эти совместные рассказы — одни из лучших в сборнике, а поскольку именно ее образ — самый растворенный в текстуре и связывающий элементы. Благодаря жене герой книги Женя Никитин и автор книги Евгений Никитин собрали книжку «Про папу». Об этом позже.

«Когда я был моложе, я писал о том, как друг прозрачней становился, о том, как он растаял и пропал, а я, наоборот, лишь уплотнился. На деле я себя имел в виду: я таял, а другие уплотнялись, но я боялся, к своему стыду, вывешивать такой самоанализ. Теперь я не стесняюсь ничего, пишу всё, что мне в голову взбредает, и то, чем был я раньше *qui pro quo*, мгновенно расплывается и тает. Я больше не прозаик, не поэт, не муж, не друг и даже не любовник, и может быть, меня на свете нет. Есть лишь “Тридцатилетнего письмовник”» — цитата из почти одноименного «Письма тридцатилетнего». Этот рассказ в третьей (всего пять) части книги разбит на фрагменты, как и весь — и здесь остановимся подробнее — «антироман». Так в прологе «От автора» Никитин характеризует сборник, что и подхвачено издательством, вынесено на обложку и в аннотацию. Звучит интригующе. Как и фамилии Довлатова, Чапека и Аверченко, которых (если верить аннотации) Никитин считает своими предшественниками. Ожидаешь от текста чего-то вроде: «Ненавидел я его, как какого-то отвратительного, вымытого душистым мылом

паука...» (Аркадий Аверченко, «Автобиография»). Или наподобие: «На месте его гибели обнаружили лишь служебный жетон. В общем, майора Барлоу хоронили в коробке из-под сигарет...» (Сергей Довлатов, «Ослик должен быть худым»). Ожидания оправдываются лишь частично.

Антироман «Про папу» является сборником рассказов-рефлексий, по стилю действительно напоминающим «Автобиографию» Аверченко. Похожи короткие, емкие истории-слайды, без лишних пустых слововерчений, где четкая фраза максимально концентрирует содержание объекта в отношении субъекта к нему. Сравним: «Это место было наименее для меня подходящим, и потому, вероятно, я и очутился там по совету своего опытного в житейских передрыгах отца...» — и теперь: «Как заядлый мизантроп, я хотел продавать что-нибудь вредное для здоровья, например, яды или огнестрельное оружие». Ирония в обоих случаях. Но у Никитина она гуще и темнее.

Автогерой Никитина ведет сатирический плач. Все многочисленные персонажи его историй, даже давно вышедшие из окружения, становятся вровень с ним. Он описывает их в соприкосновении с собой, отчего персонажи то двигаются, как резкие графические силуэты в пару набросков, — если их роль была проходной; то удастаиваются отдельной ветки истории. То есть самочувствие автогероя то лучше, то хуже. Когда пишет больше о себе перпендикулярно, естественно, что лаконичностью подчеркивает собственное скупое существование. Распространяться обстоятельно об этой жалости не получается. А через рассказы о семье и детстве Никитин повышает потенцию переживаний, воспоминаниями стимулирует сочувствие.

Рефлексия неизбежна, скользит, покачиваясь в такт эмиграциям (из Молдовы в Германию, а оттуда позже в Москву),

Евгений Никитин. Про папу: Антироман. — М.: Русский Гулливер; Центр современной литературы, 2019. — 192 с.: ил.

и в связке с ней объективная реальность, прям по Лакану, частенько использует «законы сновидений». Женя хронический соня. Наяву. Сны в книге нередко продуктивней бодрствования, потому что в них он, каким бы ни было образом, возвращается в отправные точки подавленных желаний и страхов. Во сне разрешения ситуации не происходит, но осуществляется «перепроживание», работа с травмой. Персонажная сетка смахивает на паутину и состоит из фигур, в разной степени, однако, травмирующих автогероя, — он барахтается в ней, среди них, стараясь распутать, найти концы. Освободиться же полностью нет попыток, даже смена стран проживания и женитьбы не приводят к гармонии. Сон секретирует подавляемые комплексы и генерирует миражи и фантазии. И они чаще касаются самореализации.

Есть «звездные» действующие лица: известные в литературных кругах люди, с именами и репутациями. Их упоминание, как правило, носит неоднозначный характер, наводящий на мысль о вспышках скрытой (ли?) инвективы. Что подтверждает сатирические амбиции автора и, вероятно, упрочивает позиции автогероя как поэта, которого знают, но не признают: «Когда-то я жил у Олега Дарка. Поздно вечером (жена уже спала), я выбирался на кухню и доставал вонючие сигариллы: покровный лист из Суматры, внутри резаный табак. На них уходила половина моей скудной зарплаты в "Эксмо". Олег Дарк курил "Беломор". Изредка на кухню выбирался лауреат премии "Дебют" Андрей Егоров. Он тоже там обитал, с женой. У Егорова было утро, он жил по ночам. Я любил этого человека, он меня на дух не переносил. Курили молча. Иногда беседовали, но запомнилось молчание. Играли в шахматы. Дарк сначала проигрывал, потом начал выигрывать: я будто глупел на глазах. Мы с женой спали на полу на тонком детском матрасе (он дешевле). Был ещё надувной — он сдулся. С Дарком мы как-то повздорили: я нечаянно нарушил правила общежития, оправдывался, упирал на то, что человек я простой, не догадался. Олег ответил: "Утончайся". Я утончился с годами. Сейчас еду в электричке, люди смотрят сквозь меня в окно».

Видите? Жена фоново присутствует в повествовании (кроме текста «На кладбище»,

где Алёна участвует в разговоре папы с Женей, снабженном достаточно, хочу отметить, двусмысленными репликами, способными вызвать обценные ассоциации), выступает метафизической стеной, скрепой, кругом поддерживающим. Наравне с мотивом невостребованности главного героя. Не в противовес, а как бы говоря, что вот, гляньте, она со мной по всем съемным комнатам в перенаселенных квартирах, по матрасам тонким, впроголодь или до того скромно, что, угорев от экономии, в конце концов в кабак нажраться пошли, живет. Живет! А ведь вторая уже. Я слышала чутка, что долго не целованные мужчины потом компенсируют нехватку. Однако Никитин красной нитью проводит во всех своих сорока семи рассказах тему, так скажем, обедненного внимания женщин к нему. И не одних женщин. Череда эпизодов, где протагониста так или иначе не оценили, не полюбили, бросили, не взяли на работу, из части в часть мигрирует, мигая, как блуждающие огни. Сюжетные линии пунктирны, с большими апрошами.

Про папу, несмотря на обещание в названии книжки и предисловии, Никитин рассказал меньше, чем о себе. Не закрепилось у меня впечатление как от живого человека, это, скорее, умело сложенный под определенную историю денотат «папа». Так же есть класс «мама» и «бабушка». Совокупные образчики — второй отчим-комбинатор Изя и книжный червь Пётр Исаевич. Лишь Пушкин — цыган-пастух из молдавского трудного детства Жени — нарисовался колоритным и человечным. Он из того рассказа «Бэби-бум», который входит, как я говорила вначале, в четверку, на мой взгляд, лучших в сборнике, и написан в соавторстве с Алёной Чурбановой. Вклад соавтора вычислять в знаках с пробелами не вижу необходимости, так как стиль едва ли резко разнится с единоличными текстами Никитина. Но в соучастных с женой повествованиях Никитин пишет полнокровней, ярче. Вместо короткометражек, от которых остается серый непонятный осадок и картонно-пыльный привкус, демонстрируется цветное игровое кино с легким флером экзистенциального порыва. Чувствуешь, что автор (-ы) с азартом и увлечением создают картинку, возникает атмосфера, можно оглядываться, не боясь ощутить нехватку

воздуха. И дело не в том, что автогерой много курит. В текстах Никитина, что идут без соавтора, недостаточно витальности. Идут они не строем, а гуськом, периодически рокируясь в позапрошлую свинью, и ход их исполнен постылости и, не выразимого без глухого короткого рыка, бессилия: «Я мог бы сказать ему, что я там-то и там-то печатался... Например, в “Знамени”. Он бы спросил: “Что за дебильное название журнала?” Или я мог рассказать, как участвовал в Венецианской биеннале. Но это тоже прозвучало бы как попытка оправдаться за своё ничтожество».

Папа выполняет роль мавра из расхожего анекдота. Сделал свое дело — родил. А Женя выбрал маму при разводе. Сам виноват. Как виноват и в незнании молдавского, и в неистинном еврействе, виноват в загаженности кухни в немецком городе, где свободных кошек не найти, виноват в противном детском поцелуе дворовых детей, в красных фонарях Амстердама, виноват в измене первой жене и в сбивчиво-бедной поэтской жизни со второй. И точку автор ставить не собирается: «Я встал и прошёл дальше, в пятый вагон, затем в шестой, седьмой, восьмой... Вероятно, рано или поздно вагоны закончатся, я устану и попытаюсь привыкнуть, но пока я бегу вперёд, ни на что особенно не надеюсь».

...Они идут, бегут, его герои — от чего-то и в поисках себя, обретая, теряя и вновь обретая надежду.

И кругом окна со снегом, а в двери или заговорщицки стучат, или вламываются с последующим выдворением.

Вот Юра... вот папа у него... как Женин: опознан был еще в прологе, — и чем они лучше? По сути ничем. В центральном сильном рассказе «Зима» наконец удалось увидеть Никитина по-настоящему пишущего о своей боли. Там нет автогероя, а боль, страх, одиночество и непосредственность, воображение есть.

Юра просто боялся собак, даже в комбинезонах. Зато выпил, поел, покурил, поговорил с пошарпанным уличным пенсионером и привел его домой, посулив гуппомощь самогоном. Ничего особенного. Правда, в беседе Юра папу то умертвил, то оживил. А папа бьет за двойки через всю спину, хоть и паладин. Впрочем, и дяденька этот, уснувший на корточках в безветрии и сухости подъезда, оказался его спасителем. От собак спас. Голыми руками дрался с трансформерами. И винегретом угостил.

«— Понятно, — сказал папа. — Маленький такой, и не подумаешь, что с трансформерами справиться может. Ну ладно, идем. Мама ужин приготовила, я уже тебя искать собирался.

Он с опаской оглянулся на дядьку. Но дядька ничего не слышал. Он уснул.

Папа Юрки не стал его будить и закрыл дверь. Утром дядьки уже не было, а всего через месяц прошли сто лет зимы, и никто не умер».

Александр Эбаноидзе

Казус Тариэла Цхварадзе

К тому времени, как в Москве (а несколько раньше под тем же названием — в Киеве) вышла книга Тариэла Цхварадзе «До и после», он был уже автором четырех стихотворных сборников, изданных в Батуми, Тбилиси и Москве.

«До и после» — проза в жанре нон-фикшн, рассказывающая о жизни поэта, дебютировавшего в весьма зрелом возрасте.

Незабвенный Александр Михайлович Ревич считал, что «поэзия дело седых» (так он назвал одну из своих последних статей). Тем не менее, поэтический дебют после 50 лет — случай редкий. Однако гораздо необычной позднего дебюта оказалась жизнь, поведенная читателю. Без эвфемизмов и словесных вуалей автор сообщает, что прожил жизнь вора. Слово «вор» он настойчиво пишет с заглавной буквы и посвящает сомнительному сообществу взволнованные монологи, призванные обелить эту прослойку криминального мира.

Строго говоря, криминальный стаж рассказчика больше тридцати лет. Он ступил на кривую дорожку десятилетним мальчишкой, когда вскрыл фомкой киоск «Союзпечати» и спёр альбом с марками. Не склонный к самоанализу, он вспомнит этот случай для объяснения принципов воровской жизни: старик-филателист, пристрастивший его к маркам, был рассеян и подслеповат, но мальчик ни разу не тронул его коллекцию.

Года через два вместе с ватагой ребят он растаскивает с продовольственного склада всё, что уцелело после ограбления бандитами, а еще лет через пять на заре туманной юности, оказавшись с ночью с дружком на Мцхетском вокзале, взламывает вокзальный буфет и пропивает добычу с сокурсниками по художественному училищу.

Тариэл Цхварадзе. До и после. — М.: Эксмо, 2020.

Но это всего лишь цветочки, шалости шалопаю.

Первым серьезным «делом» стало ограбление супружеской пары в летней Гагре. В разгар бурного романа у рассказчика вышли деньги, и он решает простейшим способом исправить положение. Триггером (новомодное словцо) послужила золотая печатка на руке мужчины. Ограбление сорвалось. Курортный роман обернулся задержанием, следствием и первым сроком (родители горе-грабителя еле вымолили у незлопамятных супругов «химию», т.е. условный срок с принудительными работами).

Дальше криминальный сюжет «До и после» развивается по нарастающей. В нем есть всё: кражи, взломы, ограбления, угоны, хитроумные аферы, «тёрки», «разборки», «подставы» — все, что составляет беспокойную жизнь гангстера средней руки.

Я не любитель криминального чтения и скорее всего ограничился бы пролистыванием книги, но в жизни вора, преобразившегося в поэта, точнее, в атмосфере вокруг этой истории есть что-то необычно подлинное, сильное и интересное.

Прежде чем поделиться своими домыслами и догадками, еще два слова о пикантном опусе нон-фикшн.

Тональность повествования своеобразна; я назвал бы ее брутальной победностью, приправленной грузинским нарциссизмом, с явным перебором блатного жаргона. Другая характерная особенность — отсутствие рефлексии. Кажется, что характер рассказчика состоит из двух простейших половин: впечатление и действие. Такой характер редкость и в некоторых родах деятельности бесценен. Думаю, из рассказчика получился бы хороший воин, офицер старшего звена, а может, и повыше. Он решителен, смел, сообразителен, независим, жесток — с набором таких качеств в армии можно далеко пойти. Скажу больше:

именно такие люди были нужны Грузии после обретения независимости. Но с воинским укладом будущий вор и поэт разминусь еще в пору службы в Советской Армии. К тому же, похоже, он принципиальный «пацифист».

Рассказу о жизни автора естественным образом предшествуют две новеллы о родителях. Первая — о знакомстве отца с матерью — удивительно трогательна и красива.

Вернувшийся из сталинских лагерей отец рассказчика пытается устроиться в жизни и с этой целью едет в Тбилиси. В дороге он встречает красивую женщину в ярком крепдешине. Из разговора выясняется, что красавица — вдова с четырьмя детьми — недавно переехала с Дона в Грузию в простодушной надежде прокормить и поднять деток в теплой благодатной стране. И вот она едет наниматься официанткой в привокзальный ресторан. Ее слушатель понимает, чем может обернуться для красавицы такая работа; он предлагает ей повременить, дожидаться его возвращения с тем, чтобы сообща обдумать будущее. Через неделю он входит к ней в дом — не с вином и цветами, как заправский ухажер, а с подарками для детей, одежкой в маленьком чемоданчике.

Тронутая такой заботой, красавица выходит за него замуж; в благодарность она родит ему двух сыновей, двух будущих поэтов.

(Замечательные стихи Виктора Цхварадзе можно прочесть в антологии русского зарубежья «Освобожденный Улисс», изданной в Москве в 2004 году.)

Вторая родительская новелла не так благообразна. Она воспроизводит разговор с отцом, поведавшим, как в пору лагерной «сидки» воры спасли его от смертельной опасности. Эта история как бы служит рассказчику индульгенцией, объяснением сомнительного жизненного выбора.

Еще об одной особенности «До и после»: из-за многочисленности ли «подвигов» рассказчика или из-за победно-брутальной тональности рассказа у читателя создается впечатление, что перед ним крутой криминальный авторитет, которому и срок пристал бы соответствующий — этак лет десять-двенадцать. Я искренне порадовался за него, когда понял, что отсидка длилась всего три года.

Три года — и он на воле. А на воле — самое

воровское время. Все табу сняты, угрызения смешны и нелепы. И заматеревший Вор берет за старое — ведь в этой грёбаной стране никто, кроме него, не позаботится о его семье и близких.

Ряд успешных «дел», перемещения по визам и без, и рассказчик оказывается в Хургаде. Он владелец небольшой недвижимости, проводящий дни в бесконечной сиесте, изредка отрывающийся с зачистившими в Хургаду соотечественниками и возненавидевший Гизу с ее сфинксом и пирамидами.

Первая часть книги, едва ли не девять десятых текста, перегруженного криминалом и «феней», побудила автора заменить кроткую фамилию анималистического корня (Цхварадзе в русском варианте соответствует Овечкин) на Мгеладзе — т.е. на Волкова. Жаль, что русский читатель не может оценить самоиронии этой игры и улыбнуться.

Здесь заканчивается «До» и начинается «После» — вторая часть книги, ее вторая тема и второй сюжет: урка, удачливый вор, отделившийся малым сроком, превращается в поэта.

Ничего внятного, хоть как-то объясняющего превращение, от автора мы не услышим. Еще по первой части читатель знает, что автору чужды рефлексия и самоанализ. Тем более, он не силен в психологии творчества. Две-три случайные встречи с поэтами — в прошлой жизни — не вызвали у него к этой публике ни интереса, ни уважения.

По строгой закономерности, отмеченной историками и экономистами, разгулу криминала всегда сопутствует падение культуры. В России эта закономерность проявилась с особой наглядностью: телеэкраны заполнили полублатные песни, прилавки завалило низкопробное чтиво, интернет проложил русло для потоков рифмованной графомании. Возможность самого издания текстов окончательно размывает ценностную шкалу. В результате слово стремительно девальвируется: из драгоценного металла превращается в папье-маше.

К сожалению, киевское издание «До и после» демонстрирует аннотацию книги, составленную из «папье-маше». В ней автор назван «популярным поэтом», пришедшим из криминала в «большую поэзию». По всей видимости, сделано это в угоду рыночному

маркетингу. Но чтобы вернуть словам подлинный смысл, придется сказать, что понятие «популярный поэт» умерло еще в конце прошлого столетия, а единственным, кто из криминала пришел в большую поэзию, был Франсуа Вийон. Уверен, что Т.Цхварадзе не причастен к аннотации. К его чести, он скромнен в самооценке и считает, что «из написанных им сотен текстов с трудом наберётся десяток действительно чего-то стоящих».

И еще пример чудовищной девальвации слова. Уже в 2000-е на некоем важном совещании в Москве, которое вел один из высших чиновников государства, я высказал самоочевидную мысль о разнонаправленности векторов культуры и рынка. Высокий чиновник счел нужным возразить и в доказательство сослался на творчество двух дам, участвующих в совещании: одна из них сочиняла бойкие высокотиражные детективы, другая на досуге пописывала стишки, несколько из которых стали попсовыми песнями. Признаться, я был удручен тем, во что превратилось понятие «культура» в сознании одного из глав государства.

Вот в какое время приоткрыл дверь в поэзию автор честной исповеди «До и после».

Его первые стихи влились в русло, проложенное в интернете, и, в сущности, мало выделялись из безликого потока. Но что-то мучило немолодого дебютанта. Его томил комплекс утенка на птичьем дворе, он изо всех сил тянул шею и напрягал крылья.

Усилие продуктивно: на поэтическом фестивале он знакомится с четырьмя доброжелательными людьми и талантливыми поэтами — Звиадом Ратиани, Александром Кабановым, Бахытом Кенжеевым и Алексеем Цветковым. Я знал всех четверых; их стихи часто печатались в «Дружбе народов», журнале, который я возглавлял без малого четверть века.

Маленькая поэма Звиада Ратиани «Отцы», переведенная недавно ушедшим Володей Саришвили, по сей день волнует душу: это пронзительный, моментальный снимок отцов, полных сил молодых мужчин, жестоко перемолотых перестройкой; среди них я вижу и свою растерянную физиономию.

Александр Кабанов порой так раскручивает динамо-машину своего дарования, что с нее слетают искры ослепительной яркости. Таризл

Цхварадзе по достоинству восхищается собратом, но в «нокаут» его посылает вполне тривиальная находка: «Вначале богу душу отдаю, потом, опохмелившись, забираю»; скорее всего, наивное восхищение, отголосок бурной молодости.

Все четверо оказали благотворное влияние на неофита.

Бахыту Кенжееву пришлось по душе простота его стихов, он находит их народными.

А Кабанов емкой метафорой передает постоянное усилие поэта, «как Мюнхгаузен, вытаскивающего себя и свои тексты за волосы из рутинного болота бытия».

Звиад Ратиани, на которого «при первом знакомстве стихи не произвели никакого впечатления», отдает должное автору — он «пишет лучше и свободнее и за три-четыре года добивается того, к чему многие не смогли приблизиться за долгие годы».

Что же до Алексея Цветкова, он сделал больше других — помог начинающему поэту квалифицированным советом и профессиональной редактурой.

К сожалению, не могу вписать себя в этот достойный список: лет пять назад я просто отклонил присланную мне в журнал подборку стихов Таризла Цхварадзе. Как узнал из книги, так же поступил редактор «Знамени» Сергей Чупринин: «толстые журналы» все еще считают себя оплотом культуры и «важничают» из последних сил. Но, может статься, наши отказы тоже стали своего рода уроком: творчество — загадка, а душа художника чутка и восприимчива.

Так или иначе, поэт обрел голос, его стих раскрепостился, прежнюю робость и угловатость сменила статья, в которой порой проступает лирическая грация.

Все это результат уроков, штудий и встреч на поэтических фестивалях, на которые охотно приглашают последнего русскоязычного грузина, пишущего стихи, человека с загадочной биографией и репутацией этакого Анри Руссо в поэзии.

На последней странице книги автор все-таки пробует объяснить природу своего превращения: «Когда в бурном водовороте событий я стал захлебываться, выручила поэзия, свалившаяся на голову, как спасательный круг».

Эту же мысль он облакает в форму стихотворной строфы:

Все то, что было «До» — прекрасно,
но «После» радует вдвойне.
Великий Доктор, как лекарство,
поэзию назначил мне.

Тариэл Цхварадзе разменял седьмой десяток, а его неудовлетворенная душа

по-юношески волнуется и взыскует слова. Я не думаю, что он удивит нас стихами; удивляет его усилие, стремление к совершенству и преданность поэзии: в конце концов — «Что ему Гекуба!»

Но тут уже ведомство Великого Доктора, где все возможно.

И, может быть, прав незабвенный Варлам Шаламов — «Поэзия — дело седых».

Михаил Гундарин

Крики и шёпоты

Эта прозаическая книга у Ганны Шевченко третья. Большинство коротких рассказов, составивших сборник, уже публиковались в литературной периодике. Причем в периодике самой разной — от почтенных «толстяков» до Интернет-проектов нового поколения. Самые разные редакторы единодушно голосовали «за». Есть что-то, значит, в этой прозе привлекающее и профессионалов, и, конечно, читателей. (О том, что там себе думает аудитория, мы обычно можем только догадываться, однако отзывы на несколько вещей, републикованных в социальных сетях после выхода книги, — самые восторженные).

За издание книги абсолютно безвозмездно взялся красноярский писатель и организатор литпроцесса Михаил Стрельцов. Обложку — тоже в подарок! — нарисовала талантливый дизайнер Сати Овакимян. (К сожалению, Стрельцов книжку так и не увидел — скоропостижно скончался...)

Ганна Шевченко. Что кричит женщина, когда летит в подвал? — Красноярск: Палитра, 2020.

Так что же привлекает столько людей в короткой прозе Ганны Шевченко?

Думаю, прежде всего то, что это именно проза.

Бум коротких рассказиков, миниатюр, скетчей, который мы сейчас наблюдаем, связан более с технологическими причинами. Некогда, говорят, читать длинные романы, пишете так, чтобы на одну страничку входило, чтобы хоть в Фейсбук, хоть в Твиттер, хоть в Инстаграм. Понаписано такого в последнее время — много. Уже и толстые тома выходят, состоящие сплошь из коротышей. Выглядят довольно бледно, чтобы не сказать нелепо. Потому что (за редчайшими исключениями) место таких заметок и полуанекдотов — именно в Сети; а на бумаге, да в огромном количестве, они рассыпаются, не складываются в книгу. Короткие рассказы Ганны Шевченко идут не от сетевого фольклора, скорее уж, они идут от стихов. Цель выбора этого жанра не в экономии читательского времени, не в заигрывании с публикой, а в максимальной концентрации смыслов, повышении их плотности на единицу текста.

Почему-то похвальным считается отзыв о небольшом рассказе — «конспект романа». Но романы нельзя даже читать в конспектах. (Прочитал в сборнике шпаргалок «Произведения литературы в кратком изложении», о чем «Преступление и наказание», ответил на экзамене, а бедный автор в гробу переворачивается от такого кощунства.) А уж писать конспекты романов — и вовсе извращение. У Шевченко такого нет и в помине.

Вот, например, рассказ «Эффектная женщина». Это не выжимка из несуществующего, это — полноценный жанр, по-особому организованный текст. Он обходится без лишних подробностей — поскольку даже в немногом автору удастся сказать все, что было задумано.

«Она держит его под руку. Он горд и прям. Спине не позволяет сутулиться, животу — расти, волосам — выпадать. Он не может себе позволить быть неудачником, он сделал хорошую карьеру, он всегда держит бумажник наготове. Вот уже сорок лет он — муж эффектной женщины.

Сегодня она хороша, как всегда. Нога на каблук, икра в лайкре, талия в корсете, губы в помаде:

— Ах, какое у вас интересное платье! Неужели вы сами плели эту ажурную красоту!

— Конечно, сама.

У нее модная стрижка восьмидесятых — пышная шапка волос, сходящая на затылке на бритый мысок.

Уже сорок лет она имеет статус эффектной женщины. Она держит марку, не сдает позиции, уверенно составляет конкуренцию всем этим новым девочкам в модных туниках и летних льняных сапожках.

Если бы мужские взгляды имели форму ленточек, то за сорок лет эффектной жизни к ее бедрам приросли бы километры разноцветных шелковых струй, и ее королевский шлейф наполнил бы сейчас всю центральную аллею парка культуры».

Здесь отсутствует «общий план». Конструкция текста состоит из крупных, детализированных планов. Как и положено короткому рассказу. Но как часто мы видим в подобном жанре неподвижное нагромождение, склад, перефразируя Олешу, «депо деталей». У Шевченко картинка и динамична, и попросту

увлекательна. История не требует дальнейшего развития в длинном тексте, она вполне адекватно помещена в немногие строки. Работают детали, самоиграющие, лаконично и четко говорящие обо всем необходимом, их подача и сочетание. Детали, на которые, уверен, ни один мужчина не обратил бы внимания (та самая модная стрижка восьмидесятых), но когда они поданы так выпукло и броско, трудно не убедиться в превосходстве женского видения. Может быть, потому, что в рассказах Шевченко конкретика деталей сочетается с метафорами, обыденное — с вечным. Даже в приведенном тексте: сначала думается, что мы имеем дело с сатирическим скетчем, но финальный абзац, яркий и романтический, придает «Эффектной женщине» иное измерение. Оказывается, что героиня — не стареющая кокетка, она — королева и волшебница (вроде Сологубовской царицы поцелуев).

Вообще, я полагаю, короткие истории гораздо лучше должны удаваться женщинам, с их традиционным вниманием к конкретике. Шевченко смотрит на мир именно по-женски, не случайно это подчеркивается в названии сборника. Вот, скажем, эротические сцены. Ну совершенно точно ни один мужчина не мог бы написать: «Любовником он был предсказуемым и неповоротливым, как трамвай. Сначала усы шекочут ухо, потом шею, затем грудь. После слышится постукивание банок на полке “дзинь, дзинь, дзинь...” — усатый трамвай Вадим Николаевич начинает движение, касаясь плечом ближайшего стеллажа. Это “дзинь-дзинь” длится недолго, без остановок и поворотов, пока на правое бедро не выплескивается вязкая и горячая клякса тормозной жидкости. Всегда на правое» (рассказ «Африканка»). На правое? Всегда? Вот тут, как говорится, и задумаешься... Женский взгляд, но выхваченное им ничего общего не имеет с теми женскими текстами, что прозаическими, что стихотворными (особенно верлибресскими), чьи авторы (авторки) возводят свои физиологические особенности в идейно-эстетическое кредо.

Рассказы в книге Шевченко — разные. Есть и миниатюры в несколько строк, есть и истории, рассказанные с классической обстоятельностью (и все равно уложенные в несколько страниц). Справедливо ли применение к ним

обозначенной в аннотации характеристики «гротескная демонстрация нелепости и бессмысленности человеческого бытия»? Или, в одно слово, «абсурдности» нашего бытия? Вопрос не так прост.

Традиционно мы понимаем абсурд — говоря словами Альбера Камю — как трагическую связь человека с миром, взаимное непонимание, «бессмысленное молчание» Бога. Но это, так сказать, философская подкладка. Которую можно отнести, вероятно, к любому произведению, начиная с бог знает какой древности, с эпохи романтизма уж точно. О собственно литературном абсурде точно написал современный исследователь: «Человек абсурда отнюдь не лишает действительность смысла, но сама лишенная смысла действительность наделяет человека креативной силой, восстанавливающей смысл, вопреки всему... Человек кричит — мир молчит. Абсурд есть попытка семантизирования десемантизированного — распад, бессмысленность и безумие мира человек пытается собрать, осмыслить и образумить».

Таким образом, вопрос в позиции автора и его героя: есть ли у него интенция к собиранию реальности, готов ли он бороться, бунтовать? Можно сказать однозначно, что в книге Шевченко герои на бунт готовы. Они — не покоряются, они пытаются осмыслить, освоить мир. Будь то герои забавных «лягушачьих историй» Квакер и Лягушон или «маленький человек» Кнопка, героиня одноименного рассказа, офисная уборщица, однажды совершившая свой персональный бросок на Юг, к Океану.

Но полнее всего метафора «человека кричащего», конечно, раскрыта в заглавном рассказе. Женщина, как мы понимаем, не просто кричит, выражая свою эмоциональную природу, она своим криком семантизирует окружающее.

В этом рассказе героиня попадает в некое кафкианское учреждение, где бюрократы заняты бессмысленной работой,

выражающейся, в частности, в предложении задавать «странные вопросы». Растерявшаяся героиня спрашивает первое, что на ум пришло: про свою серебряную цепочку.

«Инспектор откинулась на спинку стула и посмотрела на меня, сузив глаза.

— Это, — она указательным пальцем сделала в воздухе петлю, — кабинет по странным вопросам. А вы все думаете, что мы здесь сидим и занимаемся ерундой? Что нам делать больше нечего, как выслушивать все эти глупости! Думаете, что государство зря расходует деньги налогоплательщиков, выплачивая нам ежемесячную зарплату? Это не так. Мы сидим здесь, чтобы поставлять статистические данные и делать анализ. Будем считать, что я не слышала эту белиберду про цепочку. А теперь соберитесь с мыслями и задайте мне адекватный странный вопрос. У вас остался последний шанс».

Героиня покидает этот бюрократический «замок» и начинает размышлять.

«Но я размышляла не о странных вопросах, которые задам в следующий раз, а о том, что всё же кричит женщина, когда летит в подвал. И ответ пришёл:

Когда летит в подвал женщина, она молчит, падает медленно, огибая электрощит, двигаясь в невесомости, делает кувырок, наполняет карманы сыростью, запасаясь водой, впрок, наполняет лёгкие холодом, впитывая сурьму, потом ищет лестницу, разводя ладонями тьму».

Бюрократический абсурд преодолевается «криком», бунтом — женщина обустроивает свой мир сначала на словах, потом на деле.

Вот в этом и ценность коротких рассказов Ганны Шевченко. Иногда в нескольких словах они помогают нам сформулировать свои вопросы к миру, или даже задать их (вопросы длинными быть и не должны!). То есть справиться с реальностью, нарушить ее бессмысленное молчание своим шепотом или криком. Преодолеть наш повседневный тяжкий абсурд.

Евгений Абдуллаев

ДИВНЫЙ НОВЫЙ КАНОН

Лето 2020-го стало летом двух пандемий.

Какая — первая, к сожалению, известно; речь пойдет о второй, чьи культурные последствия могут быть не менее серьезные. О монументоборчестве.

Памятники обмазывают краской, памятники сносят, на месте одних ставят другие.

Можно, конечно, сразу этот разговор притормозить и спросить, при чем тут Россия (и шире — постсоветское пространство), если все это происходит в Штатах и Западной Европе? И при чем тут современная русская литература, которой посвящены наши «барометры»?

«Борьба с памятниками» в наших палестинах не особо актуальна, хотя идет, как минимум, с начала девяностых. В России она связана, главным образом, с отношением к советскому прошлому и к его ключевым фигурам. В других постсоветских республиках — иногда приобретала еще и антиколониальные обертоны¹. Но там с «колониальными» памятниками боролась, в основном, местная номенклатура, и волна эта улеглась довольно быстро. К началу нулевых все особо «раздражавшие» монументы ушли на переплавку, а улицы и площади украсились изваяниями местных национальных героев, гетманов, ханов и богатырей...

То, что мы наблюдали этим летом, меньше всего похоже на номенклатурные «нациостроительные» игры.

Это монументоборчество — *снизу*. Логику в нем — как и в том, которое *сверху*, — искать бессмысленно; кроме одной — логики утверждения новых иерархий. И не только политических. Затронутыми оказались и смежные культурные области.

В июне измазали краской мраморную статую Вольтера в Париже. Причина? Вкладывал деньги во французскую Вест-Индскую компанию, промышленявшую работоторговлей. То, что Вольтер был одной из ключевых фигур европейского Просвещения, в расчет не принималось. Хотя, вроде бы, именно Просвещение, уравнивая всех людей в правах, нанесло первый удар по расизму.

Другой неожиданный объект — Махатма Ганди. Кто, как не Ганди, способствовал крушению колониальной системы? Обнаружили в письмах периода его пребывания в ЮАР расистские высказывания. Вначале измазали статую в Вашингтоне, через несколько дней — в Лондоне.

Но дело даже не в памятниках литераторам или мыслителям, которые имели отношение к тому, что сегодня считается расизмом и колониализмом. Памятники, уличные протесты — верхушка айсберга.

¹ Как, например, борьба вокруг памятника основателям Одессы; Екатерина Вторая, чья фигура венчает памятник, как известно, упразднила гетманство... Или уничтожение еще в 90-е памятников Горькому и Гоголю в Ташкенте.

Идет перетряхивание западного литературного канона.

Канон этот еще недавно казался незыблемым. Бывали и попытки ревизии: одних не устраивало неуважительное отношение Рабле к церкви, других — Шекспира к женщинам, третьих — Киплинга к азиатским и африканским народам... Но при этом все же не забывалось, что эта канонизация связана с *литературными* заслугами, а не с социальными, религиозными и прочими взглядами авторов. И, во-вторых, то, что сегодня может восприниматься как проявление расизма, шовинизма и т. д. в то время, когда эти авторы жили и писали, таковым могло не считаться.

Но эти доводы постепенно перестают работать. Меняется по своему этносооставу читательская аудитория; в США и Западной Европе в ней все больше читателей, условно говоря, неевропейского происхождения. И это, пожалуй, самое серьезное испытание для универсальности европейского литературного канона.

Возникает новый тип чтения классики — *обиженное* чтение.

«...Как американка турецкого происхождения, я не могу не регистрировать все случаи пренебрежительного отношения к туркам, с которыми я встречалась в европейских книгах»¹. Приводятся примеры: Достоевский, Лоуренс, Де Куинси, Агата Кристи...

Это — не выкрик в соцсетях; это — «The New Yorker», один из лучших американских толстых журналов. Статья называется «Читая расистскую литературу» (апрель, 2015).

Таких высказываний можно привести десятки. Возникла целая литературоведческая индустрия выискивания расистских и колониальных цитат. Цель — фактически та же, что и у нынешнего монументоборчества. Не скинуть с пьедестала — так хотя бы чем-то измазать.

И исходит это не только от американцев или европейцев, чьи родители или дальние предки жили в одной из азиатских или африканских стран. Они лишь подхватывают ту риторику, которая циркулирует где-то с восьмидесятых. Риторику, создателями и носителями которой были отнюдь не выходцы из третьего мира.

Риторика эта начиналась с вполне разумных призывов к толерантности и с критики колониализма. Потом в какой-то момент началось ее вырождение, подмена. Среди потомков кипплинговского «белого человека» стал распространяться (опять напрашивается сравнение с пандемией) комплекс вины, приобретающий порой мазохистские формы.

Можно, например, вспомнить выставку известного фотографа Роберта Мэпплторпа «Черные мужчины» (1986); на одной из фотографий чернокожий мужчина мочится в рот белокожему.

Или нашумевший роман Джона Кутзее «Бесчестье» (1999); действие, напомним, происходит в ЮАР после отмены апартеида. Профессор и его дочь-лесбиянка живут где-то в глухомани; трое африканцев избивают профессора и насилуют дочь. Что делает дочь, придя в себя? Обратиться в полицию она отказывается. Желает избыть грех белокожих предков-колонизаторов...

Для России все это, на первый взгляд, не так актуально. Но только — на первый.

Пусть после девяностых всплесков монументоборчества не наблюдалось — подспудно процесс идет. И проблема «советского наследия» в нем постепенно отступает, а на передний план выходит, опять же, «антиколониальная».

В прошлом году против установки памятника Ермаку в Омске выступили активисты местной национально-культурной автономии татар. В этом году, в июне, группа представителей тюменской татарской общественности выразила протест против

¹ «...As a Turkish American, I couldn't prevent myself from registering all the slights against Turkish people that I encountered in European books» (Batuman E. Reading racist literature // The New Yorker. April 13, 2015. <https://www.newyorker.com/culture/cultural-comment/reading-racist-literature>).

установки в городском парке Тобольска гранитного креста в память, опять же, 435-летия со дня гибели Ермака.

В июне в Адлере, на месте первого русского форта, построенного в 1837 году, открыли памятный знак, посвященный русским солдатам, погибшим на Кавказской войне. Тут же с протестом выступила Общественная палата Абхазии и группа черкесских активистов. Менее чем через две недели после открытия памятного знака администрация Сочи его демонтировала.

Вопрос, кто здесь прав, а кто — нет, оставляю за скобками. Свои резоны есть и у тех, кто стремится увековечить память покорителей новых территорий, и у тех, кто этому всячески сопротивляется. К счастью, пока вполне легитимными путями, без разрушения или обмазывания краской. Интереснее здесь другое: перекинется ли эта начавшаяся схватка за мемориальный канон на канон литературный?

Работорговеи никто из русских классиков не обогащался. Но что касается расистских или шовинистических высказываний... Точнее, того, что сегодня *можно истолковать* как расизм или шовинизм.

Не случайно вскоре после волны разрушений памятников в США и Европе в одном интервью проскочило: «Нужно быть готовым к тому, что они (процессы сноса памятников личностям, связанным с рабовладением. — Е.А.) коснутся не только вышеупомянутых персонажей, но и, например, ...Достоевского, чьи книги — часть мирового культурного наследия, но от этого он не перестает быть шовинистом»¹.

И дело вряд ли ограничится одним Достоевским.

Расстояние от Ермака или участников Кавказской войны — до русской классики не такое уж большое. Рылеевская «Смерь Ермака» («Ревела буря, дождь шумел...») вошла в канон русской эпики, стала народной песней. Трагедия «Ермак» Хомякова с успехом шла на сцене; Пушкин задумывал поэму «Ермак»...

Пушкин, кстати, может оказаться одной из первых мишеней. Эвенки на «ныне дикого тунгуса» вряд ли обидятся; поляки — далеко; а вот за «Смиришь, Кавказ!..» попасть поэту может. И не ему одному. Гоголю — за турок и татар, Гончарову — за расизм («полудикие туземцы»)... Чехову за «там чеченцы и сколопендры...» Ну и что, что из частного письма — Ганди тоже об африканцах не *urbi et orbi* отзывался. Был бы повод.

И посыплются «памятники нерукотворные», и встанут на месте их другие (мемориально место пусто не бывает). Тем, чьи строки ничьи национальные и расовые чувства не трогают. И другие чувства, скорее всего, тоже.

Нет, это не призыв оберегать русский литературный канон от всяких изменений и вторжений. Меняется время, меняется литература, меняется ее канон. Просто не хотелось бы, чтобы эти изменения происходили таким вот образом. Просто бы не хотелось.

¹ В Европе, США и Австралии крушат монументы колониального прошлого — пострадали даже памятники королеве Виктории. Разве это не варварство? [Беседа с редактором «The Garage Journal» Андреем Завадским] // Meduza. 19 июня 2020 г. (<https://meduza.io/feature/2020/06/19/v-evrope-ssha-i-avstralii-krushat-monumenty-kolonialnogo-proshlogo-postradali-dazhe-pamyatniki-koroleve-viktorii-razve-eto-ne-varvarstvo>).

Сергей Лебеде́нко

Фунес беспамятный

*Как мы попали в ловушку перепроизводства контента
и как найти из нее выход*

В начале декабря прошлого года меня поразил пост в соцсетях одного независимого книжного магазина из Питера. Его совладельцы выкладывали на стенд на ярмарке «Нон-фикшн» книги, и с одной из посетительниц ярмарки произошел такой диалог:

- Это же старая книга, верно?
- Нет, новая.
- Но я же в октябре видела ее в продаже в Питере.
- То есть два месяца — это для вас уже старая?
- А как же!

Звучит как анекдот, достойный маленького эпизода в ситкоме из жизни книгопродавцев, но проблема в том, что такое отношение к текстам распространяется все больше и затрагивает не только поведение потребителя. Вот цитата из прошлогодней дискуссии владельцев издательств, специализирующихся на нон-фикшн литературе: «Проблема для издательств, выпускающих серьезный нон-фикшн, состоит в том, что эти книги должны продаваться долго, а в России глубина рынка максимум два года. То есть, если книга не продалась за этот период, ее магазины больше не берут на продажу».

Если книги, которые подчас пишутся несколько лет, «живут» на отечественном рынке всего два года, легко представить, что происходит с книгами художественными.

Но литература в этом смысле идет в хвосте всех медиаиндустрий. Контента стало слишком много, его потребление занимает все больше времени. По последним подсчетам медиаэкспертов, в среднем в 2020 году человек тратит на цифровое чтение, видеоигры, просмотр роликов, сериалов и фильмов и т.д. не меньше *двенадцати* часов в сутки, при этом период бодрствования длится в среднем *шестнадцать* часов в сутки¹. То есть технологии уже приблизились к тому, чтобы занять не только все свободное время человека — но и все время вообще. Только сон пока остается естественным периодом медиа-«детокса», но и то — лишь условно: количество материалов и лекций о том, почему на самом деле важно спать семь-девять часов в день, сигнализирует о том, что проблема уже назрела. Да и легко вообразить себе технологию, которая захватывает сон: в мире далекого будущего из комикса «Трансметрополитен» Уоррена

¹ Конец истории и the LAST Big Thing. — Медиаболь: https://andrey.substack.com/p/-the-last-big-thing?utm_source=telegram.me&utm_medium=social&utm_campaign=andrey-boborykin-pishet-o-vozmozhnoy-evol&utm_content=41937450

Эллиса и Дерика Робертсона медиакомпания научились «заражать» мозг телезрителя рекламой, которую он потом смотрит во сне.

Проблему вроде бы должны были решить алгоритмы нейросетей, которые отбирают для пользователя контент в ленте соцсетей, исходя из истории запросов и кликов. Но, во-первых, проблему перепроизводства это не решило, а во-вторых, потребители начали дробиться на непересекающиеся группы — так называемые «информационные пузыри», пользователи которых потребляют значимый только для них контент и «сужают» свое потребление. В результате происходит радикализация мнений и поляризация групп в соцсетях: уверен, вы уже сталкивались с потребностью отписаться от знакомого просто потому, что он высказал мнение, резко отличающееся от вашего, и вы понимали, что переубедить его не удастся.

Кроме того, алгоритмы не появляются сами по себе — их тоже кто-то пишет, и это стало особенно очевидно после скандалов с Facebook и Тиндером, где алгоритм основан на глубоко патриархальном противопоставлении статусных белых мужчин и меньшинств.

При этом медиа все еще функционируют по старой модели, где журналисту нужно «побывать» (коронавирус, конечно, делает содержание глагола «побывать» весьма условным) всюду одновременно и рассказать об этом читателям — отсюда и появляются кликбейтные заголовки вроде «вы должны послушать это немедленно», «прочитайте прямо сейчас» и длинные колонки с анализом стиля одежды героев из свежего сезона нашумевшего сериала.

Люди при этом от такого количества информации устают, и речь не только о блогерах и «микроинфлюэнсерах», то есть собственно производителях контента, выгоранию которых были посвящены сотни статей. По данным Pew Research Center, две трети американцев чувствуют усталость от обилия новостей¹. По подсчетам медиа аналитиков, 70 % граждан США также недовольны обилием стриминговых сервисов и платформ онлайн-подписки². Понятно, что сопоставлять российскую аудиторию с американской можно лишь с определенной долей условности, но полагаю, что цифры выглядели бы аналогично с поправкой на отдельные факторы.

В знаменитом рассказе Борхеса «Фунес, чудо памяти» Иринео Фунес, упав с лошади, приобретает сверхъестественную способность запоминать все, что происходит с ним в течение дня, тогда как до инцидента Фунес «жил как человек во сне: смотрел не видя, слушал не слыша, забывал все — почти все». В нашем случае возникает странная ситуация: платформы самопубликации и СМИ относятся к потребителю как к «чуду памяти», способному уследить одновременно за сотнями трендов и держать руку на пульсе политической ситуации, тогда как в реальности он скорее напоминает Фунеса до падения с лошади: детали стираются, ненужная информация забывается, и вот уже трехнедельной давности взрыв в порту Бейрута (на минуточку, самый мощный неядерный взрыв новейшей эпохи) кажется российскому читателю далеким и неприятным сном.

В этих условиях литература как медиа, за которым, по данным Deloitte, следят примерно столько же процентов населения, сколько и за видеоиграми, пытается усидеть сразу на двух стульях. С одной стороны, некоторые авторы и издатели пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре и показать, что литература — это про «настоящее», про «вечные ценности», тогда как прочие источники медиапотребления внимания не заслуживают. В результате литераторы такого вида как будто начисто лишаются самоиронии и воспроизводят знакомые по литературе доинтернетных

¹ <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/02/26/almost-seven-in-ten-americans-have-news-fatigue-more-among-republicans/>

² <https://www.afisha.ru/article/news-ustalost-ot-podpiski-polzovateliam-uzhe-nadoeli-strimingovyeh-servisy/>

времен приемы: упор на рефлексию и философские размышления, вялые сюжеты, острое недоверие к современности и ее приметам. В отдельности в этих приемах нет ничего плохого, но в сумме они рожают литературу, замкнутую саму на себе и малоинтересную кому-либо за пределами узкого круга причастных.

Но, с другой стороны, литература пытается угнаться за поездом и быть в русле последних тем и трендов, и совершенно неслучайно спустя два месяца после дела Ивана Голунова слышались недоуменные возгласы, мол, почему о деле не написано еще ни одной книги — как будто наскоро испеченная литература сможет оказаться проницательней юристов и политических аналитиков. В результате появляются книги на актуальные темы: война в Донбассе, жизнь в гей-парах, карантин, домашнее насилие, — написанные кричаще архаическим языком, с использованием давно отработанных сюжетных штампов. Стремление поспеть за тематическим паровозом рождает выхолощенные, лишенные содержательного нарративного размышления тексты.

Все это не означает, конечно, что об актуальных проблемах не надо говорить — вовсе даже наоборот; азбучная истина: тематическая актуальность должна сочетаться со свежестью взгляда, которую обеспечивает журналистская оптика — фактчекинг, умение анализировать информацию и подавать в удобном для читателя виде. Но, возможно, именно поэтому самые удачные книги последнего времени об актуальных событиях писали журналисты: Анна Немзер, Шамиль Идиатуллин и Дмитрий Захаров.

Отсюда и понятная ситуация, когда книги, как и сериалы, почему-то «устаревают» уже через два месяца, и от каждой мало-мальски удачной книги ожидают потенциала экранизации — как будто книги сами по себе лишились ценности, и от них теперь принято требовать либо радикального эскапизма, либо откровений.

Что делать с перепроизводством контента, не очень ясно. Попросту начать «производить меньше» можно лишь коллективными усилиями, потому что трудно представить себе блогера или СМИ, которые решились бы на это в одиночку в ущерб кликам и доходам. Эксперты предлагают разные модели поведения, помимо очевидного «детокса» (то есть сознательного отключения соцсетей на некоторое время) и смены читательских практик (от экрана к бумаге, например), я же сосредоточусь на литературе.

Дэвид Микикс в книге *«Slow Reading in a Hurried Age»*¹ (*«Медленное чтение в суетливую эпоху»*) напоминал об иудейской традиции «мидраша», то есть традиции устного толкования текстов Торы на основе медленного, вдумчивого чтения. Отталкиваясь от малейших деталей, словосочетаний и фраз, раввины-толкователи пытались обнаружить новые, ранее не замеченные и при этом более точные смыслы в словах, дарованных Богом. Практика эта была коллективной. Сейчас, конечно, трудно себе представить такое «медленное чтение», но, возможно, проблема как раз не в практике, а в нас самих, отвыкших от медленного потребления информации. Возможно, к нему стоит вернуться: отказ от индивидуальной «достигаторской» практики увеличения количества прочитанных книг в пользу коллективной практики медленного чтения позволит с большей осознанностью относиться к миру вокруг. В какой-то мере это направление уже реализуется: становится больше читательских клубов, отдельные подкасты практикуют медленное чтение и обсуждение текстов. Кажется, чтобы не выгореть самим и не встраиваться в конвейерный поток производства новостей, блогерам также стоит сосредоточиться на расширении коллективных практик и челленджей медленного чтения.

Решения возможны и со стороны производителя контента. В 2016 году на презентации книги *«Вся кремлевская рать»* о политической жизни страны в нулевые-десятые годы, рассказанной от лица людей из близкого окружения Владимира Путина, ее автор Михаил Зыгарь объяснял, почему из журналистики подался в литературу: в

¹ <https://www.amazon.com/Slow-Reading-Hurried-David-Mikics/dp/0674724720>

какой-то момент на посту шеф-редактора он задумался о том, какой процент новостей, оказывающихся в ленте, останется актуальным еще через месяц. Ему стало ясно, что процент этот — мизерный. Чтобы отделить важное от неважного, требуется время — и в смысле хронологической дистанции, и в смысле недель и месяцев, потраченных на вдумчивый анализ имеющихся данных.

Примерно такой мне и видится модель писательской работы с современностью в эпоху «текучести», как ее называл Зигмунт Бауман: наблюдения, которые подвергаются тщательному анализу на предмет выявления вопросов, действительно важных в мире 2020 года (а не 1920, 1945 или 1989-го, в которых многие до сих пор, кажется, пребывают), с последующей обработкой — либо стилистической и сюжетной, в случае художественных жанров, либо формальной, в случае нон-фикшн.

Отказавшись от скорости в пользу факт-чекинга и критического анализа новой реальности, мы получим по-настоящему острую литературу, не лишенную смысловой глубины.

Но пойдут ли литература и ее потребитель по этому маршруту, покажет время.

Борис Минаев

Политический театр

Пока с женой смотрели (неотрывно) репортажи про события в Белоруссии — мысли постоянно перескакивали с политики на эстетику (когда я пишу эти строки, чем кончится история, еще совсем неясно). Кадры, мизансцены, драматургические повороты, монологи, неожиданные кульминации, ложные финалы. Катарсис. Слезы. Аплодисменты.

Причем «кино» постоянно спорило с «театром».

Взрывы свето-шумовых гранат, жестокие избиения, страстные лица и белые одежды — это все, конечно, «кино». Но был ведь и «театр»: освищенный диктатор, его визгливые интонации, тихо плачущие женщины у изолятора на улице Окрестина, мятежный оркестр у филармонии.

Впрочем, «театр» плавно вливался в «кино», а «кино» вновь перемещалось на какую-то условную сцену.

Внезапно подумал: а действительно, есть ли у нас театр, в котором будут возможны, изображенные на сцене, исторические события такого масштаба? Есть ли у нас, короче говоря, театр политический? Способный отобразить некую политическую историю? И должен ли он быть?

Тем более, что и сам театр — как институт — внезапно оказался в центре событий: директор Национального академического театра имени Янки Купалы, присоединившийся к протестующим (и впоследствии вошедший в состав президиума Координационного совета оппозиции), был уволен без объяснения причин, коллектив его поддержал и потребовал от властей остановить насилие, на следующий день артистов не пустили в здание театра, в конце августа около шестидесяти сотрудников уволились с формулировкой «по соглашению сторон»... Невозможно оказалось театру оставаться в рамках условной реальности, сама реальность вышла на сцену театра и начала импровизировать и «сочинять пьесу».

Вспоминаются разные спектакли. Довольно мощные, хотя и совершенно разнонаправленные. И знаете, именно в это наше сегодняшнее время, которое отмечено зажимом всяких свобод, — театр порой страстно и убедительно говорил про политику. Причем в очень неожиданных ракурсах.

«Нюрнбергский процесс» — так назывался знаменитый давний фильм режиссера Стэнли Крамера. Неожиданно киносценарий Эбби Манна взял за основу Алексей Бородин в Российском академическом молодежном театре (спектакль «Нюрнберг», 2014 год). О спектакле много писали — настолько неожиданным был ход — обострить, актуализировать историю о немецких судьях, которые своими решениями подтверждали легальность геноцида евреев, легитимность всех законов, по которым тех лишали прав, превращали в людей второго сорта. Для тех, кто не в курсе: речь в фильме и

спектакле идет не о главном Нюрнбергском процессе, а о так называемом «малом Нюрнберге», где судили именно правоведов, судей, прокуроров, юристов.

Если в фильме Крамера (1961 год) акцент был сделан на фальши и разъедающей душу «политической целесообразности» самих американцев, и главным героем стал обычный провинциальный американский судья, который «целесообразности» не поддался и довел процесс до конца, то у Бородина — дана попытка заглянуть в душу самим судьям, их конформизму, их лжи. Их самооправданию.

Казалось бы, легко идти по чужой, уже созданной кем-то канве, легко намекать на свои реалии, используя при этом чужие (принцип «фиги в кармане» хорошо нам известен с советских времен), — но у Бородина как-то так все честно получилось: абсолютно понятно, что речь идет именно о наших судьях, наших судах.

Причем вот что интересно (а я хорошо помню спектакль): Бородину не пришлось что-то перекраивать, «прошивать» чужую ткань своими нитками, там нет каких-то «ударных» фраз, на которых зрители начинают подмигивать друг другу — нет; абсолютно открытый простой рассказ: Германия, 1946—1947 год, судят тех судей, которые создавали юридические прецеденты законам о расовой неполноценности, тем самым отправляя на казнь миллионы, но вот началась уже другая, «холодная» война, и процесс хотят скорей свернуть и завершить компромиссом...

Спектакль четко, ясно, осознанно артикулировал тему: судья — это ведь не просто чиновник — это человек, всей тысячелетней традицией правосудия освящающий добро или зло. Дающий злу оправдание. Случившиеся уже после дня премьеры громкие процессы, включая процесс «7-й студии», где в числе главных обвиняемых была директор РАМТа, — показали, что театр попал в точку.

Совсем другим был спектакль «Медведь» в театре «Школа современной пьесы» по пьесе Дмитрия Быкова — памфлет, сатира, карикатура. Чем-то он был похож на быковские стихи на злобу дня, острые, блестящие, произнесенные автором, как будто на одном выдохе. Недолговечные. Но было и что-то важное в нем, угаданное надолго вперед — атмосфера абсурда не вялотекущей, а напротив, стремительно развивающейся шизофрении публичного дискурса, государственной пропаганды. Медведь, который самозавелся как некая «национальная сущность» в квартире обычного человека, и постепенно обрастающий силой «народного мифа», — надолго остается в памяти. Так же как и прекрасная игра покойного Альберта Филозова. Его герой покорно терпел таинственного медведя в своей квартире (вернее, в ванной). Ну а потом — медведь стал главным жильцом. И жильца убрали. Быков пародировал и анализировал сквозь свой черный фарс тогда (в 2011 году) то, что еще только назревало в обществе: истошно-лицемерный патриотизм. Жажда «общей идеи», простой и понятной. Невылеченный до конца комплекс «величия».

И спектакль был хорош. Правда, даже тогда не верилось, что он продержится на сцене долго. Многие зрители уже в год премьеры реагировали, скажем так, неоднозначно. Впрочем, после смерти Филозова и играть спектакль стало некому.

Иначе сложилась судьба «Отморозков» — так называли спектакль по роману Захара Прилепина в 2011 году (он, кстати, изначально был поставлен Серебренниковым в проекте «Платформа», а уж потом переехал в Гоголь-центр). «Отморозки» — это несколько сцен из романа «Санькя», романа о нацболах, молодых революционерах, о том, как их преследуют спецслужбы, о том, как они сгорают в огне своего бунта, леваки, романтики, ненужные обществу. Замечательно искренний, пронзительный спектакль с совсем молодыми актерами, с какой-то до боли родной и привычной ТЮЗовской эстетикой — герои бегали по огромной сцене, перепрыгивая все время через барьеры, там были очень хорошо показаны все комплексы такого вот «подпольного кружка», его страсти и его чистые помыслы. Но было странное ощущение тогда, в 2011 году: Серебренников делает спектакль о том, что *уже прошло*: подводит итоги, извлекает уроки, а оно не прошло. И верно — в том же 2011 году капсула протеста взорвалась как

бы заново и на гораздо более широкой «платформе», чем классовый подход Лимонова. И лидер лимоновцев, и автор романа — от этого более широкого движения тогда явно отшатнулись. И из революционеров постепенно превратились в охранителей. Тоже интересная история.

Конечно, список политических спектаклей, виденных мной в эпоху как бы «нового застоя», этим не исчерпывается. Вспоминаются и яркие работы Театра.doc — спектакль о смерти Магнитского, памфлет «БерлусПутин» и многое другое. И относительно недавние спектакли — «Похороны Сталина» в Гоголь-центре (2016 года) или «Время секунд хэнд» Омского драматического театра по книге Светланы Алексиевич, показанный на «Золотой маске» в прошлом году. Я бы сказал, без политической пьесы последние двадцать лет невозможно представить себе любой театр. И не только в Москве. Рамки свободы, рамки творческого высказывания стали действительно гораздо шире, чем в наши прежние эпохи.

И все же... Все же театр трудно уживается с политикой. Может, дело в нашей советской традиции, в бесконечных вариациях «Оптимистической трагедии», бессмертных «Любови Яровой» и «Кремлевских курантов». В этих лениных, с разной степенью резвости бегающих по сцене — до того в свое время надоели, что даже вполне себе политические в хорошем смысле слова спектакли Михаила Шатрова на публику не произвели должного впечатления, и это тогда, в эпоху гласности, в конце 80-х!

И до сих пор кажется, что чем больше ты вкладываешь политических смыслов в действие, происходящее на сцене, — тем вернее остается ощущение недосказанности, недоговоренности. Ждешь большего, ждешь чего-то другого от спектаклей прямым образом политических. И напротив, когда политика вмешивается в спектакль как-то неожиданно, исподволь, «сбоку» — всегда работает здорово.

Из моих любимых примеров на эту тему — «Саша, вынеси мусор!», спектакль Виктора Рыжакова (нынешнего худрука «Современника») в Центре имени Мейерхольда (2015 год). Очень камерный, очень тихий спектакль на четырех актеров. Муж погибает на войне, и две женщины — жена и дочь — его ругают, с ним ссорятся и разговаривают, хотя его давно уже нет в живых. А он к ним все приходит и приходит... Спектакль по пьесе современного украинского автора Натальи Ворожбит — глубокий, мистический, не про политику, но то, что дело происходит в современной Украине, — придает происходящему такой отчетливый вкус реальной трагедии, что становится не по себе.

Ну или гораздо более старый пример — «Бесы» в том же театре «Школа современной пьесы». После спектакля всегда устраивалось обсуждение и приглашались современные политики. Главный герой (его играл Александр Гордон) задавал им вопросы. И было странное чувство, когда недавний Ставрогин задает вопрос, скажем, Жириновскому или Владимиру Рыжкову. И ты невольно погружался в политический контекст. Тогда он, правда, был совершенно иным.

Ну да, скорее, политика должна быть где-то здесь, за плечом, стоять за любой пьесой, будь то хоть Гоголь, хоть Шекспир, а не вламываться на сцену со своей слоновьей грацией. И все же — от театра все-таки ждешь политики. Особенно сейчас. Пусть она опасна. Пусть сложна для восприятия и принимается не всеми. Пусть вызывает скандал. Но без нее театр сегодня как-то вообще не мыслим.

Мария Ануфриева

Проза над линией фронта

В Санкт-Петербурге при поддержке Фонда президентских грантов во второй раз прошла Открытая литературная школа. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме и музей В.В.Набокова СПбГУ принимали известных российских писателей, приглашенных к дискуссии «Проза над линией фронта», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Каждый год Школа меняет тематику, сохраняя при этом уникальный формат, разработанный руководителем проекта Милой Кудряшовой: лекции, мастер-классы и театрализованные читки произведений приглашенных авторов.

В сложившейся обстановке, как и многие другие массовые мероприятия, Школа была переведена в формат он-лайн трансляций, что только увеличило охват аудитории, смотревшей встречи и общавшейся с писателями в режиме реального времени на портале Культура.рф, в пабликах музея Ахматовой и ряде других площадок.

Основным партнером школы, как и в прошлый год, выступил журнал «Дружба народов», а также Президентская библиотека и Центральная городская библиотека им. Маяковского. Мероприятия Школы широко освещались не только в Интернет-пространстве, но и телевидением и печатными СМИ. Стоит отметить, что переход в онлайн не помешал реализации одной из базовых функций Школы, которая задумывалась не только как адресованный общественности образовательный проект, но и как площадка для профессионального общения литераторов. Приехавшие в Петербург авторы встретились на круглых столах, организованных журналом «Дружба народов», чтобы обсудить, как в современной ситуации писать о войне, каким следует изображать воюющего человека, какие художественные задачи возникают перед автором, описывающим войну.

Как подчеркнул программный директор Школы, писатель, филолог Андрей Аствацатуров, важно не только говорить об особенностях батальной прозы, но и осмыслить важный исторический и экзистенциальный опыт, которым делились писавшие о военных действиях авторы, войну повидавшие.

Современные писатели, выступавшие в рамках Школы, также пишут о войне, продолжая традиции предшественников. Выступления Ильи Бояшова, по роману которого был снят известный исторический фильм о ВОВ «Белый тигр», автора романа «Шалинский рейд» Германа Садулаева, любимой читателями всех возрастов Наринэ Абгарян, написавшей сборник рассказов о войне в Нагорном Карабахе «Дальше жить: книга о тех, кто пережил войну и тех, кто нет», публициста и прозаика Александра Мелихова и других авторов составили единую картину прозы 21 века,

«ДРУЖБА НАРОДОВ» В ГОСТЯХ У ОТКРЫТОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ШКОЛЫ

20 — 28 августа, Санкт-Петербург



Сергей Надеев, Ольга Погодина-Кузмина, Галина Климова,
Мария Ануфриева, Александр Бушковский



Александр Мелихов, Тимур Максютков, Сергей Надеев, Александр Снегирёв,
Галина Климова, Павел Алексеев, Александр Бушковский



Вадим Левенталь и Александр Снегирёв



Андрей Геласимов



Александр Мелихов, Елена Жирнова, Александр Снегирёв



Комарово: Сергей Надеев, Галина Климова, Андрей Аствацатуров



Сергей Надеев и Александр Мелихов



Андрей Аствацатуров и Герман Садулаев



Наринэ Абгарян и Александр Снегирёв



Галина Климова, Сергей Надеев, Кира Грозная, Александр Бушковский,
Александр Мелихов, Мария Ануфриева



Комарово: участники Открытой литературной школы в гостях у Валерия Попова



Андрей Аствацатуров, Галина Климова, Мила Кудряшова, Сергей Надеев,
Александр Снегирёв, Мария Ануфриева, Павел Алексеев,
Александр Мелихов, Тимур Максютон, Александр Бушковский

посвященной Великой Отечественной войне и вооруженным конфликтам нынешнего времени.

Как отметил ветеран СОБРа, участник боевых действий в Чечне, писатель Александр Бушковский, отвечая на вопрос о природе войны: «От любви до ненависти — всего один шаг, зато в обратную сторону не дошагаешь, хоть три пары солдатских «кирзачей» сотри. Потому и начинаются войны по любому поводу или вовсе без него».

«Из всех видов нашей деятельности культура — единственное, что противостоит войне. И только развитие культуры может приблизить то время, когда в мире закончатся все войны», — считает писатель и сценарист Ольга Погодина-Кузмина.

Ведущим и программным директором Школы Андреем Аствацатуровым был прочитан цикл лекций о тенденциях зарубежной и отечественной литературы на примере военных произведений, увидевших свет в 20 и 21 веках.

Все видеоматериалы находятся в открытом доступе и количество просмотров, несмотря на завершение Школы, увеличивается с каждым днем, насчитывая на данный момент более 550 000. Уникальный видео-контент школы, который составил более 30 часов, предложен для распространения не только федеральным, но региональным и районным библиотекам, которые испытывают нехватку в актуальных видеоматериалах от первого лица. Благодаря Открытой литературной школе современные писатели стали ближе современному читателю, и очень важно, что объединяющей темой стала одна из самых важных ценностей отечественной истории — память о Победе в Великой Отечественной войне.

Summary

Mikhail GIGOLASHVILI. Judea, the 1-st Century

In his apocryphal novel the author recounts about Lucas gathering evidences and writing his Evangelion. "Was Judah also with you?" – "Yes, he was. He was our treasurer". – "Could you think he can betray?" – "I don't know whether it was he who had betrayed. People had".

Sukhbat AFLATUNI. Missel

The Fate overtakes the protagonist of this short story in the Promised Land. "As if some power hunted him with this excursion and forced to look at every photo until he saw himself. In his German uniform he was standing near the pitch. The picture was amateur and enlarged but he recognized himself".

Alen SHAKIROV. In the Sands of Taukum

This long short story is about some Moscow "major" hid by his father in "the wild strange country" for his unseemly deeds rooting into the hard joyless life of the covered in sand village.

Igor BULKATY. Zilakhar

In his novel the author is studying human behavior beyond the context of History, in correspondence with the reflection on human's victories and defeats.

Timur ZULFIKAROV. The Funniest and Saddest Tale about the Donkey – the Book of Khoja Nasreddin

"Poorest of the poor in the epoch of the Golden Calf-Khoja Nasreddin had no paper and even no pencil but he frantically wanted to write poems and aphorisms"

Poetry

Anxiety that doesn't give a respite fills the poetry of Alexei IVANTER. In tune with it sound the poems of Ekaterina POLYANSKAYA and Zair ASIM. Under the heading "Double Portrait" we present lyrics by Igor KASKO and his translations from Ukrainian of the poems by Igor PAVLYUK.

Natalya RAPOPORT. Seafront of the Curables

Thrilling, informative, ironical story about far from cheerful mishaps of the author, her husband and daughter who by the will of fate found themselves locked in Venice for the whole time of the coronavirus quarantine.

In the Zone Which Lets In Only Its Owns

Interview with Vladimir MEDVEDEV, the author of the novel "Zakhhoch".

Russians and Tajiks. "Both peoples live in too complicated circumstances and are preparing for still greater trials to feel curious to anything that is not related directly to their surviving".

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Малый Гнезниковский пер., 12/27)

«Русский путь» (Нижняя Радищевская ул., 2. (Дом русского зарубежья)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин Лабиринт.ру
в любом городе страны.

Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

**11/2020****Читайте:****Борис Минаев. Роман «Площадь Борьбы»:**

«Он как-то быстро ее раскусил, понял, что ей просто в эти месяцы было нужно куда-то ходить, выходить из дома и приходить хоть куда-нибудь, он относился к этой ее острой потребности терпеливо, утром вежливо прощался, отбывая на службу (она еще была в постели), вечером вежливо здоровался, когда она звонила в дверь, не ругался, если она пропадала на несколько дней, ну и так далее; как выяснилось впоследствии, он был блестящий, крупный экономист, несмотря на свой молодой возраст, один из авторов денежной реформы 20-х годов, соавтор "золотого рубля", ну и так далее, что не помешало советской власти его расстрелять в 1930-м как соучастника так называемого "Дела Промпартии"..."»

Алексей Сальников. Рассказ «Буллинг животворящий»:

«... есть такие учителя, которые снисходительно ученика к доске вызывают, вроде как, ну давай Иванов, покажи, как ты там домашку решил. Раз вызовут таким образом, два, пара ироничных вздохов, пока ребенок у доски, а там — пошло-поехало. Иванов к доске, и класс уже готовится к представлению. И все это вроде незаметно, там очень тонкая грань в интонациях, учитель прямо не говорит, что ребенок тупой, никак его не оскорбляет. Но вот в этом-то и вся грань между обычным отношением и травлей..."»